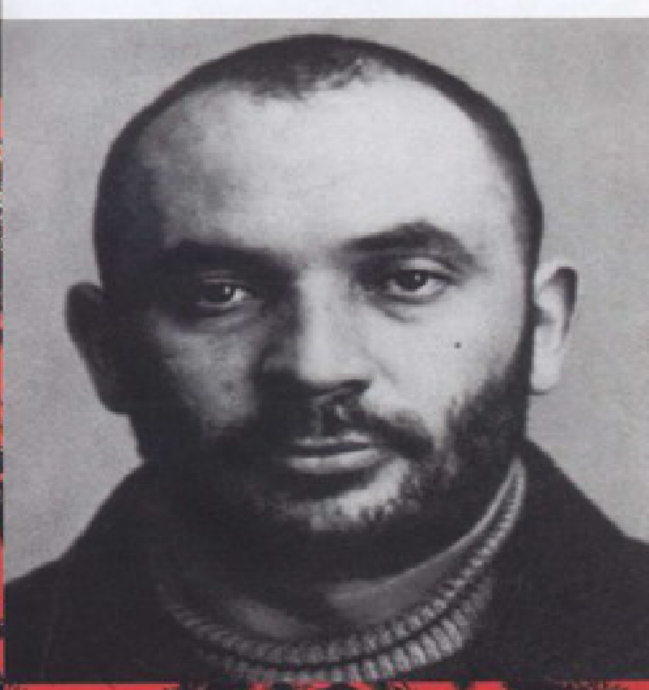
ЯКОВ БЛЮМКИН



Евгений Маймонин

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Короткая жизнь Якова Блюмкина (1900–1929) до сих пор остается вереницей загадок, тайн, «белых пятен», хотя он дружил, враждовал, застольничал со многими литераторами, среди них Есенин, Маяковский, Мандельштам, Георгий Иванов… Одни оставили о нем воспоминания, похожие на памфлеты, другие включили в произведения: «Человек, среди толпы народа / Застреливший императорского посла, / Подошел пожать мне руку, / Поблагодарить за мои стихи» (Н. Гумилёв). И это — убийство в 1918-м германского посла фон Мирбаха, давшее старт восстанию левых эсеров против большевистского правительства (как принято считать), — единственный факт его биографии, не подлежащий сомнению. Остальные невероятные приключения и обличья Блюмкина — чекист, организатор революции в Персии, «диктатор» Монголии, искатель клада барона Унгерна, военный советник в Китае, советский разведчик-нелегал на Ближнем Востоке, жертва предательства любимой женщины — воспринимаются как мифология, созданная не без его участия. Кем же он был на самом деле — революционером, авантюристом, разведчиком, провокатором, тайным агентом высланного из СССР Троцкого? Евгений Матонин, известный кинодокументалист, автор книг «Иосип Броз Тито», «Никола Тесла» («ЖЗЛ»), предпринял, пожалуй, первую попытку восстановить на основе сохранившихся документов, исторических исследований русской революции, воспоминаний реальную биографию этого колоритного «героя» своего времени, который являл собой все противоречия эпохи великих потрясений.

знак информационной продукции 16+

- Е. В. Матонин
  - «МОЕ ИМЯ ПОПРОБУЙТЕ, В БИБЛИЮ ВСУНЬТЕ-КА…»
  - «…ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ СУДЬБЕ»
    - Последняя автобиография
    - «В условиях еврейской провинциальной нищеты…»
    - «Подлинно каторжные, горькие условия жизни ремесленного ученика…»
    - «Стреляют все…» Блюмкин идет в революцию
  - «РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ПОДОБНО ХРИСТУ…»
    - «Я работал как эсер левого крыла…» «Железный отряд»

- «С этой армией я проделал поход…» Брестский мир и «славянские миллионы»
- «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
  - «Пусть остается в Москве». Блюмкин, Цезарь и Украина
  - «На должности заведующего „немецким шпионажем“». Интриги
  - «Блюмкин проявлял большую активность». Чекист
  - «Этот тип позволяет себе говорить в разговорах такие вещи…» Хвастун
- ШЕСТОЕ ИЮЛЯ
  - «Вели себя, как заправские деревенские горлопаны…» Съезд
  - «ЦК решил убить графа Мирбаха…» Блюмкин готовится
  - «Еще меньше я знаю, останусь ли я жив». Дзержинский за ширмой
  - «Это я вам сейчас покажу…» Убийство
  - «У вас были октябрьские дни, у нас — июльские». Шляпы Блюмкина
  - «Эй, вы, слушай, Земля!..» «Мятеж»
  - «Началось настоящее бегство…» Разгром
- «ФЛАГ ЖЕЛТО-ГОЛУБОЙ…»
  - «Высокого роста, голова бритая, обросший черной бородой…» Блюмкин скрывается
  - «Палач международной революции». Убийство фон Эйхгорна
  - «Гарцует Директория…» Блюмкин на Украине
  - «Я решил явиться в Чрезвычайную комиссию…» Загадки возвращения
  - «…Казнить меня без суда и следствия». Как Блюмкина невеста убивала
- «МОСКОВСКИЙ ОЗОРНОЙ ГУЛЯКА»
  - «Я ставлю себя еще под защиту революционно-социалистических партий». Суд и фронт
  - «Блюмкин держался в кафе хозяйчиком…» «Кафейный период»
  - «Он озирался и пугливо сторожил уши». Страх и совесть
  - «Я без револьвера, как без сердца!» Скандалист
  - «Я — Блюмкин!» «Ангел-хранитель»
- СОЛДАТ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
  - «Персия будет советской страной!» «Товарищ

Якуб-заде»
- «За горло английских империалистов и коленом их в грудь!» Персия — Баку — Москва
- Военная академия. Странное личное дело Блюмкина
- «А мне бы только любви немножечко…» Любовь, война и товарищ Троцкий
- «Когда я нуждался в храбром человеке, Блюмкин был в моем распоряжении». Рядом с Троцким
- «Кабинет Троцкого — это небоскреб мировой политики». Блюмкин в «Огоньке» и товарищ Сталин
- «Ребята, хотите побеседовать со Львом Давыдовичем?» Литература и «Новый курс» Троцкого

○ НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ СТРАНЫ СОВЕТОВ
- «Высокоответственное боевое предприятие». От «германского Октября» до палестинской прачечной
- «Я как заморский кот…» Кавказ и Есенин
- «Сын мой будет так же бессильно мало знать о своем отце, как я о своем…» Дела семейные
- «Где я, что я, кто я такой?» Блюмкин-экономист

○ «ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
- «Этот человек плохо кончит!» Блюмкин как «убийца» родственницы наркома Луначарского
- «Вскочил Блюмкин… и наганом со всего маху рукояткой в лицо!» Блюмкин как «убийца» Есенина
- «Контакт с Шамбалой способен вывести человечество из кровавого тупика…» Блюмкин как «искатель Шамбалы»

○ «ДИКТАТОР» МОНГОЛИИ
- «Охранка всё, а всё остальное ничто…» По образцу ГПУ
- «У меня были резидентские задания на ряд стран — Тибет, Внутреннюю Монголию, некоторые пункты Китая»
- «В гнилой обстановке монгольской работы». «Напился, обнимался со всеми, кричал безобразно…»
- Блюмкин и «клад барона Унгерна»
- «Я стал психологически активизироваться как оппозиционер…» Блюмкин как причина

дипломатического скандала
- ○ «ПЕРСИДСКИЙ КУПЕЦ» И ДРЕВНИЕ КНИГИ
  - ■ «Психологические раны были очень свежи». Между ОГПУ и оппозицией
  - ■ Древние книги для разведки. Блюмкин придумывает «крышу»
  - ■ Похождения «купца Султанова». Блюмкин как «великий комбинатор»
  - ■ «…Проникнуть в любую среду и привиться там». Будни разведки
- ○ ОШИБКА РЕЗИДЕНТА
  - ■ «Высылка Троцкого меня потрясла». Блюмкин и «изгнанный вождь»
  - ■ «Поддался известного рода отраве личного впечатления от Троцкого». «Двойная игра» или «тройная жизнь»?
- ○ ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ
  - ■ «Этот товарищ, разложившийся в заграничной обстановке…» Болтливый пассажир
  - ■ «Вот делают из меня международного авантюриста». Новые планы и новые агенты
  - ■ «…Через надежную подставную организацию…» Блюмкин советует продавать ценности за границу
  - ■ «Чтобы доказать… как-нибудь свои симпатии ко мне». Тайные встречи и роковой роман
- ○ СУДЬБА РЕЗИДЕНТА
  - ■ «Жить хочу! Хоть кошкой, но жить!» Побег, доллары и яд
  - ■ «Я ведь знаю, что ты меня предала». Арест
  - ■ «Я прошу партию и ОГПУ оказать мне… доверие». Последние надежды
  - ■ «„Живой“ — помер»
- ○ ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ○ ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Я. Г. БЛЮМКИНА
- ○ БИБЛИОГРАФИЯ

- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6

- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50

- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68

Е. В. Матонин
Яков Блюмкин: Ошибка резидента

«МОЕ ИМЯ ПОПРОБУЙТЕ, В БИБЛИЮ ВСУНЬТЕ-КА…» Несколько вступительных слов

Если кто-то окажется вдруг в московском Денежном переулке — это буквально в нескольких минутах ходьбы от Арбата и почти за сталинской «высоткой» МИДа, — вряд ли не обратит внимание на великолепный особняк за высокой оградой, похожей на стоящие копья. Знатоки говорят, что неповторимый стиль этому зданию придает смешение самых разнообразных стилей — от

готики и барокко до модерна, — которые волей архитектора слились в единой гармонии.

Особняк невозможно не заметить. Тем более если знать связанные с ним истории.

Сейчас в нем размещается посольство Италии. Давняя знакомая автора этих строк, очень известная в телевизионных кругах, да и вообще в стране дама, которая довольно часто бывает в посольстве на различных приемах и деловых мероприятиях, как-то рассказывала: «Итальянцы устраивают приемы прямо в той самой комнате. Комната очень красивая. Какая-то в ней драматическая красная отделка. И вот сидишь там, а в голову навязчиво лезут всякие посторонние мысли. Вдруг начинаешь представлять, как именно здесь Блюмкин убивал Мирбаха, кидал бомбы и прыгал в окно. И думаешь на итальянском приеме о Мирбахе, Блюмкине и вообще о бренности жизни».

Действительно, именно в этом особняке 6 июля 1918 года левый эсер Яков Блюмкин убивал германского посла в Советской России графа Вильгельма фон Мирбаха. Чем, как ни крути, конечно же «застолбил» себе место в российской истории. Но не только этим. Это — только один, хотя и самый известный эпизод его короткой, но, безусловно, незаурядной и противоречивой жизни.

Его считали и считают человеком-загадкой. Если рассматривать фотографии Блюмкина, снятые в различное время, не отделаться от впечатления, будто видишь на них совершенно разных людей. О таинственных «делах и делишках» Блюмкина ходили легенды еще при жизни (он, впрочем, любил привирать и распускать о себе самые невероятные слухи), ну а с течением времени они превратились в мифы.

Многие страницы его биографии до сих пор сокрыты — из-за всевозможных секретных операций, которые он выполнял за границей и внутри страны. Представители Службы внешней разведки России и ФСБ неофициально говорили автору этой книги, что в обозримые годы они точно не будут преданы гласности. А значит, не появится и стопроцентно документальной биографии этого человека, без мифов.

Сегодня его личность и его жизнь часто изображаются в каком-то инфернальном свете. В некоторых публикациях Блюмкин выглядит чуть ли не посланцем Абсолютного Зла на Земле. Но, разумеется, все гораздо сложнее.

Убийца, авантюрист, убежденный и искренний революционер, хвастун, врун, друг поэтов и писателей, интриган, литератор-дилетант, советский разведчик-нелегал, талантливый коммерсант и, несомненно, романтик — это все он, Яков

Блюмкин.

Русская революция 1917 года вообще породила целую когорту ярчайших и вместе с тем таинственных личностей. Военачальники и ораторы, партийные деятели и шпионы, авантюристы и идейно убежденные люди, откровенные бандиты и бескорыстные герои, кровавые маньяки и гуманисты-идеалисты — они действительно были «детьми революции» и вместе с тем во многом определили ее «лицо». Яков Григорьевич Блюмкин — один из них.

Он — порождение того смутного, дерзкого, кровавого и романтического времени, когда, как писал Борис Пастернак, и воздух пах смертью, и «открыть окно — что жилы отворить». Реальная жизнь Блюмкина ничуть не менее интересна, чем мифы о нем.

Поэт-имажинист Вадим Шершеневич, друживший с Блюмкиным, посвятил ему стихи, в которых были и такие строки:

> Мое имя попробуйте, в Библию всуньте-ка.
> Жил, мол, эдакий комик святой,
> И всю жизнь проискал он любви бы полфунтика,
> Называя любовью покой.

Согласиться с ними можно лишь отчасти. Уж чего-чего, а покоя Яков Блюмкин в жизни точно не искал. Наверное, он хорошо бы понял рокеров буйных 60-х годов прошлого века с их девизом: «Live fast, die young» — «Живи быстро, умри молодым».

«…ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ДЕТСКОЙ СУДЬБЕ»

Последняя автобиография

…Следствие было коротким — всего лишь около трех недель. Он уже дал все необходимые показания, ответил на все вопросы и собственноручно написал больше двадцати страниц текста, в котором описывал свои похождения последнего времени. Теперь оставалось только ждать.

Все эти три недели ему вновь и вновь приходилось вспоминать и заново переживать свою жизнь. Только 29 лет. Но сколько произошло за это время! И какие это были события! Сам он считал, что История обязательно должна поставить его в один ряд если не с великими, то, по крайней мере, с выдающимися и видными революционерами, которые пожертвовали собой ради светлого будущего. Декабристы, Николай Кибальчич и Софья Перовская, Степан Халтурин, Иван Каляев, Егор Созонов… Где-то среди них должен стоять и он, Яков Блюмкин.

Еще совсем недавно, в 1927 году, в Москве вышел шестой том Большой Советской энциклопедии. Солидная, красно-синяя книга с золотым тиснением. Он с детства с каким-то особенным чувством относился к таким вот солидным фолиантам. Так что можно себе представить, что испытал Блюмкин, когда, открыв энциклопедию на 537-й странице, прочитал статью о самом себе. Она начиналась словами: «Блюмкин, Яков Григорьевич, революционер…»

Да, теперь-то он точно вошел в Историю!

Но сейчас, два года спустя… Сейчас он подследственный, которому грозила пуля от его же недавних товарищей и соратников.

* * *

Второго ноября 1929 года Яков Блюмкин попросил, чтобы ему в камеру во внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке принесли перо и бумагу. Он решил написать автобиографию. Ему было что рассказать. С какими людьми он был знаком! Дзержинский, Троцкий, Есенин, Маяковский, не говоря уже о менее крупных фигурах в мире революции, разведки и литературы. Всех и не перечислишь.

Его 29-летней жизни хватило бы, наверное, на несколько жизней обычного обывателя. Бывший левый эсер, бывший террорист, бывший убийца германского посла Мирбаха, бывший чекист, бывший друг Есенина и других литераторов, бывший

организатор просоветского переворота в Персии, бывший сотрудник аппарата Троцкого, бывший советский разведчик-нелегал на Ближнем Востоке и в Европе, оппозиционер, которого обвиняли в измене…

Он уже не раз писал автобиографии, но что-то ему подсказывало, что эта будет последней.

Для чего ее писал Блюмкин, кому она предназначалась и надеялся ли он с ее помощью что-то изменить — уже не узнать. Точно известно только то, что 2 ноября 1929 года, то есть всего за день до вынесения приговора, он обмакнул перо в чернила и написал на листе бумаги заголовок: «Краткая автобиография». Затем, немного помедлив, вывел первые строки: «Родился в 1900 г. в марте месяце, в бедной еврейской семье…»

«В условиях еврейской провинциальной нищеты…»

Итак: «Родился в 1900 г. в марте месяце, в бедной еврейской семье. Отец мой, бывший ранее рабочим лесных фирм в Полесье, ко времени моего рождения стал мелким коммерческим служащим».

Уже первый абзац автобиографии вызывает чувство недоумения. Почему Блюмкин не сообщает ни точную дату своего рождения, ни место? При этом та же Большая Советская энциклопедия 1927 года издания отмечает, что он родился в 1898 году, но о месте, где появился на свет будущий убийца германского посла и «романтик революции», тоже сведений не дает.

В общем, даже в вопросе своего рождения Блюмкин зачем-то напустил такого тумана, что до сих пор многие публикации о нем начинаются фразой: «Неизвестно даже, где он родился…» В различных работах о Блюмкине указывается, что он появился на свет то ли в Одессе, то ли в местечке Сосница Черниговской губернии, а потом уже вместе с семьей переехал в Одессу.

Но, похоже, в этих разночтениях можно поставить точку. Блюмкин был коренным одесситом. Так же можно поставить точку и в спорах о дате его рождения — теперь и она известна.

В Государственном архиве Одесской области хранится «Книга родившихся евреев. 1900 год» Одесского городского раввината. В графе под номером 469 в ней зафиксировано, что во вторник, 27 февраля 1900 года у сосницкого мещанина Гирша Самойловича Блюмкина и его жены Хаи родился сын Яков. 5 марта того же года, на восьмой день жизни, как положено, будущий революционер, террорист и авантюрист был подвергнут ритуалу обрезания.

Если перевести дату рождения Блюмкина на новый стиль, введенный в Советской России с февраля 1918 года, то получается, что Блюмкин родился 12 марта 1900 года.

Еще одна деталь. Иногда встречаются утверждения, что настоящее имя Блюмкина звучало как «Симха-Янкель Гершев» и что только потом его переименовали на русский лад — в «Якова Григорьевича». Однако, как видим, уже при рождении он был записан как Яков. Хотя еврейский вариант его имени тоже будет встречаться в документах.

В Одесском архиве сохранились и некоторые сведения о семье Блюмкиных.

В 1897 году в России прошла первая всеобщая перепись населения. Она зафиксировала, что в Империи проживало 125 миллионов 640 тысяч человек. Это тогда, при заполнении переписного листа, император Николай II в графе «Род занятий» указал: «Хозяин Земли Русской». А некий рядовой житель России на вопрос об имени и отчестве жены ответил так: «Буду я величать ее! Баба, так и есть, и нет ей больше названия».

В одном из переписных листов, находящихся сегодня в Одесском областном архиве (по данным переписи, в Одессе насчитывалось 403 тысячи жителей), значится и семья Блюмкиных, проживавшая на Новой улице, в доме 12. Семья состояла из Гирша Блюмкина, тридцати двух лет, родившегося в местечке Сосница Черниговской губернии, приказчика по «бакалейной части», его жены Хаи-Ливши Лейбовны Блюмкиной, тридцати лет, родившейся в городе Овруч Волынской губернии, домохозяйки. С ними жили их дети: дочери Роза, тринадцати лет, родившаяся в Киеве, Миня, трех лет, — она родилась уже в Одессе, и сыновья — Мевша-Лейба (он же Мойша-Лейба, он же Лев), десяти лет, Исай, семи лет (оба появились на свет в Киеве), и Аарон (он же Арон, он же в будущем Натан). Аарону в момент переписи исполнилось всего три месяца, он родился в Одессе.

Вероятно, в Одессу Гирш и Хая Блюмкины с детьми переехали из Киева. Из всех их детей ничего больше не известно только о Мине Блюмкиной. Скорее всего, вскоре она умерла. В 1904 году, когда задержанный по подозрению в распространении революционных прокламаций Мойша-Лейба (Лев) Блюмкин давал показания в полиции, он упомянул среди членов своей семьи отца, мать, братьев Исая, Арона, Якова и сестру Розу. Все они тогда жили в Одессе на Большом Фонтане, на даче Маевского. Отец уже нигде не работал, братья учились, а сестра не имела «определенных занятий».

Эти данные содержатся в «Деле Департамента Полиции» о Льве Блюмкине (Моисее-Лейбе), которое хранится в Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ). Из него также можно узнать, что отец и мать обеспечивали себя с помощью «личного заработка», что Лев «нигде не учился, воспитывался дома, грамотен, холост», к полицейскому дознанию раньше не привлекался, за границей не был и что он «давал уроки», тем самым зарабатывая себе на жизнь.

В 1906 году, в возрасте сорока одного года, умер отец, Гирш Блюмкин, и, как много лет спустя писал Яков, «большая семья из 6-ти человек впала в нищету».

«В условиях еврейской провинциальной нищеты, стиснутый между национальным угнетением и социальной обездоленностью,

я вырос, предоставленный своей собственной детской судьбе, — вспоминал Блюмкин. — В 1908 г., восьми лет, я был отдан в бесплатное еврейское духовное начальное училище (1-ю Одесскую талмудтору)».

В это училище принимали мальчиков из бедных семей. Расходы на их обучение брала на себя еврейская община города.

Согласно переписи 1897 года в Одессе проживало 124 тысячи 511 человек, которые считали еврейский своим родным языком. По численности населения евреи занимали второе место после русских — примерно 34 процента всех жителей города.

Одесские евреи селились в разных районах города, но самым знаменитым из них была, разумеется, легендарная Молдаванка — место бандитов, налетчиков, биндюжников и прочих «веселых людей», воспетое позже в «Одесских рассказах» Исаака Бабеля и известное по популярной песне о Косте-моряке:

Я вам не скажу за всю Одессу,
Вся Одесса очень велика,
Но и Молдаванка, и Пересыпь
Обожали Костю-моряка.

И сегодня молдаванские дворы, мрачноватые углы и закоулки производят на приезжих сильное впечатление, ну а сто лет назад просто так заходить в этот район, да еще вечером, категорически не рекомендовалось — это было опасно. Молдаванка уже тогда пользовалась недоброй славой бандитского района.

Впрочем, на самой Молдаванке жили дружно, хотя, конечно, случалось всякое. Как и в большей части Одессы, здесь говорили на неповторимом одесском диалекте — смеси из русского, украинского языков и идиша. Вся жизнь проходила во дворах — они были этакими «ячейками» местного общества. Бандиты и биндюжники, хулиганы и парикмахеры, нищие и мелкие ростовщики были соседями и прекрасно знали друг друга. На Молдаванке жили многие знаменитые люди — от писателя Шолом-Алейхема до налетчика Мишки-Япончика. И сейчас доводится слышать и читать, что Я пончик и Яша Блюмкин хорошо знали друг друга и даже воевали вместе на одесских улицах за установление советской власти. Ну, до этого мы еще дойдем.

Положение евреев в Одессе было сложным. Именно здесь впервые в России, еще в 1821 году, случился еврейский погром. В Одессе они случались еще не раз, и особенно кровавым был погром 18–20 октября 1905 года, связанный с революционными волнениями, когда в общей сложности погибли около четырехсот

человек. Как и в других городах России, по отношению к евреям-иудеям в городе «у Черного моря» действовали ограничительные законы — например, так называемая «процентная норма». Согласно этой «норме» в средних и высших учебных заведениях Одессы число евреев не могло превышать 10 процентов общего числа учащихся.

Однако, несмотря на ограничения, Одесса была крупнейшим еврейским городом в России. Евреи занимали ведущее положение в торговле, банковском бизнесе, играли важную роль в промышленности. В Одессе выходили еврейские газеты, а уж еврейских школ, училищ и различных курсов (зубоврачебных, бухгалтерских, рисовальных, школ повивальных бабок, стенографисток и т. п.) было вообще пруд пруди. В 1910 году появились еврейские мужские и женские гимназии.

Так что состоятельные еврейские семьи могли дать своим детям вполне приличное образование. В 1889 году сын землевладельцев из Херсонской губернии Лева Бронштейн поступил, например, в училище Святого Павла на Успенской улице. В 1895-м он окончил его лучшим учеником класса. Пройдут годы, и он станет настоящим кумиром революционера Якова Блюмкина. Тогда Бронштейн уже был известен на весь мир и носил фамилию Троцкий.

Часть квартала от улиц Софиевской до Елизаветинской занимало коммерческое училище Генриха Файга. Туда принимали до 50 процентов евреев. Схема была проста — каждый состоятельный еврей подыскивал для своего сына «пару» из русских. И платил за двоих. Коммерсант Осип Вайсбейн, к примеру, оплачивал обучение своего сына Леди — будущего Леонида Утесова — и еще сына одного одесского мясника.

Сам Генрих Файг был весьма любопытной личностью — крещеный еврей, окончивший в молодости раввинское училище в Вильно и женатый на племяннице известнейшего русского государственного деятеля Сергея Витте. Одессит Валентин Катаев так писал о нем в романе «Хуторок в степи»:

«Файг был выкрест, богач, владелец и директор коммерческого училища — частного учебного заведения с правами. Училище Файга было надежным пристанищем состоятельных молодых людей, изгнанных за неспособность и дурное поведение из остальных учебных заведений не только Одессы, но и всей Российской империи. За большие деньги в училище Файга всегда можно было получить аттестат зрелости, Файг был крупный благотворитель и меценат. Он любил жертвовать и делал это с большим шиком и непременно с опубликованием в газетах.

Он жертвовал в лотереи-аллегри[1] гарнитуры мебели и коров, вносил крупные суммы на украшение храма и покупку колокола, учредил приз своего имени на ежегодных гонках яхт, платил на благотворительных базарах по пятьдесят рублей за бокал шампанского. О нем ходили легенды».

Леонид Утесов (Лазарь Вайсбейн) утверждал, что за всю историю этого училища из него выгнали только одного человека — его самого. За то, что он измазал преподавателя Закона Божьего мелом и чернилами. Однако желающие учиться могли найти у Файга много полезного — его училище было оборудовано новейшими приборами, в нем имелись прекрасный гимнастический зал, библиотека, два оркестра — симфонический и щипковых инструментов, хор, драматический кружок. Правда, и плата за обучение составляла очень солидную сумму — 260 рублей в год. Для сравнения — за обучение в классических гимназиях платили 50 рублей.

Конечно, об училище Файга или о других частных заведениях Блюмкину мечтать не приходилось — даже если бы он хотел учиться там. Денег на это в его семье не было и быть не могло.

Но и Талмуд-тора давала, по крайней мере, неплохое начальное образование. Это училище было основано в Одессе еще в конце XVIII века. Здесь изучали Библию, Талмуд, древнееврейский язык, еврейскую историю, а также русский язык, географию, арифметику, чистописание, рисование, естествознание. Были также уроки пения и гимнастики. Курс обучения составлял пять лет.

Надо сказать, что большинство учеников до конца курса не дотягивали. Им приходилось бросать учебу и идти работать. Но Блюмкин из училища не ушел. Хотя все годы обучения, особенно во время летних каникул, он подрабатывал мальчиком на посылках в различных конторах и магазинах за жалованье от трех до семи рублей в месяц. Эти деньги, конечно, были каплей в море, но все же лучше, чем ничего.

В это время большое влияние на подрастающего Блюмкина оказали два человека. Во-первых, руководитель Первой Талмуд-торы Шолом-Яков Абрамович, более известный под псевдонимом Менделе-Мойхер-Сфорим или «Менделе-Книгоноша». Он считается «дедушкой еврейской литературы» и основоположником литературного идиша. Когда Блюмкин поступил в Талмуд-тору, романы, повести и пьесы 73-летнего Менделе-Мойхер-Сфорима уже переводились на различные языки, а в печать готовилось собрание его сочинений.

Менделе считал, что еврейским детям необходимо получать не только традиционное духовное, но и самое широкое светское

образование, включая обязательное изучение русского языка и литературы. Еще в 1869 году ему пришлось переезжать из Бердичева в Житомир из-за того, что его преследовали руководители еврейской общины — они усмотрели в драме Менделе «Коробочный сбор, или Банда городских благодетелей» сатиру на самих себя. И действительно — он и потом не очень-то соблюдал «национальную солидарность» и весьма язвительно изображал «солидных евреев» — ростовщиков, торговцев, банкиров.

Вероятно, именно «Менделе-Книгоноша» привил Блюмкину интерес к литературе и книгам. В том числе и к старинным еврейским манускриптам и редким изданиям. Но даже такому прогрессивному по тем временам человеку, как Менделе-Мойхеру-Сфориму, и в страшном сне не могло присниться, что полученные в Талмуд-торе знания о древних книгах его ученик в недалеком будущем использует для того, чтобы продавать их за границу. И что эта продажа станет прикрытием для операций сотрудника советской внешней разведки Якова Блюмкина.

«Подлинно каторжные, горькие условия жизни ремесленного ученика…»

В 1913 году Блюмкин окончил Талмуд-тору. К этому времени Одесса сильно изменилась. В ней насчитывалось уже более пятисот тысяч жителей. Город стал третьим по величине городом Российской империи, после Петербурга и Москвы, а также крупнейшим портом на Черном море. «Дух европейского капитализма» — так характеризовал Валентин Катаев те изменения, которые начали происходить в Одессе: «На фасадах банков и акционерных обществ сверкали черные стеклянные доски со строгими золотыми надписями на всех европейских языках. В зеркальных витринах английских и французских магазинов были выставлены дорогие, элегантные вещи. В полуподвалах газетных типографий выли ротационные машины и стрекотали линотипы».

Еще в конце XIX века в городе пустили конно-железную дорогу и разбили Александровский сад. 1 октября 1887 года торжественно было открыто новое здание знаменитого Одесского оперного театра — одного из лучших в Российской империи. Городу строительство обошлось в 1 миллион 300 тысяч рублей. Для освещения театрального здания построили электростанцию, и первые электрические лампочки загорелись в Одессе именно в день открытия Оперного театра. Одесситы, естественно, были уверены, что он лучший в мире.

Оперу в Одессе любили. «Если певец прошел в Одессе, он может ехать выступать куда угодно», — говорили ее жители. Из беседы на улице: «Вы слышали, как вчера Баттистини выдал Риголетто?» — «Нет, не слышал». — «Так вам нечего делать в Одессе, можете ехать в Херсон».

Впрочем, в начале XX века у оперы появился сильный конкурент — новое спортивное развлечение под названием футбол. В Одессе гоняли мяч несколько команд, которые устраивали что-то вроде мини-чемпионатов. Никого не удивляли и появляющиеся в газетах сообщения такого рода: «Проезжавший по Греческой ул. автомобиль камер-юнкера Юрьевича при повороте на Пушкинскую ул. наскочил на фонарный столб, исковеркал его и разбил стекла фонаря». На Ришельевской улице в витрине автомобильного магазина (!) был выставлен американский ярко-красный гоночный мотоцикл «Индиана», который поражал жителей города своими необычными обтекаемыми формами.

В мае 1910 года в Одессе открылась торгово-промышленная выставка. Сначала она задумывалась как областная, но потом превратилась в международную. Сами одесситы с гордостью называли ее всемирной. Как говорят в той же Одессе, «всемирная» и «международная» — это все-таки две большие разницы.

На выставке побывали более семисот тысяч человек. Посетителей завлекали павильоны чайного товарищества «Караван» в виде тринадцатиметрового самовара с огромным заварочным чайником наверху, павильон шампанских вин «Редерер» в виде шестиметровой бутылки на трехметровом постаменте и, разумеется, 25-метровая башня обозрения. Одесситы называли ее «наша Эйфелева башня».

По случаю проведения выставки в Одессе произошло два важнейших события, которые как бы символизировали наступление нового века. 3 июля при огромном стечении народа с территории ярмарки в воздух поднялся на аэроплане авиатор Сергей Уточкин. Он сделал несколько кругов над морем и сел на противоположной стороне Одесского залива, в Дофиновке. Уточкиным, который был не только авиатором, но и конькобежцем, боксером, автомобилистом, велосипедистом и даже парашютистом, гордилась вся Одесса — от градоначальника Толмачева до обитателей Молдаванки и Пересыпи.

Одиннадцатого сентября 1910 года в Одессе была пущена первая линия электрического трамвая. Ее построило Бельгийское общество. Трамвай ходил по маршруту от Греческой площади до Александровского парка, где проходила выставка, и затем до Ланжерона. Будущий писатель, а тогда одиннадцатилетний мальчишка (почти одногодок Блюмкина) Юрий Олеша, так вспоминал об этом историческом моменте в книге «Ни дня без строчки»:

«Я помню себя стоящим в толпе на Греческой улице в Одессе и ожидающим, как и вся толпа, появления перед нами вагона трамвая… <…>

Трамвай показался на Строгановском мосту, желто-красный, со стеклянным тамбуром впереди, шедший довольно скоро, но далеко не так, как мы себе представляли. Под наши крики он прошел мимо нас с тамбуром, наполненным людьми, среди которых был и какой-то высокопоставленный священник, кропивший перед собою водой, также градоначальник Толмачев в очках и с рыжеватыми усами. За управлением стоял господин в кепке, и все произносили его имя:

— Легоде.

Это был директор бельгийской компании, соорудившей эту первую трамвайную линию в Одессе».

Яков Блюмкин не оставил своих воспоминаний об этих событиях. Но мы вполне можем предположить, что и он побывал на выставке и хотя бы один разок прокатился на трамвае. Несмотря на то, что это было не так уж и дешево. Билет на выставку стоил 32 копейки, а проезд в трамвае — минимум пять копеек. Для справки: за копейку в Одессе можно было выпить кружку кваса, а весьма дорогие папиросы «Salve» продавались по цене шесть копеек за десять штук.

* * *

Когда Блюмкин окончил Талмуд-тору, он был отдан в обучение в электротехническую мастерскую — сначала Карла Франка, а потом инженера Ингера. Так что работу он получил самую современную — электричество еще только-только входило в повседневный быт горожан. Блюмкин монтировал и починял электропроводку, а по ночам подрабатывал в недавно открытом в Одессе Ришельевском трамвайном парке Бельгийского общества. Там он чинил освещение в трамвайных вагонах. Потом еще работал помощником электротехника в Одесском русском театре. Сначала ему платили 20 копеек в день, а затем увеличили зарплату до 30 копеек.

Но уже тогда, в четырнадцати-пятнадцатилетнем возрасте, он чувствовал, что хочет чего-то большего. Якова совсем не привлекала перспектива вкалывать всю жизнь за гроши. Его притягивала другая жизнь, о которой он читал в книгах. «Все эти годы я занимался запойным чтением, саморазвитием, посещал лекции и т. д.», — вспоминал он.

Когда выдавалось свободное от работы время, Блюмкин часто приходил на Преображенскую улицу, 14, где находился Дом книжной торговли «Культура». Здесь он подрабатывал еще во время учебы в Талмуд-торе — разносил покупателям книги, наводил порядок на стеллажах, разгружал полученную из типографий новую продукцию. Но главное — он находился в «книжном окружении» и мог сколько угодно «запойно» читать, если, конечно, у него оставалось на это время.

Владельцем дома «Культура» был Яков Абрамович Перемен — известный в Одессе человек, общественный деятель, меценат, коллекционер (он собрал богатую коллекцию работ молодых одесских художников-авангардистов, которую в 1919 году вывез в Палестину)[2], участник подпольного еврейского социалистического движения и организатор отрядов самообороны. Он тоже оказал сильное влияние на молодого

Блюмкина.

Дом книжной торговли был не просто книжным магазином. Яков Перемен страстно любил книги. В своих мемуарах он признавался, что их изучение было для него «единственным жизненным удовольствием» и любимым занятием. Свой магазин он сумел превратить в некое подобие литературно-букинистического клуба. На Преображенской, 14, собирались писатели, поэты, книголюбы, которые, как вспоминал один из участников этих встреч, вели настоящие «беседы мудрецов». В справочнике «Вся торгово-промышленная Одесса за 1914 год» по этому адресу, кстати, уже значилось Общество изящных искусств.

Много лет спустя Яков Перемен писал в мемуарах:

«Дело было в начале 1907-го в Одессе, когда объединились в одно товарищество под названием „независимые“ несколько молодых обладателей таланта в поэзии и живописи… Их материальное положение было трудным, что привело их к духовной деградации, и ассимиляция разъедала их души. Итак, я решил помочь этой молодежи, при условии, что моя помощь возвратит их к лучшему состоянию как в смысле человеческом, так и в еврейском.

В группе поэтов особенно отличались: Багрицкий, Блюмкин, Соболь, Финк и др. Эти были „корифеями молодой поэзии“».

Здесь необходимо сделать важное уточнение. Перемен писал мемуары уже на склоне лет, и многие события и даты к тому времени смешались в его памяти. Ни Эдуард Багрицкий, ни, тем более, Блюмкин не могли быть «корифеями молодой поэзии» в 1907 году. Первому тогда только-только исполнилось двенадцать, а второму — вообще было семь лет. Речь, конечно же, идет о более поздних временах — 1913–1914 годах, когда впервые начали заявлять о себе молодые художники-модернисты и такие же молодые литераторы из Одессы: Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев, Илья Ильф, Юрий Олеша, Вера Инбер и др. Но интересно, что Перемен запомнил и Блюмкина. Неужели по своим литературным способностям он в юности действительно мог соперничать с Багрицким?

Или Перемен в своих воспоминаниях писал не о нем, а о его старших братьях? Ведь Лев, Исай и Арон (Натан) не меньше будущего знаменитого террориста увлекались литературой. Лев стал журналистом, Исай — тоже. Первый сотрудничал в либеральной газете «Южная мысль», второй — в издании «Одесское обозрение». В мае 1911 года «мещанин Исай Григорьев Блюмкин» упоминался в агентурном донесении Департамента полиции среди постоянных сотрудников газеты «Одесское обозрение» либерального направления, «редактором-издателем

коего состоит потомственный почетный гражданин, помощник присяжного поверенного Александр Соломонов Исакович».

А Арон, он же Натан Блюмкин, так и вовсе стал писателем и драматургом, причем довольно известным. Он издавался под псевдонимом «Базилевский» и особенно прославился после Великой Отечественной войны[3] благодаря своей пьесе «Закон Ликурга» по «Американской трагедии» Теодора Драйзера. Пьеса шла во многих театрах Советского Союза, и в ней, в частности, играли Людмила Касаткина и Алексей Баталов.

Может быть, кого-нибудь из них имел в виду Перемен, когда упоминал в мемуарах фамилию «Блюмкин»? Они ведь наверняка появлялись в магазине «Культура».

Впрочем, Яков тоже имел склонность к изящной словесности — даже в эти, еще совсем юные годы. «Чувствуя в себе также и, как принято выражаться, „литературное призвание“, я пописывал в журнале „Колосья“, в детской газете „Гудок“ и т. д.», — отмечал он в автобиографии.

Художественно-литературный «журнал для еврейских детей» «Колосья» выходил в Одессе в 1913–1918 годах. Редактировал его известный литератор Наум Осипович — бывший народоволец, потом эсер, участник событий 1905 года в Одессе, политический ссыльный и эмигрант. Не исключено, что он тоже оказал влияние на жизненный выбор Блюмкина. Но, к сожалению, установить, что именно публиковал Яков в «Колосьях», не удалось. В тех номерах журнала, которые оказались доступны для изучения, его работ нет. Возможно, он подписывался псевдонимом или печатался в других номерах, которые разыскать не удалось. Но можно предположить, что в журнал Блюмкин направлял свои стихи.

Об этом периоде его жизни до нас дошло очень мало сведений. А тем, которые дошли, далеко не всегда можно безоговорочно доверять. Известно, например, что в Одессе у Якова Блюмкина был знакомый по имени Петр Зайцев — революционер, эсер-максималист, командир Красной армии, потом коммунист. Когда и как они познакомились — сказать трудно. В 1918 году Зайцев говорил, что знает Блюмкина «пять-шесть лет еще по Одессе». Мы не раз еще будем встречаться с ним — Зайцев оказался интересным источником информации о жизни Блюмкина. Хотя, судя по всему, слишком пристрастным.

В его рассказах наш герой представлен человеком весьма малоприятным. «Блюмкин принимал участие в Одессе в самых грязных историях, — утверждал Зайцев. — Так, например, он служил у владельца какого-то механического завода, обрабатывающего снаряды, некоего Перемена. Этот Перемен занимался на самом деле предоставлением за крупное

вознаграждение отсрочек по отбыванию воинской повинности, и у него-то служил и, как все упорно говорили, принимал участие во всех этих грязных комбинациях Блюмкин».

Все-таки: «как все упорно говорили». Не то чтобы Блюмкин категорически не мог заниматься тем, о чем рассказывал Зайцев. Более того, во время Первой мировой войны в Одессе да и в других крупных городах существовал довольно обширный «черный рынок» по изготовлению фальшивых документов. Например, 14 января 1915 года газета «Одесский листок» сообщала:

«Чинам одесской сыскной полиции удалось раскрыть в Одессе организацию, занимавшуюся фабрикацией подложных паспортов и различных метрик. В отношении снабжения преступного мира подложными документами Одесса всегда пользовалась исключительной славой… Особенно широко пользовались подложными паспортами воры-взломщики, вынужденные для достижения своих целей нанимать квартиры. Так они поступили при краже из магазинов Нейдера, бр. Крахмальниковых, Пташникова и др. Совершив разгром магазина, они скрывались, оставив полиции свои паспорта „одесской“ фабрикации. Паспортными бланками их снабжали 2 мещанских старосты провинциальных городов, в настоящее время арестованные. Специалисты-каллиграфы занимались выполнением работ. Спрос на подложные документы, как отмечают сами фабриканты, с наступлением войны значительно увеличился. Благодаря этому и цена паспорта поднялась. Арестовано 6 фабрикантов, которые переданы в распоряжение судебного следователя по особо важным делам».

Однако Зайцев не смог подтвердить факт участия Блюмкина в истории с подложными паспортами, а ссылался лишь на разговоры. Да и кто именно говорил? Тоже неясно.

К тому же тут явно какая-то путаница. Яков Перемен никогда не был владельцем механического завода. Блюмкин же действительно работал на заводе, но не на механическом, а на консервной фабрике «Братья Авич и Израильсон». Там он «закатывал» в банки помидоры за рубль двадцать в день. Одновременно подготовился и выдержал экзамен в техническое училище инженера Линденера, но «за отсутствием средств на учение с горечью это намерение оставил». Так, по крайней мере, рассказывал Блюмкин в автобиографии. «Подлинно каторжные, горькие условия жизни ремесленного ученика у мелкого предпринимателя в ту эпоху настолько общеизвестны, что на них не стоит останавливаться», — коротко заметил он.

Но история с незаконными отсрочками от военной службы со

временем обросла новыми красочными деталями и мифами. Так, теперь можно, например, прочитать, что вовсе не на механическом заводе, а в подвале дома «Культуры» именно Блюмкин организовал печатание фальшивых документов, которые давали заказчику право на отсрочку от службы в армии. И что, когда его разоблачили, Блюмкин с невинным видом заявил, будто делал это по приказу хозяина. Яков Перемен подал в суд, но Блюмкина оправдали. А всё потому, что он послал слывшему неподкупным судье конверт с деньгами и визиткой своего начальника. И якобы возмущенный столь откровенной взяткой судья и вынес оправдательное решение. И что когда об этом стало известно Перемену, он сказал о Блюмкине: «Подлец, несомненный подлец, но талантливый». И что сам Блюмкин всегда гордился такой характеристикой.

Ну и еще. Оказывается, компаньоном в мутных делах Блюмкина являлся не кто иной, как Нафталий Френкель — будущий генерал-лейтенант инженерно-технической службы, один из основателей и идеологов печально знаменитого ГУЛАГа. Говорят, что именно он вывел формулу, которая потом легла в основу функционирования сталинских лагерей: «От заключенного нам надо взять всё в первые три месяца, а потом он нам не нужен»[4].

И наконец: «На пару с гениальным аферистом и держателем воровского „общака“ Япончиком — Френкелем (?! — *Е. М.)* он <Блюмкин> делает свой первый капитал. Этот капитал потом дал ему возможность войти в доверие к „красному маршалу революции“ Муравьеву и купить себе первые серьезные должности в совдеповском ЧК». Прямо-таки не шестнадцатилетний подросток, а какой-то «великий комбинатор».

Несмотря на то что никаких документальных подтверждений этим рассказам нет, сегодня явно приукрашенная история о махинациях с отсрочками — обязательная часть большинства биографий Блюмкина, попадающихся во Всемирной сети, а оттуда перекочевавших в журнальные публикации и даже исторические книги. Хотя что здесь удивительного? Фигура Блюмкина вообще наполовину создана из мифов и слухов.

О «красном маршале», Мишке-Япончике, ЧК и связанных с ними мифах мы поговорим позже, а пока расскажем о том, что вообще привело Блюмкина в революцию.

«Стреляют все…» Блюмкин идет в революцию

Шестого ноября 1914 года газета «Маленькие одесские новости» в рубрике «Одесский день» напечатала следующее сообщение: «Задержание юных добровольцев. Вчера в районе станции „Одесса-Малая“ задержан один из юных добровольцев, 14-летний гимназист Мильхикер, собиравшийся вместе с товарищем Георгиевским бежать на войну. Мальчиков препроводили к родителям (Мельничная, 23). Третий доброволец Владимир Протопопов, 14 лет, был задержан на ст. „Бирзула“ и препровожден в Одессу».

«Юные добровольцы» из Одессы были ровесниками нашего героя. Но в отличие от них Блюмкин вовсе не стремился сбежать на фронты Первой мировой войны. В этом возрасте его уже притягивало к себе одесское революционное подполье.

Одесса фактически возникла как вольный город. С 1817 по 1859 год, согласно императорскому указу Александра I, она пользовалась статусом «порто-франко», в переводе с французского — свободного порта. Товары, ввозимые в нее, не облагались налогами, а российские таможни стояли уже за пределами городской черты.

Возможно, это тоже повлияло на то, что Одесса всегда считалась самым свободолюбивым городом в России. Ее не случайно противопоставляли северному, чопорному и застегнутому на все пуговицы городу чиновников и канцелярий — Санкт-Петербургу. Кстати, если столицу империи высокопарно именовали «Северной Пальмирой», то жители Одессы не менее гордо называли свой город «Южной Пальмирой».

Здесь все было не так, как на севере. Над цветущими акациями и каштанами приморских бульваров и улиц витал какой-то особенный, пьянящий воздух свободы. И если с профессором Плейшнером из знаменитого сериала о Штирлице этот воздух в Швейцарии сотворил злую шутку, то в Одессе он творил с людьми самые непредсказуемые вещи — делал их знаменитыми поэтами, писателями, бандитами, революционерами, контрабандистами. В общем, теми, кому не очень-то нравились жесткие рамки законов, чинопочитание и зависимость от «вертикали власти». Одесское вольнолюбие в разное время принимало самые разнообразные формы, от прекрасных до уродливых. От большой литературы и неподражаемого одесского юмора до банд налетчиков и

политического терроризма.

Уже в начале XX века в Одессе действовали радикальные подпольные группы. Русская революция 1905–1907 годов привела к настоящему скачку политического терроризма, с одной стороны, и ответной волне политических репрессий — с другой. Одесса стала настоящим полигоном для акций молодых радикалов — эсеров, анархистов и прочих революционеров. Популярность радикализма была такой, что даже чисто уголовные налеты на банки и лавки проходили иногда под флагом борьбы за свободу и против буржуазии.

Двадцать третьего августа 1907 года группа налетчиков совершила ограбление мучной лавки Сруля Мошкова Ланцберга. Потом она же ограбила квартиру столяра Ландера. Вскоре грабителей арестовали. Одним из них оказался семнадцатилетний Мойша Винницкий, он же — будущий знаменитый Мишка-Япончик. За эти два налета он получил десять лет тюрьмы.

Самое же интересное, что на следствии налетчики заявили, что действовали от имени организации «Молодая воля». По данным одесской полиции, это была самостоятельная организация, которой, однако, помогали эсеры, социал-демократы и еврейская самооборона. Главными своими задачами «Молодая воля» считала борьбу с властью, защищавшими власть черносотенцами и проведение экспроприаций для получения средств на «революционную деятельность».

Уже в ноябре 1905 года в Одессе насчитывалось до десятка анархистских групп. Особый страх у горожан вызывали так называемые «анархисты-безмотивники». Они считали, что нужно наносить удары не только по власти и ее представителям, но и по всем добропорядочным и хорошо одетым людям — «белоручкам». Убийства «богатых» рассматривались как единственный путь к равенству. «Безмотивники» часто просто швыряли бомбы в кафе, рестораны, в праздничную толпу народа или в солдат на параде.

Один из лидеров «безмотивников», Иуда Гроссман-Рощин, заявлял: «В наши ряды надо привлекать не только рабочих, крестьян, но и отбросов, и отщепенцев общества, потому что они наши братья и товарищи!.. Нападайте на магазины и берите предметы первой необходимости! Мы должны бороться с буржуазными законами незаконными средствами!» «Имеет ли значение, в какого буржуя кидать бомбы?» — вторил ему один из руководителей группы «безмотивников» под названием «Черное знамя» Владимир Стрига.

Одесские участники «Черного знамени» проявляли особую активность. 17 декабря 1905 года пятеро «чернознаменцев»

бросили пять бомб в кафе Либмана на Преображенской улице. Это заведение было очень популярным местом среди одесских аристократов и богачей. Но «как можно сидеть в кафе, когда вокруг умирают от голода дети и старики, а рабочие трудятся в поте лица, получая лишь жалкие копейки?» — заявляли анархисты.

Пятерых террористов вскоре задержали, троим из них вынесли смертные приговоры. На суде один из «смертников», столяр Моисей Мец признал, что именно он бросал бомбу, но категорически отказался признать за собой уголовную вину. Буржуазия, заявил Мец, будет, несомненно, танцевать на его могиле, но их, чернознаменцев, акция — это только «первый глоток свежего весеннего воздуха». А будут и другие, которые отбросят «ваши привилегии и вашу ленивую праздность, вашу роскошь и вашу власть». Через две недели Меца казнили. Ему был 21 год. Его товарищам, повешенным вместе с ним, — 18 и 22.

В 1906 году полиция фиксировала в месяц до тридцати нападений на «богачей» и вымогательств денег. В 1906–1907 годах в Одессе предстали перед судом 167 анархистов, 28 из них были казнены.

В 1907 году летучий отряд эсеров убил в Одессе пристава Панасюка, околоточного надзирателя Серакевича, помощника пристава Полянкевича, был ранен взрывом бомбы полицмейстер фон Гесберг. Сообщения из Одессы в русских газетах напоминали сводки боевых действий:

«Сегодня в Одессе произошло столкновение между двумя группами анархистов, именующих себя: одни — „черное знамя“, а другие — просто „анархисты“. Место встречи — контора мельницы Когана, куда первая группа явилась с требованием денег. Одновременно явились и представители другой группы анархистов. Первые бросились бежать. Вторые, преследуя их, тоже скрылись».

«В 10-м часу ночи в центре города два субъекта, преследуя третьего, открыли стрельбу и бросили бомбу, разорвавшуюся со страшной силой. Тяжело ранено десять человек».

«Сегодня на окраине города, в густо населенном доме, в бедной квартире, взорвалась бомба. Тяжело ранены два анархиста, изготовившие снаряд, хозяйка квартиры и мальчик — рассыльный „Петербургского агентства“».

«Вчера вечером на Мещанской улице убит полицейский надзиратель; стрелявшие скрылись. При обыске в ближайших домах обнаружено много нелегальной литературы; много по подозрению задержанных. Вчера вечером около аудитории ранен агент сыскной полиции».

«Воспитанник одесского художественного училища Евгений Шумахер, 18-ти лет, за покушение на „экспроприацию“ в квартире профессора каллиграфии Коссодо и стрельбу в городового приговорен сегодня военным судом к повешению».

Одесские террористы часто придавали своим операциям театрализованный и эффектный характер. Они прятали лица под черными масками и представлялись «народными мстителями» или «благородными разбойниками», набирая потенциальных сторонников в среде люмпенов — босяков, безработных. Откровенно бандитские одесские группировки «Черный ворон» и «Ястреб», совершая налеты на магазины и лавки, не забывали поговорить о борьбе с угнетателями и равноправии.

Полууголовная «Молодая воля» одной из первых начала рассылать богатым горожанам вежливые письма с просьбой пожертвовать деньги на нужды организации. Впрочем, так действовала не только она. Почти такие же записки рассылала купцам, ювелирам и банкирам организация «Маккавеи» — из еврейских подростков. А потом то же самое делал и Мишка-Япончик, но уже не прикрываясь никакой политикой. Союз «Золотая маска» (был и такой!) уведомлял своих потенциальных жертв следующим высокопарным образом: «Великий трибунал союза „Золотая маска“, в конспирации своей постановил поставить вам в известность…»

Надо сказать, что идейные революционеры, в том числе и анархисты, время от времени выражали обеспокоенность, что криминальные группировки, использующие «знамя революции», могут скомпрометировать их идеи и цели. Но… той же «Молодой воле», в которой начинал будущий «король Молдаванки» Мишка-Япончик, на первых порах помогали и эсеры, и социал-демократы, и организаторы отрядов еврейской самообороны. Как заявляли идейные последователи Петра Кропоткина из группы «Хлеб и воля»: «Только враги народа могут быть врагами террора!» А разобраться в оттенках одесских террористических и «партизанских» групп часто было довольно сложно, а то и невозможно. Одесский корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» обреченно восклицал в своем очерке: «Стреляют „анархисты-коммунисты“, „младовольцы“, „маккавеевцы“ и „золотые маски“. Стреляют все, все, но при чем тут я, мирный гражданин?»

К 1908–1909 годам правительство во главе с Петром Столыпиным при помощи жестких мер сумело сбить революционную волну. Тогда-то и стало крылатым выражение «столыпинские галстуки» — то есть виселицы, на которые революционеров и террористов отправляли по приговорам

военно-полевых судов. Валентин Катаев в романе «Хуторок в степи» описал, как за эти «галстучки» пострадал один из самых известных жителей Одессы — куплетист и скрипач Лев Зингерталь, выступавший в синематографе «Биоскоп Реалитэ».

Однажды владелица заведения мадам Валиадис предложила Зингерталю обновить свой репертуар чем-нибудь политическим и подняла цены на билеты. И Зингерталь стал петь частушки с такими словами: «У нашего премьера ужасная манера — на шею людям галстуки цеплять». После этого куплетист в 24 часа «вылетел из города», мадам Валиадис разорилась «на взятки полиции» и «Биоскоп Реалитэ» закрылся.

* * *

Расцвет терроризма в Одессе пришелся на детские годы Блюмкина. Но к началу Первой мировой войны революционное подполье снова оживилось. В городе нелегально действовали кружки и организации анархо-коммунистов, эсеров, социал-демократов.

Возможно, что решающую роль в приобщении Блюмкина к революции сыграла семья. «У Блюмкина есть брат Лев — анархист по убеждениям и одновременно сотрудник буржуазных газет, в том числе „Южной мысли“», — рассказывал знакомый Якова по Одессе Петр Зайцев.

Однако по другим данным, братья Блюмкина Лев и Исай и сестра Роза примыкали к социал-демократам.

Лев Блюмкин, он же Моисей-Лейба Гершов Блюмкин, попадал в поле зрения полиции как минимум дважды. В первый раз — в августе 1904 года. Как свидетельствуют хранящиеся в ГА РФ документы Одесского охранного отделения, полиция нагрянула в одну из квартир дома 14 по Картамышевской улице, где, по ее данным, проходила сходка «рабочих социал-демократической партии под руководством интеллигентов». Сохранились их имена: Янкель Вейсман, 19 лет, Иось Лившиц, Рухля Юдкович, 30 лет, Роза Гойхман, 17 лет, Арон Кельнер, 20 лет, Хана Малкина, 20 лет, Ида Ешпа, 15 лет, Голда Наготович, 19 лет, Хана Корнер и Моисей Ицекзон.

Когда полиция появилась в квартире, один из участников сходки читал стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда», а остальные его слушали. Сыщики начали обыскивать все квартиры дома и кое-что нашли — брошюру «Чего хотят социал-демократы?», листовку «Первое Мая», написанные от руки стихи «Рабочая Марсельеза». Во время переписи

собравшихся Моисей Ицекзон назвался жителем дома 34 по Малой Арнаутской улице. Но полиция быстро установила, что эти данные — «липа».

Установила она и подлинное имя «Ицекзона» — им оказался «сосницкий мещанин Мойше-Лейба Блюмкин», проживавший по адресу: Госпитальная улица, 44, в квартире мещанки Бейлы Борщик. При обыске квартиры в сундуке были найдены: два номера газеты «Искра», прокламация «Доклад о 11 очередном съезде и положении дел в партии», прокламация «Чего хотят социал-демократы?» и 1200 экземпляров новейшей прокламации «Ко всем рабочим и работницам г. Одессы» Одесского комитета РСДРП.

Именно тогда Лев Блюмкин рассказал о своей семье и о том, что он сам недавно приехал в Одессу и собирался держать экзамен в 7-й класс гимназии. Но здесь он, скорее всего, приврал. Из документов известно, что в Одессе он жил уже по крайней мере семь лет — со времени переписи.

Интересно, что из одиннадцати арестованных по этому делу Лев Блюмкин получил больше всех — три месяца тюрьмы. 29 октября 1904 года он был выпущен и «отдан под особый надзор полиции в г. Одессе», так как «сведения о степени виновности Блюмкина собраны, то в дальнейшем его содержании под стражей надобности нет».

Были проблемы с законом и у Розы Блюмкиной. В марте того же 1904 года агенты полиции сообщили, что 20 марта «в доме номер 34, кв. 2, по Старо-Сенной площади состоится собрание молодежи в значительном количестве, с платой за вход по 30 коп. и за хранение вещей по 10 коп. Собранные таким путем деньги предназначены для передачи в одесский комитет РСДРП».

Поэтому, говорилось в отчете Департамента полиции, «в указанную квартиру, занимаемую женой сосницкого мещанина Хаей-Лившей Блюмкиной, были командированы чины полиции, которые застали там 63 человека, поименованных в предоставляемом при сем списке.

Произведенными личными осмотрами у собравшихся, а равно и у хозяев квартиры ничего преступного не обнаружено, почему собравшиеся были переписаны и отпущены…

Опрошенная квартирохозяйка Блюмкина объяснила, что вечер этот ею был устроен будто бы по случаю праздника еврейской пасхи и именин ее дочери Розы, 19 лет, и что на этот вечер ею было приглашено до 25 человек знакомых, а последние будто бы привели своих знакомых, из числа которых она многих не знает совсем».

Квартирохозяйку — мать Блюмкина — подвергли

административному взысканию, а остальных участников сходки отпустили… «за недостатком мест заключения». И это несмотря на то, что против Розы имелись улики — сыщики еще раньше перехватили ее письмо в Лозанну к некой Соне, в котором говорилось:

«Студент арестован, Т-я тоже. При ней найдена масса прокламаций и ей не миновать Азии. Я с ней поддерживаю переписку в тюрьме.

Твою телеграмму я передала в тюрьму и твой триумф вызвал там манифестацию… Высылай литературу на тот же адрес. Твоя Роза».

Это письмо явно указывало на то, чем именно занималась сестра нашего главного героя. Но тем не менее ее не тронули. Да, царской охранке было очень далеко до ЧК, в которой потом будет служить младший брат Розы. Для людей с «холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками» такой улики хватило бы на то, чтобы ее попросту «вывести в расход».

Наконец, Лев Блюмкин задерживался полицией еще раз, 26 марта 1905 года. Тогда около двухсот рабочих вышли проводить умершего рабочего завода Арпса. Проводы превратились в «несанкционированный митинг», часть участников которого задержали. Среди них был и Блюмкин-старший. У него обнаружили почти все те же революционные брошюры и прокламации, которые находили раньше. В его квартире полицейские изъяли принадлежавший отцу Блюмкина револьвер и 42 патрона к нему. На некоторое время Лев Блюмкин снова оказался за решеткой.

* * *

Несомненно, что братья и сестра поощряли интерес своего младшего брата к революционным идеям. Он неоднократно задавал им вопросы о том, почему всё в России устроено именно так, как устроено, почему есть богатые и бедные и как это изменить.

Но Блюмкина социал-демократические теории, судя по всему, не устраивали. Тогда многим представителям революционной молодежи они казались слишком уж умеренными и «книжными». Их тянуло к «прямому действию», к революции «здесь и сейчас». Одессит Валентин Катаев, похоже, знавший Блюмкина уже позже, в Москве, и наверняка слушавший его рассказы о юности, много лет спустя вывел его под именем Наума Бесстрашного в повести «Уже написан Вертер»: «До революции он был нищим подростком,

служившим в книжном магазине, где среди бумажной пыли, по ночам, при свете огарка, в подвале запоем читал исторические романы и бредил гильотиной и Робеспьером».

Итак, старшие братья и сестра, чтение по ночам, тяжелые условия жизни, старшие товарищи — весь этот «коктейль» и повлиял на то, что Блюмкин в конце концов тоже попал в среду революционеров.

О том, как именно это произошло, — точно неизвестно. История приобщения Блюмкина к революции весьма запутанна.

В архивах сохранилась справка Департамента полиции о том, что 17 декабря 1915 года под наружное наблюдение попал одесский учащийся технического училища Симха-Янкель Гершев Блюмкин. Его подозревали в связях с группой анархо-коммунистов. В справке указывается, что Блюмкину на тот момент было 17 лет. На самом деле — всего 15.

Но в автобиографии 1929 года сам Блюмкин писал, что после того, как не смог из-за отсутствия денег поступить в техническое училище и «с горечью это намерение оставил», связался «с эсеровскими гимназистами и студенческими кружками (кружок Вишневского и Лернера)». Однако в 1921 году, в другой автобиографии, отмечал, что уже с 1914 года состоял в Партии социалистов-революционеров, то есть эсеров.

В некоторых современных публикациях о Блюмкине говорится, что в партию он вступил под влиянием одесского эсера Валерия Михайловича Кудельского, известного также под псевдонимами «Горожанин» и «товарищ Гамбург».

Кудельский был человеком с очень интересной биографией. В будущем он станет большевиком, сотрудником Одесской ГубЧК и сделает успешную карьеру в органах госбезопасности. Кудельский дослужится до должности заместителя начальника внешней разведки НКВД и звания старшего майора госбезопасности (генерал-майора).

Как и Блюмкин, Кудельский-Горожанин обожал литературу и сочинительство. Дружил с Маяковским. Вместе они даже написали киносценарий «Инженер д'Арси» — о том, как англичане в начале XX века захватывали персидскую нефть. Горожанин подарил Маяковскому маузер, а Маяковский посвятил ему стихотворение «Солдаты Дзержинского», написанное осенью 1927 года к десятилетию ЧК:

Есть твердолобые
вокруг
и внутри —
зорче

и в оба,
чекист,
смотри!
Мы стоим
с врагом
о скулу скула́,
и смерть стоит,
ожидает жатвы.
ГПУ —
это нашей диктатуры кулак
сжатый.

Еще раньше Горожанин прославился книгой «Анатоль Франс и Ватикан» — о том, как и почему Святой престол запретил сочинения писателя. Об этой книге писателя-чекиста очень тепло отозвался Горький. Он даже послал ее Сталину с рекомендацией непременно прочитать. Сталин прочитал и на полях одной из глав написал: «Лучшее, что было сделано до сей поры об Анатоле Франсе. И. Сталин». Но этот отзыв не спас «товарища Гамбурга». Он был арестован, а в августе 1938 года расстрелян по обвинению в антисоветском заговоре.

Однако мы слишком забежали вперед.

Мог ли именно Кудельский привлечь Блюмкина к работе в партии эсеров? Сопоставление известных данных их биографий заставляет сомневаться в этом. Еще в 1912 году Кудельский был арестован за революционную деятельность. Сначала он сидел в тюрьме — по некоторым данным, в одной камере с легендарным Григорием Котовским, а в 1913–1914 годах отбывал ссылку в Вологодской губернии. Затем уехал в Париж, там сблизился с большевиками и вернулся в Одессу после Февральской революции 1917 года. То есть когда Блюмкин «приобщался к революции», «товарищ Гамбург» находился либо в тюрьме, либо в ссылке, либо в эмиграции.

Но путаница продолжается. Одесский знакомый Блюмкина эсер-максималист Петр Зайцев категорически утверждал, что «до революции Блюмкин никакого участия в политической борьбе не принимал — это мне известно абсолютно точно». Так ли это? Скорее всего, Зайцеву здесь верить нельзя — он либо заблуждался, либо сознательно говорил неправду. Почему — об этом речь пойдет ниже.

Слова Зайцева опровергают сведения из архива Департамента полиции Одессы, по которым он попал на учет из-за подозрений в связях с группой одесских анархо-коммунистов. Это, кстати, было

серьезно. Анархисты не без оснований считались потенциальными террористами, поэтому «подозрения» вполне могли закончиться тюрьмой. Однако Блюмкину почему-то повезло.

Итак, то ли эсер, то ли анархо-коммунист… Вероятно, его революционные убеждения были скорее стихийными, нежели основанными на знакомстве с трудами народников, анархистов или марксистов. Хотя сам Блюмкин отмечал, что он все эти годы «занимался запойным чтением, саморазвитием, посещал лекции и т. д.». Куда бы его завела эта дорожка? Сказать сложно. Всё в его жизни изменила Февральская революция 1917 года.

«РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ПОДОБНО ХРИСТУ…»

«Я работал как эсер левого крыла…» «Железный отряд»

«Февральская революция застала меня в Одессе, когда мне было 17 лет, — вспоминал Блюмкин. — Я принял в ней участие как агитатор первого Совета рабочих депутатов, выступая на различных предприятиях с агитацией за присоединение к революции и посылку депутатов в Совет».

Когда весть об отречении царя дошла до Одессы, в городе стали стихийно возникать митинги и демонстрации. Самая большая в истории Одессы демонстрация началась на Соборной площади, а закончилась на Преображенской улице, где находился полицейский участок. Демонстранты требовали освободить политических заключенных. На следующий день их действительно начали выпускать. Причем не только политических. Тогда на свободу вышел и знаменитый Мойше Винницкий, он же Михаил Винницкий, вошедший в историю Одессы под кличкой Мишка-Японец или Япончик. С ним мы еще встретимся.

Весна 1917 года была в России бурной, а в Одессе — бурной вдвойне. Газеты чуть ли не каждый день выдавали сенсации как местного, так и всероссийского масштаба. 12 апреля «Одесские новости» писали:

«Возвращаясь с проводов маршевых рот, группа манифестантов-солдат и матросов подошла к памятнику Екатерине II. Один из матросов взобрался на верхушку статуи и заменил красную материю, которой статуя была покрыта два дня назад, джутовым мешком… На пьедестале памятника другим матросом мелом были сделаны надписи „Позор России“, „Ярые кровососы русского народа“ и пр. Совет Рабочих Депутатов решил обшить памятник Екатерине II досками в связи с частыми случаями различных скоплений вокруг памятника и выходками отдельных демонстрантов. В настоящее время даже решается вопрос о снятии памятника и передаче его на хранение в соответствующее учреждение».

Вскоре та же газета порадовала публику более сенсационным сообщением:

«Вчера по городу распространились слухи об аресте в Одессе Ленина. Из милиции нам сообщили, что еще утром вчерашнего дня распространился слух, что в одном из домов свиданий на улице Петра Великого был арестован подозрительный субъект. Одни говорили, что это арестован Ленин, а другие — что это

„подложный“ Ленин».

Мы-то сегодня точно знаем, что тот Ленин из одесского дома свиданий точно был «подложным».

Весной 1917-го Блюмкин пробыл в Одессе недолго. «В этот момент в Соснице Черниговской губернии умер мой дед, оставивший мне, как самому младшему внуку, наследство в триста рублей, — вспоминал Блюмкин. — Я поехал в Сосницу, получил дедовское наследство и с ним поехал в Харьков, где поступил на службу в качестве конторского мальчика в торговый дом Гольдмана и Чапко».

В Харькове, пишет Блюмкин, он начал работать как «эсер левого крыла».

Партия социалистов-революционеров (ПСР) весной 1917 года была крупнейшей политической партией в России. По некоторым оценкам, ее численность составляла более 500 тысяч человек (для сравнения: в партии меньшевиков тогда насчитывалось около 50 тысяч, а в партии большевиков — 24 тысячи человек), а к лету уже подбиралась к миллиону. Популярность эсеров была огромна — их особенно поддерживали в деревнях и русской провинции. В партию иногда вступали даже целыми деревнями, полками и фабриками.

Главная партийная газета «Дело народа» печаталась тиражом до трехсот тысяч экземпляров. Всего же в 1917 году издавалось более сотни различных эсеровских газет и журналов.

Однако эсеры не были единой и монолитной силой. Внутри партии бурлили такие же сложные процессы, как и во всей стране. По сути партия состояла из трех течений — правое, «центр» и левое. Левое крыло ПСР начало оформляться после Февральской революции. Если по вопросу войны с Германией руководство партии придерживалось позиции «оборончества», а также выступало за сотрудничество с Временным правительством, то левые требовали осудить войну как империалистическую и выйти из нее, прекратить поддержку «буржуазного» Временного правительства, немедленно начать передачу земли крестьянам.

Разногласия между правыми и левыми эсерами со временем все более обострялись. В октябре 1917-го оба крыла партии разошлись окончательно. Левые эсеры активно участвовали в вооруженном восстании и поддержали большевиков на II Всероссийском съезде Советов, который провозгласил установление советской власти. Правые же эсеры с этого съезда ушли, Октябрьский переворот категорически осудили, а 27 октября все оставшиеся на съезде были исключены из Партии социалистов-революционеров.

В декабре 1917 года левые образовали собственную партию

— Партию левых социалистов-революционеров (ПЛСР). Ее лидерами стали известная русская революционерка Мария Спиридонова, а также Борис Камков, Прош Прошьян, Исаак Штейнберг, Андрей Колегаев и др.

Однако в провинции раскол начался гораздо раньше — еще весной. И, кстати, одними из первых пошли на него харьковские социалисты-революционеры. В апреле — мае 1917 года раскололись эсеровские организации в Астрахани, Нижнем Новгороде, Одессе, Смоленске.

В Харькове Блюмкин сразу попал к левым эсерам. До августа он оставался в этом городе. Затем перебрался на Волгу, сначала в Симбирск, потом в небольшой городок Алатырь. Зачем? Скорее всего, потому, что впереди были выборы в Учредительное собрание и различные партийные агитаторы колесили по всей стране, в их числе и Блюмкин.

И снова дадим слово недружественному по отношению к нему Петру Зайцеву (что же делать, если он оставил хоть какие-то свидетельства об этом периоде его жизни). В августе или сентябре 1917 года Зайцев встретил на одесской улице Льва Блюмкина и, разумеется, начал его расспрашивать о Якове. «Лев сказал мне, махнув рукой: „Поехал в Сибирь от народных социалистов агитировать за Учредительное собрание“ — это подлинное его выражение», — рассказывал Зайцев.

В этом месте надо сделать небольшое пояснение. Народные социалисты, энесы или Трудовая народно-социалистическая партия считалась самой правой среди всех российских социалистических групп. Дальше уже шли кадеты и прочие явные контрреволюционеры. Так что агитация за народных социалистов с точки зрения 1918 года, когда Зайцев рассказывал об этом эпизоде, совсем не красила Блюмкина-революционера, которым он себя всегда представлял. Но оговоримся — об этом известно только со слов Зайцева.

Видимо, в качестве агитатора Блюмкин все же пользовался успехом. Недаром его избирали членом Симбирского, а потом и Алатырского Советов крестьянских депутатов. Октябрьская революция застала его в Самаре. «Вскоре я уехал в Одессу, тянуло к родным», — напишет он в автобиографии 12 лет спустя.

* * *

Конец 1917 года, когда Блюмкин возвращался в Одессу, был для России тяжелым. После того как власть в Петрограде и Москве захватили большевики, страна неуклонно погружалась в

Гражданскую войну. В городах, губерниях и уездах возникали революционные и контрреволюционные правительства. Национальные окраины объявляли о своей автономии или независимости. Огромная и, казалось бы, недавно единая страна рушилась буквально на глазах.

Двадцать седьмого октября Ленин подписал декрет о выборах во Всероссийское Учредительное собрание. Идея Учредительного собрания как высшего органа власти была настолько популярна в народе, что правительство большевиков никак не могло ее проигнорировать. Весь 1917 год большевики горячо поддерживали эту идею и обвиняли Временное правительство в том, что оно всячески оттягивает выборы. Кстати говоря, и само советское правительство — Совет народных комиссаров (Совнарком) — считалось временным, то есть до созыва Учредительного собрания. Потом об этом как-то забыли.

Выборы в Учредительное собрание состоялись 12 ноября 1917 года, и победу на них одержали эсеры.

Пятого января 1918 года в Петрограде по манифестации в поддержку Учредительного собрания красногвардейцы и солдаты открыли огонь. Погиб 21 человек. В тот же день была расстреляна такая же демонстрация в Москве. Там погибли около 50 человек.

Под эти залпы депутаты собрались в Таврическом дворце. Он заранее был окружен красногвардейцами и латышскими стрелками. Чтобы попасть внутрь, нужно было пройти три кордона. А в самом зале были вооруженные матросы. «Матросы важно и чинно разгуливали по залам, держа ружья на левом плече», — вспоминал управделами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич. Кстати, этих матросов с крейсера «Аврора» и броненосца «Республика» он отбирал лично. Отобрал 200 человек. Ими командовал анархист Анатолий Железняков — известный потом как «матрос Железняк».

Во дворец приехал и Ленин. Его провели в зал чуть ли не тайно. Большевики и левые эсеры заранее договорились, что если Учредительное собрание не признает советскую власть, то его нужно ликвидировать. А Ленин совершенно справедливо полагал, что оно этой власти не признает никогда.

Так что прозаседали депутаты недолго. В зале творилось что-то невообразимое. Большевики, левые эсеры и сочувствующая им публика устроили настоящую обструкцию. Расслышать ораторов можно было лишь с большим трудом. Ленин то и дело начинал хохотать в правительственной ложе. «Мы собрались в этот день на заседание как в театр», — вспоминал левый эсер Сергей Мстиславский.

Затем большевики и левые эсеры ушли из зала в знак

протеста против того, что Собрание не желает одобрять декреты новой власти. Оставшиеся депутаты пытались работать еще несколько часов. Матросы их торопили, грозили потушить свет. Наконец, около пяти утра «матрос Железняк» взошел на трибуну и произнес свою историческую фразу: «Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседаний, потому что караул устал». После этого депутаты разошлись, а когда попытались собраться вечером того же дня, то обнаружили, что Таврический дворец заперт на замок, а у входа в него стоят пулеметы и вооруженные красногвардейцы.

Восемнадцатого января советское правительство — Совет народных комиссаров — выпустило декрет, предписывающий устранить из действующих законов все ссылки на Учредительное собрание. Когда Ленину рассказали о том, как закрывали «учредилку» (поприсутствовав на открытии Собрания, потом он ушел из дворца вместе со всей большевистской фракцией), он смеялся «долго, повторял про себя слова рассказчика и все смеялся, смеялся. Весело, заразительно, до слез. Хохотал».

Разгон «учредилки» во многом стал катализатором начала Гражданской войны и распада страны. На Украине еще в апреле 1917 года высшим законодательным органом провозгласила себя так называемая «Центральная рада». После 25 октября 1917 года Рада провозгласила Украинскую народную республику, связанную с Россией федеративными отношениями, но после разгона Учредительного собрания объявила Украину независимым государством.

Все это имеет самое непосредственное отношение к нашему дальнейшему повествованию.

О том, что происходило в Одессе в октябре 1917 года, позже вспоминал известный советский художник и журналист Яков Биленкин-Бельский: «Власти в городе нет. Бродят по улицам стайки бежавшего с фронта офицерства. Где-то заседает никому не нужная демократическая дума. За вокзалом шатаются пьяные гайдамаки. На Пересыпи идут митинги. Бухают одиночные выстрелы. Испуганный обыватель носа не кажет. Движутся одиночные красногвардейцы… Искоса поглядывают друг на друга прохожие, друг друга боятся, никому не верят… В двери Одессы стучится Красный Октябрь».

Двадцать седьмого октября 1917 года репортер «Одесских новостей» отмечал: «В течение вчерашнего дня наблюдалось в связи с событиями в Петрограде большое оживление на всех улицах. Телеграммы брались нарасхват и читались целыми группами, причем происходит оживленный обмен мнениями по поводу того, лучше или хуже станет от перехода власти к

большевикам. В итоге большинство выразило желание, чтобы „все это прошло, и кончилась эта невыносимая война“».

Одесса, куда вскоре после Октябрьского переворота в Петрограде, отправился Блюмкин, в декабре 1917 года была провозглашена «Вольным городом». Но Центральная рада объявила Одессу частью независимой Украины. В ответ на это 13 января в городе началось восстание сторонников советской власти. 18 января, после пятидневных уличных боев, была провозглашена Одесская Советская республика. Одесситы откликнулись на это историческое событие анекдотом: «Одесса. Революция. Стук в дверь квартиры. Открывает женщина, на пороге два террориста. „Мы у вас в окне поставим пулемет“. — „Ставьте хоть пушку, но что скажут люди? У меня взрослая дочь, а из окна стреляют совершенно незнакомые мужчины!“».

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Одесса вступала в один из самых страшных периодов своей истории. За три года революции и Гражданской войны власть в городе менялась около пятнадцати раз. Большевики, немцы, австрийцы, белогвардейцы, украинские националисты, иностранные интервенты, атаманы — «все побывали тут». Погибли тысячи жителей города, а многие навсегда покинули его. Но это всё было потом.

* * *

Блюмкин вернулся в Одессу в конце 1917-го или начале 1918 года. «В Одессе в самом начале 18-го я вступил добровольно в „железный отряд“ при штабе 3-й армии, сначала Румфронта, затем Украинского фронта», — вспоминал он.

Этот самый «1-й добровольческий революционный железный отряд» формировался из матросов, портовых рабочих, анархистов, левых эсеров. Часто встречаются утверждения, что Блюмкин и был одним из тех, кто его формировал. Однако никаких документальных подтверждений этого нет. Более того, пишут, что вместе с Блюмкиным «Железный отряд» организовывал и Мишка-Япончик, и даже утверждают, будто Блюмкин и Япончик были хорошо знакомы и чуть ли не дружили. Насколько это соответствует действительности?

Не раз уже упоминавшийся Япончик носил гордое звание «короля Молдаванки» — в этом одесском районе вам и сейчас покажут его дом. В феврале 1917 года его освободили из одесской тюрьмы. Тогда на свободу вышли 1600 человек — не только политических заключенных, но и уголовников. Винницкий-

Япончик просидел за решеткой почти десять лет за участие в ограблении с убийством. Так что до выхода из тюрьмы дружить с Блюмкиным он просто не мог — когда семнадцатилетнего Винницкого посадили, Янкелю, или Яше едва-едва исполнилось семь лет.

Если они и могли познакомиться, то только в конце 1917-го — начале 1918 года, когда Блюмкин приехал в Одессу с Волги. В это время Япончик входил в пору своего «расцвета». Он даже объявил о создании «независимой Молдаванской республики» — на Молдаванке. Помимо своего основного бизнеса — вооруженных налетов на банки, богатые магазины, кассы различных предприятий — «король Молдаванки» создавал еще отряды самообороны. А поскольку большинство «бойцов» из этих отрядов были евреи, то, как полагают некоторые одесские историки, это сыграло важную роль в том, что еврейских погромов в городе в тот период не было. С «армией» Япончика предпочитали лишний раз не связываться.

Газеты даже печатали обращения к его людям. Вот одно из них: «К товарищам ворам и налетчикам! В субботу, 23 февраля, в зале Гарнизонного собрания мы, безработные артисты при союзе безработной трудовой интеллигенции, устраиваем спектакль-кабаре. Не имея возможности угрожать вам репрессиями, но желая предоставить гражданам безопасное посещение нашего спектакля, взываем к вашей чести и просим принять меры, дабы эта ночь прошла без эксцессов. Группа безработных артистов».

Япончик действительно пообещал грабить «только буржуазию и офицеров». «Белогвардейцев он не любил», — заметил в воспоминаниях хорошо знавший «короля» Леонид Утесов. В январе 1918 года «самооборона» Япончика участвовала в уличных боях вместе с большевиками, анархистами и левыми эсерами.

Блюмкин, конечно, не мог не знать, кто такой Мишка-Япончик. Знал ли о Блюмкине «король» одесских налетчиков? Мог знать, но сведений об их общении пока не обнаружено. Есть версия, что «бойцы молдаванской самообороны» тоже вступали в «Железный отряд». Это вполне вероятно. Но никаких документальных данных о том, что Япончик также формировал его, нет. Скорее всего, это просто миф.

Будущий «бесстрашный террорист» Блюмкин на этот раз пробыл в городе «у Черного моря» максимум два месяца — пока существовала Одесская Советская республика. Так что если они и могли познакомиться с Япончиком, то только шапочно. Для более тесных отношений у них просто не было времени[5].

Командующим войсками Одесской Советской республики был назначен Михаил Муравьев — человек яркий и энергичный.

Кадровый офицер русской армии, не раз раненный, получивший несколько орденов и дослужившийся до подполковника, Муравьев сразу же встал на сторону советской власти. В феврале 1918 года красные части под его командованием взяли Киев. Это первое и недолгое пребывание красных в Киеве запомнилось террором, который даже вошел в историю под названием «муравьевского».

Муравьев писал в одном из своих воззваний: «Мы идем огнем и мечом устанавливать Советскую власть. Я занял город, бил по дворцам и церквям… бил, никому не давая пощады! 28 января Дума (Киева) просила перемирия. В ответ я приказал душить их газами. Сотни генералов, а может, и тысячи, были безжалостно убиты… Так мы мстили. Мы могли остановить гнев мести, однако мы не делали этого, потому что наш лозунг — быть беспощадными!»

Затем Муравьев оказался в Одессе. Здесь он сразу «прославился» тем же — террором. Фактически он был диктатором Одессы и подчинялся только Ленину. Одесская Советская республика вела войну с румынами, австро-венграми, украинцами и белыми. Для войны требовались деньги. Муравьев потребовал от местной буржуазии «положить в Государственный банк десять миллионов на мое имя»…

Иначе, заявлял он: «Черноморский флот мною сосредоточен, и я вам говорю, что от ваших дворцов ничего не останется, если вы не придете мне на помощь! С камнем на шее я утоплю вас в воде и отдам семьи ваши на растерзание… Дайте немного денег… Я знаю этот город. Деньги есть».

Несмотря на весь трагизм ситуации, одесситы оставались одесситами. Они заключали пари на крупные суммы — о том, сколько продержатся Советы (такое же происходило позже и при других властях). Остался в истории и такой курьез. Депутация содержателей публичных домов со Средней улицы явилась в Одесский Совет рабочих депутатов. Депутация просила за определенные льготы членам Совета «предоставления патрулей к их заведениям для ограждения сих последних от возможных со стороны клиентов эксцессов». Предложение, впрочем, не приняли.

Муравьев с возмущением сообщал Ленину, что одесситы не испытывают восторга от советской власти и его правления. «Отношение к делу очень холодное — специфически одесское», — писал он. А сам Муравьев обещал не сдавать город врагу:

«Русская революция, подобно Христу, появилась с Востока. На нее смотрит весь мир. Мы — Мессия, мы — Христос, от которого ждет спасения мировой пролетариат. Я Одессу ни за что не отдам! Я не оставлю камня на камне в этом прекрасном городе. В

пепелище я превращу это великолепное здание театра… Да здравствует всеобщий бунт, всеобщий мятеж!»

О том, был ли Блюмкин знаком с Муравьевым, — тоже доподлинно неизвестно. Но точно известно, что он знал начальника его штаба, так как им стал Петр Зайцев — тот самый одесский знакомый Блюмкина и эсер-максималист, чей рассказ о детских годах будущего террориста мы приводили выше. У Зайцева была громкая партийная кличка — «Цезарь». Он вспоминал, что как-то Блюмкин сказал ему о своем намерении уехать за границу, чтобы изучать там историю, философию и литературу. Но за границу он поедет совсем по другим делам.

Их общим приятелем был поэт-футурист Борис Черкунов — тоже «максималист». Одно время он служил комиссаром в отряде уже знакомого нам анархиста Анатолия Железнякова — «матроса Железняка», разогнавшего в январе 1918 года Учредительное собрание своим знаменитым «Караул устал!». Отряд Железнякова воевал под Одессой против румын. С этими людьми мы еще встретимся по ходу повествования.

Наконец, судя по некоторым данным, именно в Одессе Блюмкин познакомился с Николаем Андреевым — с ним через полгода он пойдет убивать германского посла в Москве.

Итак, Блюмкин вступил в «Железный отряд». Нет никаких сведений о том, что он с самого начала находился в нем на каких-либо командных должностях. Но, видимо, проявил себя Блюмкин неплохо. «Вскоре был избран, тогда еще на юге существовало выборное начало, на командира этого отряда», — вспоминал он.

«Железный отряд» входил в состав Особой революционной Одесской армии (ею командовал левый эсер и бывший царский офицер Петр Лазарев), а позже — в состав 3-й Украинской армии. Армия вела бои против румын, войск Центральной рады, гайдамаков, австро-венгров. Интересно отметить, что конной группой армии командовал легендарный налетчик и красный командир Григорий Котовский, а одним из ее отрядов — матрос Железняков. Он, в частности, руководил в марте 1918 года обороной города Бирзула от австро-венгерских войск. Так что «концентрация» личностей, сыгравших в истории русской революции заметную роль, была в то время в Одессе весьма высокой.

Одесская Советская республика просуществовала до начала марта 1918 года. Ее заняли вошедшие на Украину германские и австро-венгерские войска[6]. Советские руководители спешно эвакуировались на кораблях Черноморского флота в Крым. Перед отступлением Муравьев отдал приказ: «Сравнять с лица земли буржуазные кварталы города артиллерийским огнем, оставив

только великолепное здание пролетарского Оперного театра». Правда, приказ, к счастью, так и не выполнили.

Оккупация Одессы, казалось, вернула «старорежимные порядки». Вездесущие «Одесские новости» вскоре после вступления в город австрийцев и немцев сообщали: «Группа пожарных, выполняя распоряжение своего начальства, 14 марта, утром, при громадных толпах народа сняла брезент, прикрывавший с первых дней революции памятник Екатерине II. Этот факт вчера служил темой бесконечных толков и разговоров».

Муравьев возмущенно писал в Москву, что в сдаче Одессы виноваты рабочие, «резко выступавшие против советской власти под лозунгом Учредительного собрания. Защитить Одессу стало невозможно. Город дал всего 500 красногвардейцев, в то время как в городе 120 тысяч мужчин-пролетариев». Вместе с советскими войсками из Одессы эвакуировался и Яков Блюмкин.

«С этой армией я проделал поход…» Брестский мир и «славянские миллионы»

Оставим на время нашего героя. Приходится это делать — ведь его жизнь во многом зависела от тех поистине исторических событий, которые происходили за сотни километров от тех мест, где он находился весной 1918 года. Более того, вернемся немного назад, так как события в Одессе стали во многом следствием того, что случилось в предыдущие месяцы.

В декабре 1917 года союз между большевиками и левыми эсерами оформился окончательно — после некоторых колебаний семь представителей ПЛСР вошли в Совнарком, возглавив, в частности, наркоматы земледелия, юстиции, почт и телеграфов. Однако «медовый месяц» в их отношениях оказался коротким.

В том же декабре начались переговоры о перемирии, а потом и о мире между Советской Россией и Германией, Австро-Венгрией и их союзниками. Местом для переговоров был избран Брест-Литовск.

Мир нужен был обеим сторонам. При этом стороны не питали никаких иллюзий относительно друг друга. Большевики и левые эсеры с нетерпением ожидали революции в Германии. По их представлениям, она должна была начаться очень скоро и послужить началом «Мировой Социалистической Революции». В надежде на скорую революцию Ленин дал указание всячески затягивать переговоры.

Несмотря на то что немцы поспособствовали приезду Ленина и его соратников в «пломбированном вагоне» в Россию и, как часто говорят, помогли им деньгами, в Берлине и в Вене прекрасно понимали, что представляет из себя большевизм. «Несомненно, — писал министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Отто Чернин, — что этот русский большевизм представляет европейскую опасность». Он считал, что лучше было бы вообще «не разговаривать с этими людьми», а «идти на Петроград и восстановить там порядок». Но для этого у Германии и Австро-Венгрии уже не было сил. Чтобы продолжать воевать на Западном фронте, им нужен был мир на Восточном. Приходилось вести переговоры с большевиками.

Советская делегация предложила такой вариант: Россия отводит свои войска из занятых ею территорий, принадлежавших до войны Австро-Венгрии, Турции и Персии, а Германия и ее союзники выводят войска из Польши, Литвы и других областей, входивших прежде в состав Российской империи. Но немцы и

австрийцы на это не согласились и в свою очередь потребовали признать независимость Польши, Литвы, Курляндии, части Лифляндии и Эстляндии (эти территории были заняты немцами, и выводить оттуда войска они не собирались). Кроме того, они заявили, что будут вести отдельные переговоры с представителями Центральной рады. Условия для советской стороны были явно неприемлемыми. Многие большевики, а также представители других партий, поддержавших советскую власть, выступили с призывами начать «революционную войну» с Германией.

В советском лагере по вопросу о заключении мира шла упорная борьба. Ленин требовал от своих товарищей по ЦК немедленно подписать мирный договор, утверждая, что в противном случае русская революция погибнет. Он убеждал других руководителей большевиков: «Для революционной войны нужна армия, а у нас армии нет… Несомненно, мир, который мы вынуждены заключать сейчас, — мир похабный, но если начнется война, то наше правительство будет сметено и мир будет заключен другим правительством».

Положение «вождя мирового пролетариата» было очень тяжелым. Против мира на германских условиях выступала группа «левых коммунистов» — Бухарин, Бубнов, Крестинский, Дзержинский, Урицкий, Иоффе, Подвойский, Крыленко и др. Они были готовы к «революционной войне» с Германией. Аргументы вождя не убеждали их.

Особняком стоял народный комиссар иностранных дел Лев Троцкий, предложивший прекратить войну, мира не подписывать, а армию распустить. Он надеялся, что немцы не смогут наступать, а пока будет сохраняться эта неопределенная ситуация, в Германии вспыхнет революция.

«Левых коммунистов» и Троцкого в руководстве партии поддерживало большинство, и казалось, что именно их линия одержит победу.

При этом немцев и их союзников категорически не устраивало затягивание переговорного процесса. Стоявшие без дела армии стремительно разлагались. Положение в этих странах тоже было сложным — начинались забастовки и демонстрации с требованиями «хлеба и мира».

Пока большевики затягивали переговоры, немцы и австрийцы нанесли «асимметричный» и тяжелый удар — они заключили мир с украинской Центральной радой. В обмен на признание своей независимости и военную помощь против советских войск Украина обязалась поставить Германии и Австро-Венгрии до 31 июля 1918 года миллион тонн зерна, 400 миллионов яиц, до 50

тысяч тонн мяса рогатого скота, сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и пр.

Советская тактика затягивания и проволочек, а вместе с тем — открытых призывов к германским рабочим начать революцию, переполнила чашу терпения немцев. К тому же они якобы перехватили воззвание руководителя советской делегации Троцкого с призывами к германским солдатам «убить кайзера и генералов и побрататься с советскими войсками». Германия объявила ультиматум — немедленно принять ее условия мира.

Советская делегация демонстративно покинула Брест. Перед отъездом Троцкий объявил: Россия из войны выходит, мира не подписывает, а в армии объявляет демобилизацию. Действительно — приказы о прекращении военных действий были направлены из Петрограда на все фронты.

Линию Троцкого поддержали многие крупные Советы, партийные организации большевиков и левых эсеров. Они считали, что немцы не смогут начать наступление, а вместе с этим русским революционерам не придется «марать руки» и заключать с ними унизительный мир. Но они, как и сам Троцкий, сильно ошибались.

Немцы начали наступление. Были заняты Двинск, Псков, Ревель, Борисов, 21 февраля немецкие войска вошли в Киев, а 1 марта — в Гомель, Чернигов и Могилев. За пять дней немецкие и австрийские войска продвинулись вглубь российской территории на 200–300 километров. Петроград был объявлен на осадном положении, а затем столицу вообще решили перенести в Москву.

Двадцать второго февраля Совнарком выпустил декрет «Социалистическое Отечество в опасности!» и объявил массовый набор в Красную армию. В тот же день Троцкий, взяв на себя ответственность за провал переговоров, подал в отставку с поста наркома. Его сменил Георгий Чичерин.

Отряды Красной армии не могли сдержать немцев. Иногда отступление превращалось в настоящее бегство. 23 февраля из-под Нарвы сбежал отряд моряков, которым командовал нарком по морским делам Павел Дыбенко. Этот случай наделал много шума — матросы Дыбенко побежали уже при первых выстрелах с немецкой стороны. Остановились они только через 120 километров в Гатчине. Там захватили эшелон и покатили по стране. Отряд нашли только несколько недель спустя — в Самаре. Дыбенко хотели расстрелять, но потом скандал все же замяли.

* * *

То, что происходило 23 и 24 февраля 1918 года, достойно отдельного описания. По уровню драматизма и накалу страстей эти два дня, пожалуй, не уступали октябрьским дням 1917 года. Да и по последствиям для истории страны тоже.

Ленин еще раньше направил в Берлин телеграмму о готовности немедленно подписать мир. 23 февраля в Петрограде был получен новый ультиматум Германии. Условия для заключения мира выдвигались еще более тяжелые. Россия должна была заключить мир с Украиной, вывести войска с Украины и из Финляндии, немедленно демобилизовать армию, включая и вновь образованные части, отвести свой флот в Черном и Балтийском морях и в Северном Ледовитом океане в российские порты и разоружить его. России предстояло выплатить шесть миллиардов марок репараций и еще убытки, понесенные Германией в ходе русской революции, — 500 миллионов золотых рублей. Кроме того, советское правительство должно было прекратить революционную пропаганду в Германии, на территории ее союзников и новых государств, образованных на российских территориях.

Для того чтобы переломить ситуацию, на заседании ЦК 23 февраля Ленин использовал последнее средство. Он пригрозил подать в отставку. Троцкий из солидарности с ним заявил, что в условиях грозящего раскола революционная война невозможна и он не возьмет на себя ответственность подать голос за нее. В итоге Ленин победил с минимальным перевесом. Семь человек проголосовали за мир, четыре — против и четыре воздержались. Против мира выступили Бухарин, Ломов, Бубнов и Урицкий. Но это было еще только начало.

Вопрос о подписании мира 24 февраля 1918 года обсуждался во ВЦИКе[7]. Левые эсеры заявили, что будут голосовать против мира. Камков призвал к организации партизанской войны против германских войск, даже если такая война и закончится утратой Петрограда и территорий России. Против решили голосовать и некоторые «левые коммунисты».

Голосование было поименным. Каждый должен был выйти на трибуну и сказать «да» или «нет». Бухарин под овации зала сказал «нет». Луначарский долго собирался с силами, потом все-таки сказал «да», но закрыл лицо руками и, похоже, расплакался. «Да» миру сказала и Мария Спиридонова, а 22 левых эсера воздержались. Некоторые из большевиков и левых эсеров (например, Дзержинский) вообще не явились в зал.

Итог голосования был таким: 126 голосов «за», 85 «против» при 26 воздержавшихся. Заседание закончилось не менее драматически. Левый эсер и нарком юстиции Исаак Штейнберг —

убежденный противник мира — от гнева кричал и колотил кулаками по ограждению ложи, в которой сидел. В зале раздавались крики: «изменники», «иуды», «шпионы немецкие», большевики в ответ грозили кричащим кулаками. Утром по радио в Берлин была передана телеграмма о принятии немецких условий.

Ленину удалось получить поддержку на 6–8 марта на VII внеочередном съезде партии, а потом — 14–16 марта — на IV Чрезвычайном съезде Советов. За ратификацию Брестского мира проголосовали 724 делегата, против 276 и 118 воздержались. После съезда прекратило существование единственное в советской истории коалиционное правительство — 15 марта левые эсеры в знак протеста против ратификации мира с немцами вышли из состава Совнаркома.

Никто из лидеров большевиков сначала не хотел оставлять свою подпись под «похабным» миром. После долгих переговоров советскую делегацию все же согласился возглавить Сокольников. В нее также вошли Чичерин, Петровский, Карахан. 3 марта 1918 года делегация подписала мирный договор. Церемония проходила в Белом дворце Брестской крепости. Россия формально потеряла территорию площадью 780 тысяч квадратных километров с населением 56 миллионов человек.

* * *

О том, что происходило в те зимние и весенние дни в Петрограде и Бресте, Яков Блюмкин, конечно, не мог знать во всех подробностях. Но на его дальнейшую жизнь эти события повлияли самым непосредственным образом.

Откроем шестую главу повести «Школа», написанную почти одногодком Блюмкина и тоже непосредственным участником событий весны 1918 года Аркадием Гайдаром:

«Мир между Россией и Германией был давно уже подписан, но, несмотря на это, немцы наводнили своими войсками Украину, вперлись и в Донбасс, помогая белым формировать отряды. Огнем и дымом дышали буйные весенние ветры.

Наш отряд, подобно десяткам других партизанских отрядов, действовал в тылу почти самостоятельно, на свой страх и риск».

Действительно, так оно и было. Впрочем, немцы и австрийцы считали, что действуют законно — ведь Россия признала независимость Украины, а в города они входили по договоренности с украинским правительством — Центральной радой. Именно так 12–13 марта ими была занята Одесса, из

которой спешно эвакуировались советские войска и вместе с ними Блюмкин.

После эвакуации 3-я советская армия под командованием Петра Лазарева оказалась в Феодосии. Там в жизни Блюмкина произошли важные изменения — его назначили сначала военным комиссаром армии, потом — помощником начальника штаба и начальником информационного (разведывательного) отдела, а потом он стал исполняющим обязанности начальника штаба армии. В советское время каждый школьник знал, что писатель Аркадий Гайдар командовал полком уже в 16 лет. Военная карьера Блюмкина развивалась не менее стремительно — исполняющим обязанности начштаба армии он стал в неполные 18 лет.

3-я армия с боями отступала из Крыма на север. «С этой армией я проделал поход Феодосия — Лозовая — Барвенково — Славянск», — вспоминал он в конце своей недолгой жизни.

После заключения Брестского мира Красная армия не имела права действовать на территории Украины. И в Москве делали вид, что эти договоренности выполняют. Красные отряды на Украине считались украинскими, хотя это, разумеется, была фикция чистой воды. Достаточно сказать, что позже, осенью 1918 года, командующим Украинской советской армией стал Владимир Антонов-Овсеенко, который арестовывал Временное правительство в Зимнем дворце в историческую ночь с 25 на 26 октября 1917 года.

В апреле 1918 года армия Лазарева, в которой Блюмкин исполнял обязанности начальника штаба, вела бои с немцами в Донбассе. Силы были неравны, хотя красные даже попытались контратаковать. Успеха это не принесло, немцы нанесли ответный удар. 20 апреля они заняли город Славянск. А вот о том, что произошло незадолго до захвата города немцами, рассказывают по-разному.

В этом самом донбасском Славянске, тогда мало кому известном, в апреле 1918 года произошла довольно темная история. Существует несколько версий этого дела.

Самая распространенная, которую сегодня можно встретить практически в любой публикации о Блюмкине, гласит, что командование 3-й армии во главе с Лазаревым и Блюмкиным «экспроприировало» из отделения Государственного банка в Славянске четыре миллиона рублей. Огромные средства по тем временам. Решающая роль в этом деле приписывается как раз Блюмкину. Дальше Блюмкин вроде бы предложил десять тысяч Лазареву в виде взятки, столько же хотел оставить себе, а остальное передать в кассу партии левых эсеров.

Однако о проделках Блюмкина узнали, и он, под угрозой ареста, вернул три с половиной миллиона рублей. Остальные 500 тысяч якобы исчезли неизвестно куда. Сторонники этой версии считают, что Блюмкин увез их с собой в Москву.

Петр Зайцев, в свою очередь, утверждал, что Блюмкин получил от похитителей денег взятку в размере десять тысяч рублей и якобы они, похитители, предлагали через Блюмкина такую же взятку Лазареву, от которой тот категорически отказался. Тут, впрочем, следует заметить, что Зайцев рассказывал об этом Особой следственной комиссии 10 июля 1918 года, то есть уже после того, как Блюмкин стал убийцей германского посла Мирбаха и «провокатором и негодяем», по определению советских властей. Да и вообще, как увидим ниже, Зайцев рассказал тогда о нем много неприятных вещей. Но насколько они соответствовали действительности — это еще большой вопрос. Хотя до сих пор «славянское дело» бросает тень на нашего главного героя, но не исключено, что напрасно.

Экспроприация денег и ценностей из отделения Госбанка в Славянске действительно имела место. Но кто был ее инициатором, куда потом делись деньги и какую роль во всех этих событиях сыграл Блюмкин — так и осталось неясным. «Славянская история» оказалась слишком запутанной.

Московский Революционный трибунал 22 мая 1918 года возбудил дело «О бывшем командующем 3-й армии на Украине Лазареве». Согласно материалам дела Лазарев обвинялся в следующем: некие грабители похитили из банка четыре миллиона рублей, однако командарм не только не принял мер для их поиска и ареста преступников, но и вступил на следующий день с ними в переговоры. Он якобы предложил им, выражаясь современным языком, «откат» в размере 100 тысяч рублей при условии возврата остальных похищенных денег.

Комиссар кавалерии 3-й армии большевик Семен Урицкий[8] (впоследствии начальник Разведывательного управления Рабоче-Крестьянской Красной армии — РККА) сообщал, что после этого Лазарев вдруг покинул армию и больше в нее не вернулся. С собой он, по данным Урицкого, прихватил 80 тысяч рублей. Эти деньги он обещал передать Владимиру Антонову-Овсеенко, который тогда командовал советскими войсками Юга России. Но Антонов-Овсеенко заявил, что никаких денег Лазарев ему не передавал.

Вскоре после исчезновения Лазарева 3-я армия была разгромлена немцами. Ее остатки отступали, пока не соединились с 5-й советской армией Украины. Тогда группа командиров и членов армейского солдатского комитета провела

собрание, на котором было решено «в связи с уходом командующего, ограблением Государственного банка в Славянске, разрухой в штабе, авантюризмом и нечестностью некоторых его членов» создать инициативную группу для того, чтобы «ликвидировать и переформировать 3-ю Революционную армию». Среди участников собрания значатся, в частности, Урицкий и исполняющий обязанности начальника штаба Блюмкин. Причем именно Блюмкину поручалось «задержать тов. Лазарева для того, чтобы получить от него отчеты о деятельности и трате народных денег».

Следовательно, Блюмкин не имеет прямого отношения к похищению денег в Славянске? Согласно этим документам получается, что так. Правда, во всей «славянской истории» так и осталось слишком много загадок.

Блюмкин Лазарева так и не задержал. Но вскоре они увиделись в Москве.

«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

«Пусть остается в Москве». Блюмкин, Цезарь и Украина

«Углы и выступы домов, окна, вывески, монастырская стена, дощатый забор на брошенном строиться здании — повсюду, — вся Москва была заклеена пестрыми листами бумаги. Черные, красные, лиловые буквы то кричали о ярости, грозили уничтожить, стереть с лица земли, то вопили о необыкновенных поэтах и поэтессах, по ночам выступающих в кафе…

Не было хлеба, мяса, сахару, на улицах попадались шатающиеся от истощения люди, с задумчивыми, до жуткости красивыми глазами; на вокзалах по ночам расстреливали привозивших тайком муку, и огромный, раскаленный полуденным солнцем город, полный народу, питался только этими пестрыми листами бумаги, расклеенными по всем домам…

С кряканьем, завыванием проносились автомобили, в облаках гари и пыли мелькали свирепые, решительные лица. Свирепые и решительные молодые люди, с винтовками, дулом вниз, перекинутыми через плечо, при шпорах и шашках, с обнаженными крепкими шеями, в измятых, маленьких картузах, стояли на перекрестках улиц, прохаживались по бульварам среди множества одетых в белое молоденьких женщин.

Широкий липовый бульвар, видный с площади во всю длину, казался волнующим полем черно-белых цветов. В раковине оркестра, настойчиво фальшивя какой-то одной трубой, играл марш — „Дни нашей жизни“. Так же, как в прошлую, как в позапрошлую весну — раздувались белые юбки, тосковало от музыки сердце, улыбались худенькие лица, блестели глаза. Целое поколение девушек безнадежно ждало вольной и тихой жизни. Но история продолжала опыты».

Это отрывок из рассказа-очерка Алексея Толстого «Между небом и землей» — о Москве весны — лета 1918 года. Он был напечатан на Украине осенью того же года. Тогда Толстой еще не стал «красным графом» и тем более не перешел пока на ортодоксально-советские позиции.

Менее художественно, но не менее жестко описывал Москву весны 1918 года тогдашний антипод Толстого — недавний балтийский матрос и только что назначенный комендант Кремля Павел Мальков:

«Узкие, кривые, грязные, покрытые щербатым булыжником улицы невыгодно отличались от просторных, прямых, как стрела, проспектов Питера, одетых в брусчатку и торец. Дома были

облезлые, обшарпанные… Даже в центре города, уж не говоря об окраинах, высокие, пяти-шестиэтажные каменные здания перемежались убогими деревянными домишками.

Против подъезда гостиницы „Националь“, где поселились после переезда в Москву Ленин и ряд других товарищей, торчала какая-то часовня, увенчанная здоровенным крестом. От „Националя“ к Театральной площади тянулся Охотный ряд — сонмище деревянных, редко каменных, одноэтажных лабазов, лавок, лавчонок, среди которых громадой высился Дом союзов, бывшее Дворянское собрание.

Узкая Тверская от дома генерал-губернатора, занятого теперь Моссоветом, круто сбегала вниз и устремлялась мимо „Националя“, Охотного ряда, Лоскутной гостиницы прямо к перегородившей въезд на Красную площадь Иверской часовне. По обеим сторонам часовни, под сводчатыми арками, оставались лишь небольшие проходы, в каждом из которых с трудом могли разминуться две подводы.

Возле Иверской постоянно толпились нищие, спекулянты, жулики, стоял неумолчный гул голосов, в воздухе висела густая брань. Здесь, да еще на Сухаревке, где вокруг высоченной Сухаревой башни шумел, разливаясь по Садовой, Сретенке, 1-й Мещанской, огромный рынок, было, пожалуй, наиболее людно. Большинство же улиц выглядело по сравнению с Петроградом чуть ли не пустынными. Прохожих было мало, уныло тащились извозчичьи санки да одинокие подводы. Изредка, веерами разбрасывая далеко в стороны талый снег и уличную грязь, проносился высокий мощный „Паккард“ с желтыми колесами, из Авто-Боевого отряда при ВЦИК, массивный, кургузый „Ройс“ или „Делане-Бельвиль“ с круглым, как цилиндр, радиатором, из гаража Совнаркома, а то „Нэпир“ или „Лянча“ какого-либо наркомата или Моссовета…

Магазины и лавки почти сплошь были закрыты. На дверях висели успевшие заржаветь замки. В тех же из них, что оставались открытыми, отпускали пшено по карточкам да по куску мыла на человека в месяц. Зато вовсю преуспевали спекулянты. Из-под полы торговали чем угодно, в любых количествах, начиная от полфунта сахара или масла до кокаина, от драных солдатских штанов до рулонов превосходного сукна или бархата. Давно не работали фешенебельные московские рестораны, закрылись роскошные трактиры, в общественных столовых выдавали жидкий суп да пшенную кашу (тоже по карточкам)».

В это время, когда не только столица Советской России (правительство во главе с Лениным переехало в Москву из

Петрограда в марте 1918 года), но и вся страна находилась «между небом и землей», в Москве появился Яков Блюмкин. Произошло это в мае.

Тогда отношения между левыми эсерами и коммунистами становились все более и более напряженными. С одной стороны, Партия левых социалистов-революционеров оставалась самой мощной небольшевистской силой, которая поддерживала Октябрьскую революцию, с другой — все больше превращалась в партию оппозиции. Прочие крупные партии — кадеты, меньшевики, народные социалисты, правые эсеры — к лету 1918 года на территории Советской России были фактически загнаны или уже загонялись в подполье. Даже анархисты — верные союзники большевиков по Октябрю — были разгромлены как политическая сила в апреле 1918-го под предлогом борьбы с бандитизмом. В общем, левые эсеры остались с большевиками один на один.

Несмотря на то что в марте 1918 года, после заключения Брестского договора, левые эсеры вышли из состава Совнаркома, то есть правительства, и критиковали большевиков за «мир с империалистами», рвать с ними окончательно они не собирались. На II съезде ПЛСР в апреле развернулась бурная дискуссия: нужно ли было «уходить от власти»? Многие видные деятели левых эсеров осуждали этот акт. Даже Мария Спиридонова заявила, что большевики «не изменяют социальной революции, а только временно пригнулись вместе с народом, не имея в руках никаких сил и возможностей защищать целиком все наши завоевания». Впрочем, большинством голосов делегаты все равно одобрили выход своих однопартийцев из советского правительства.

Вопрос о Брестском договоре и необходимости ради спасения революции следовать условиям «похабного», по определению Ленина, мира с Германией был тогда одним из самых больных. Некоторые «левые коммунисты» рассматривали возможность создания оппозиционной Ленину коммунистической партии. Один из их лидеров, Николай Бухарин, рассказывал в 1923 году, что весной 1918-го левые эсеры предлагали им арестовать Совнарком вместе с Лениным, а главой нового правительства назначить «левого коммуниста» Георгия Пятакова.

Правда, по другой версии, это предложение было просто «товарищеской шуткой», в которой, если поверить в ее достоверность, отразилась вся противоречивость отношений большевиков и левых эсеров. Тогда один из вождей ПЛСР Прошьян якобы сказал «левому коммунисту» Радеку: «Вы всё резолюции пишете. Не проще ли было бы арестовать на сутки Ленина, объявить войну немцам и после этого снова единодушно

избрать тов. Ленина председателем Совнаркома». И далее объяснил, что Ленин как революционер, будучи вынужденным защищаться от наступающих немцев, всячески ругая левых эсеров и «левых коммунистов», тем не менее лучше кого бы то ни было поведет оборонительную войну.

Позже, когда об этом «плане» рассказали самому Ленину, он от души хохотал над ним. (При Сталине бывшим «левым коммунистам» и левым эсерам стало не до шуток — в намерении арестовать и убить Ленина их обвиняли уже более чем серьезно.)

Левые эсеры были не меньшими, чем их друзья-соперники большевики, ревнителями мировой революции. Ждать они не хотели и стремились «подтолкнуть» ее развитие. Как и у всех искренних революционеров, в то время особую ненависть у них вызывал «германский империализм» в связи с ситуацией на Украине. После подписания Брестского мира там фактически установилась немецкая диктатура, которую не могли «прикрыть» марионеточные украинские режимы. К тому же противников ленинской политики «передышки» в войне с Германией терзала еще одна мысль — им казалось, что Москва ради самосохранения попросту предала украинских революционеров, которые в начале 1918 года уже начали брать власть в свои руки. А теперь такие же революционеры во главе с самим Лениным заставляли сдать ее немцам.

Эти противоречивые чувства терзали не только левых эсеров, но и представителей других партий, в том числе многих большевиков. Однако именно руководство ПЛСР решило взять на себя подготовку решительного удара по «штабам мирового империализма».

Проходивший 17–25 апреля 1918 года II съезд партии левых эсеров одобрил применение «интернационального» или «центрального» террора против «империалистических лидеров». В числе потенциальных «объектов» значились, к примеру, кайзер Вильгельм II, гетман Украины Скоропадский, посол Германии в РСФСР граф Мирбах, главнокомандующий группой армий «Киев» и глава оккупационной администрации занятых германскими войсками областей Украины генерал-фельдмаршал фон Эйхгорн.

Более того. Историк Ярослав Леонтьев разыскал в архивах запись выступления бывшего члена ЦК партии левых эсеров Владимира Карелина в марте 1921 года на заседании исторической секции московского Дома печати. Карелин рассказывал, что «центральный террор» должен был быть направлен против представителей «обеих враждовавших между собой империалистических коалиций» — в списке «объектов» значились также президент США Вильсон, премьер-министр

Великобритании Ллойд Джордж, премьер-министр Франции Клемансо. В Англию и Германию, по словам Карелина, были посланы члены партии для организации терактов. Они должны были установить связь с революционерами этих стран.

В Германию нелегально отправились видные члены партии Григорий Смолянский и Ирина Каховская — бывшая политкаторжанка, одна из основателей партии левых эсеров. В группе был и балтийский матрос Борис Донской, прошедший любопытную идейную эволюцию — от толстовца до левого эсера-террориста. Там они встретились с лидерами революционной германской партии «Союз Спартака», но спартаковцы отговорили их от идеи покушения на кайзера Вильгельма, поскольку оно может быть неправильно понято — в нем могут усмотреть «национальную месть побежденного русского народа победителю». И, по словам Карелина, именно спартаковцы подали мысль о покушении на Мирбаха и Эйхгорна.

Ради устранения подобных фигур и тем самым приближения «мировой революции» среди левых эсеров наверняка нашлось бы немало людей, готовых пожертвовать своей жизнью. Мария Спиридонова называла такие настроения «голгофизмом» — желанием принести себя в жертву на алтарь революции, «когда идут на самопожертвование самые энергичные, пламенные группы, которые заражены чисто интеллигентской психологией, рассуждая так, что если себя принести в жертву, то, как у Чехова, через 200–300 лет расцветет прекрасный сад». Ей ли, Марии Александровне, не знать и не понимать этих людей! Она сама была такой.

Но пока левые эсеры клеймили германский империализм и «соглашателей-большевиков», в стране разгоралась Гражданская война.

Двадцать шестого мая 1918 года в Челябинске против советской власти восстал Чехословацкий корпус (сформированный из военнопленных в ходе мировой войны), который в это время перебрасывали в эшелонах по Транссибирской магистрали во Владивосток. Восстание почти сразу же охватило большую часть Сибири, Дальнего Востока и Поволжья, поддержанное антибольшевистскими силами. 29 мая военное положение было введено в Москве.

В Гражданской войне левые эсеры сначала оказались по одну сторону баррикад с большевиками. Но любопытно вот что: если в вопросах международной политики и мировой революции они занимали гораздо более радикальные, чем Ленин и его соратники, позиции, то в отношении того, что происходило тогда в России, все было с точностью до наоборот.

Одиннадцатого июня 1918 года ВЦИК принял декрет о создании в деревне «комитетов бедноты». Нарком продовольствия Цюрупа еще раньше заявлял, что они должны стать «организацией беднейшей части населения в целях отбирания от держателей запасов хлеба». В стране вводились «продовольственная диктатура» и «продразверстка». В деревню направлялись продотряды для изымания «излишков хлеба».

Левые эсеры резко возражали против этого. Такие меры били по «трудовому крестьянству», которое во многом составляло опору их партии и против которого большевики теперь, по мнению левых эсеров, развернули настоящую гражданскую войну. Они не голосовали за декрет во ВЦИКе и заявляли, что будут вести «решительную борьбу с теми вредными мерами, которые сегодня приняты ВЦИК».

В июне 1918-го революционным трибуналам предоставили право выносить расстрельные приговоры (смертная казнь в России официально была отменена большевиками на II съезде Советов в октябре 1917 года). Хотя официально «красный террор» будет объявлен только в сентябре, после покушения на Ленина, уже летом 1918 года применение расстрелов в качестве наказания все больше и больше входило в повседневную практику. Алексей Толстой писал в очерке о жизни литературной Москвы: «На солнцепеке изящная девушка с серыми, серьезными глазами и нежной улыбкой — лицо ее затенено полями шляпы — протягивала гуляющим номер газеты, где с первой до шестой страницы повторялось: „Убивать, убивать, убивать! Да здравствует мировая справедливость!“…»

Двадцать второго июня 1918 года конференция московской организации ПЛСР приняла резолюцию, в которой указывалось, что «смертная казнь отменена навсегда постановлением 2-го съезда Советов и поэтому не может быть восстановлена по решению тех или иных советских органов». Кроме того, конференция заявила, что «диктатура трудящихся отнюдь не вызывает необходимости применения казней для укрепления своей власти» и что она «решительно протестует против применения в Советской России позорного института смертной казни».

Не поддержали левые эсеры большевиков и в вопросе об исключении правых эсеров и меньшевиков из Советов. В общем, ситуация явно накалялась.

Именно в такое непростое время в Москве и оказался Яков Блюмкин. В «Краткой автобиографии», составленной им в 1929 году, он писал: «В мае 18-го года, после отступления с Украины, я попал в Москву, где поступил в распоряжение ЦК партии левых

эсеров». Никто тогда, конечно, не представлял, чем это всё закончится.

* * *

Эсер-максималист Петр Зайцев, он же «Цезарь», встретил Блюмкина в столице «в промежуток времени от 15 до 17 мая».

Встреча вряд ли была радостной. Дело в том, что уже упоминавшийся их общий приятель, «максималист» и поэт-футурист Борис Черкунов, передал Зайцеву, что говорил о нем Блюмкин. А говорил он вот что: Зайцев, должно быть, увез из Одессы в Москву много миллионов (вечный призрак каких-то миллионов, как видно, постоянно витал в том кругу, где вращался Блюмкин), и что он не студент, как уверяет, а был выгнан из третьего класса гимназии, и прочие неприятные вещи. Зайцев устроил Черкунову и Блюмкину что-то вроде очной ставки, и Блюмкин утверждал, что Черкунов всё врет, ничего подобного он не говорил. Он даже полез на Черкунова с кулаками, но Зайцев его удержал. Однако при следующей встрече с Зайцевым Блюмкин признался, что всё наврал, и просил у него прощения. Так, во всяком случае, звучала версия Зайцева.

В Москве Блюмкин сразу же обратился к Зайцеву с просьбой — устроить его на работу в канцелярию российской делегации, которая собиралась на Украину для проведения мирных переговоров. Зайцев имел отношение к технической части делегации. Он обещал подумать.

О мирных переговорах между Советской Россией и Украиной в 1918 году сегодня вспоминают редко, а зря. Это был весьма интересный эпизод советской истории. Так что есть смысл остановиться на нем подробнее.

Прекращение боевых действий между Россией и Украиной предусматривал Брестский мир. Правда, с Центральной радой Украинской народной республики переговоры так и не успели начаться. 28 апреля немцы арестовали украинское правительство прямо во время его заседания. Во главе Украины оказался гетман Павло Скоропадский — бывший генерал-лейтенант русской армии. Теперь большевикам приходилось иметь дело с ним, поскольку они были вынуждены соблюдать условия Брестского договора.

Переговоры начались в Киеве 22 мая 1918 года. Советскую делегацию возглавляли Христиан Раковский, Дмитрий Мануильский и Иосиф Сталин. Они разместились в довольно захудалом отеле «Марсель», где раньше сдавались номера на час-

другой для дам не очень тяжелого поведения и их кавалеров.

Украинцы честно пытались переселить советскую делегацию в более респектабельный отель, но сделать этого так и не смогли. Дело в том, что Киев был буквально забит беженцами из той самой страны, которую представляли Раковский, Мануильский и Сталин. Над «Марселем» гордо реял красный флаг, вызывающий любопытство киевских зевак. Охраняли отель латышские стрелки. Впрочем, гетманская охранка не раз тайно обыскивала номера, в которых жили члены делегации.

В этих переговорах было немало странного и даже комичного. Украинцы демонстративно общались с советскими представителями через переводчика, зато с немцами — на чисто русском языке. Вместе с тем руководители российской делегации говорили по-русски плохо. Сталин — с грузинским акцентом, а Раковский, болгарин по происхождению, постоянно коверкал слова, что вызывало приступы смеха в обеих делегациях.

Переговоры продолжались с перерывами до ноября 1918 года, но ни к чему так и не привели. Потом уже было не до них — последовало поражение Германии в Первой мировой войне, эвакуация немецких войск и бегство гетмана Скоропадского с Украины. 11 ноября 1918 года советское правительство аннулировало Брестский договор.

Но в мае 1918 года об этом еще никто не мог знать, и Блюмкин вполне мог оказаться в составе советской делегации. Поначалу Зайцев не хотел ему помогать, заявив, что если Блюмкин будет «выкидывать такие же трюки, как и в Одессе», то никакой ответственности за него он на себя не возьмет. Однако Блюмкин, по словам Зайцева, уверял его, что теперь он совершенно переменился и стал другим человеком. После чего Зайцев попросил за Блюмкина самого Раковского, и тот согласился включить его в состав канцелярии советской делегации.

Казалось, что всё для него складывалось успешно. Но не тут-то было. Дальше, по словам Зайцева, события развивались так.

В день отъезда делегации на Украину Блюмкин зашел к нему и начал в туманных выражениях говорить о необходимости совершить теракт против гетмана Скоропадского. Зайцев тут же решил, что его одесского друга ни в коем случае нельзя включать в делегацию, и назвал Блюмкину час отъезда с таким расчетом, чтобы тот опоздал на поезд. Так и произошло.

Когда они добрались до Курска, там, как утверждал Зайцев, ему принесли телеграмму от главы делегации Сталина (который, видимо, выезжал позже). Сталин сообщал, что к нему явился Блюмкин и попросил содействия в том, чтобы нагнать поезд, на

который он, представитель военного ведомства, опоздал. На телеграмму Зайцев ответил следующее: «Блюмкин был приглашен для работы в канцелярии и не состоит нигде никаким представителем, приглашен для канцелярской работы, пусть остается в Москве».

Если Зайцев изложил всё так, как было на самом деле, то в судьбе Блюмкина он, похоже, сыграл решающую роль. Уехал бы тогда Блюмкин на Украину, и всё, может быть, в его жизни сложилось бы по-другому. Но на Украине он еще окажется. И очень скоро. Однако удивительно, какие люди уже в то время принимали участие в судьбе никому не известного молодого человека из глубокой провинции — Сталин, Раковский…

Интересно и происхождение приведенного выше рассказа о Блюмкине. В его основе — показания Петра Зайцева Особой следственной комиссии по делу о выступлении левых эсеров в Москве 6 июля 1918 года. Тогда Зайцев, как и его друг Борис Черкунов, были арестованы, но отпущены благодаря заступничеству их старого знакомого матроса-анархиста Анатолия Железнякова.

Потом они снова воевали вместе, вместе работали в подполье в занятой белыми Одессе, снова воевали. Железняков погиб 25 июля 1919 года в бою с войсками атамана Шкуро. О дальнейших судьбах Зайцева и Черкунова известно мало. Медицинский работник и преподаватель Вера Никитина встречала Зайцева на Украине в 1919 году, где он служил заместителем главначснаба советских войск.

«Зайцев, — вспоминала она, — считал себя поэтом и писал стихи вроде следующих:

Не люблю, не хочу женщин изысканных,
Гордо терпящих болезнь современности,
Не люблю, не хочу, уберите напыщенных
Бл…й в затхлой верности.
Эти бледные женщины — сплошная измена…

Как-то в минуту откровенности Зайцев рассказал мне драматическую историю своей встречи с братом. Его брат был в Белой армии. Не знаю, каким образом, но во время одного из сражений Зайцев узнал, что в наступающих частях противника находится его брат. И вот, после того, как белые были отброшены, Зайцев на поле боя среди тяжело раненных нашел своего брата, которого очень любил, и тот скончался у него на руках… Насколько этому можно было верить? Мне кажется, то была „чистая литература“, как, впрочем, и его стихи. Во всяком случае,

я этому рассказу тогда не поверила…»

Любопытно, что и показаниям Зайцева о Блюмкине не очень поверили составители первого издания «Красной книги ВЧК» (1920–1922 годы), где были опубликованы показания свидетелей и обвиняемых по делу 6 июля 1918 года. Составители «Книги» в примечаниях поясняли:

«Мы вовсе не поместили показаний Зайцева ввиду того, что свидетель говорит исключительно о личности Якова Блюмкина, причем факты, компрометирующие личность Блюмкина, проверке не поддаются».

По той же причине туда не была помещена и резко отрицательная характеристика Блюмкина, данная ему Дзержинским. Впрочем, в то время, когда выходила «Красная книга ВЧК», Блюмкин был уже довольно популярным человеком и коммунистом. Может быть, именно в этом причина того, что отрицательные отзывы о нем не стали публиковать?

И еще одна интересная деталь. Вера Никитина пишет, что позже, в Москве, Зайцев часто навещал их с мужем. Тогда, по ее словам, друг Блюмкина учился в Академии Генштаба РККА. Но и Блюмкин учился там же и примерно в то же время. Встречались ли они в ее доме? Вспоминали ли свои прежние приключения? Кто знает…

«На должности заведующего „немецким шпионажем“». Интриги

Итак, Блюмкин остался в Москве. Чем же он занимался?

Какое-то время будущий террорист, вероятно, «притирался» к новой жизни в большом городе и выполнял разовые поручения ЦК партии левых эсеров. В Москве он снова встретился со своим недавним командующим Петром Лазаревым. Еще до того, как московский Ревтрибунал завел на Лазарева дело, Блюмкин сделал доклад о нем 7 мая на заседании ЦК от имени инициативной группы бывшей 3-й армии. В протоколе заседания его выступление фигурирует в повестке дня под номером 4: «О Лазареве (Блюмкин)». Это первое упоминание о Блюмкине в известных сегодня левоэсеровских документах.

К тому времени Лазарев спокойно работал в Москве. По поручению ЦК левых эсеров он в основном занимался военными делами — организацией вооруженных отрядов партии, их вооружением и т. д. После доклада Блюмкина ЦК партии левых эсеров принял весьма странную резолюцию:

«Ввиду выяснения обстоятельств этого дела и получения полной информации по этому вопросу тов. Блюмкину нет уже необходимости обращаться к Дзержинскому.

В случае необходимости послать копию инициативной группе, делегировавшей тов. Блюмкина».

Надо полагать, что планы «обратиться к Дзержинскому» у Блюмкина раньше имелись.

Двенадцатого мая 1918 года, на очередном заседании ЦК левых эсеров, уже выступает сам Лазарев. Он предлагает сформировать батальон, подчиненный военной коллегии при ЦК партии. Это было очень своевременное предложение, и как знать, если бы такой батальон был действительно сформирован, то и события 6 июля 1918 года развивались совсем по-другому. Но члены ЦК постановили только передать его на рассмотрение военных специалистов. Левоэсеровский батальон так и не был создан.

Прошло еще немного времени. 22 мая Ревтрибунал все-таки начал следствие по делу Лазарева. Кто-то из «инициативной группы» бывшей 3-й армии всё же, видимо, обратился в «инстанции». 24 мая ЦК ПЛСР под номером «6» в повестке дня снова обсуждал эту ситуацию. «ЦК совершенно не находит данных для возобновления дела по обвинению Лазарева», — говорится в протоколе заседания.

Судя по всему, эту скандальную историю левые эсеры старались поскорее замять. Так в итоге и получилось — то ли с их помощью, то ли под влиянием других обстоятельств. Дело было закрыто в феврале 1919 года по причине… «неотыскания» Лазарева, хотя те, кому надо, наверняка прекрасно знали, где он находится. Бывший командующий 3-й армией принимал участие в событиях 6 июля 1918 года и был даже арестован. Но потом его выпустили, он уехал в Одессу, где боролся с интервентами, затем вступил в компартию, снова был нелегально заброшен в Одессу, а в январе 1920 года его арестовали и расстреляли деникинцы. Что в итоге случилось с «изъятыми» из Госбанка в Славянске деньгами, так и осталось неизвестным.

Роль Блюмкина в довольно-таки мутной истории с Лазаревым тоже до конца еще не прояснена, но прямых доказательств того, что он утаил часть экспроприированных денег, нет. Интересен еще один момент. Вероятно, именно дела «инициативной группы» привели Блюмкина в ЦК партии левых эсеров, где он очень быстро стал своим человеком. Более того, вскоре его направили на очень ответственную работу.

Блюмкин оказался не где-нибудь, а в «зловещей» ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем). Да еще на весьма важном посту. Как такое могло произойти?

В автобиографии Блюмкин отмечает, что на работу в ВЧК его направили по решению ЦК ПЛСР.

Левые эсеры были введены в состав этого ведомства по решению Совнаркома от 8 января 1918 года. После заключения Брестского мира левые эсеры ушли почти из всех наркоматов, но в ВЧК оставались. Более того, они занимали в этом ведомстве Феликса Дзержинского некоторые ключевые посты. Так, Петр Александрович (настоящее имя Вячеслав Дмитриевский) стал заместителем председателя ВЧК. «Крепко сложенная фигура небольшого роста. Продолговатая сплошь лысая голова с торчащей шишкой. Жесткие черные усики, недобрые глаза» — так его описывал один из современников.

В среде революционеров Александрович пользовался уважением за честность, бескорыстность и преданность «идее всеобщего блага». Биография у него была богатой — дворянин по происхождению, он несколько лет провел на каторге за революционную деятельность, болел, бежал, кочегаром на судне добрался из Мурманска в Норвегию.

В эмиграции он жил под псевдонимом Пьер Оранж. Там же познакомился с Александрой Коллонтай — знаменитой революционеркой и будущим советским послом в Норвегии,

Мексике и Швеции. У них начался роман. Она рассказывала: «Мы долго не знали, что он в буквальном смысле умирал с голода, он никогда не говорил о себе. При этом он первым шел на помощь нуждающимся товарищам, и его скромная комната служила пристанищем для всех, кто искал приюта или ночлега. Чтобы не быть в тягость, он поступил рабочим на завод».

Коллонтай вспоминала, что Александрович томился в благополучной Норвегии и буквально рвался в Россию. Летом 1916 года с фальшивым паспортом он все-таки уехал. В 1917 году его избрали в исполком Петроградского Совета от левых эсеров и членом ВЦИКа, а потом от партии левых эсеров назначили заместителем Дзержинского в ВЧК. «Железный Феликс» рассказывал Следственной комиссии по делу левых эсеров 6 июля 1918 года: «Права его были такие же, как и мои, имел право подписывать все бумаги и делать распоряжения вместо меня».

Если Александрович был заместителем председателя ВЧК, то бывший балтийский матрос и левый эсер 27-летний Дмитрий Попов стал членом коллегии этого ведомства. Он командовал Боевым отрядом ВЧК численностью более чем в 600 бойцов. Отряд Попова станет главной ударной силой левых эсеров во время июльских событий 1918 года в Москве.

Второго мая 1918 года ЦК партии левых эсеров обсуждал вопрос о своем выходе из ВЧК. Поводом к этому послужило заявление Александровича, который сообщил, что «комиссией предполагается ввести красный террор» и поэтому он считает, что все социалисты-революционеры «должны уйти».

Разгорелась дискуссия. В результате решили все-таки не уходить («все остаются на местах»), даже напротив — «постараться усилить комиссию работниками». Вероятно, это решение и послужило основанием ЦК партии левых эсеров «командировать» на Лубянку в том числе и Блюмкина. Ну а почему нет? Молодой, энергичный, имеющий опыт боевых действий и весьма решительно настроенный товарищ.

«…Последний (ЦК. — *Е. М.)* направил меня на работу в ВЧК, где я организовал и возглавлял первый отдел по борьбе с международным шпионажем», — писал он сам.

Блюмкин действительно развил там активную деятельность. А его главной целью стало немецкое посольство в Москве.

* * *

В Денежном переулке на месте особняка, где сейчас размешается посольство Италии, а в 1918 году находилась

германская миссия, когда-то стояла старая усадьба, которую в 1897 году приобрел миллионер-сахарозаводчик Сергей Берг. Он решил построить новый дом, что вскоре и было сделано по проекту архитектора Петра Бойцова. Говорят, что Берг очень любил итальянскую культуру и попросил Бойцова, чтобы его дом напоминал ему и итальянское барокко, и Возрождение, и Италию вообще. Так и получилось: особняк Берга — это смешение нескольких архитектурных стилей, что и делает его таким заметным, остались у особняка и предания.

Берг был человеком прогрессивным и одним из первых в Москве провел в свой дом электричество. По случаю новоселья он решил устроить роскошный прием. Рассказывают, что светские дамы долго готовились к «электрическому приему» у Берга, но не учли одного — что при свете электрических ламп их лица с обильным макияжем выглядят иначе, нежели при свечах. И не сказать, что лучше. Увидев свои зеленые лица в зеркалах, дамы ужаснулись и стремительно разбежались с приема, который не продлился и часа. Говорят, что был большой скандал.

К 1918 году Берга уже не было в живых. Дипломатический представитель Великобритании в Советской России, а по сути разведчик Роберт Брюс Локкарт в своих мемуарах утверждал, что особняк «сахарного короля» предоставили в распоряжение немцев во многом благодаря именно ему. Якобы сначала для германской миссии большевики хотели реквизировать 40 комнат в отеле «Националь», где жили и работали тогда британский агент и его люди. Локкарт начал протестовать, и после его обращений к наркому иностранных дел Чичерину и Троцкому немцев решили вселить в особняк Берга.

Тогда же вдову миллионера с детьми «попросили» освободить дом. Сотрудник германской миссии майор Карл фон Ботмер отмечал в своем дневнике, что она сделала это охотно, так как «новое предназначение защищало ее имущество от коммунистической практики конфискации».

Дальше он писал: «Наш дворец, вполне заслуживающий такого названия, кроме нескольких залов и многочисленных помещений для прислуги насчитывает не менее 30 комнат. Обстановка и интерьеры очень дорогие, отдельные вещи даже красивы, однако общий стиль не выдержан, не чувствуется особого вкуса, хотя ясно, что выбор делался без ограничения средств. В обстановке не хватает гармонии; на фоне дорогих предметов видна явная безвкусица».

Двадцать шестого апреля 1918 года граф Мирбах вручил верительные грамоты председателю В ЦИКа Свердлову. Прием закончился холодно — Свердлов не пригласил посла сесть и не

удостоил личной беседы после официальной церемонии. В Москве накопилось много претензий к Германии. После подписания Брестского мира немецкие войска продолжали продвигаться на восток, занимая всё новые и новые территории. Они устроили переворот в Киеве и подавили попытку революции в Финляндии. Всё это давало противникам Ленина дополнительные козыри.

Шестнадцатого мая Ленин принял Мирбаха в Кремле. Как сообщал глава германской миссии в Берлин, Ленин весьма откровенно говорил о том, что его положение в партии и в государстве крайне сложное — если раньше его противниками по вопросу мира с Германией были правые партии, то теперь и на левом фланге возник сильный оппозиционный блок. После этого разговора Мирбах даже сделал вывод, что дни большевиков сочтены. Впрочем, не он первый, не он последний.

Уже 1 мая 1918 года Мирбах наблюдал первый военный парад на Красной площади. Шли маршем войска создаваемой Троцким Красной армии. Мирбах наблюдал за ними из открытого автомобиля. Сначала он высокомерно улыбался, затем стал серьезным. «В этих плохо одетых, неорганизованных людях, которые маршировали мимо него, была несомненная живая сила. На меня это произвело сильное впечатление», — вспоминал тоже присутствовавший на Красной площади Роберт Брюс Локкарт.

С первых же дней работы германские дипломаты почувствовали к себе «интерес» со стороны соответствующих советских служб. «Здесь надо быть постоянно готовым к тому, что к нам могут явиться агенты-провокаторы, — записывал в дневнике майор фон Ботмер. — Советская власть немедленно возродила, хотя и в несколько измененной форме, но, по меньшей мере, в том же масштабе и с еще большей бесцеремонностью, столь ненавистную „охранку“ (тайную полицию). Все, что делается для осуществления надзора, шпионажа и террора, исходит от организации столь же зловещей, как испанская инквизиция — Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК)».

Вряд ли Мирбах или кто-то другой из германской дипломатической миссии мог предполагать, что непосредственно против них в «зловещей» ВЧК работает восемнадцати — двадцатилетний юнец. Фамилия «Блюмкин» немцам тогда еще ничего не говорила.

* * *

Граф Мирбах был опытным и способным дипломатом. Он

прекрасно понимал, что работа посла включает в себя и элементы разведывательной деятельности. Или, если угодно, шпионажа. И вовсе не собирался отказываться от этого в Москве. Тем более что ему нужно было прояснить несколько важнейших вопросов, от которых во многом могло зависеть будущее Германии.

Во-первых, необходимо было определить, насколько долговечен и жизнеспособен режим Ленина. Во-вторых, понять, кто может прийти Ленину на смену в случае его свержения. И наконец, в-третьих, решить, стоит ли Германии поддерживать большевиков или помогать в России каким-то другим силам. Главная задача Мирбаха состояла в том, чтобы способствовать сохранению того правительства, которое снова не начало бы войну с Германией. Хотя бы некоторое время. Уже в первых своих донесениях в Берлин Мирбах сообщал, что положение большевиков крайне непрочно (весной 1918 года для такого вывода были серьезные основания). Вместе с тем он считал, что Германии выгоднее поддерживать большевиков у власти, так как никакое другое правительство не согласилось бы на соблюдение столь выгодного для Германии мирного договора.

Беспокойство Мирбаха вызывала заметная активность агентов Антанты[9]. 10 мая 1918 года Антанта предложила советскому правительству помощь и признание Советской России в случае разрыва Брестского мира. Представители Антанты обещали организовать доставку продовольствия из Сибири, а оппозиционные социалистические партии готовы были «забыть раздоры и начать сотрудничать с большевиками» для организации борьбы против Германии. «Я продолжаю тайную работу, чтобы обеспечить отказ от обоих предложений», — сообщал Мирбах в Берлин.

Представители Антанты, по его сведениям, проявляли большую активность и в том, чтобы в случае свержения Ленина Россия вновь оказалась среди врагов Берлина. 25 июня 1918 года Мирбах сообщал, что Германия может столкнуться с такой ситуацией, когда «социалисты-революционеры, финансируемые Антантой и вооруженные чехословацким оружием, поведут новую Россию в стан наших врагов».

Посол Германии (с согласия Берлина) вел в Москве двойную игру. С одной стороны, Мирбах старался сохранять нормальные отношения с властями. С другой — активно искал среди противников большевистской власти людей, которые в случае переворота могли бы сформировать дружественное Германии правительство. И таких было достаточно. «Те самые круги, которые яростно поносили нас раньше, — писал Мирбах в Берлин, — теперь видят в нас если не ангелов, то, по крайней

мере, полицейскую силу для их спасения».

В июне 1918 года посол установил контакты с нелегальным «Правым центром» — блоком, в котором объединились контрреволюционеры самых разных направлений: от либеральных кадетов до крайне правых монархистов. Лидером блока был бывший министр земледелия и будущий глава правительства барона Врангеля в Крыму Александр Кривошеин. Впрочем, ориентировавшиеся на Антанту кадеты вышли из «Центра», но во встречах с Мирбахом их представители участвовали. Речь на этих встречах шла о возможности переворота и о том, какой режим будет установлен в России после него.

Были и другие встречи. Например, с членами организации финансового магната из Петрограда Карпа Ярошинского. Майор фон Ботмер упоминает в своем дневнике о разговорах с некими «господами, вернувшимися из Сибири». Один из них — русский офицер, находившийся на службе у большевиков, но, по словам фон Ботмера, «лишь внешне придерживающийся правящей ориентации до тех пор, пока не достигнет своих собственных целей другими путями». Кстати, в июне германское министерство финансов одобрило выделение 40 миллионов марок в распоряжение Мирбаха. Нет сомнения, что деньги из этого «фонда» предназначались в том числе и для помощи «дружественным» Германии контрреволюционным организациям.

Существует версия, что была даже связь между Мирбахом и Муравьевым — тем самым Михаилом Артемьевичем Муравьевым, бывшим командующим войсками Одесской Советской республики.

После падения «красной» Одессы в марте 1918 года Муравьев оказался в Москве. Ленин хотел назначить его командующим армией Кавказской Советской республики, но кавказские большевики выступили против. Вскоре у Муравьева начались неприятности. Его обвинили в злоупотреблении властью, связях с анархистами и арестовали. Чекисты обыскали его салон-вагон, но ничего особенного, кроме пулеметов, патронов, бумаг и различного снаряжения, не нашли. Самое интересное, что руководил обыском и составлял протокол командир Боевого отряда ВЧК левый эсер Дмитрий Попов, сыгравший потом важнейшую роль в событиях 6 июля 1918 года в Москве.

По делу Муравьева давал показания Дзержинский, который заявил, что ВЧК не раз получала сведения о нем, как о «вредном Советской власти Командующем»: «…худший враг не мог бы нам столько вреда принести, сколько он <Муравьев> принес своими кошмарными расправами, расстрелами, предоставлением солдатам права грабежа городов и сел. Всё это он проделывал от

имени нашей советской власти, восстанавливая против нас все население. Грабеж и насилие — это была сознательная военная тактика, которая, давая нам мимолетный успех, несла в результате поражение и позор». И резюмировал, что «если Советская власть не накажет его со всей революционной строгостью, то весь позор и вся ответственность за эту тактику падет на Советскую власть».

До сих пор не вполне понятно, состоял ли Муравьев в партии левых эсеров[10]. Сам он утверждал, что состоял, но лидеры левых эсеров это отрицали. По крайней мере защищать его ПЛСР отказалась, оставив это на усмотрение отдельным членам партии. Но неожиданно все обвинения с Муравьева были сняты, он — освобожден и, более того, 13 июня 1918-го назначен Лениным и Троцким главкомом Восточного фронта (наверное, самого важного фронта в то время). Ему предстояло воевать с Чехословацким корпусом и другими антибольшевистскими формированиями на востоке, которые выступали за свержение «комиссаров» и разрыв с Германией.

Существует версия, будто Муравьеву передали от Мирбаха крупную сумму денег — в качестве стимула для скорейшего разгрома Чехословацкого корпуса. Немцы хорошо понимали, что от успехов сторонников советской власти на востоке будет зависеть, удержится ли у власти Ленин, а следовательно, — сохранится ли мир с Германией. И убийство Мирбаха якобы задумано было для того, чтобы скрыть факт передачи денег.

Впрочем, к этому мы еще вернемся. Пока лишь скажем, что Муравьев всего лишь через месяц после назначения его главкомом поднимет мятеж и против большевиков, и против Брестского мира, и против Германии.

* * *

Советник германской миссии в Москве доктор Рицлер[11] вспоминал в мемуарах о таком эпизоде. В мае — июне 1918 года многие большевики были, по его словам, близки к панике и собирались бежать из Москвы. Заместитель наркома иностранных дел Лев Карахан, если верить Рицлеру, в это время даже спрятал оригинал Брестского договора в своем столе — он якобы собирался бежать в Америку и там продать этот уникальный документ, надеясь заработать огромные деньги на автографе кайзера Вильгельма, чья подпись стояла под договором.

Весной — летом 1918 года положение Советской республики было действительно крайне сложным. Троцкий тогда сказал

одному из работников германской миссии: «Мы уже фактически покойники, теперь дело за гробовщиком». В стране разгоралась Гражданская война, а Москва буквально кишела всевозможными реальными и потенциальными заговорами. Одни (как германская миссия во главе с Мирбахом) пытались перетянуть большевиков на свою сторону, другие — привести к власти антигерманские силы. Так, в столице Советской России активно действовала британская миссия во главе с Локкартом. На связи с ним состоял, но работал автономно английский разведчик Сидней Джордж Рейли. Под именем «комиссара по перевозке запасных автомобильных частей товарища Рейлинского» он заводил самые разнообразные знакомства, собирал информацию для Лондона и планировал заговор против большевиков.

Французские спецслужбы представлял капитан 2-го ранга Анри Вертамон. По одной из версий, именно он стоял за мятежом Чехословацкого корпуса в Сибири и снабжал деньгами «Союз защиты родины и свободы» известного эсера и террориста Бориса Савинкова. В июле 1918 года усилиями Савинкова будет организовано антибольшевистское восстание в Ярославле.

Несмотря на это обилие агентов, шпионов, заговоров, большевики оказались тоже не лыком шиты.

Левые эсеры яростно ругали Ленина и его правительство за то, что они все свои решения якобы согласовывают с «империалистом Мирбахом». «Россия управляется не рабоче-крестьянским правительством, а германским империализмом в лице Мирбаха и Эйхгорна», — возмущенно говорил один из лидеров левоэсеровской партии Борис Камков.

Давно знавший «вождя мирового пролетариата» меньшевик Юлий Мартов отмечал, что в Ленине боролись два человека — «безудержный революционер семьдесят третьего дня Парижской коммуны» (продержавшейся, как известно, 72 дня)[12] и «трезвый государственный деятель». Но если по таким качествам, как революционная одержимость и преданность своим идеям, лидеры левых эсеров, возможно, и превосходили Ленина-революционера, то до Ленина-реального политика им было очень далеко. Да и не только им.

Хотя советское правительство и подписало мир с Германией, до лета 1918 года оно вело довольно сложную дипломатическую игру, не лишая Лондон и Париж надежд на то, что при определенных условиях Россия снова вступит в войну с немцами. В Париже и Лондоне несколько месяцев колебались — поддерживать Ленина или все-таки сделать ставку на его противников. «До тех пор, пока существует немецкая опасность, я готов рискнуть на сотрудничество с союзниками, которое

временно будет выгодно для обеих сторон, — говорил Ленин Локкарту. — В случае немецкой агрессии я соглашусь даже на военную помощь».

Между тем большевики постоянно сталкивали дипломатов и агентов двух лагерей и, как отмечал все тот же Локкарт, находили в этом «детское удовольствие». Он писал в мемуарах:

«Если им хотелось досадить Мирбаху, они принимали меня первым. Если они за что-нибудь были обижены на британское правительство, они миндальничали с Мирбахом и заставляли меня ждать.

Если немцы были слишком настойчивы в своих требованиях, большевики угрожали им интервенцией с союзниками.

Если союзники старались навязать интервенцию большевикам, они рисовали ужасную картину опасностей наступления немцев на Москву.

Так как ни немцы, ни союзники не могли остановиться на какой-то определенной и ясной политике по отношению к России, у большевистской дипломатии были все преимущества…

Меня начали настойчиво понуждать сделать все возможное, чтобы обеспечить согласие большевиков на военную союзническую интервенцию в России.

Момент был неблагоприятен, но еще не совсем прошел. Были еще некоторые факторы в нашу пользу, и самый значительный из них — это поведение немецких войск на занятой ими территории».

Охлаждение отношений между большевиками и представителями Антанты началось летом 1918 года — с началом восстания Чехословацкого корпуса. В Москве считали, что это — следствие заговора недавних союзников России против советской власти. Надо сказать, что и Антанта к этому времени начала окончательно склоняться к военной интервенции в Россию и свержению правительства Ленина.

Ну а что касается Брестского мира, то Ленин почти открыто после его подписания заговорил о том, что это всего лишь «временная передышка» в подготовке мировой революции. Конечно, с одной стороны, в этом была политическая игра, рассчитанная на противников договора. С другой — Ленин и сам был убежден в том, что Брестскому миру скоро придет конец.

Управляющий делами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич вспоминал, что, когда из Берлина был получен типографски оформленный текст мирного договора на русском и немецком языках, он тут же понес его Ленину. Тот взял книжку в руки, посмотрел и, смеясь, сказал: «Хороший переплет, отпечатано красиво, но не пройдет и шести месяцев, как от этой красивой

бумажки не останется и следа. Не было более непрочного и нереального мира, чем этот. Немцы стоят у последней ступеньки своего военного могущества, и им суждено пережить величайшие испытания. Для нас этот мир сослужит огромную службу: мы сумеем укрепиться в это время. Отошлите эту нарядную книжечку товарищу Чичерину для его коллекции».

Что же, Ленин оказался прав на все сто процентов. К договору с Германией и «похабному», по его словам, миру он относился более чем прагматично. Этой прагматичности Ленина-политика — причем во всем — левые эсеры так и не смогли принять. Их сжигало чувство революционного нетерпения, и в итоге сожгло окончательно.

Однако пока Германия еще не начала переживать «великие испытания», чекисты внимательно следили за ее послом в Москве, подозревая, что немцы начнут плести интриги и помогать контрреволюционерам. И в общем-то были правы в своих подозрениях.

Позже, давая показания по делу об убийстве Мирбаха, заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией ВЧК Мартин Лацис так рассказывал о назначении Блюмкина в эту организацию: «Он был откомандирован ЦК ПЛСР на должность заведующего „немецким шпионажем“, то есть отделением контрреволюционного отдела по наблюдению за охраной посольства и за возможною преступною деятельностью посольства».

Точнее говоря, Блюмкин был назначен руководителем секретного отделения по наблюдению за посольством Германии. Отделение входило в Отдел по борьбе с контрреволюцией, который сначала возглавлял Иван Полукаров, а с 20 мая 1918-го — Мартин Лацис. В нем насчитывалось около тридцати сотрудников.

«Блюмкин проявлял большую активность». Чекист

В 1918 году в Москве и Петрограде ходила такая частушка:

> Мальчик просит папу, маму:
> «Дайте сахар и чайку». —
> «Замолчи, кадет поганый,
> Отведу тебя в ЧеКу».

Когда именно в «ЧеКу» пришел Блюмкин? Мартин Лацис в показаниях по делу о левоэсеровском выступлении 6 июля 1918 года в Москве сообщает: «Блюмкин начал работать в комиссии в первых числах июня месяца». Тогда же в ВЧК ему выдали этот документ:

> «Удостоверение /на право ношения оружия/
> Настоящее удостоверение выдано проживающему по адресу Леонтьевский пер., 18, т. Блюмкину Я., в том, что он имеет право на ношение и хранение при себе револьвера системы „кольт“ за № 77093 (напротив номера пометка „англ. заказ“. — *Е. М.),* что подписью с приложением печати удостоверяется».

Удостоверение за номером 36 подписали левый эсер Григорий Закс — член Коллегии ВЧК (вероятно, за Дзержинского, так как подпись стоит против должности «председатель»; одно время он исполнял обязанности «товарища Председателя ВЧК», то есть заместителя Дзержинского), а за управляющего делами — некто Шилов. Документ выдан 1 июня, но год не указан (очевидно, что 1918-й). Удостоверение напечатано по старым правилам русского языка — с твердыми знаками, «ятями» и буквой «і».

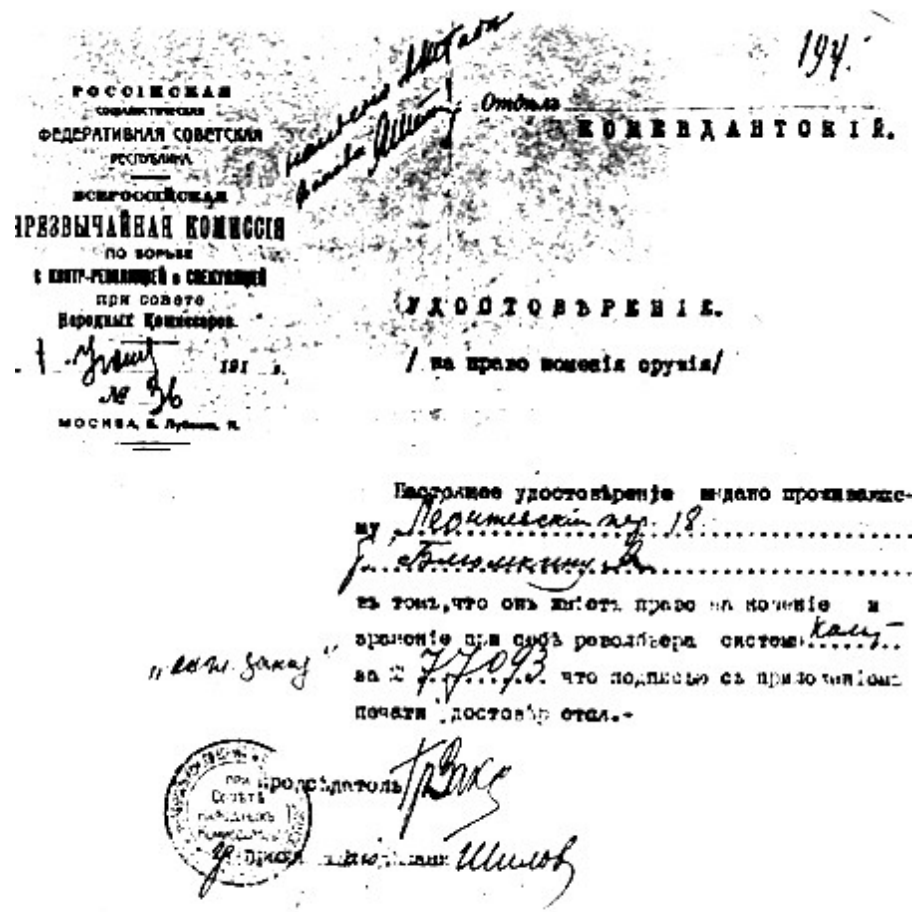
И еще. Пометка об «английском заказе» позволяет уточнить, какой именно пистолет получил Блюмкин, — тогда это было суперсовременное и мощное оружие.

Наверняка многие знают — хотя бы по фильмам о Гражданской войне, — что основным личным оружием красных командиров, белых офицеров, чекистов, милиционеров, бандитов и т. д. был револьвер системы «наган». Он состоял на вооружении русской армии с 1895 года, затем на вооружении РККА и Советской армии — аж до конца Великой Отечественной войны (а

милиционеры, инкассаторы, геологи им пользовались гораздо дольше).

Был еще не менее знаменитый и более мощный, чем «наган», «маузер С96» в деревянной кобуре. Широкого распространения в армии он не получил из-за большого веса и сложного устройства, но матросы, комиссары, командиры и чекисты любили носить это мощное и эффектное оружие. Таким и остался образ «классического чекиста» в кино и литературе — в кожаной куртке и с маузером на боку.

Но Блюмкин получил в ЧК не наган и не маузер.


РОССІЙСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ВСЕРОССІЙСКАЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССІЯ
ПО БОРЬБЕ
С КОНТР-РЕВОЛЮЦІЕЙ И САБОТАЖЕМЪ
ПРИ СОВѢТѢ
НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ.

1 Іюня 1918 г.
№ 36
МОСКВА, Б. Лубянскій пр.

194

Отдѣлъ КОМЕНДАНТОВЪ.

УДОСТОВѢРЕНІЕ.
/ на право ношенія оружія/

Настоящее удостовѣреніе выдано проживающ-
му Почтовый пер. 18
Блюмкину Я.
въ томъ, что онъ имѣетъ право на ношеніе и
храненіе при себѣ револьвера системы Кольт
за № 77093 что подписью съ приложеніемъ
печати достовѣрен.-

при Председателѣ
Совѣтѣ
Народныхъ
Комиссаровъ

Предсѣдатель
Дѣлопроизводитель Шилов

Удостоверение на право ношения оружия, выданное т. Блюмкину Я. в ЧК 1 июня 1918 года

В 1911 году на вооружение американской армии был принят самозарядный пистолет Кольта калибра 11,43 миллиметра. Тогда же им заинтересовалось и русское военное ведомство. Пять лет спустя, по просьбе русских союзников, британское правительство разместило в Америке заказ на 100 тысяч пистолетов. Летом 1916 года первые партии кольтов были отправлены в Россию через Великобританию. До Февральской революции Россия получила более сорока семи тысяч пистолетов. На рамке с левой стороны у этих пистолетов штамповалась надпись «Англ. заказъ». Правда, в России эти самозарядные пистолеты с привычными сегодня сменными обоймами в рукоятке (с «толстенькими», по выражению Валентина Катаева, патронами) тогда тоже именовались револьверами.

Именно такой вот кольт за номером 77093 и был выдан Блюмкину. Потом о нем тоже будут вспоминать как о «чекисте с маузером на боку», но начинал он свою карьеру в ЧК с американским пистолетом. Эффектное оружие — бой резче, чем у «нагана», калибр больше, скорострельность выше, да и к тому же производит куда более сильное впечатление, чем привычный револьвер. Для Блюмкина, всегда придававшего большое значение внешним эффектам, это было немаловажно.

* * *

Сведений о службе Блюмкина в ЧК до 6 июля 1918 года известно очень мало. Возможно, из-за одного весьма странного обстоятельства.

Бывший начальник Центра общественных связей ФСБ Александр Зданович в книге «Свои и чужие. Интриги разведки» указывает, что в архиве ФСБ, в деле, где сосредоточены протоколы заседаний президиума ВЧК, решавшего все основные ее задачи и организационные вопросы, за протоколом от 20 мая 1918 года сразу следует протокол от 1 октября. Остальные исчезли неизвестно куда.

«Чтобы исчезли документы за четыре с лишним месяца — это просто невероятно, — замечает несомненно компетентный автор, генерал-лейтенант госбезопасности. — И каких месяца — данный период отмечен не только созданием контрразведки, назначением Блюмкина… но и такими исключительно важными для истории нашей страны событиями, как убийство германского посла графа Мирбаха, левоэсеровский мятеж, аресты союзнических дипломатов, включая Локкарта, убийство руководителя Петроградской ЧК Урицкого, покушение на жизнь председателя

СНК Ленина, объявление вслед за этим красного террора».

Действительно, странно. Возникает впечатление, что архивы потом «подчистили». Что именно из них хотели убрать — остается только догадываться. Вполне возможно, что эта, опасная для «чистильщиков» информация и не имела отношения к Блюмкину, а всё, что касалось его назначения в ВЧК, было изъято «за компанию». Одно очевидно — в первый год после революции происходило много такого, что потом никак не вписывалось в рамки канонического изложения ее истории.

В 2007 году в Москве вышел в свет пухлый том документов — более семисот страниц — «Архив ВЧК», в котором были опубликованы и протоколы заседаний коллегий отделов этого ведомства. В том числе и Отдела по борьбе с контрреволюцией, в который входило и отделение Блюмкина. Но никаких документов за период с 20 мая по 27 июля 1918 года в сборнике тоже нет.

Считается, что Блюмкину покровительствовал его товарищ по партии и заместитель Дзержинского Александрович. Именно он предложил назначить Блюмкина начальником отделения по борьбе с международным шпионажем. В своих показаниях Следственной комиссии при ВЦИКе, созданной в связи с событиями 6 июля 1918 года, Дзержинский это подтверждает: «Блюмкин был принят в комиссию по рекомендации ЦК левых эсеров для организации в отделе по борьбе с контрреволюцией контрразведки по шпионажу».

В этом назначении тоже много странного с точки зрения сегодняшнего дня. Восемнадцатилетнего молодого человека ставят на весьма важный пост в контрразведке. В прежние, дореволюционные, времена, чтобы оказаться на подобной должности, офицерам соответствующих служб приходилось доказывать свои способности не один год. А что весной 1918 года было известно о Блюмкине? Практически ничего. Молодой боевой командир (таких тогда было много), левый эсер, участвовавший в какой-то мутной истории с экспроприацией денег на Украине… Вот, по сути, и всё.

Конечно, все это можно объяснить логикой той революционной эпохи, когда главнокомандующим армией мог стать прапорщик Крыленко, военно-морским министром — матрос Дыбенко, банком распоряжаться — рабочий, а контрразведкой — едва достигшие двадцатилетия боевики с туманной биографией. И все же непонятно: почему Блюмкина даже не удосужились проверить как следует? Трудно представить, чтобы Дзержинский и его коллеги-большевики по ВЧК всерьез считали, будто рекомендации ЦК партии левых эсеров более чем достаточно.

Позже все они в один голос будут говорить, что с самого начала не очень-то доверяли Блюмкину. «Я Блюмкина особенно недолюбливал и после первых жалоб на него со стороны его сотрудников решил его от работы удалить», — заявлял, к примеру, Лацис. А Дзержинский вообще сказал следующее: «Блюмкина я ближе не знал и редко с ним виделся». Не очень убедительно.

Кстати, сам Блюмкин в автобиографии утверждал прямо противоположное: «Вся моя работа в ВЧК по борьбе с немецким шпионажем, очевидно, в силу своего значения, проходила под непрерывным… наблюдением председателя Комиссии т. Дзержинского и т. Лациса. О всех своих мероприятиях (как, например, внутренняя разведка в посольстве) я постоянно советовался с президиумом Комиссии…»

В целом со стороны Дзержинского и Лациса все это напоминает довольно неуклюжие попытки оправдаться в халатном отношении к делу и кадровому вопросу. Если, конечно, не подозревать руководителей ВЧК в чем-то большем. Например, в согласии с тем, что сделает Блюмкин в июле 1918-го. Но об этом мы еще поговорим.

* * *

Заняв пост начальника отделения, Блюмкин с головой погрузился в новую работу. Даже Лацис, когда давал показания Следственной комиссии после убийства Мирбаха, признавал, что Блюмкин проявлял большую активность, стремился расширить свое отделение «в центр Всероссийской контрразведки» и не раз подавал в Комиссию свои проекты. «Но там, — подчеркивал Лацис, — голосами большевиков <они> были провалены. В моем отделе я Блюмкину не давал ходу».

И здесь загадка. Если Блюмкин подавал несерьезные в профессиональном отношении проекты, то почему так и не сказать? А если проекты были полезны, то почему их проваливали именно большевики? Трудно понять, что происходило на самом деле. По данным Александра Здановича, в архивах ФСБ почему-то не сохранились ни «проекты Блюмкина», которые он подавал в ВЧК, ни вообще бумаги отделения «по борьбе с международным шпионажем».

Однако о кое-каких успехах Блюмкина сведения все же сохранились. Он, например, прилагал много усилий для того, чтобы получить схему планировки здания германского посольства. И это ему удалось.

Однажды в кабинете Блюмкина появился человек с чемоданчиком. Звали его Александр Исаевич Вайсман, и служил он монтером в компании «Московское общество электрического освещения 1886 года». У Вайсмана имелась подписанная Дзержинским бумага с разрешением на проверку электрооборудования в здании ВЧК.

Хозяин кабинета, сам по первой специальности электротехник, с ним разговорился. И тут выяснилось: в район, который обслуживает компания Вайсмана, входит и особняк германского посольства. Более того, сам Вайсман имел право его посещать для проверок оборудования и проведения ремонтных работ.

Блюмкин очень быстро завербовал монтера. Он составил для него целую инструкцию о том, что именно нужно разузнать при очередном посещении посольства:

«I. Проверить донесение о находящемся в доме складе оружия. По сведениям, он находится в одной из пристроек: конюшне, каретнице, сарае.

II. Узнать:

1. Подробный план дома и начертить его на бумаге.

2. Имеется ли в доме тайное радио?

3. Технику приема посетителей (принимает ли сам Мирбах или его секретари). Кто может проходить к самому Мирбаху?

4. В какой комнате (ее расположение от передней) находится и занимается Мирбах. Есть ли в его кабинете несгораемый шкаф?

5. Характер посетителей, приходящих в посольство.

6. Приблизительная численность служащих посольства.

7. Охраняется ли здание и кем? По сведениям, среди охраны есть русские. Кто превосходит численностью?

8. Общее впечатление».

Отказаться от предложения, сделанного одним из начальников из всемогущей и обладающей зловещей репутацией ЧК, Вайсман не посмел. Так что в один прекрасный день в особняке Берга появились два человека в рабочих спецовках. Они показали немцам разрешение на работу в здании их миссии (интересно, кем оно было выдано?) и сказали, что им необходимо проверить электропроводку. Видимо, монтеры все же вызвали у немцев определенные подозрения — после этого визита они решили изменить правила безопасности в посольстве. Теперь, как писал в дневнике майор фон Ботмер, «были даны строгие указания никого не пускать без проверки допуска, оформляемого компетентными органами, не допускать работу в здании без надзора». Но было уже поздно. Эти рабочие приходили «от Блюмкина».

«Теперь я вспоминаю, — показывал Лацис, — что Блюмкин дней за десять до покушения хвастался, что у него на руках полный план особняка Мирбаха и что его агенты дают ему все, что угодно, что ему таким путем удастся получить связи со всей немецкой ориентацией».

Блюмкин сам подбирал сотрудников для своего отделения. Он, как рассказывал все тот же Лацис, делал это, «пользуясь рекомендацией ЦК левых эсеров. Почти все служащие его были эсеры, по крайней мере Блюмкину казалось, что все они эсеры». Одним из таких людей был и Николай Андреев, принятый на должность фотографа при отделении Блюмкина.

Об этом человеке известно довольно мало, а между тем он тоже, как и Блюмкин, вошел в историю в качестве убийцы Мирбаха. Более того, некоторые историки считают, что он-то, а не Блюмкин, и убил германского посла.

На фотографии, имеющейся в следственном деле «О мятеже партии левых эсеров в Москве в 1918 г. и об убийстве германского посла Мирбаха», изображен худощавый человек в гимнастерке с солдатским Георгиевским крестом на груди. Иногда высказываются предположения, что настоящая фамилия Андреева была другой, но в истории он так и остался под псевдонимом.

Андреев то ли родился, то ли позже оказался в Одессе, где и познакомился с Блюмкиным. По специальности он тоже был электротехником. Блюмкин позже рассказывал, что Андреев имел склонность к изобретательству — например, изобрел походную радиостанцию для корректировки артиллерийской стрельбы, и эта радиостанция «отличалась чрезвычайной портативностью и помещалась в небольшой сумке». В конце 1917-го — начале 1918 года он занимался в Одессе революционной работой — выступал на митингах, организовывал боевые дружины левых эсеров. Участвовал в боях с войсками украинской Центральной рады и лично вывел из строя украинский броневик, защищавший вокзал.

После падения Одессы, взятой «белыми», Андреев перебрался в Москву, где вскоре устроился на работу к Блюмкину. По некоторым сведениям, вторым «монтером», проверявшим электрооборудование в германском посольстве, а заодно и составлявшим его схему, был как раз Николай Андреев. Но странно, как немцы не опознали его через несколько дней, когда он пришел уже с Блюмкиным убивать посла.

* * *

Лацис рассказывал о Блюмкине в своих показаниях: «Единственное дело, на котором он сидел, — это дело Мирбаха-австрийского. Он целиком ушел в это дело, просидел над допросами свидетелей целые ночи». Здесь, правда, снова возникает вопрос: а как же многочисленные проекты Блюмкина, о которых выше говорил тот же Лацис? Но «дело Мирбаха» действительно было самым крупным в его карьере чекиста.

Был такой старый советский фильм — «Его звали Роберт». О роботе, который как две капли воды походил на человека и очень хотел им стать. Пожалуй, и всю историю про «Мирбаха-австрийского», которую так талантливо провернул Блюмкин, можно было бы назвать так же, как и тот фильм.

Началась эта история в начале июня 1918 года в московской гостинице «Элит», где покончила жизнь самоубийством шведская актриса Ландстрем. Почему это произошло — точно неизвестно, но ВЧК заявила, что самоубийство может быть связано с «контрреволюционной деятельностью» актрисы. Вскоре начались аресты «подозрительных» постояльцев отеля.

Здесь нужно обратить внимание на один любопытный момент. Дело в том, что Блюмкин сам жил в «Элите». Следовательно, он вполне мог знать тех, кто квартирует по соседству с ним. И наверняка знал, что в отеле проживает постоялец, которого зовут Роберт Мирбах. Разумеется, человек с такой фамилией не мог не быть арестован чекистами.

В этой истории, как и вообще в биографии Блюмкина, много туманного и непонятного. Остается загадкой, арестовали ли его случайно, в числе прочих, или аресты начались для того, чтобы чекисты смогли захватить этого Мирбаха. А может быть, и самоубийство актрисы Ландстрем тоже было «устроено» ради этого же? Вот такая вот конспирология.

Кем же был вышеозначенный Роберт Мирбах? И здесь масса неясностей. По одним данным, бывший военнопленный австрийской армии, офицер, барон и племянник того самого графа Мирбаха — германского посла в РСФСР. Такой была версия ВЧК. По другим данным, никакого отношения к послу и к австрийской армии этот барон вообще не имел, а происходил якобы из обрусевших немцев, жил в России и до революции служил в хозяйственной части будущего «штаба революции» — Смольного института благородных девиц. Если верна вторая версия, значит, Блюмкин и его коллеги просто переписали его биографию и заставили арестованного барона Мирбаха с ней согласиться.

Блюмкин действительно просидел несколько ночей подряд над делом «Мирбаха-австрийского». Он предъявил ему обвинение

в шпионаже. Условному австрийцу грозил расстрел. Но Блюмкин обещал ему жизнь и свободу — в том случае, если он даст подписку о готовности сотрудничать с ВЧК. Что еще ему оставалось делать?

> «Обязательство
>
> Я, нижеподписавшийся, венгерский подданный, военнопленный офицер австрийской армии Роберт Мирбах, обязуюсь добровольно, по личному желанию доставить Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией секретные сведения о Германии и о Германском посольстве в России. Все написанное здесь подтверждаю и добровольно буду исполнять. Граф Роберт Мирбах».

Любопытно, что текст «Обязательства» написан на русском языке одним почерком, а последнее предложение на русском и немецком (с ошибками) и подписи по-русски и по-немецки — другим почерком.

В результате «работы» Блюмкина и других чекистов с арестованным на свет появилась следующая версия: племянник германского посла Роберт Мирбах служил в 37-м пехотном полку австрийской армии, был пленен, попал в лагерь, но освободился из заключения после ратификации Брест-Литовского мирного договора. В ожидании отъезда на родину он снял комнату в «Элите» и занимался шпионажем, за что и был арестован.

Об аресте Мирбаха чекисты сообщили в консульство Дании, которое представляло в Советской России интересы Австро-Венгрии. После переговоров с представителями ВЧК датчане связались с немцами, которые вдруг подтвердили — у посла Мирбаха действительно есть некий дальний родственник из Австрии Роберт Мирбах. Немцы через датчан просили отпустить его на поруки.

Для Блюмкина операция складывалась как нельзя более успешно. Посол Мирбах ни разу в жизни не видел своего австрийского родственника, а это значительно облегчало дело. По крайней мере, на некоторое время, пока немцы не смогут установить истину. Встречаются утверждения, что Блюмкин, разрабатывая эту операцию, уже тогда имел в виду убийство посла. Но, думается, это не так. Скорее затея с «племянником Мирбаха» первоначально задумывалась для того, чтобы обеспечить чекистам доступ в германское посольство.

В лице «племянника», подписавшего обязательство о сотрудничестве, они получали ценный источник информации, а с его помощью — самые конфиденциальные сведения об

обстановке в посольстве, а возможно, и о замыслах графа Мирбаха. Блюмкин наверняка рассчитывал, что после освобождения «племянник» сможет свободно посещать «дядю» и станет своим человеком у него.

Блюмкин не без оснований считал, что хорошо провел эту операцию. Казалось, что посол уже прочно сидит у него на крючке. Блюмкин даже начал хвастать о своих успехах в контрразведывательной работе во время посиделок в кафе. А вот это уже было зря.

«Этот тип позволяет себе говорить в разговорах такие вещи…» Хвастун

За то время, когда он работал в ЧК, Блюмкин явно себя зауважал. Как заправский чекист, он носил кожаную куртку, галифе, высокие сапоги и кобуру с пистолетом на боку. Его самолюбию наверняка льстили те чувства, которые чекисты вызывали у напуганных обывателей — что-то вроде смеси страха, уважения и ненависти. Еще сохранившиеся чудом оппозиционные газеты печатали ехидные стихи «на злобу советских дней»:

Нет ни дров, ни керосина,
Без свечей сидит семья.
Догорай, моя лучина,
Догорю с тобой и я…

В нашем счастии уверясь,
Лева Троцкий горд и мил —
Затянул я лихо ферязь.
Шапку-соболь заломил!

И Чичерин наш не дремлет,
Всей Европе тон дает —
Прачка гласу Бога внемлет,
Встрепенется и поет.

Вдруг нагрянет чрезвычайка,
Проверяющая Русь, —
Делать нечего, хозяйка,
Дай кафтан, уж поплетусь!

Лацис с Петерсом не праздны,
Шасть — глядишь, уж во дворе —
Закружились бесы разны,
Словно листья в ноябре…

Человек в кожаной куртке с кобурой на боку был в Москве 1918-го настоящим хозяином жизни.

Блюмкину тогда едва исполнилось 18 лет, но выглядел он на все тридцать. Чтобы казаться еще старше и мужественнее, он отпустил усы и бороду. Когда Блюмкин появился в Москве, сначала он жил в здании ЦК партии левых эсеров — в доме 18 по

Леонтьевскому переулку. Затем перебрался в гостиницу «Элит». В том же 1918 году гостиница была переименована в «Аврору», а ныне — это отель «Будапешт». Вместе с Андреевым он делил в «Элите» 221-й номер.

Весной первого послереволюционного года Блюмкин с головой окунулся не только в чекистские будни с их заговорами, контрреволюцией, расстрелами и спецоперациями. Его как магнитом притягивала московская литературная богема — он ведь и сам иногда баловался сочинительством. Окончательно в среду молодых поэтов и писателей Блюмкин «внедрится» позже, а тогда, в 1918-м, странная дружба «романтика революции», террориста и убийцы с людьми, которые на весь мир прославили русскую литературу, только начиналась.

Попасть в литературные круги Блюмкину было не так уж и сложно. Многие из известных русских поэтов, прозаиков, журналистов тогда симпатизировали левым эсерам и печатались в их изданиях. Далеко не полный перечень говорит сам за себя: Александр Блок, Сергей Есенин, Андрей Белый, Николай Клюев, Алексей Ремизов… На вечерах и выступлениях, организованных левыми эсерами, появлялись и другие представители литературно-артистической среды.

Сохранилось объявление о том, что Боевая организация левых эсеров устраивает в субботу, 18 мая 1918 года, на Садовой, 26, вечер поэтов. В программе значились Блок с «поэмой „Скифы“ и др. стихами», артистка Басаргина[13] с поэмой Блока «Двенадцать» и стихами Николая Клюева «Ленин», «Республика» и «Пулемет», артист Афанасьев с поэмой Есенина «Товарищ», а заодно и со стихами Константина Бальмонта. Билет на вечер стоил один рубль.

Блюмкин ходил на такие вечера. В это время (когда и где — точно неизвестно) он подружился с Есениным, а тот познакомил его со своими друзьями-поэтами Анатолием Мариенгофом, Вадимом Шершеневичем, Александром Кусиковым.

Кстати, среди левых эсеров склонность к литературе проявлял не только Блюмкин, но, к примеру, и Юрий Саблин — участник боев в Москве в 1917 году, левоэсеровского мятежа в июле 1918-го и довольно популярный среди «мастеров культуры» человек. Позже, в 1919-м, Саблин примкнет к большевикам, будет награжден за «проявленные мужество и храбрость» в Гражданской войне двумя орденами Красного Знамени (расстрелян в 1937 году по обвинению в принадлежности к антисоветской организации). О нем ходил такой анекдот: «Сидят три приятеля: революционер Саблин, награжденный орденом Красного Знамени номер 5 (данные о том, кто на самом деле получил эту награду за

номером 5, противоречивы. — *Е. М.),* Владимир Маяковский и Велимир Хлебников. Каждый говорит о себе. Саблин: „Таких, как я, в стране — пять!“ Маяковский: „Таких, как я, — один!“ Хлебников: „А таких, как я, — вообще нет!“».

Среди литераторов появлялся и Донат Черепанов по кличке «Черепок» — боевик, будущий террорист и борец с большевиками, однокашник по гимназии известного поэта Владислава Ходасевича.

«Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам, довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира, — довольно нелицеприятно описывал Ходасевич уже в эмиграции (очерк „Есенин“, 1926 год) участников этих „тусовок“, на которых и сам иногда бывал. — Философствовали непрестанно, и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие. Мало ели, но много пили. Не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали. Ходили к проституткам проповедовать революцию — и били их. <…>…готовы были ради ближнего отдать последнюю рубашку и загубить свою душу. Самого же ближнего тут же расстрелять, если того „потребует революция“».

Литературная жизнь Москвы весной 1918 года кипела. Московские поэты «шли в массы». Шагом «навстречу читателю» стало создание литературных кафе. Первыми были футуристы, открывшие «Кафе поэтов» в здании бывшей прачечной в Настасьинском переулке на Тверской. Там выступали Маяковский, Давид Бурлюк, Василий Каменский, а также певцы, танцоры, актеры. Большой популярностью пользовался номер «футуриста жизни» Владимира Гольцшмидта, который пропагандировал здоровый образ жизни, выходил на сцену голый, выкрашенный «под негра», и разбивал доски о голову. С эстрады футуристы посылали публику «к чертовой матери», что вызывало бурные овации.

Футуристы пропагандировали «анархический социализм» и необходимость еще одной — «духовной» — революции с разгромом «старого искусства». В марте 1918 года они самовольно захватили один из ресторанов, в котором собирались устроить клуб «индивидуального анархического творчества». Однако буквально через неделю их оттуда попросту выгнали.

Четырнадцатого апреля большевики одним махом расправились с анархистскими организациями Москвы. Под видом борьбы с бандитизмом отряды чекистов, красногвардейцев и солдат «зачистили» от них город, а их штаб в здании Купеческого клуба на Малой Дмитровке (сейчас там находится

театр «Ленком») взяли штурмом с помощью артиллерии. Надо сказать, что немало московских обывателей и «буржуев», а также иностранных наблюдателей отнеслись к этой акции почти с одобрением. Анархистов они считали бандитами и убийцами.

После разгрома анархистских штаб-квартир Дзержинский пригласил нескольких иностранцев осмотреть их. Сопровождал «экспертов» заместитель Дзержинского по ВЧК Яков Петерс. Роберт Брюс Локкарт вспоминал:

«Анархисты присвоили лучшие дома в Москве. На Поварской, где раньше жили богатые купцы, мы заходили из дома в дом. Грязь была неописуемая. Пол был завален разбитыми бутылками, роскошные потолки изрешечены пулями. Следы крови и человеческих испражнений на обюсонских коврах. Бесценные картины изрезаны саблями. Трупы валялись где кто упал. Среди них были офицеры в гвардейской форме, студенты — двадцатилетние мальчики и люди, которые, по всей видимости, принадлежали к преступному элементу, выпущенному революцией из тюрем. В роскошной гостиной в доме Грачева анархистов застигли во время оргии. Длинный стол, за которым происходил пир, был перевернут, и разбитые блюда, бокалы, бутылки шампанского представляли собой омерзительные острова в лужах крови и вина. На полу лицом вниз лежала молодая женщина. Петерс перевернул ее. Волосы у нее были распущены. Пуля пробила ей затылок, и кровь застыла зловещими пурпуровыми сгустками. Ей было не больше двадцати лет. Петерс пожал плечами.

— Проститутка, — сказал он, — может быть, для нее это лучше.

Это было незабываемое зрелище. Большевики сделали первый шаг к восстановлению дисциплины».

Тем не менее по анархизму, как по политической силе, тогда был нанесен тяжелый удар. А через два дня было закрыто и «Кафе поэтов». Видимо, какую-то связь политического и художественного анархизма новые руководители все же чувствовали.

После «Кафе поэтов» появилось кафе имажинистов «Музыкальная табакерка» на углу Петровки и Кузнецкого Моста. Затем — «Венок искусств», «Десятая муза», «Элит», «Трилистник» и др. Начинался «кафейный период» русской поэзии. В каждом из кафе собирался определенный круг литераторов. Время от времени вспыхивали скандалы. 14 апреля 1918 года газета «Новости дня» писала о событиях в кафе «Трилистник»:

«Мирное житие далекого от шумной улицы кафе было нарушено вчера „очередным“ выступлением г-на Маяковского.

Лишившись трибуны в закрывшемся „Кафе поэтов“, сей неунывающий россиянин, снедаемый страстью к позе и саморекламе, бродит унылыми ночами по улицам Москвы, заходя „на огонек“, туда, где можно выступить и потешить публику. Вчера, однако, г-н Маяковский ошибся дверью.

Публике, собирающейся в „Трилистнике“, оказались чужды трафаретные трюки талантливого поэта. Сорвав все же некоторое количество аплодисментов, г-н Маяковский удалился. Волнение улеглось. Вновь зазвучали прекрасные стихи В. Ходасевича и Эренбурга…»

Блюмкин стал все чаще и чаще заходить на «литературные огоньки». Туда его водил Есенин. Знаменитый и уже неоднократно описанный случай произошел на именинах Алексея Толстого. Кстати, когда Толстому в первый раз предложили выступить в кафе, он ужаснулся. «Вы приглашаете меня читать в кафе? — с ужасом переспросил будущий „красный граф“. — Простите, но… там одни спекулянты». Впрочем, Толстой быстро «втянулся в процесс» и с удовольствием «читал» в кафе, да и не только там.

Так вот, о вечере у Толстого. Тогда у него собралось человек сорок, если не больше. Владислав Ходасевич вспоминал в том же очерке:

«Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к беседам. Порою вставлял словцо — и неглупое. Это был Блюмкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. (Здесь Ходасевич ошибся: от момента появления Блюмкина в Москве до убийства Мирбаха прошло не более двух месяцев. — *Е. М.)* Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса К. Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. Захотел щегольнуть — и простодушно предложил поэтессе:

— А хотите поглядеть, как расстреливают? Я вам это через Блюмкина в одну минуту устрою».

Действительно ли Есенин мог это «устроить» или просто красовался, трудно сказать (скорее всего, хотел щегольнуть), но этот разговор хорошо передает нравы того времени — известный поэт запросто приглашает даму посмотреть на расстрелы, чтобы развлечь ее и добиться благосклонности. Прямо не Москва, а какой-то Рим времен Нерона или Калигулы.

Чем чаще Блюмкин появлялся на поэтических вечеринках, тем развязнее становился, не таясь рассказывал о своих подвигах и работе. Сам вид Блюмкина, его принадлежность к зловещей и загадочной ЧК, рассказы о его приключениях вызывали у слушателей невольное уважение, смешанное со страхом. А как

иначе относиться к человеку, который, по его же словам, мог лично решать, кого расстрелять, а кого оставить в живых?

Поэты, конечно, не могли знать, что никаких смертных приговоров Блюмкин выносить не имел права. Тогда это было только в компетенции Коллегии ВЧК, и то — при единогласном одобрении. Но его «треп» производил впечатление.

В это же время Блюмкин познакомился с поэтом Осипом Мандельштамом и как-то предложил ему сотрудничать в некоем новом учреждении, которое, как говорил Блюмкин, должно определить эпоху и стать средоточием власти. Жена поэта Надежда Мандельштам в своих мемуарах со слов мужа писала: «О. М. в испуге отказался от сотрудничества, хотя тогда еще никто не знал, в чем будет специфика нового учреждения…: Он всегда как-то по-мальчишески удирал от всякого соприкосновения с властью». Однажды Мандельштам несколько дней прожил в Кремле[14], и как-то утром в общей столовой, куда он вышел завтракать, «лакей, прежде дворцовый, а потом обслуживавший революционное правительство и не утративший почтительно-лакейских манер, сообщил О. М., что сейчас сам Троцкий „выйдут кушать кофий“. О. М. схватил в охапку пальто и убежал, пожертвовав единственной возможностью поесть в голодном городе». Объяснить свой импульс к бегству он никак не мог: «Да ну его… Чтобы не завтракать с ним…»

Что же это было за «новое учреждение»? Скорее всего, речь шла о ЧК, куда Блюмкин только-только пришел работать. «Функции этого „нового учреждения“ О. М. впервые понял во время стычки с Блюмкиным», — писала Надежда Мандельштам.

Принято считать, что эта «стычка» Мандельштама и Блюмкина значительно повлияла на судьбу последнего. Что же произошло между ними?

Существует несколько описаний «стычки». Одна принадлежит известному поэту Георгию Иванову — в своих «Петербургских зимах» он изобразил эту сцену столь красочно, что есть смысл привести соответствующий фрагмент почти полностью.

«…1918 год. Мирбах еще не убит. Советское правительство еще коалиционное — большевики и левые эсеры. И вот в каком-то реквизированном московском особняке идет „коалиционная“ попойка. Изобразить эту или подобную ей попойку не могу по простой причине: не бывал. Но вообразить ее не трудно: интеллигентские бородки и золотые очки вперемежку с кожаными куртками. Советские дамы. „За милых женщин, прелестных женщин“… „Пупсик“… „Интернационал“. Много народу, много выпивки и еды. Тут же, среди этих очков, „Пупсика“, „Интернационала“, водки и икры — Мандельштам.

<…> Все пьяны. Мандельштам тоже навеселе. Немного, потому что пить не любит. Он больше насчет пирожных, икры, „ветчинки“…

<…> „Коалиция“ пьет, Мандельштам ест икру и пирожные. <…> Все хорошо. Все приятно. Все забавно. <…>

Но вдруг улыбка на лице Мандельштама как-то бледнеет, вянет, делается растерянной… Что такое? Выпил лишнее? Или пепел душистой хозяйской сигары прожег сукно только что, с такими хлопотами сшитого костюма?..

Или зубы, несчастные его зубы, которые вечно болят, потому что к дантисту, который начнет их сверлить, пойти не хватает храбрости, — зубы эти заныли от сахара и конфет?..

Нет, другое.

С растерянной улыбкой, с недоеденным пирожным в руках Мандельштам смотрит на молодого человека в кожаной куртке, сидящего поодаль. Мандельштам знает его. Это Блюмкин, левый эсер. Знает и боится, как боится, впрочем, всех, кто в кожаных куртках. <…> Кожаные куртки его пугают, этот же Блюмкин особенно. Это чекист, расстрельщик, страшный, ужасный человек… Обыкновенно Мандельштам старается держаться от него подальше, глазами боится встретиться. И вот теперь смотрит на него, не сводя глаз, с таким странным, жалким, растерянным видом. В чем дело?

Блюмкин выпил очень много. Но нельзя сказать, чтобы он выглядел совершенно пьяным. Его движения тяжелы, но уверенны. Вот он раскладывает перед собою на столе лист бумаги — какой-то список, разглаживает ладонью, медленно перечитывает, медленно водит по листу карандашом, делая какие-то отметки. Потом, так же тяжело, но уверенно, достает из кармана своей кожаной куртки пачку каких-то ордеров…

— Блюмкин, чем ты там занялся? Пей за революцию…

И голосом, таким же тяжелым, с трудом поворачивающимся, но уверенным, тот отвечает:

— Погоди. Выпишу ордера… контрреволюционеры… Сидоров? А, помню. В расход. Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно, в расх… <…>

…Ордера уже подписаны Дзержинским. Заранее. И печать приложена. „Золотое сердце“ доверяет своим сотрудникам „всецело“. Остается только вписать фамилии и… И вот над пачкой таких ордеров тяжело, но уверенно поднимается карандаш пьяного чекиста.

— …Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно…

И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину,

выхватывает ордера, рвет их на куски.

Потом, пока еще ни Блюмкин, ни кто не успел опомниться, — опрометью выбегает из комнаты, катится по лестнице и дальше, без шапки, без пальто, по ночным московским улицам, по снегу, по рельсам, с одной лишь мыслью: погиб, погиб, погиб… Всю ночь он пробродил по Москве, в страшном возбуждении. <…> Сел на скамейку, заплакал. Потом встал и пошел в этот самый зарозовевший Кремль, к Каменевой[15].

Каменева, конечно, еще спала, он ждал. В десять часов Каменева проснулась, ей доложили о Мандельштаме. Она вышла, всплеснула руками и сказала:

— Пойдите в ванную, причешитесь, почиститесь! Я вам дам пальто Льва Борисовича (Каменева. — *Е. М.)*. Нельзя же в таком виде везти вас к товарищу Дзержинскому.

И Мандельштам „чистился“ в каменевской ванной, лил себе на голову каменевский одеколон, перевязывал галстук, ваксил башмаки. Потом пил с Каменевой чай. Пили молча. <…>

Потом поехали.

Дзержинский принял сейчас же, выслушал внимательно Каменеву. Выслушал, потеребил бородку.

Встал. Протянул Мандельштаму руку.

— Благодарю вас, товарищ. Вы поступили так, как должен был поступить всякий честный гражданин на вашем месте. — В телефон: — Немедленно арестовать товарища Блюмкина и через час собрать коллегию ВЧК для рассмотрения его дела. — И снова, к дрожащему дрожью счастья и ужаса Мандельштаму: — Сегодня же Блюмкин будет расстрелян.

— Тттоварищ… — начал Мандельштам, но язык не слушался, и Каменева уже тянула его за рукав из кабинета. Так он и не выговорил того, что хотел выговорить: просьбу арестовать Блюмкина, сослать его куда-нибудь (о, еще бы, какая же, если Блюмкин останется в Москве, будет жизнь для Мандельштама!). Но… „если можно“, не расстреливать.

Но Каменева увела его из кабинета, довела до дому, сунула в руку денег и велела сидеть дня два, никуда не показываясь, — „пока вся эта история не уляжется“…

Выполнить этот совет Мандельштаму не пришлось. В двенадцать дня Блюмкина арестовали. В два — над ним свершился „строжайший революционный суд“, а в пять какой-то доброжелатель позвонил Мандельштаму по телефону и сообщил: „Блюмкин на свободе и ищет вас по всему городу“.

Мандельштам вздохнул свободно только через несколько дней, когда оказался в Грузии. <…>

Через несколько месяцев Блюмкин провинился „посерьезнее“,

чем подписыванием в пьяном виде ордеров на расстрел: он убил графа Мирбаха».

Что и говорить — написано увлекательно. Но на самом деле Георгий Иванов «воссоздал» эту сцену, что называется, «по мотивам» реальных событий. И многого из того, о чем он писал, судя по всему, не было вовсе[16].

Сохранилась версия и самого Мандельштама. Он рассказал об этом случае жене, а потом и Дзержинскому. Ну а председатель ВЧК изложил ее в своих показаниях уже после убийства Мирбаха. По словам Мандельштама, произошло вот что.

Дело было в одном из писательских кафе. Подвыпивший Блюмкин в красках рассказывал о том, как он завербовал Роберта Мирбаха, выбалтывая, кстати, совершенно посторонним людям служебные тайны. Потом он разглагольствовал о том, что жизнь арестованных вообще находится в его руках и что он собирается расстрелять некоего «интеллигентишку», сидящего у него в ЧК. «Подпишу бумажку и через два часа нет человека», — говорил он. Мандельштаму запомнилось, что речь шла то ли о венгерском, то ли о польском графе-искусствоведе.

«Хвастовство Блюмкина, что он возьмет да пустит в расход интеллигентишку искусствоведа, довело другого хилого интеллигента, Мандельштама, до бешенства, — пишет в мемуарах Надежда Мандельштам, — и он сказал, что не допустит расправы. Блюмкин заявил, что не потерпит вмешательства О. М. в „свои дела“ и пристрелит его, если тот только посмеет „сунуться“. При этой первой стычке Блюмкин, кажется, уже угрожал О. М. револьвером. Он делал это с удивительной легкостью даже в домашней жизни, как мне говорили…» Блюмкин, встречаясь с Мандельштамом в последующие годы, несколько раз демонстративно грозил ему револьвером.

Никаких ордеров Мандельштам не рвал, потому что у Блюмкина их просто не было. Но скандал получился громкий. В кафе его удалось кое-как уладить, однако этим дело не закончилось. О ссоре действительно стало известно Дзержинскому, и для Блюмкина — по крайней мере, по версии председателя ВЧК — это имело весьма неприятные последствия. Сам «романтик революции», вероятно, что-то такое предчувствовал, поэтому предупредил Мандельштама, что тот пожалеет, если разболтает об инциденте в кафе и его, Блюмкина, «трепе». Но Мандельштам все-таки «разболтал».

Разгоряченный поэт сразу же после скандала отправился не к Каменевой, по воспоминаниям Н. Мандельштам, а к своей хорошей знакомой Ларисе Рейснер — журналистке, литератору, будущему комиссару Красной армии. Благодаря своей красоте

Рейснер пользовалась колоссальной популярностью у «руководящих товарищей», да и не только у них. Весной 1918 года Рейснер была женой заместителя наркомвоенмора Троцкого Федора Раскольникова — потом он стал командующим Балтийским флотом, советским дипломатом и «невозвращенцем», написавшим открытое обличительное письмо Сталину.

После разговора с Мандельштамом Раскольников позвонил Дзержинскому и рассказал ему о замашках Блюмкина. Он же договорился о том, что председатель ВЧК примет на Лубянке Мандельштама и Рейснер. Скорее всего, он уступил просьбам красавицы-жены. «Не было такой силы в мире, которая заставила бы Раскольникова поехать по такому делу в Чека, да еще с О. М. — его он не любил. Все, связанное с литературными пристрастиями Ларисы, всегда раздражало Раскольникова», — замечает Надежда Мандельштам.

Тем не менее разговор Дзержинского с Мандельштамом и Рейснер состоялся. Он пообещал разобраться с Блюмкиным. Впрочем, жена Мандельштама была уверена — это обещание было просто сотрясением воздуха: «Дзержинский заинтересовался и самим Блюмкиным и стал о нем расспрашивать Ларису. Она ничего толком о Блюмкине не знала, но О. М. потом жаловался мне на ее болтливость и бестактность. Этим она славилась… Во всяком случае, болтовня Ларисы Блюмкину не повредила и не привлекла к нему никакого внимания, а жалоба О. М. на террористические замашки этого человека в отношении заключенных осталась, как и следовало ожидать, гласом вопиющего в пустыне. Если бы тогда Блюмкиным заинтересовались, знаменитое убийство германского посла могло бы сорваться, но этого не случилось: Блюмкин осуществил свои планы без малейшей помехи».

В тот день никто и не думал арестовывать Блюмкина. Впрочем, Дзержинский потом утверждал, что он немедленно принял меры. Ссора Блюмкина и Мандельштама в его изложении выглядела так: «За несколько дней, может быть, за неделю до покушения (на посла Мирбаха. — *Е. М.)* я получил от Раскольникова и Мандельштама (в Петрограде работает у Луначарского) сведения, что этот тип в разговорах позволяет себе говорить такие вещи: „Жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку — через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит гражданин Пусловский, поэт, большая культурная ценность, подпишу ему смертный приговор“, но если собеседнику нужна эта жизнь, он ее „оставит“ и т. д. Когда Мандельштам, возмущенный, запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать, что, если он кому-нибудь скажет о нем, он будет мстить всеми

силами».

Объекты угроз Блюмкина в рассказах Мандельштама и Дзержинского, как видим, разные, но суть дела от этого не меняется.

Далее Дзержинский утверждал следующее:

«Эти сведения я тотчас же передал Александровичу, чтобы он взял от ЦК объяснения и сведения о Блюмкине для того, чтобы предать его суду. В тот же день на собрании комиссии было решено по моему предложению нашу контрразведку распустить и Блюмкина пока оставить без должности. До получения объяснений от ЦК левых эсеров я решил о данных против Блюмкина комиссии не докладывать».

Была в показаниях Дзержинского еще одна фраза: «Фигура Блюмкина ввиду разоблачения его Раскольниковым и Мандельштамом сразу выяснилась как провокатора». Но эту фразу из текста в «Красной книге ВЧК» изъяли. Вероятно, чтобы не компрометировать Блюмкина, который в 1921 году был уже не «провокатором», а человеком, «преданным делу революции».

Непосредственный начальник Блюмкина по ВЧК Мартин Лацис добавляет еще несколько штрихов к этой картине. Оказывается, на Блюмкина тогда жаловались и его сотрудники: «Я Блюмкина особенно недолюбливал и после первых жалоб на него со стороны его сотрудников решил его от работы удалить. За неделю до 6 июля Блюмкин уже у меня в отделе не числился, ибо отделение было расформировано по постановлению комиссии, а Блюмкин оставлен без определенных занятий. Это решение комиссии должно быть запротоколировано в протоколах комиссии в первых числах июля или в последних числах июня».

Получается, что после жалоб на хвастовство и «террористические замашки» Блюмкина руководство ВЧК распустило важнейшую службу, которая занималась наблюдением за представителями одного из главных противников РСФСР — Германии. И это в то время, когда шпионские интриги, заговоры, дерзкие проекты по свержению власти возникали как грибы после дождя. Выглядит просто невероятно.

* * *

Весь июнь ходили слухи о возможном покушении на посла. И Дзержинский о них прекрасно знал. Позже он признавался, что немцы передали в Наркоминдел данные (потом их получили и чекисты) о подготовке теракта против посла, а заодно и о

заговоре против советской власти. Они же представили и список адресов заговорщиков. Однако обыски ничего не дали, и арестованных пришлось отпустить.

Затем немцы выдали новую порцию данных.

«Сообщалось, — рассказывал Дзержинский, — что, вне всякого сомнения, в Москве против членов германского посольства и против представителей советской власти готовятся покушения и что можно одним ударом раскрыть все нити этого заговора». По указанному немцами адресу — Петровка, 19, квартира 35, — был произведен очередной обыск и арестован британский подданный, учитель английского языка Уайбер. У него обнаружили «шесть листков шифрованных». Один из этих листков отослали немцам, и они вернули текст уже расшифрованным, а также прислали и ключ шифра. Когда были расшифрованы все остальные листы, Дзержинский пришел к выводу, что «кто-то шантажирует и нас, и германское посольство и что, может быть, гр. Уайбер — жертва этого шантажа».

Председатель ВЧК встретился с представителями посольства, но добиться от них, откуда они берут эти данные, так и не смог.

«Очевидным для меня было, что это недоверие было возбуждено лицами, имеющими в этом какую-либо цель помешать мне раскрыть настоящих заговорщиков, о существовании которых на основании всех имеющихся у меня данных я не сомневался, — жаловался Дзержинский… — Недоверие ко мне со стороны дающих мне материал связывало мне руки».

Однако одного из своих осведомителей немцы все же ему представили. Это был некий кинематографист Владимир Иосифович Гинч. Он-то и рассказал, что убийство графа Мирбаха готовит подпольная организация «Союз союзников», членом которой он состоит.

«После свидания с этим господином, — сделал вывод Дзержинский, — у меня больше не было сомнений, для меня факт шантажа был очевиден. Не мог только понять цели — думал, что „сбить комиссию и только“ и занять не тем, чем нужно». Тем не менее он сообщил немцам, что их осведомителей желательно арестовать, но «ответа не получил».

Дзержинскому приходилось выслушивать от немцев упреки в том, что он смотрит на возможность теракта, угрожавшего послу, «сквозь пальцы». Это его возмущало и обижало. Сам глава ВЧК утверждал, что он лично «опасался покушений на жизнь гр. Мирбаха со стороны монархических контрреволюционеров, желающих добиться реставрации путем военной силы германского милитаризма, а также со стороны

контрреволюционеров — савинковцев и агентов англо-французских банкиров». Но, как видим, «железный Феликс» сильно ошибался. Если, конечно, верить тому, что он рассказывал.

Для того чтобы попытаться найти ответы на вопросы, которые тревожили Дзержинского, можно было, вероятно, подключить отделение Блюмкина, которое тем и занималось, что отслеживало связи германских дипломатов. Но отделение расформировали.

О том, что такой шаг был связан с поведением Блюмкина, Дзержинский и Лацис говорили уже после того, как он совершил покушение на Мирбаха. Но не исключено, что они просто стремились как можно дальше дистанцироваться от своего бывшего сотрудника, замешанного в таком скандальном деле. Однако факт остается фактом — в начале июля 1918 года блюмкинское отделение собирались распускать. Косвенным подтверждением этого является то, что после покушения на Мирбаха в портфеле Блюмкина, забытом в посольстве, обнаружили папку с надписью: «Бумаги по ликвидации Отделения». Соответствующих бумаг в ней, правда, не было, а находилась лишь копия секретного документа о роли германского и австрийского Генштабов в отношении России.

Но все же: почему отделение Блюмкина решили распустить?

Точного ответа на этот вопрос нет. Как уже говорилось, протоколы заседаний президиума ВЧК за этот период в архивах почему-то отсутствуют. Можно только предполагать.

Версия первая. Руководители ЧК (а возможно, и более высокопоставленные руководители) были недовольны слишком активной работой отделения Блюмкина против германского посольства. И в ответ на жалобы немцев приняли демонстративные меры. До поры до времени представителей Германии решили не злить. Тем более что германские дипломаты говорили Дзержинскому: возможно, те, кто готовит покушение на Мирбаха, имеют связи в ВЧК (в этом они оказались правы).

История с Мандельштамом произошла как нельзя кстати и стала хорошим поводом для устранения не в меру ретивого Блюмкина.

Версия вторая основана на предположении, что заговор против германского посла готовился заранее и что вся работа Блюмкина по проникновению в посольство была направлена на его подготовку. Дзержинский якобы знал о заговоре, а может быть, даже участвовал в нем. Сторонники этой версии исходят из того, что председатель ВЧК примыкал к «левым коммунистам» и сначала был резко настроен против Брестского мира. Распустив отделение Блюмкина, он таким образом уводил из-под

ответственности себя самого и свое могущественное ведомство. Знали ли об этом в Кремле? Или Дзержинский мог поступить так только по согласованию с Лениным, Троцким и другими руководителями государства? Вопросы, как говорится, открытые.

Наконец, еще одно предположение: немцы жаловались на слежку, и Блюмкина решили демонстративно «принести в жертву», чтобы их успокоить. При этом расформирование его отделения было чистой воды формальностью, а сам он продолжал заниматься тем, чем занимался раньше. Во всяком случае, от дел его не отстранили и не уволили из ВЧК. 1 июля Блюмкин, например, представлял ВЧК на заседании Комиссии по организации разведки и контрразведки при Народном комиссариате по военным делам.

Сам Блюмкин позже рассказывал, что 6 июля он лично взял у Лациса дело Роберта Мирбаха, которое послужило ему поводом для встречи с послом Вильгельмом фон Мирбахом. Вряд ли Блюмкину так просто выдали секретное дело, если бы он действительно был отстранен от дел. Тем более что дело хранилось в сейфе у большевика Лациса, а не у левого эсера Александровича, благодаря которому Блюмкин оформил все необходимые мандаты ЧК для предъявления германскому послу.

* * *

В Москве Блюмкин иногда заходил в гости к своему знакомому — журналисту Давиду Азовскому. Жил тот на Сивцевом Вражке, на пятом этаже. Азовский обратил внимание на странность в поведении гостя — он часто садился на подоконник и долго смотрел из окна куда-то вдаль. Только потом, после убийства Мирбаха, когда фамилия Блюмкина на все лады склонялась в советских газетах, Азовский понял, почему он так любил сидеть на подоконнике. Оказывается, из его квартиры хорошо просматривалась территория германского посольства.

ШЕСТОЕ ИЮЛЯ

«Вели себя, как заправские деревенские горлопаны…» Съезд

Четвертого июля 1918 года в Москве должен был открыться V Всероссийский съезд Советов. К этому времени разногласия между большевиками и левыми эсерами обострились до предела. На съезде сторонники Марии Спиридоновой собирались дать «ленинцам» решительный бой и даже рассчитывали на успех. 2 июля костромская газета левых эсеров «Пламя борьбы» писала, что победа их партии на съезде станет «величайшей победой революционного русского народа».

С 3 по 6 июля газета «Знамя Труда», центральный орган партии левых эсеров, была заполнена лозунгами: «Долой Брестскую петлю, удушающую русскую революцию!», «Да здравствует беспощадная борьба трудящихся с акулами международного империализма!», «На помощь восставшим против своих угнетателей крестьянам и рабочим Украины!», «Да здравствует международная социалистическая рабочая и крестьянская революция!».

Четвертого июля съезд начал свою работу в Большом театре. Присутствовали 1164 делегата, в том числе 733 большевика и 353 левых эсера. В отделанном бархатом и золотом зале сидели люди в косоворотках, сапогах, кожаных куртках, военной и матросской форме. В воздухе плавали густые клубы дыма — запрещать курение тогда еще никому не приходило в голову. Правую сторону зала занимали большевики, левую — левые эсеры. На сцене восседал президиум во главе со Свердловым. Роберт Брюс Локкарт, наблюдавший за открытием съезда из дипломатической ложи, вспоминал:

«По правую руку от Свердлова размещены левые социалисты-революционеры, бритые, хорошо одетые и, очевидно, принадлежащие к образованным классам, — Камков и Карелин, затем Черепанов, на крайнем конце — 32-летняя предводительница партии Мария Спиридонова, скромно одетая, с гладко зачесанными волосами и в пенсне, которым она беспрестанно играет, — живой портрет учительницы Ольги из чеховских „Трех сестер“… Сосредоточенный фанатичный взгляд ее глаз свидетельствовал о том, что перенесенные ею страдания отразились на ее психике… Нет только Дзержинского и Петерса. Этим мрачным вершителям большевистского правосудия некогда бывать на съездах. Ленин тоже опаздывает, по обыкновению. Он проскользнет позже, тихо, незаметно, но как раз вовремя».

В большой царской ложе сидели представители печати. Две ложи занимали дипломаты. В одной находились члены союзнических миссий, а над ними — представители германского, турецкого и болгарского посольств. «К счастью, мы сидим не друг против друга, а то это испортило бы нам зрелище», — комментировал Локкарт.

С самого начала в атмосфере съезда чувствовалось приближение грозы. Левые эсеры резко критиковали политику правительства большевиков, обличали Брестский мир, комитеты бедноты, введение смертной казни. Критиковали они и проект Конституции РСФСР, которую съезд должен был принять.

«Эсеры, — писала „Правда“ 5 июля, — вели себя, как заправские деревенские горлопаны на сельских сходах. Они так кричали, стучали, неистовствовали, что порой казалось, что их большинство… Их бессильная злоба на силу и влияние большевиков выливалась порой в форму грубых мелочных выходок. Тов. Свердлов не раз просил их выражать свои чувства членораздельно».

Конфликты начались уже в первый день съезда. Троцкий предложил принять резолюцию, в соответствии с которой все красноармейские части предполагалось очистить от «провокаторов и наемников империализма», и прежде всего от тех, кто провоцирует столкновения с немцами. Левые эсеры в знак протеста решили покинуть заседание. Большевики проводили их аплодисментами и насмешливыми возгласами.

Газета «Знамя Труда», в свою очередь, отмечала:

«Левые с.-р., не вернувшись на заседание съезда, вышли на Театральную площадь с пением революционных песен и возгласами: „Долой империалистов и соглашателей!“, „Долой Мирбаха!“, „Да здравствует восстание на Украине!“, „Да здравствует мировая революция!“. Партийные товарищи, не расходясь, двигались с пением революционных песен мимо дома Советов по Моховой ул. до Воздвиженки, провожая депутатов крестьян в Крестьянский отдел Ц.И.К.».

На следующий день левые эсеры вернулись на съезд. Обе стороны применили «сверхтяжелую артиллерию». Сначала Свердлов в своей речи доказывал, что Россия слишком слаба, чтобы вести войну с немцами. Затем ехидно прошелся по выступлениям левых эсеров против смертной казни. «В то же время они работают с большевиками в чрезвычайных комиссиях, — говорил он. — Один из членов их партии — зампред московской ЧК, который привел в исполнение много смертных приговоров без суда. Следует ли это понимать так, что левые социалисты-революционеры против смертной казни по

суду и за нее, когда нет суда?»

Потом поднялась Спиридонова. Поначалу говорила монотонно, но постепенно перешла почти на крик. Обвиняла большевиков в том, что по отношению к крестьянству их партия «начинает становиться на путь гибельной политики» и что эта политика «убьет у крестьян любовь к советской власти». «Началась диктатура теории, диктатура отдельных лиц, влюбленных в свою теорию, в свою схему, в свои книжки!» — кричала она, обращаясь к появившемуся в президиуме Ленину.

«Когда крестьян, крестьян — большевиков, крестьян — левых социалистов-революционеров и беспартийных крестьян — всех одинаково уничтожают, гнетут и давят, — в моих руках вы найдете тот же револьвер, ту же бомбу, с которыми я когда-то защищала…» Конец ее фразы потонул в овациях и негодующих криках. О том, что происходило в зале, можно судить по стенограмме, в которой фрагменты выступлений отсутствуют — их просто невозможно было расслышать.

«Я, связанная с крестьянством, вы знаете, как сильно, я с искренностью, в которой вы не можете сомневаться (голос: „Нахалка!“), вы, товарищи большевики, крестьяне…»

На этом речь Спиридоновой фактически закончилась — большевики устроили ей обструкцию, кто-то громко и грязно выругался в ее адрес. Когда в некоторых местах дело уже шло к потасовке, к краю сцены вышел Ленин.

Ленина тоже встретили криками и насмешками. Но он заговорил спокойно, будто на лекции в университете, и зал постепенно затих. Ленин холодно анализировал унизительность, но необходимость Брестского мира, продовольственной диктатуры и смертной казни во время революции. Снисходительно, но и язвительно несколько раз отозвался о партии левых эсеров и ее лидерах. «И если теперь прежние товарищи наши — левые эсеры со всей искренностью, в которой нельзя сомневаться, говорят, что наши дороги разошлись, то мы твердо отвечаем им: тем хуже для вас, ибо это значит, что вы ушли от социализма», — заявил он. Чуть позже добавил: «Те социалисты, которые уходят в такую минуту… те — враги народа, губят революцию и поддерживают насилие, те — друзья капиталистов! Война им, и война беспощадная!»

Из ложи прессы за выступлением Ленина следил молодой репортер газеты «Власть народа» Константин Паустовский, позже описавший свое впечатление:

«Он <Ленин> говорил, а не „выступал“, очень легко, будто разговаривал не с огромной аудиторией, а с кем-нибудь из своих друзей. Говорил он без пафоса, без нажима, с простыми

житейскими интонациями и слегка грассируя, что придавало его речи оттенок задушевности. Но иногда он на мгновение останавливался и бросал фразу металлическим голосом, не знающим никаких сомнений.

Во время своей речи он ходил вдоль рампы и то засовывал руки в карманы брюк, то непринужденно держался обеими руками за вырезы черного жилета.

В нем не было ни тугой монументальности, ни сознания собственного величия, ни напыщенности, ни желания изрекать священные истины».

Постепенно, заметил другой очевидец всего происходившего в Большом театре — Локкарт, «сама личность этого человека и подавляющее превосходство его диалектики завоевывают аудиторию, которая слушает, как очарованная, и в конце речи разражается вспышкой оваций, в которых… участвуют не одни большевики».

Впрочем, вскоре обстановка вновь накалилась. Левый эсер Камков, выступая, повернулся к ложе, где сидел Мирбах, и кричал, что «диктатура пролетариата превратилась в диктатуру Мирбаха». «В некоторых речах на съезде звучали угрозы в адрес графа Мирбаха; в адрес ложи, предоставленной нашей дипломатической миссии, раздавались оскорбления, сопровождавшиеся угрожающей жестикуляцией», — записал в дневнике майор фон Ботмер. Из других источников известно, что делегаты грозили Мирбаху кулаками, показывали неприличные жесты и кричали: «Долой Мирбаха! Долой немецких мясников!» Интересно, что во время речи Камкова в дипломатической ложе союзников бурно аплодировал один офицер из французской контрразведки.

Репортер Паустовский записал:

«Камков подошел почти вплотную к ложе, где сидел Мирбах, и крикнул ему в лицо:

— Да здравствует восстание на Украине! Долой немецких оккупантов! Долой Мирбаха!

Левые эсеры вскочили с мест. Они кричали, потрясая кулаками. Потрясал кулаками и Камков. Под его распахнувшимся пиджаком был виден висящий на поясе револьвер».

Мирбах, однако, сидел невозмутимо, не вынув даже монокля из глаза, и читал газету. Крик, свист, топот продолжались в зале до тех пор, пока Свердлов не закрыл заседание. Тогда Мирбах встал и неторопливо вышел из ложи, оставив газету на барьере.

Вечером того же дня немцы совершили роковой для графа Мирбаха поступок — они уговорили его больше не появляться на съезде. Впрочем, аргументы об угрозах покушения на его жизнь

не подействовали. Посол согласился не посещать съезд на следующий день только после того, как ему сказали, что он, как первый представитель Германской империи, не имеет права подвергать себя подобного рода оскорблениям. А ведь если бы Мирбах поехал на съезд 6 июля, все могло бы пойти совсем по-другому…

* * *

Шестого июля заседание съезда было назначено на 14.00. Однако оно никак не начиналось. Зал был полон, но места в президиуме пустовали. Никого не было ни в немецкой ложе, ни в ложе союзников.

В ожидании начала работы съезда в театральном буфете беседовали два высокопоставленных чекиста — левый эсер Александрович и большевик Петерс. Выпили лимонаду, слово за слово, и тут неожиданно Александрович начал уговаривать Петерса поехать в штаб Боевого отряда ВЧК под командованием Дмитрия Попова — в Трехсвятительский переулок. Мол, нужно посмотреть, что у них там сейчас происходит. Петерсу эта просьба показалась странной, и он на всякий случай решил остаться в театре.

Около 16.00 в своей ложе появился дипломатический представитель Великобритании Локкарт. Он так описывал обстановку в зале:

«День был душный, и в театре было жарко, как в бане. Партер был почти полон делегатами, но на сцене оставалось много пустых мест. Не было ни Троцкого, ни Радека. К пяти часам исчезла большая часть большевиков — членов ЦИКа. Ложа, отведенная представителям центральных держав, пустовала. Было, однако, много левых социалистов-революционеров, в том числе Спиридонова. Она выглядела спокойной. Ее поведение ничем не выдавало того, что партия социалистов-революционеров уже решила начать войну».

В шесть часов вечера в дипломатическую ложу к Локкарту вошел Сидней Рейли и рассказал, что на улицах началась стрельба.

Журналисты пытались пробиться к телефонам, чтобы узнать, что происходит в городе, но их к ним не подпускали.

Примерно в это же время Троцкий иронически сказал Ленину: «Да, на монотонность жизни мы пожаловаться никак не можем».

Именно в этот день восемнадцатилетний бородатый

революционер в кожаной куртке по имени Яков Блюмкин — а таких в том безумном году было хоть пруд пруди — навсегда вошел в мировую историю.

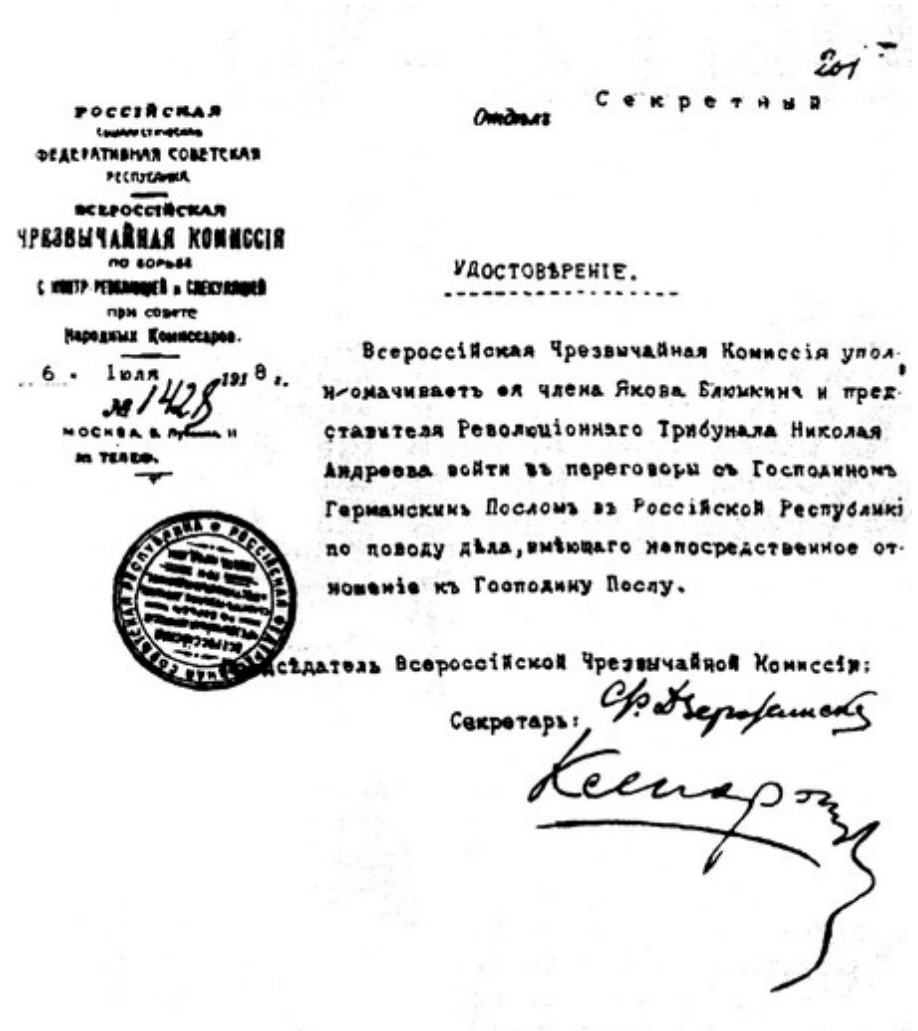
«ЦК решил убить графа Мирбаха…» Блюмкин готовится

Что же происходило в Москве в то время, пока делегаты съезда ждали в Большом театре начала его заседания?

Шестого июля 1918 года, примерно в 15 часов 30 минут (очевидцы указывали разное время), в здании посольства Германии в Денежном переулке был убит германский посол граф Мирбах. Личности убийц даже не пришлось устанавливать — явившись в посольство, они сами отрекомендовались немцам и предъявили им удостоверение ВЧК за подписью Дзержинского.

Отдел Секретный
«Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Совете Народных Комиссаров
УДОСТОВЕРЕНИЕ
6 июля 1918 г.
№ 1428
Москва, Б. Лубянка, 11
№ телеф.
Всероссийская чрезвычайная комиссия уполномочивает ее члена Якова Блюмкина и представителя Революционного трибунала Николая Андреева войти в переговоры с господином Германским послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к господину послу.
Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии:
Ф. Дзержинский Секретарь: Ксенофонтов».

Это удостоверение, как и другие документы, осталось на месте покушения.



РОССІЙСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ СОВЕТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ВСЕРОССІЙСКАЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССІЯ
по борьбѣ
при совѣтѣ
Народныхъ Комиссаровъ.
6 Іюля 1918 г.
№ 1428
Москва, Б. Лубянка и
по телеф.

201

Отдѣлъ Секретный

УДОСТОВѢРЕНІЕ.

Всероссійская Чрезвычайная Комиссія уполномочиваетъ ея члена Якова Блюмкина и представителя Революціоннаго Трибунала Николая Андреева войти въ переговоры съ Господиномъ Германскимъ Посломъ въ Россійской Республикѣ по поводу дѣла, имѣющаго непосредственное отношеніе къ Господину Послу.

Председатель Всероссійской Чрезвычайной Комиссіи:

Секретарь:

Удостоверение с поддельными подписями Ф. Дзержинского и И. Ксенофонтова, предъявленное Яковом Блюмкиным и Николаем Андреевым в германском посольстве 6 июля 1918 года

Но чтобы понять, как Блюмкин и Андреев оказались в германском посольстве, почему именно они убивали Мирбаха, откуда они взяли удостоверение, подписанное Дзержинским, и кто вообще стоял за этим покушением, нужно вернуться на несколько дней назад.

* * *

С начала 90-х годов прошлого века среди историков идет оживленная дискуссия на тему о том, кто на самом деле стоял за убийством Мирбаха и были ли «события 6 июля 1918 года» восстанием левых эсеров против большевиков, попыткой захвата власти или чем-то другим? Например, провокацией большевиков, которые, использовав удачный момент, решили покончить со своими конкурентами?

К вопросу о восстании или провокации мы еще вернемся. Пока же важно отметить следующее: впоследствии руководители левых эсеров не раз утверждали, что их выступление никоим образом не являлось ни антисоветским, ни антибольшевистским, ни контрреволюционным. Этому можно верить, а можно и не верить, но говорили они именно так. Что же касается убийства Мирбаха, то лидеры ПЛСР никогда и не думали открещиваться от этого акта. Более того, они — в том числе и на допросах — неоднократно подчеркивали, что Мирбах был убит по решению руководства их партии. Создавалось даже такое впечатление, что отстоять свою причастность к событиям в Денежном переулке было для них делом чести.

Уже в день убийства ЦК ПЛСР выпустил воззвание «Ко всем рабочим и красноармейцам!», в котором говорилось следующее:

«Палач трудового русского народа, друг и ставленник Вильгельма гр. МИРБАХ УБИТ карающей рукой революционера по постановлению ЦК партии левых социалистов-революционеров… Немецкие шпионы и провокаторы, которые наводнили Москву и частью вооружены, требуют смерти левым социалистам-революционерам.

Воинствующая часть большевиков, испугавшись возможных последствий, как и до сих пор, исполняет приказы германских палачей.

Все на защиту революции!..

Позор всем, кто вместе с немецкими шпионами и идут на подавление восставших против Вильгельма рабочих и крестьян!»

В телеграмме «Всем губернским, уездным, волостным и городским Советам» указывалось, что «по постановлению ЦК партии левых с.-р. убит летучим боевым отрядом представитель германского империализма граф Мирбах».

Седьмого июля в «Бюллетене ЦК ПЛСР № 1» давалось уже более расширенное объяснение покушения:

«Центральный комитет партии левых социалистов-революционеров имеет в своем распоряжении данные, что граф Мирбах пытался вооружить в Москве и провинции контрреволюционные элементы и сосредоточил в Москве и Московском округе склады оружия, которым хотел вооружить

военнопленных и белогвардейцев; далее граф Мирбах пытался провести своих шпионов в советские учреждения, и когда его племянник Мирбах был арестован Чрезвычайной комиссией и увидал, что ему грозит расстрел, он предложил Чрезвычайной комиссии свои услуги как шпиона между Советской властью и лагерем Мирбаха. Советская власть отклонила это предложение; в распоряжение Мирбаха был прислан из Германии известный русский провокатор Азеф[17] для организации шпионажа, опознанный нашими партийными товарищами в Петрограде и Москве; под покровительством графа Мирбаха находились украинские провокаторы и шпионы, присланные для выслеживания наших товарищей, отправляющихся для нелегальной работы на Украину…

Советская власть оказывалась совершенно беспомощной перед шайкой Мирбаха, и ЦК принужден был устранить пользовавшегося безнаказанностью агента иностранного империализма, явного контрреволюционера».

Здесь, конечно, смесь правды, полуправды, неправды и откровенных глупостей, вроде засылки в Москву провокатора Азефа, но это в данном случае не столь важно.

Выше уже говорилось, что в апреле 1918 года на II съезде ПЛСР Мирбах был выбран одной из главных целей «центрального» левоэсеровского террора против «виднейших представителей международного империализма».

Двадцать четвертого июня на заседании ЦК партии левых эсеров было решено, что «в интересах русской и международной революции необходимо в самый короткий срок положить конец так называемой передышке, создавшейся благодаря ратификации большевистским правительством Брестского мира». Для этого ЦК счел возможным и целесообразным «организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма». В этом же протоколе говорится о необходимости приложить все меры к тому, чтобы «трудовое крестьянство и рабочий класс примкнули к восстанию и активно поддержали партию в этом выступлении».

Далее в протоколе указывается, что «осуществление террора должно произойти по сигналу из Москвы. Сигналом таким может быть и террористический акт, хотя это может быть заменено и другой формой». Запомним пока последние слова о «другой форме». Фамилия Мирбаха, правда, здесь не упомянута ни разу.

Историк Юрий Фельштинский в своей работе «Большевики и левые эсеры. Октябрь 1917 — июль 1918. На пути к однопартийной диктатуре» утверждает, что речь в протоколе шла не о восстании против советской власти, а о восстании против

немцев на Украине. И что ЦК левых эсеров не принимал решения убить именно Мирбаха. По его мнению, все события 6 июля — результат грандиозной провокации со стороны большевиков.

В отношении восстания на Украине с историком можно согласиться, но в том, что касается Мирбаха, пожалуй, нет.

Как известно, «на прицеле» у левых эсеров было сразу несколько фигур. И, вероятно, с очередностью терактов они тогда просто еще не определились. Поэтому фамилия Мирбаха не упоминалась в протоколе. По некоторым данным, первой жертвой должен был стать командующий германскими оккупационными силами на Украине генерал-фельдмаршал фон Эйхгорн. Группа левоэсеровских боевиков уже находилась в Киеве. Убийство Мирбаха планировалось сначала вторым, после Эйхгорна. Но потом левые эсеры изменили свои планы.

Когда именно было принято решение начать террор с Мирбаха? Судя по всему, в начале июля — возможно, уже после открытия съезда Советов, на котором большевики и левые эсеры весьма бурно начали выяснять отношения. «Я считаю нужным для исторической ясности обстановки акта 6 июля отметить, что до съезда Советов съезд партии <левых эсеров>, как и ЦК, не предполагали что-либо предпринять для подобного расторжения Брестского мирного договора, — утверждал впоследствии Блюмкин. — …Насколько мне помнится, с таким твердым убеждением закончился 3-й съезд партии <левых эсеров> и был встречен V съезд Советов. Но уже после 1-го его заседания, 4 июля, стало ясно, что правительство не только не думало переменить направления своей политики, но не склонно было даже подвергать его элементарной критике. Тогда-то и ЦК решился выполнить приказание партийного съезда».

В показаниях Следственной комиссии по делу левых эсеров Мария Спиридонова рассказывала:

«ЦК партии выделил из себя очень небольшую группу лиц с диктаторскими полномочиями, которые занялись осуществлением этого плана при условиях строгой конспирации. Остальные члены ЦК никакого касательства к этой группе не имели. Я организовала дело убийства Мирбаха с начала и до конца… ЦК партии выделил для приведения в исполнение решения ЦК „тройку“, фактически же из этой тройки этим делом ведала я одна. Блюмкин действовал по поручению моему. Во всей инсценировке приема у Мирбаха я принимала участие, совместно обсуждая весь план покушения с товарищами террористами и принимая решения, обязательные для всех».

Имена этой «тройки» известны — это сама Спиридонова, а также левые эсеры Майоров и Голубовский.

Не исключено, что Спиридонова, как лидер партии левых эсеров, слишком много брала на себя, выгораживая своих товарищей по ЦК — к этому ее обязывал кодекс чести революционера. Судя по всему, о предстоящем убийстве Мирбаха знали не только «тройка» и непосредственные исполнители теракта. Историк Ярослав Леонтьев разыскал текст речи члена ЦК партии левых эсеров Владимира Карелина, с которой тот выступил в 1921 году в московском Доме печати. Карелин вспоминал свое «революционное прошлое» — убийство Мирбаха и «июльские дни».

По словам Карелина, для руководства заговором ЦК выделил не «тройку», а «пятерку». Помимо Спиридоновой, Голубовского и Майорова в нее входили также Борис Камков и сам Карелин. Возможно, в последний момент Майорова заменили другим членом ЦК — Прошем Прошьяном.

Таким образом, получается, что как минимум треть состава ЦК ПЛСР (в него входили 15 человек) была в курсе предстоящей акции. Но и это еще не все левые эсеры, кто знал о том, что собираются предпринять Блюмкин и Андреев.

Здесь к месту вспомнить, что сигналом к выступлению левых эсеров должен был стать «террористический акт, хотя это может быть заменено и другой формой». До наших дней дошли смутные сведения о том, что рассматривалась возможность похищения Мирбаха, а не только убийства. В этом смысле любопытен рассказ члена московской комиссии по делам немецких военнопленных О. Шнака.

Вечером 6 июля, когда в Москве уже шли бои, Шнака задержали вооруженные матросы. Они заявили, что он находится «не в руках большевиков, которые стоят на коленях перед немецкими империалистами, а у социалистов-революционеров, по приказу которых сегодня был убит посланник граф Мирбах», и что самому Шнаку как «представителю немецкого империализма» грозит та же судьба.

Шнак оказался в штабе Боевого отряда Попова, где его посадили в одну комнату с двенадцатью арестованными видными большевиками во главе с Дзержинским. Несколько раз Шнаку угрожали расстрелом. Затем его отвели в другую комнату, где три матроса печатали на машинках листовки и телеграммы в провинцию. «Эти матросы отнеслись ко мне доброжелательно и рассказали мне, в частности, что первоначальным решением социалистов-революционеров было взять графа Мирбаха заложником, а не убивать его», — вспоминал Шнак. Утром 7 июля его освободили большевистские части.

Вариант захвата Мирбаха, если он действительно

рассматривался всерьез, так и не был реализован.

* * *

Сначала теракт против Мирбаха был назначен на 5 июля. Исполнителем руководство левых эсеров наметило студента-филолога Московского университета, члена Боевой организации Владимира Шеварева. Но затем планы поменялись.

Блюмкин вспоминал:

«Вся организация акта над графом Мирбахом была исключительно поспешная и отняла всего 2 дня — промежуток времени между вечером 4 и полднем 6 июля…

4 июля, перед вечерним заседанием съезда Советов, я был приглашен из Большого театра одним членом ЦК <партии левых эсеров> для политической беседы. Мне было тогда заявлено, что ЦК решил убить графа Мирбаха, чтобы апеллировать к солидарности германского пролетариата, чтобы совершить реальное предостережение и угрозу мировому империализму, стремящемуся задушить русскую революцию, чтобы, поставив правительство перед свершившимся фактом разрыва Брестского договора, добиться от него долгожданной объединенности и непримиримости в борьбе за международную революцию. Мне приказывалось как члену партии подчиниться всем указаниям ЦК и сообщить имеющиеся у меня сведения о графе Мирбахе.

Я был полностью солидарен с мнением партии и ЦК и поэтому предложил себя в исполнители этого действия. Предварительно мной были поставлены следующие, глубоко интересовавшие меня вопросы:

1) Угрожает ли, по мнению ЦК, в том случае, если будет убит Мирбах, опасность представителю Советской России в Германии тов. Иоффе?

2) ЦК гарантирует, что в его задачу входит только убийство германского посла?

Ночью того же числа я был приглашен в заседание ЦК, в котором было окончательно постановлено, что исполнение акта над Мирбахом поручается мне, Якову Блюмкину, и моему сослуживцу, другу по революции Николаю Андрееву, также полностью разделявшему настроение партии. В эту ночь было решено, что убийство произойдет завтра, 5-го числа».

Член ЦК ПЛСР Сергей Мстиславский вспоминал: «Я не знаю Блюмкина в лицо, но вспоминаю, что 4-го вечером, после демонстрации нашей на Моховой, когда я возвращался к себе домой на Антипьевский, в Ваганьковском переулке меня обогнал

Карелин с двумя неизвестными мне товарищами: все трое были настолько возбуждены и так быстро шли в направлении к Пречистенке, что у меня невольно возникло недоумение: „Что такое могло случиться? Кто и куда?“ Вероятно, я стал невольным свидетелем именно этого — решающего разговора ЦК с Блюмкиным и его товарищем».

Три года спустя Блюмкин немного по-другому опишет этот «исторический момент». Выступая в московском Доме печати с лекцией «Из воспоминаний террориста», Блюмкин будет говорить, что он сам предложил себя в исполнители акта, и он же рекомендовал Николая Андреева, который к тому времени ушел из ВЧК, объяснив это тем, что ЦК партии левых эсеров переводит его на другую работу. ЦК предложение Блюмкина принял.

В своем выступлении Блюмкин вообще привел немало крайне любопытных и малоизвестных деталей подготовки теракта. По его словам, во время первого заседания съезда Советов «Спиридонова выразила готовность принять на себя выполнение убийства, воспользовавшись тем, что Мирбах присутствовал в одной из лож; но бомба была не готова».

Выступавший после Блюмкина Карелин немного поправил предыдущего оратора. По его утверждению, Спиридонова, Майоров и он сам перед открытием съезда находились в ложе, соседней с той, в которой сидел Мирбах. Спиридонова действительно предлагала немедленно и самолично убить Мирбаха, но не взорвать, а застрелить. Они заявили, что тоже готовы сделать это, спорили несколько минут и упустили удобный момент для задуманного — уже началось заседание. Карелин также утверждал, что на роль исполнительницы теракта предлагала себя и Анастасия Биценко — ветеран партии эсеров (потом она стала правоверной коммунисткой, тем не менее в 1938 году была арестована и расстреляна).

Таким образом, кандидатов на роль убийцы Мирбаха среди левых эсеров было хоть отбавляй, но выбрали все-таки Блюмкина. Почему? Исходя из плана теракта, который то ли предложил он сам, то ли был разработан вместе с членами «пятерки» из ЦК, это был вполне логичный выбор. Блюмкин хорошо знал расположение комнат в посольстве и, что важно, занимался делом Роберта Мирбаха, а следовательно, под этим предлогом мог попросить аудиенции у посла и попасть в здание в Денежном переулке.

Но к пятнице, 5 июля, Блюмкин не успевал всё организовать, была не готова бомба, которую он должен был взять с собой. Поэтому операцию решили перенести на субботу, 6 июля.

«Еще меньше я знаю, останусь ли я жив». Дзержинский за ширмой

«До чего неожидан и поспешен для нас был июльский акт, говорит следующее: в ночь на 6-е мы почти не спали и приготовлялись психологически и организационно», — вспоминал Блюмкин. Легко понять их волнение — и Блюмкин, и Андреев осознавали, что с ними может случиться все что угодно. Скорее всего, именно в ночь на 6 июля Блюмкин мог написать письмо, в котором попытался объяснить мотивы своего поступка. Конечно, он мог написать его и раньше, как только его утвердили исполнителем теракта, но обычно подобные письма пишутся накануне риска собой.

«Письмо Блюмкина» обнаружил и опубликовал историк Юрий Фельштинский. Оно находится в архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке и дошло до нас в виде копии. При этом Фельштинский допускает возможность фальсификации, но однозначно расценивать письмо как подделку веских оснований все-таки нет. Кому оно адресовано — до сих пор не установлено. Итак:

> «Лето 1918 года. Москва
> Письмо Блюмкина (эсера, убившего графа Мирбаха)
> Копия
> В борьбе обретешь ты право свое!
> Уваж<аемый> товарищ!
>
> Вы, конечно, удивитесь, что я пишу это письмо Вам, а не кому-либо иному. Встретились мы с Вами только один раз. Вы ушли из партии, в которой я остался. Но, несмотря на это, в некоторых вопросах Вы мне ближе, чем многие из моих товарищей по партии. Я, как и Вы, думаю, что сейчас дело идет не о программных вопросах, а о более существенном: об отношении социалистов к войне и миру с германским империализмом. Я, как и Вы, прежде всего противник сепаратного мира с Германией, и думаю, что мы обязаны сорвать этот постыдный для России мир каким бы то ни было способом, вплоть до единоличного акта, на который я решился…
>
> Но кроме общих и принципиальных моих, как социалиста, побуждений, на этот акт меня толкают и другие побуждения, которые я отнюдь не считаю нужным скрывать — даже более того, я хочу их подчеркнуть

особенно. Я — еврей, и не только не отрекаюсь от принадлежности к еврейскому народу, но горжусь этим, хотя одновременно горжусь и своей принадлежностью к российскому народу. Черносотенцы-антисемиты, многие из которых сами германофилы, с начала войны обвиняли евреев в германофильстве и сейчас возлагают на евреев ответственность за большевистскую политику и за сепаратный мир с немцами. Поэтому протест еврея против предательства России и союзников большевиками в Брест-Литовске представляет особенное значение. Я, как еврей и как социалист, беру на себя совершение акта, являющегося этим протестом.

Я не знаю, удастся ли мне совершить то, что я задумал. Еще меньше я знаю, останусь ли я жив. Пусть это мое письмо к Вам, в случае моей гибели, останется документом, объясняющим мои побуждения и смысл задуманного мною индивидуального действия. Пусть те, кто со временем прочтут его, будут знать, что еврей-социалист не побоялся принести свою жизнь в жертву протеста против сепаратного мира с германским империализмом и пролить кровь человека, чтобы смыть ею позор Брест-Литовска.

Жму крепко Вашу руку и шлю Вам сердечный привет Ваш (подпись „Блюмкин“)».

В этом «политическом завещании» много странного. Почему Блюмкин пишет его человеку, с которым виделся только один раз? Что это за человек и чем он произвел на Блюмкина такое сильное впечатление, что он решил написать ему по сути предсмертное письмо?

Странными для ярого революционера-интернационалиста, каким, безусловно, был Блюмкин, кажутся рассуждения о еврейских мотивах «совершения акта». Ни до, ни после теракта он не был замечен в трепетном отношении к национальному вопросу, а тут вдруг пишет: «…я отнюдь не считаю нужным скрывать — даже более того, я хочу их подчеркнуть особенно. Я — еврей, и не только не отрекаюсь от принадлежности к еврейскому народу, но горжусь этим…»

Наконец, Блюмкин настойчиво подчеркивает индивидуальный характер своего акта, а в показаниях Следственной комиссии он не раз подтверждает, что задание убить Мирбаха он получил от ЦК своей партии.

Вполне возможно, что письмо написано с целью дезинформации, чтобы после теракта направить следствие по

ложному следу. В случае гибели Блюмкина оно должно было «подбросить» следователям версию об убийстве Мирбаха террористом-индивидуалистом по мотивам, которые он сам четко изложил. Но и это странно — ведь левые эсеры вовсе не собирались уходить от коллективной ответственности за устранение германского посла. Более того, сразу же и не без гордости признали, что Блюмкин и Андреев действовали по их указаниям. Словом, с этим письмом — сплошные загадки, тем более что сам Блюмкин о нем потом почему-то ни разу не вспоминал…

Утром 6 июля Блюмкин пришел в ВЧК и взял у Лациса дело Роберта Мирбаха — якобы для просмотра. Затем попросил секретаршу дать ему чистый бланк Комиссии. Все его просьбы были тут же выполнены. Это говорит о том, что он по-прежнему пользовался доверием у чекистов, и увольнять с работы его, по-видимому, никто не собирался.

Блюмкин вернулся в свой кабинет, сел за пишущую машинку и напечатал удостоверение, по которому ВЧК якобы уполномочивала его и Андреева «войти в переговоры с господином Германским послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к господину послу». Оставалось только поставить печать и подделать подписи Дзержинского и секретаря ВЧК Ксенофонтова. Дальше началось самое интересное.

Блюмкин пошел к заместителю председателя ВЧК левому эсеру Вячеславу Александровичу и попросил его поставить печать на фальшивое удостоверение ВЧК, предоставить автомобиль, а также дежурить на телефоне — чтобы подтвердить полномочия Блюмкина и Андреева в случае, если из германского посольства захотят позвонить и проверить их мандат.

И тут выяснилось, что Александрович ничего не знает о решении ЦК убить Мирбаха. Более того, ему эта затея явно не нравится. Блюмкин его убеждал недолго — по соображениям партийной дисциплины Александрович согласился. «Он не был посвящен в дело, но беззаветная преданность его партии гарантировала его содействие во всем, что потребует ЦК», — замечает Мстиславский.

Александрович поставил печать на фальшивое удостоверение и дал Блюмкину записку на получение автомобиля в гараже ВЧК. Весь этот разговор происходил в кабинете Дзержинского. А когда Блюмкин и Александрович, поспорив, обо всем договорились, с изумлением обнаружили, что за ширмами, отделявшими одну часть кабинета от другой, спит сам «железный Феликс».

Деталь столь многозначительная, сколь и правдоподобная. В

воспоминаниях соратники председателя ВЧК рассказывают: Дзержинский так уставал на работе, что часто ночевал прямо в кабинете на диване, укрывшись шинелью. Но действительно ли в то утро 6 июля 1918 года он спал так крепко, что не слышал спора Блюмкина и Александровича? Впрочем, о странностях в поведении Дзержинского поговорим чуть позже.

В гараже Блюмкину предоставили служебный автомобиль «паккард» с открытым верхом. Сначала он заехал к себе домой — в отель «Элит». Там переоделся и отправился в отель «Националь», который тогда назывался 1-м Домом Советов. Там, «на квартире одного члена ЦК» (это был Прошьян) его ждал Николай Андреев. Подготовка к теракту вступала в завершающую фазу. На удостоверении поставили фальшивые подписи. «Подпись секретаря (т. Ксенофонтова) подделал я, подпись председателя (Дзержинского) — один из членов ЦК», — рассказывал Блюмкин.

Там же, в «Национале», террористы получили бомбы и револьверы. На этой встрече присутствовала также Анастасия Биценко, которая выразила им «горячие пожелания удачи». Бомбы и револьверы засунули в портфели, набитые бумагами.

И еще одна крайне интересная деталь. Бомбы для теракта изготовил будущий начальник Военно-химического управления РККА Яков Фишман. Биография этого незаурядного человека не менее любопытна, чем у Блюмкина, и о ней стоит сказать несколько слов.

Яков Фишман родился в 1887 году в Одессе. Участвовал в революционном движении. За принадлежность к партии эсеров был сослан в Туруханский край. Затем нелегально уехал за границу. Поступил на химический факультет университета в Неаполе, который окончил в 1915 году. В университете в течение трех лет специализировался по военной химии (взрывчатые и отравляющие вещества) в качестве ассистента при кафедре органической химии. В 1916 году окончил Высшую магистерскую школу, получив диплом магистра химии. В 1916–1917 годах работал на заводе в Италии заведующим химической лабораторией.

После Февральской революции в 1917 году вернулся в Петроград, был избран членом Петроградского Совета. В период октябрьских событий принимал участие в организации боевых дружин и в боях с войсками генерала Краснова. Будучи членом ЦК партии левых эсеров, после событий 6 июля скрывался на Украине. В 1919 году был арестован органами ЧК, но вскоре амнистирован.

В Красной армии с февраля 1921 года. Службу начал в Разведуправлении Штаба РККА. Выполнял ряд специальных

заданий по изучению иностранных армий и военно-химического дела в них. Из справки, подписанной в 1925 году начальником Разведуправления Штаба РККА Яном Берзиным: «Фишман Яков Моисеевич поступил на службу Разведупра с первого месяца 1921 г. В Разведупр он поступил и на загран. работу был командирован с ведома и согласия тов. Дзержинского. За все время работы в наших загран. органах тов. Фишман показал себя только с лучшей стороны. Работает не за страх, а за совесть, в работе проявляет инициативу и сообразительность».

Фишман был резидентом в Италии (1921–1923), где проделал большую работу по созданию агентуры в Риме, Милане, Неаполе, Генуе из числа русских эмигрантов и итальянских граждан, через которых добыл немало секретных материалов, а также образцы нового оружия (автоматические винтовки и пулеметы). Для доставки этого оружия купил у фирмы «Фиат» два самолета «Капрони». В ноябре 1923 года эти самолеты, пилотируемые итальянскими летчиками, взлетели с аэродрома в Турции, взяли курс на Россию, но потерпели аварию, и операция провалилась. Фишману пришлось срочно покинуть Италию.

Затем был резидентом Разведуправления РККА в Германии, с августа 1925-го — начальником Военно-химического управления Управления снабжений РККА, которое возглавлял до 1937 года. Тогда же без защиты диссертации ему была присуждена ученая степень доктора химических наук.

Арестованный в июне 1937 года как участник военного заговора, был приговорен к десяти годам лагерей. Вторично арестован в апреле 1949-го и сослан в Красноярский край. Работал на Норильском горно-металлургическом комбинате. Освобожден в августе 1954 года, реабилитирован. Умер в июле 1961 года в Москве.

Вот такой человек собрал бомбы, которые должны были отправить на тот свет германского посла, если это не удастся сделать с помощью револьверов.

Из «Националя» Блюмкин и Андреев вышли около двух часов дня, сели в тот же служебный автомобиль. Блюмкин вспоминал, что шофер не подозревал, куда их везет. Он дал ему револьвер и «обратился к нему как член комиссии тоном приказания: „Вот вам кольт и патроны, езжайте тихо, у дома, где остановимся, не прекращайте все время работы мотора, если услышите выстрел, шум, будьте спокойны“». Имя шофера осталось в истории — это был некий Александр Мачульский.

В машине сидел и запасной шофер — матрос из Боевого отряда ВЧК, которым командовал Дмитрий Попов. Матрос, по словам Блюмкина, был вооружен бомбой и, «кажется, знал, что

затевается». По некоторым данным, фамилия этого матроса — Ефремов, но больше о нем пока ничего не известно.

В начале третьего «паккард» подъехал к зданию посольства в Денежном переулке. Оба шофера остались в машине. Блюмкин позвонил. Дверь открыл немец-швейцар. С ним минут пятнадцать объяснялись на ломаном немецком языке, пока, наконец, не поняли, что посол обедает и его нужно подождать. Блюмкин и Андреев присели на диванчике. Время для них тянулось необычайно медленно.

«Это я вам сейчас покажу…» Убийство

О том, что потом произошло в посольстве, рассказывали несколько человек — сам Блюмкин и три сотрудника германской миссии.

Майор Карл фон Ботмер, представитель Верховного главнокомандования при немецкой дипломатической миссии в Москве: «Вчера, когда мы сидели за столом, было доложено, что с посланником хотят говорить двое из… Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и т. д., сокращенно ЧК. Господам пришлось довольно долго ждать, пока мы не разошлись после обеда. Все это время они сидели со своими толстыми портфелями вместе с другими ожидающими приема в вестибюле. Учитывая многочисленные предупреждения о предстоящем покушении, было решено, что людей из ЧК примет не граф Мирбах, а д-р Рицлер и лейтенант резерва Мюллер в качестве переводчика. После обеда мы, как обычно, разошлись в основном по своим комнатам».

Блюмкин: «Через 10 минут из внутренних комнат вышел к нам неизвестный господин. Я предъявил ему мандат и объяснил, что являюсь представителем правительства и прошу довести до сведения графа о моем визите. Он поклонился и ушел. Вскоре, почти сейчас же, вслед за ним вышли 2 молодых господина. Один из них обратился к нам с вопросом: „Вы от тов. Дзержинского?“ — „Да“. — „Пожалуйста“.

Нас провели через приемную, где отдыхали дипломаты, через зал в гостиную. Предложили сесть. Из обмена вопросами я узнал, что разговариваю только с уполномоченным меня принять тайным советником посольства доктором Рицлером, позже — заместителем Мирбаха и переводчиком. Ссылаясь на текст мандата, я стал настаивать на необходимости непосредственного, личного свидания с графом Мирбахом. После нескольких взаимных разъяснений мне удалось вынудить доктора Рицлера возвратиться к послу и, сообщив ему мои доводы, предложить принять меня».

Первый советник посольства Германии доктор Рицлер: «В субботу, приблизительно в 3 ½ часа (на самом деле приблизительно в 2 часа 30 минут. — *Е. М.)* после обеда, двое уполномоченных г. Дзержинского просили о личном свидании с графом Мирбахом по личному делу. Оба были снабжены удостоверениями г. Дзержинского для их поручения. Я принял обоих в присутствии лейтенанта Мюллера в качестве переводчика. Первый из них объяснил, что ему непременно

поручено об этом деле переговорить с графом Мирбахом, так как это дело личное и <он> не может уклоняться от этого приказания. Я ему ответил, что граф не принимает. Но я, как старший чин посольства, уполномочен принимать и личные сообщения. Если он требует для этого письменного уполномочия графа, то я могу ему таковое доставить. Докладчик заявил, что он согласен, еще раз получив от лейтенанта Мюллера уверение, что я и есть доктор Рицлер…».

Адъютант военного агента (атташе) посольства Германии лейтенант Леонгарт Мюллер: «Вчерашнего числа, около трех часов пополудни, меня пригласил первый советник посольства доктор Рицлер присутствовать в приемной при приеме двух членов из Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. При этом у доктора Рицлера имелась в руках бумага от председателя этой комиссии Дзержинского, которой двое лиц уполномочивались для переговоров по личному делу с графом Мирбахом. Войдя в вестибюль с доктором, я увидел двух лиц, которых доктор Рицлер пригласил в одну из приемных (малинового цвета) на правую сторону особняка. Один из них, смуглый брюнет с бородой и усами, большой шевелюрой, одет был в черный пиджачный костюм. С виду лет 30–35, с бледным отпечатком на лице, тип анархиста. Он отрекомендовался Блюмкиным. Другой — рыжеватый, без бороды, с маленькими усами, худощавый, с горбинкой на носу. С виду также лет 30. Одет был в коричневатый костюм и, кажется, в косоворотку цветную. Назвался Андреевым, а по словам Блюмкина, является председателем революционного трибунала. Когда все мы четверо уселись возле стола, Блюмкин заявил доктору Рицлеру, что ему необходимо переговорить с графом по его личному делу! Требование свое Блюмкин повторил несколько раз и, несмотря на заявление доктора Рицлера, что он уполномочен и на секретные переговоры, оставался при своем первоначальном требовании. Имея в виду сведения о покушении на жизнь графа, о чем нам было известно от Гинча, доктор Рицлер отправился к графу и в скором времени вернулся с графом».

Блюмкин: «Доктор Рицлер почти сейчас же вернулся вместе с графом Мирбахом. Сели вокруг стола; Андреев сел у двери, закрыв собой выход из комнаты».

Доктор Рицлер: «Граф решился сам выйти к ним. Мы уселись, и докладчик разложил на мраморном столе свое производство. Граф Мирбах, я и лейтенант Мюллер уселись напротив него, другой пришедший сел несколько подальше, у дверей».

Лейтенант Мюллер: «Блюмкин после этого вынул из своего портфеля большое количество подлинных документов и

объяснил, что он должен с послом переговорить по поводу дела некоего графа Роберта Мирбаха, лично графу незнакомого члена отдаленной венгерской ветви его семьи, за которого якобы уже ходатайствовали граф Мирбах и датский генеральный консул. Этот Роберт Мирбах будто бы замешан в каком-то деле о шпионаже. Разговор, касающийся этого дела, продолжается около пяти минут, причем были представлены документы, подписи коих посольству были хорошо известны, как, например, подпись датского генерального консула Гакстгаузена».

Доктор Рицлер: «Докладчик на основании некоторых документов из дел комиссии по борьбе с контрреволюцией изложил дело графа Роберта Мирбаха, арестованного несколько недель до того означенной комиссией; арестован, по нашим сведениям, по ничтожным совершенно причинам. Хотя граф Роберт Мирбах лично неизвестен послу графу Мирбаху и является только очень отдаленным родственником его, посол граф Мирбах еще до того делал со своей стороны представления об его деле. Так как мне объяснения докладчика Чрезвычайной комиссии показались крайне неясными, то я заявил графу Мирбаху, что лучше всего будет дать ответ по этому делу через Карахана»[18].

Лейтенант Мюллер: «Когда доктор Рицлер предложил графу Мирбаху прекратить переговоры и дать письменный ответ через комиссара Карахана, второй посетитель, до сих пор только слушавший и сидевший в стороне, сказал, что мы, по-видимому, хотим узнать, какие меры будут приняты со стороны трибунала по делу графа Роберта Мирбаха, на каковой вопрос, при его повторении со стороны Блюмкина, граф Мирбах ответил утвердительно.

У меня теперь такое чувство, что этот вопрос явился условленным знаком для начала действия».

Блюмкин: «После 25 минут, а может, и более продолжительной беседы в удобное мгновение я достал из портфеля револьвер и, вскочив, выстрелил в упор — последовательно в Мирбаха, Рицлера и переводчика. Они упали. Я прошел в зал».

Лейтенант Мюллер: «Со словами „это я вам сейчас покажу“ стоящий за большим тяжелым столом Блюмкин опустил руку в портфель, выхватил револьвер и выстрелил через стол сперва в графа, а потом в меня и доктора Рицлера. Мы были так поражены, что остались сидеть в своих глубоких креслах. Мы все были без оружия».

Доктор Рицлер: «После краткого замечания на русском языке сидящего позади спутника докладчик быстро вынул, стоя за столом, большой револьвер и дал выстрел в графа Мирбаха и

немедленно засим несколько выстрелов в меня и Мюллера. Граф Мирбах вскочил, бросился в большой зал, куда за ним последовал спутник делегата, между тем как тот под прикрытием мебели продолжал стрелять в нас, а потом кинулся за графом».

На минуту прервем террориста и свидетелей. Нельзя не заметить, что Блюмкин и Андреев стреляли крайне плохо. Они произвели несколько выстрелов в трех человек почти с расстояния в два-три метра, но, судя по всему, не попали в них ни разу. Это странно — оба были хорошо знакомы с оружием и уже успели поучаствовать в боевых действиях. Объяснить такую «небрежность» в исполнении теракта можно только одним — они сильно волновались. Все-таки стрельба в безоружных людей, пусть даже «представителей международного империализма», да еще в упор, видимо, была для них совсем непростым делом… Но продолжим.

Блюмкин: «В это время Мирбах встал и, согнувшись, направился в зал, за мной. Подойдя к нему вплотную, Андреев на пороге, соединяющем комнаты, бросил себе и ему под ноги бомбу. Она не взорвалась. Тогда Андреев толкнул Мирбаха в угол (тот упал) и стал извлекать револьвер. В комнаты никто не входил, несмотря на то что, когда нас проводили, в соседней комнате находились люди. Я поднял лежавшую бомбу и с сильным разбегом швырнул ее. Теперь она взорвалась необычайно сильно. Меня отшвырнуло к окнам, которые были вырваны взрывом».

Лейтенант Мюллер: «Граф Мирбах вскочил и бросился в зал, причем его взял на прицел другой спутник; второй, направленный в меня выстрел я парировал <тем>, что я внезапно нагнулся. Первый посетитель продолжал стрелять и за прикрытием тяжелой мебели бросился также в зал. Один момент после этого — последовал взрыв первой бомбы, брошенной в зал со стороны окон (приемная соединена с залом большим отверстием без дверей). Оглушительный грохот раздался вследствие падения штукатурки стен и осколков разгромленных оконных стекол. Вероятно, отчасти вследствие давления воздуха, отчасти инстинктивно доктор Рицлер и я бросились на пол. После нескольких секунд мы бросились в зал, где граф Мирбах, обливаясь кровью из головной раны, лежал на полу; в некотором отдалении от него лежала невзорвавшаяся бомба».

Доктор Рицлер: «Один момент после этого — взорвалась бомба в зале, которая, оказалось, совершенно разгромила зал. Мы бросились на пол, а через несколько секунд последовали за графом и нашли его лежащим на полу. Граф был поражен смертельно».

Лейтенант Мюллер: «Граф выбежал в соседний зал и в этот момент получил выстрел — напролет пулю в затылок. Тут же он упал. Брюнет продолжал стрелять в меня и доктора Рицлера. Я инстинктивно опустился на пол, и когда приподнялся, то тотчас же раздался оглушительный взрыв от брошенной бомбы. Посыпались осколки бомбы, куски штукатурки. Я вновь бросился на пол и, приподнявшись, увидел стоявшего доктора, с которым кинулись в залу и увидели лежавшего на полу в луже крови без движений графа».

Майор Карл фон Ботмер: «Я недолго пробыл в своей жилой комнате на втором этаже, как вдруг работавший возле меня на пишущей машинке унтер-офицер Беркигт подошел к окну со словами: „Вам не показалось, будто на улице стреляют?“ После того как он сказал, что, наверное, ошибся, под нами раздался сильный взрыв, послышались крики, звон стекла. Я схватил со стола пистолет и ринулся вниз и уже на лестнице встретил Геннинга. Снизу поднимались двое из миссии, один из которых возбужденно воскликнул: „Кажется, наш граф убит! Мы идем за оружием!“».

Блюмкин: «Я увидел, что Андреев бросился в окно. Механически, инстинктивно подчиняясь ему, его действию, я бросился за ним. Когда прыгнул, сломал ногу; Андреев уже был на той стороне ограды, на улице, садился в автомобиль. Едва я стал карабкаться по ограде, как из окна начали стрелять. Меня ранило в ногу, но все-таки я перелез через ограду, бросился на панель и дополз до автомобиля. На улицу никто не выходил. Часовой, стоявший у ворот, вбежал во двор. Мы отъехали, развили полную скорость. Я не знал, куда мы едем. У нас не было заготовленной квартиры, мы были уверены, что умрем».

Майор Карл фон Ботмер: «Убийцы исчезли. Они скрылись через окно, палисадник, забор высотой около 2,5 метров…»

Лейтенант Мюллер: «Оба преступника успели скрыться через окно и уехать на поджидавшем их автомобиле. Выбежавшие из дверей подъезда слуги крикнули страже стрелять, но последняя стала стрелять слишком поздно и этим дала возможность скрыться безнаказанно убийцам».

Майор Карл фон Ботмер: «Внизу невообразимая сумятица. Стеклянный потолок вестибюля почти полностью обрушился, несколько вестовых задержали подозрительного молодого человека. Все покрыто пылью и заполнено дымом, особенно танцзал, в котором мы нашли лежащего в крови графа Мирбаха. Здесь уже был „прибывший на канонаду“ военный атташе Шуберт. Первая надежда на то, что с улицы в окно была брошена бомба, которая кроме разрушения и наведенного страха ничего не

достигла, к сожалению, не оправдалась. Мы сразу поняли, что надежды на спасение жизни нашего посланника не было. Когда его несли в спальню, еще можно было почувствовать слабые движения, но смерть, должно быть, наступила уже через несколько минут после пистолетного выстрела, пуля прошла сзади через горло и вышла в области носа».

Лейтенант Мюллер: «Скрываясь от преследования, злоумышленники забыли свой портфель с бумагами по делу графа Мирбаха и другими документами, бомбу в том же портфеле, портпапиросник с несколькими папиросами, револьвер и свои две шляпы».

Майор Карл фон Ботмер: «В большом танцевальном зале хаос. Все окна выбиты взрывом бомбы, других пострадавших не было; штукатурка и мрамор с потолка и стен покрыли пол, разрушенный в середине зала взрывом бомбы. На полу под одним из столов лежало еще одно такое же не взорвавшееся смертоносное устройство, играющее с давних пор такую важную роль в священной матушке России: заполненный взрывчаткой металлический шар, из которого выступал запальник в виде стеклянной трубки, наполненной кислотой».

Неизвестный свидетель, оказавшийся в момент покушения на улице: «Вдруг в 2 часа 40 минут раздался сильный взрыв, выбились окна в первом этаже особняка Мирбаха, левее парадного крыльца.

Минуты через три выскочил из окна первого этажа человек, затем — <через> железный забор на панель и в автомобиль. Вслед за ним — другой, в черном пиджаке или сюртуке, с длинными, распущенными волосами, тоже из окна через железный забор на панель и прямо-таки кубарем ввалился в автомобиль № 27–60, который сейчас же поехал к Пречистенке».

Блюмкин: «Нашим маршрутом руководил шофер из отряда Попова. Мы были взволнованны и утомлены. У меня мелькнула усталая мысль: надо в комиссию… заявить. Наконец, неожиданно для самих себя, очутились в Трехсвятительском переулке в штабе отряда Попова…

Думали ли мы о побеге? По крайней мере, я — нет… нисколько. Я знал, что наше деяние может встретить порицание и враждебность правительства, и считал необходимым и важным отдать себя, чтобы ценою своей жизни доказать нашу полную искренность, честность и жертвенную преданность интересам Революции… Кроме того, наше понимание того, что называется этикой индивидуального террора, не позволяло нам думать о бегстве. Мы даже условились, что если один из нас будет ранен и останется, то другой должен найти в себе волю застрелить его. Но

напрашивается лукавый вопрос: а почему мы приказали шоферу не останавливать мотор? На тот случай, если бы нас не приняли и захотели проверить действительность наших полномочий, мы должны были скорей поехать в ЧК, занять телефон и замести следы попытки. Если мы ушли из посольства, то в этом виноват непредвиденный, иронический случай».

В 1921 году уже бывший член ЦК партии левых эсеров Владимир Карелин рассказывал, что у Смоленского рынка встретил мчащийся автомобиль. В нем сидели два полуголых человека, которые что-то кричали и махали шапками. Почему полуголых — сказать трудно. Возможно, одежду сорвало с них взрывной волной, а возможно, Андреев перевязал своей рубашкой раненного в ногу Блюмкина. Карелин, разумеется, сразу узнал их — это действительно были торжествовавшие победу Блюмкин и Андреев.

Ходили слухи, что пятна крови на паркете в здании германского посольства так никогда и не удалось отмыть до конца. И даже через несколько лет еще можно было увидеть то место, где лежал смертельно раненный Мирбах. Если это правда, то есть в этом какой-то мрачный символизм. Особенно учитывая то, что в особняке Берга по адресу: Денежный переулок, 5, в 1919 году разместился Исполком Коммунистического интернационала, и в бывшем германском посольстве бывали все самые известные коммунисты мира. Интересно, являлись ли им «кровавые Мирбахи»?

«У вас были октябрьские дни, у нас — июльские». Шляпы Блюмкина

Так получилось, что почти вся слава «убийцы Мирбаха» досталась Блюмкину. И если сегодня кто-то из обычных людей еще помнит, кем был этот человек, то прежде всего вспоминает: «А, это тот, кто застрелил немецкого посла». Но интересно, что в шестом томе Большой Советской энциклопедии, который вышел в свет в 1927 году и в котором еще до запрета успели разместить статью о Якове Блюмкине, о его роли в покушении говорится весьма обтекаемо: «…принимал ближайшее участие в организации покушения на графа Мирбаха, германского посланника в Москве».

Но кто же на самом деле убил Мирбаха? Из рассказов свидетелей-немцев это понять почти невозможно — они говорили, что в графа стреляли оба террориста. В показаниях Блюмкина в 1919 году тоже нет прямого ответа на этот вопрос. Но ему самому всегда весьма льстило «звание убийцы Мирбаха», и он всячески спекулировал им. Имя Николая Андреева в этой связи вспоминали гораздо реже, но все-таки ходили упорные слухи, что именно он, а не Блюмкин убил германского посла.

Эти слухи задевали и обижали Блюмкина. Выступая, например, в марте 1921 года в московском Доме печати с рассказом о событиях 6 июля, он счел необходимым опровергнуть разговоры о том, что Мирбаха убил не он, а Андреев. К тому времени Андреева уже не было в живых, и свою версию убийства он изложить не мог. Так что в истории именно Блюмкин остался «убийцей Мирбаха», хотя определенные сомнения остаются.

«Я оказался раненным в левую ногу, ниже бедра. К этому прибавились полученные при прыжке из окна надлом лодыжки и разрыв связок. Я не мог двигаться. Из автомобиля в штаб отряда Попова меня перенесли на руках матросы», — рассказывал Блюмкин. Дело происходило уже в штабе отряда — в Трехсвятительском переулке. Там его подстригли, сбрили ему бороду, переодели в солдатскую форму и перенесли в лазарет отряда, который размещался на противоположной стороне улицы. Таким образом, в штабе Попова сделали все возможное, чтобы скрыть Блюмкина. Никто не сомневался в том, что его будут искать.

* * *

В первые минуты после бегства террористов в германском посольстве царила суматоха. Немцы ожидали нападения, поэтому наспех организовывали оборону. Пытались дозвониться до представителей правительства, но безуспешно. Наконец, майор фон Ботмер и лейтенант Мюллер поехали на машине в «Метрополь», где размещался Наркомат иностранных дел.

В наркомате они нашли только Карахана, который, как вспоминал фон Ботмер, при их появлении сбежал с какой-то дамой в соседнюю комнату и там заперся. Вероятно, он решил, что немцы пришли его убивать или арестовывать. Потом он все-таки вышел к посетителям и услышал от них новость об убийстве Мирбаха. Он обещал сообщить это «во все необходимые инстанции».

Вскоре об убийстве узнали Ленин, Свердлов, Троцкий, Дзержинский, Чичерин и другие лидеры большевиков. Решили, что Ленин, Свердлов и Чичерин поедут в германское посольство выражать соболезнования. Пока они собирались, особняк в Денежном переулке заполнился большевиками рангом пониже: Радек, Стучка, Бонч-Бруевич, Карахан. Прибыл для защиты посольства отряд латышских стрелков. Приехал Дзержинский.

«Лейтенант Мюллер встретил меня горьким упреком: „Что вы теперь скажете, господин Дзержинский?“ — вспоминал он. — Мне показана была бумага, удостоверение, подписанное моей фамилией… Такого удостоверения я не подписывал, всмотревшись в подпись мою и т. Ксенофонтова, я увидел, что подписи наши скопированы, подложны… Я распорядился немедленно отыскать и арестовать его <Блюмкина> (кто такой Андреев, я не знал)».

В вестибюле допрашивали какого-то человека, русского немца, который ждал приема у Мирбаха и показался подозрительным. Но потом его отпустили. Наконец, приехал Ленин, а с ним — Свердлов и Чичерин.

«Нас пригласили в большую парадную комнату. Мы все уселись. Водрузилась торжественная мертвая тишина… Владимир Ильич, сидя, произнес краткую реплику на немецком языке, в которой принес извинения правительства по поводу случившегося внутри здания посольства, где мы не имели возможности оказать помощь германскому представительству, — пишет в воспоминаниях Бонч-Бруевич. — Он высказал глубокое соболезнование по поводу трагической смерти посла и прибавил, что дело будет немедленно расследовано и виновные понесут заслуженную кару».

Выразив соболезнования, члены советского правительства уехали из посольства. Результаты первого обследования здания

свидетельствовали не в их пользу — в посольстве остались документы, забытые террористами: папка с делом Роберта Мирбаха, удостоверение ВЧК с подписями Дзержинского и Ксенофонтова, да и фамилии тех, кто совершил убийство, были известны.

Блюмкин и Андреев «по бумагам» числились сотрудниками государственных организаций — ВЧК и Ревтрибунала. Следовательно, правительству теперь нужно было доказывать, что к убийству посла оно не имеет никакого отношения.

«Войдя в дом, Чичерин сказал мне, что эту весть он воспринял с глубоким прискорбием, но он убежден, что этот удар был нацелен в первую очередь против правительства, а не против нас, — записал в дневнике майор фон Ботмер. — На это я не мог не заметить: „Ваша скорбь теперь не поможет, правительству следовало принять более серьезные меры против открытых подстрекательств и для защиты посланника“».

Разумеется, прежде всего подозрения падали на Дзержинского — ведь Блюмкин был его непосредственным подчиненным. Был председатель ВЧК замешан в этом деле или же все это время просто «умывал руки», но в тот день он проявлял большую активность. Дзержинский лично отправился разыскивать Блюмкина. Он поехал в штаб Боевого отряда Дмитрия Попова.

Как Дзержинский узнал, что Блюмкин именно там? Да очень просто. Когда оба террориста после убийства Мирбаха явились в штаб отряда, Попов разговаривал в своем кабинете с комиссаром ВЧК Абрамом Беленьким, который и увидел Блюмкина и Андреева. Вскоре Беленький беспрепятственно уехал из штаба, нашел Дзержинского в германском посольстве и рассказал ему, где сейчас, скорее всего, находятся убийцы Мирбаха. Вместе с ним и двумя другими чекистами — Трепаловым и Хрусталевым — председатель ВЧК отправился за ними.

В Москве пока еще было относительно спокойно. «На Театральной площади много людей и красногвардейцев, пеших и на лошадях, в связи с заседанием 5-го Всероссийского съезда Советов, — писал фон Ботмер. — Гнетущая душная атмосфера нависла над городом. Надвигалась сильная гроза, как бы предвещая нарастающие события, вызванные убийством, которая вскоре разразилась со зловещей силой».

* * *

Дзержинский с тремя спутниками-чекистами приехал в

Трехсвятительский переулок и сразу же в лоб спросил у командира отряда Дмитрия Попова: где Блюмкин? Попов ответил правду: Блюмкина в отряде нет, он поехал в какой-то госпиталь. Знал ли при этом Попов, что Блюмкин находится в госпитале через дорогу от штаба отряда? Скорее всего, знал.

Дзержинский не поверил. «Заметив колебание Попова, а также шапку скрывавшегося Блюмкина на столе, я потребовал открытия всех помещений», — отмечал он в своих показаниях. Но тут явно что-то не сходится.

Кажется, что пресловутые «шапки Блюмкина» красной нитью проходят через события этого дня. Германские дипломаты вспоминали, что террористы забыли свои шляпы в посольстве. Левый эсер Карелин видел Блюмкина и Андреева в автомобиле — они «махали шапками». Наконец, Дзержинский узнал шапку Блюмкина в штабе Боевого отряда, хотя сам признавался, что он Блюмкина «близко не знал и редко с ним виделся», но что шапка принадлежит именно ему — определил почему-то сразу.

Эта шапка наверняка принадлежала кому-то другому, а Дзержинскому просто нужен был предлог для осмотра здания. Не поверив Попову, Дзержинский со своими спутниками пошел осматривать штаб отряда, при этом двери в некоторые помещения попросту взламывали. Блюмкина, понятно, они не нашли, но в одной из комнат Дзержинский лицом к лицу столкнулся с членами ЦК партии левых эсеров, которые проводили заседание.

В своих показаниях Следственной комиссии Дзержинский обрисовал ситуацию: «Тогда подходят ко мне Прошьян и Карелин и заявляют, чтобы я не искал Блюмкина, что граф Мирбах убит им по постановлению ЦК их партии, что всю ответственность берет на себя ЦК. Тогда я заявил им, что я их объявлю арестованными и что если Попов откажется их выдать мне, то я его убью как предателя. Прошьян и Карелин согласились тогда, что подчиняются, но вместо того чтобы сесть в мой автомобиль, бросились в комнату штаба, а оттуда прошли в другую комнату. При дверях стоял часовой, который не пустил меня за ними; за дверями я заметил Александровича, Трутовского, Черепанова, Спиридонову, Фишмана, Камкова и других, не известных мне лиц».

Дальше, по словам Дзержинского, события разворачивались следующим образом. Он призвал находившихся в помещении матросов арестовать провокаторов и объяснил им, что их желают использовать для гнусной цели: «…обезоружение насильственное меня, присланного сюда от Совнаркома, — это объявление войны Советской власти». Но левые эсеры, что называется, заломили председателю ВЧК руки и отобрали у него револьвер.

Спиридонова разъяснила, почему Дзержинского и его спутников задерживают — потому что они «с Мирбахом».

Их посадили под арест. Дзержинский назвал Попова «изменником», а в ответ выслушал обвинения в том, что «наши декреты пишутся по приказанию „его сиятельства графа Мирбаха“, что мы предали Черноморский флот». «Железный Феликс» попытался агитировать матросов, но понимания не встретил. Что интересно, матросы, которые, по выражению Троцкого, представляли собой «красу и гордость революции», осыпали председателя ВЧК упреками вовсе не за то, что он «с Мирбахом». У них были конкретные претензии к самой советской власти. «Матросы же обвиняли в том, что отнимаем муку у бедняков, что погубили предательски флот, что обезоруживаем матросов, что не даем им ходу, хотя они на себе вынесли всю тяжесть революции, — отмечал Дзержинский. — Единичные голоса раздавались, что… „меня, например, Советская власть в Орле посадила на 3 месяца на пасху“, что в деревнях повсюду ненавидят Советскую власть».

Затем в комнату вошли Черепанов и Саблин. Черепанов, потирая руки, сказал: «У вас были октябрьские дни — у нас июльские… Мир сорван, и с этим фактом вам придется считаться, мы власти не хотим, пусть будет так, как на Украине, мы пойдем в подполье, пусть займут немцы Москву». Это сравнение с Октябрем явно воодушевляло Черепанова. Он скажет чуть позже задержанному левыми эсерами председателю Моссовета Петру Смидовичу: «Что, разве не похоже на октябрьские дни? — и добавит: — Вы в октябре осмелились сделать переворот, а теперь осмелились мы. Мирбах убит, Брестский мир, во всяком случае, сорван. Теперь все равно война с Германией, и мы должны идти против нее вместе».

К утру 7 июля число арестованных большевиков (привели, например, Лациса) увеличилось уже до двадцати семи человек. Обращались с ними в основном хорошо, почти по-дружески. Черепанов, смеясь, говорил Смидовичу: «А, Гермогеныч, старый хрен, и ты попал».

Слова Черепанова показательны — они отражают тот полный разброд, который творился 6 июля в головах левых эсеров. «Осмелились на переворот», но «мы власти не хотим». А чего же они тогда хотели? Ну вот убит Мирбах, сорван Брестский мир, немцы начинают наступление против Советской России, большевики волей-неволей вынуждены пойти на «революционную войну» с Германией… А чем занимается партия левых эсеров? По-прежнему остается «младшим партнером» большевиков по советской коалиции, подчиняясь правительству Ленина? Как-то

не очень в это верится.

О целях и намерениях левых эсеров до сих пор идут споры. Подробно их анализировать — не тема данной книги. Но несколько слов по поводу целей все же стоит сказать. Наиболее распространенными являются следующие версии.

Советская. 6 июля 1918 года левые эсеры подняли антисоветское и контрреволюционное восстание.

Не восстание, а провокация большевиков. Большевики знали о подготовке покушения на Мирбаха, а возможно, и участвовали в нем, чтобы затем, после его убийства, ликвидировать своих конкурентов в борьбе за власть. Другой вариант этой же версии: убийство Мирбаха было делом рук левых эсеров, а большевики просто воспользовались удобным случаем и разгромили их, хотя те и не собирались поднимать восстание.

Инсценировка. События 6 июля на самом деле инсценированы «левым крылом» партии большевиков во главе с Бухариным и Дзержинским. Возможно, в союзе с «левыми» из ЦК партии левых эсеров — Прошьяном и др.

Инициатива членов ЦК ПЛСР. Спиридонова и весь левоэсеровский ЦК взяли на себя ответственность за теракт задним числом — из соображений чести и чтобы не подставлять своих товарищей.

След Антанты. За спиной Блюмкина и левых эсеров стояли французские и британские агенты. В интересах Антанты был разрыв Брестского мира и возвращение России в ряды воюющих с Германией стран. Уже упоминавшийся генерал ФСБ Александр Зданович выдвинул весьма смелую, но пока что ничем не подкрепленную версию о том, что в «„паккарде“, на котором Блюмкин и Андреев отправились в немецкое посольство, находились также либо резидент французской военной разведки капитан Пьер Лоран, либо агент капитан Анри Вертимон (правильно: Вертамон. — *Е. М.)».* Подозрения в возможной «связи с иностранцами» выдвигаются и против самого Дзержинского.

Не восстание, а самооборона. Это версия левых эсеров, которые утверждали, что к вооруженному захвату власти они вовсе не готовились, а вынуждены были защищаться после того, как большевики начали наступление на них.

Однако, вероятно, все было и проще, и сложнее, чем излагается в этих версиях. Похоже, левые эсеры находились в плену своих идей и представлений, считали, что достаточно убить Мирбаха, чтобы «подправить» ход революции. Они были уверены, что большинство в партии Ленина сочувствует им и пойдет за ними, так что никаких радикальных действий даже не потребуется. Возможно, и Ленина во главе правительства менять

не придется. Спиридонова была уверена, что Ленин «с его огромным умом и личной безэгоистичностью и добротой» поймет «всю чистоту помыслов левых эсеров».

Тот факт, что левые эсеры готовились к выступлению, отрицать было бессмысленно — на это указывало слишком много фактов. Позже в своих воспоминаниях левоэсеровские лидеры пытались оправдаться — они настаивали на том, что выступили вовсе не против большевиков, а для того, чтобы защитить Москву от немецких агентов и вооружаемых ими военнопленных. В конце июня 1918-го в газетах появилось сообщение о том, что в помещении ЦК партии обнаружили четыре бомбы, заложенные на первом этаже. Германские агенты, по утверждениям левых эсеров, якобы устроили за ними настоящую слежку. Сергей Мстиславский писал, что у него из квартиры украли документы. Спиридонова утверждала в своих показаниях: «Ввиду того, что у нас были опасения, что немцы, имея связь с мирбаховскими военнопленными (вооруженными), могут сделать внутреннюю оккупацию Москвы и что к ним примкнут белогвардейские элементы, мы приняли меры к мобилизации левоэсеровских боевых сил».

Многие отмечали странную пассивность левых эсеров в дни их мятежа. Пожалуй, точнее всех определил причину левоэсеровской пассивности арестованный ими Смидович. «Полагаю, что эти люди не управляли ходом событий, а логика событий захватывала их, и они не отдавали себе отчета в том, что они сделали, — писал он. — Ни системы, ни плана у них не было… Все время царила растерянность, обнаруживалось полное непонимание того, что происходило».

«Эй, вы, слушай, Земля!..» «Мятеж»

Управделами Совнаркома Бонч-Бруевич вспоминал: узнав об аресте Дзержинского, Ленин «нельзя сказать побледнел, а побелел. Это бывало с ним, когда его охватывал гнев или нервное потрясение». В первые минуты Ленину показалось, что мятеж подняла вся ВЧК. Но потрясение быстро прошло.

Шестого июля 1918 года было распространено правительственное сообщение (на следующий день его опубликовали в газетах). Террористы, их убеждения и намерения в нем описывались так:

«Сегодня, 6 июля, около 3-х часов дня двое (негодяев) агентов русско-англо-французского империализма проникли к германскому послу Мирбаху, подделав подпись т. Дзержинского под фальшивым удостоверением, и под прикрытием этого документа убили бомбой графа Мирбаха. Один из негодяев, выполнивших это контрреволюционное дело, по имеющимся сведениям, левый эсер, член комиссии Дзержинского, изменнически перешедший от службы Советской власти к службе людям, желающим втянуть Россию в войну и этим обеспечить восстановление власти помещиков и капиталистов либо подобно Скоропадскому, либо подобно самарским[19] и сибирским белогвардейцам…

Россия теперь, по вине левоэсерства… на волосок от войны…

На первые же шаги Советской власти в Москве, предпринятые для захвата убийцы и его сообщников, левые эсеры ответили началом восстания против Советской власти…»

Троцкий 9 июля на V съезде Советов говорил: «Через час после начала событий нам стало уже ясно, что мы имеем дело не с отдельными безумными революционерами, а с прямым восстанием враждебных революции мятежников, организованных непосредственным руководством ЦК партии левых эсеров. И, разумеется, в первый момент… был отдан приказ немедленно сосредоточить достаточное количество военных сил, чтобы подавить контрреволюционный мятеж, организованный под знаменем ЦК партии левых эсеров».

В полемическом задоре Троцкий, конечно, сгустил краски и упростил картину событий 6 июля, но в целом был прав — большевики сразу же отреагировали, заработали жестко и энергично. Тем более что левые эсеры действительно проявляли удивительную пассивность.

Арестовав Дзержинского, они долго обсуждали, что им делать дальше. Их действия сводились к тому, что бойцы из

отряда Попова начали останавливать и реквизировать автомобили. При одной из таких «реквизиций» был убит делегат съезда Советов Николай Абельман. Другие «поповцы» в это время рыли окопы вокруг штаба отряда.

А ЦК партии все еще чего-то ждал. Один из его членов сказал: «Власть сейчас лежит в Кремле, никем не оберегаемая, как лежала она в октябре на Сенатской площади (не совсем понятно, что имел в виду „член ЦК“: если восстание декабристов, то оно было не в октябре, а в декабре, если же события октября 1917-го, то почему на Сенатской, а не на Дворцовой площади? — *Е. М.),* и нам остается только решить — берем мы власть или нет». Настроение большинства, однако, сводилось к принципу: «увидим, что народные массы на нашей стороне — возьмем власть, против нас — все останется по-прежнему». Наивные левые эсеры не могли понять, что «по-прежнему» все уже остаться не может.

Спиридонова считала, что все окончится мирно. Другие были уверены, что большевики не смогут найти столько сил, чтобы начать решительное наступление против левых эсеров. После шести часов вечера Спиридонова в сопровождении группы матросов отправилась в Большой театр, на съезд. Левые эсеры надеялись, что убийство Мирбаха сможет переломить настроение делегатов и «линия революции» «выправится» мирным путем. Но они явно недооценили большевиков.

В душном зале Большого театра тем временем уже несколько часов царила странная неопределенность. Делегаты слонялись по фойе и залу и обсуждали, что могла бы означать эта задержка работы съезда. Новостей из города не было никаких. Где-то после пяти часов вечера на сцене появился Петерс и попросил фракцию большевиков пройти на заседание фракции, которое состоится по адресу: Малая Дмитровка, 6. Большевики начали выходить. Если пытался выйти кто-то из левых эсеров, его почему-то разворачивала охрана. Но пока еще никто ничего не подозревал.

На Малой Дмитровке большевикам-делегатам сообщили об убийстве Мирбаха и о начале мятежа левых эсеров. А также о решении арестовать всю фракцию ПЛСР на съезде. Отряд латышских стрелков уже окружал здание театра. Примерно в шесть часов вечера левым эсерам объявили, что их фракция арестована. Вместе с ними арестованными оказались (на всякий случай) и делегаты от других партий — максималистов, анархистов и пр. Так что в зале под охраной находились около 450 человек.

Спиридонову в Большой театр пропустили беспрепятственно. Там-то она и узнала, что вся левоэсеровская фракция арестована.

К этому времени левые эсеры в зале уже наверняка знали об убийстве Мирбаха, но Спиридонова, как говорится, расставила все точки над «i». Она сообщила, что ответственность за эту акцию берет на себя ЦК ПЛСР и что по его же решению задержан Дзержинский.

«Русский народ свободен от Мирбаха!» — якобы провозгласила Спиридонова, а затем, вскочив на стол, начала кричать: «Эй, вы, слушай, Земля, эй, вы, слушай, Земля!»

Константин Паустовский вспоминал этот момент так:

«Стуча каблуками, к рампе подбежала женщина в черном платье. Алая гвоздика была приколота к ее корсажу.

Издали женщина казалась молодой, но в свете рампы стало видно, что ее желтое лицо иссечено мелкими морщинами, глаза сверкают слезливым болезненным блеском. Женщина сжимала в руке маленький стальной браунинг. Она высоко подняла его над головой, застучала каблуками и пронзительно закричала:

— Да здравствует восстание!

Зал ответил ей таким же криком:

— Да здравствует восстание!

Женщина эта была известная эсерка Маруся Спиридонова».

В ноябре 1918 года в «Открытом письме ЦК партии большевиков» Спиридонова объяснила свое появление на съезде в Большом театре следующим образом: «Я пришла к вам 6 июля для того, чтобы был у вас кто-нибудь из членов ЦК нашей партии, на ком вы могли бы сорвать злобу и кем могли бы компенсировать Германию… Это были мои личные соображения, о которых я считала себя вправе говорить своему ЦК, предложив взять представительство на себя… Я была уверена, что, сгоряча расправившись со мной, вы испытали бы потом неприятные минуты, так как, что ни говори, а этот ваш акт был бы чудовищным, и вы, быть может, потом скорее опомнились и приобрели бы необходимое в то время хладнокровие. Случайность ли, ваша ли воля или еще что, но вышло все не так…»

Трудно не удивиться политической наивности этих людей, готовых и самих себя, и окружающих принести в жертву идее, за которую они боролись. Руководители большевиков уже играли по совсем другим правилам. Романтические понятия чести революционера, неписаного кодекса его поведения для них превращались в пустые абстракции, когда борьба за власть, угроза созданной ими государственной системе выходили на первое место. Как могли поступить такие люди, услышав от лидера фактически оппозиционной партии, что по ее решению убит посол иностранной державы и арестован руководитель

государственной службы безопасности? Теперь большевики с полным правом могли заявить, что левые эсеры решились на государственный переворот.

* * *

В штабе Боевого отряда Попова задержанные левыми эсерами большевики во главе с Дзержинским тем временем вели дискуссии и переругивались с караулом из матросов. У них почти все время сидел Черепанов, повторявший, что завтра, когда все прояснится, «мы будем снова друзьями». Время от времени забегал Попов, радостно сообщавший новости о том, что на сторону левых эсеров переходят все новые и новые военные части. «Он подвыпил и вел себя глупо, все время крича о каких-то двух тысячах казаков и т. п.», — заметил по этому поводу в мемуарах левый эсер Мстиславский.

Дзержинский в своих показаниях Следственной комиссии отмечал: матросам из отряда Попова «раздавались консервы, сапоги, провиант, достали белье, баранки. Замечалось, что люди выпили… Очевидно было, что там не было никакой идейности, что говорило через них желание нажиться людей, уже оторванных от интересов трудовых масс, солдат по профессии, вкусивших сладости власти и полной беззаботной обеспеченности в характере завоевателей. Многие из них — самые пьяные — имели по 3–4 кольца на пальцах». И вместе с тем утверждал: «Из разговоров наших с матросами видно было, что чувствовали свою неправоту и нашу правду». Хотя проверить это уже никак нельзя.

Настроение в ЦК левых эсеров изменилось после полученного известия об аресте в Большом театре Спиридоновой и их партийной фракции. Попов влетел в комнату к арестованным. «За Марию снесу пол-Кремля, пол-Лубянки, полтеатра!» — кричал он. Только тогда они наконец-то решили действовать. «И действительно, были нагружены людьми автомобили и уехали для выручки (Спиридоновой. — *Е. М.*)», — показывал Дзержинский. Тогда же был арестован Лацис и выпущен «Бюллетень номер 1», в котором левые эсеры изложили свою версию событий 6 июля.

Поздно вечером отряд левых эсеров захватил телеграф, телефонную станцию и почтамт. Впрочем, «захватил» — сказано слишком сильно. В здание телеграфа отряд из двадцати человек пропустили свободно — караул там был из той же части, что и бойцы из числа «восставших». А на телефонной станции вообще несли в тот день караул левые эсеры. Кстати, телефоны они

почему-то не отключили — даже кремлевские.

Тогда же бойцы отряда Попова подошли к Большому театру, но там их встретили латыши и броневики. После нескольких выстрелов с обеих сторон «поповцы» отступили.

«В ответ на все поступавшие в ЦК <левых эсеров> предложения об активном поведении по отношению к Совнаркому, предпринимавшему явно враждебные к ЦК и отряду Попова шаги, ЦК отвечал заявлениями о необходимости придерживаться строго оборонительных действий, ни в коем случае не выходя из пределов обороны района, занятого отрядом, — заявлял в своих показаниях левый эсер Юрий Саблин, — …неиспользованными остались предложения о захвате Кремля и центра города».

Из Большого театра выпустили только иностранцев, присутствовавших на съезде. Сидней Рейли и французский военный агент боялись, что их будут обыскивать на выходе, и разорвали в клочки какие-то документы, которые были у них в карманах, а некоторые даже проглотили. Но всё обошлось.

А в зале возмущались арестованные левые эсеры. Когда им объявили об аресте, «все левые эсеры вынули из-под пиджаков и из карманов револьверы». Но, как писал Паустовский, «в ту же минуту с галерки раздался спокойный и жесткий голос коменданта Кремля: „Господа левые эсеры! При первой же попытке выйти из театра или применить оружие с верхних ярусов будет открыт по залу огонь. Советую сидеть спокойно и ждать решения вашей участи“».

Что им еще оставалось? Оставшиеся в зале делегаты устраивали дискуссии, импровизированные митинги и пели революционные песни. Потом все устали и начали укладываться спать — кто в креслах, кто на сцене, кто в проходах на коврах. Спиридонова разместилась на нескольких сдвинутых стульях. Вряд ли они успели уснуть. Вскоре их пригласили перекусить в верхнее фойе театра, однако туда пускали только членов партии левых эсеров. Обратно их уже не выпустили и, кстати, так и не накормили, зато отобрали револьверы. Члены фракции провели ночь в фойе на полу, лишь Спиридонову уложили на прилавке, где раньше продавали лимонад.

Утром 7 июля в театр прибыл Троцкий. Возмущенные левые эсеры потребовали от него немедленного освобождения и прекращения огня в городе. Большевиков обвиняли в нарушении конституционных прав. Троцкий парировал: «Какие вообще могут быть речи о конституционных правах, когда идет вооруженная борьба за власть! Здесь один закон действует — закон войны. Задержанные вовсе не являются сейчас фракцией Пятого съезда

Советов или ВЦИКа, а членами партии, поднявшей мятеж против советской власти, а стало быть, и закон, по которому мы сейчас действуем, есть закон усмирения мятежа».

Под арестом в Большом театре левые эсеры просидели и 7, и 8 июля. По приказу Ленина и Свердлова среди них распространили анкеты с вопросом об их отношении к «авантюре». Ответили на нее 173 человека — остальные отказались. Примерно 40 процентов из ответивших осудили убийство Мирбаха. Большинство из них были также против войны с Германией.

Девятого июля левых эсеров перевели в Малый театр. «Июльские дни» обернулись для их партии катастрофой.

«Началось настоящее бегство…» Разгром

«Зная большевиков, нетрудно было, как будто, без всяких волхвований предсказать „что будет“, — вспоминал член ЦК ПЛСР Сергей Мстиславский. — Они, конечно, не теряли времени, поставили на ноги или, точнее, на колеса всех своих активных работников, лихорадочно стали стягивать силы».

Главной ударной силой большевиков должны были стать части латышских стрелков, но они находились в лагерях, где праздновали Янов день (день Ивана Купалы в русской традиции). Командующий Латышской стрелковой дивизией Иоаким Вацетис[20] привел их в город. Рано утром 7 июля латыши начали наступление на позиции левых эсеров. Еще были попытки переговоров. Левым эсерам предъявили ультиматум, но ЦК ПЛСР решил не капитулировать, а отступать.

Около 12.00 артиллерия большевиков открыла огонь по штабу отряда Попова прямой наводкой. Обстрел продолжался около 15–20 минут. Дзержинский испытал его на себе. «Вдруг раздался страшный грохот и треск, — рассказывал он в тот же день. — На нас посыпалась штукатурка с потолка и карнизов, разбились стекла, дверь отворилась и повисла. Мы вскочили. По нашему дому трахнул артиллерийский снаряд. Суматоха началась отчаянная. Все повскакали и кричали, ничего не соображая… Все метались, били рамы, выпрыгивали из окон. Я вышел в соседнюю комнату и подумал: „Надо сейчас уходить“. Мы вошли в комнату, где не было полстены; через эту пробоину мы выскочили на улицу, замешались в толпе и быстро скрылись, вскоре достигнув расположения наших войск».

«Вместо отступления началось настоящее бегство, — вспоминал Мстиславский, — прежде всего, исчез, никому ничего не сказав, со своими матросами Попов, затем, переодевшись в штатское платье и тоже никого не уведомив, исчез ЦК, оставив на произвол судьбы Д. А. Магеровского и еще некоторых партийных работников. Затем Магеровский уехал парламентером. Не дождавшись его возвращения, ушел весь отряд, вслед за которым, эвакуировав раненых, уехал на автомобиле Юрий Саблин; остальные разошлись по городу».

Во время боя в Трехсвятительском переулке латыши потеряли убитым одного, а отряд Попова — 14 человек. «Поповцы» пытались захватить на Курском вокзале эшелон, потерпели неудачу, двинулись «походным порядком» по Владимирскому шоссе, но вскоре их настигли правительственные части. Часть отряда сдалась, часть разбежалась. В этот день было арестовано

444 участника выступления. В 16.00 Совнарком объявил о том, что «восстание левых эсеров в Москве ликвидировано».

* * *

Седьмого июля Совнарком создал Особую следственную комиссию по делу о событиях 6 июля. Отдельная комиссия была организована по приказу Троцкого для расследования «поведения частей московского гарнизона».

Из большевиков под подозрением оказался Дзержинский. Лидия Фотиева, секретарь Ленина, видела, как Дзержинский сразу же после освобождения из плена появился в Кремле:

«Владимира Ильича не было в это время в Совнаркоме, и вместо него Дзержинского встретил Я. М. Свердлов. Они прохаживались по залу, и Феликс Эдмундович возбужденно рассказывал ему о происшедшем.

— Почему они меня не расстреляли? — вдруг воскликнул Феликс Эдмундович. — Жалко, что не расстреляли, это было бы полезно для революции.

Это не было позерством. Дзержинский понимал, что гибель его от рук убийц Мирбаха явилась бы лучшим доказательством непричастности Советской власти к убийству дипломатического представителя Германии, устранением повода для развязывания войны против Советской России».

Теперь же, в Следственной комиссии, ему приходилось доказывать еще и свою непричастность к связи с Блюмкиным и левыми эсерами. Уже 7 июля Ленин приказал расформировать Коллегию ВЧК. Очевидно, что он все-таки испытывал недоверие к этому ведомству. Ведь в событиях 6 июля так или иначе были замешаны многие чекисты, включая и правую руку Дзержинского — Александровича. Теперь предстояло выяснить все аспекты поведения и «железного Феликса», который совсем недавно фактически разделял позицию левых эсеров в отношении Брестского мира.

Дзержинский 7 июля, уходя в отставку с поста председателя ВЧК, в своем заявлении писал: «Ввиду того, что я являюсь, несомненно, одним из главных свидетелей по делу об убийстве германского посланника графа Мирбаха, я не считаю для себя возможным оставаться больше во Всероссийской Чрезвычайной Комиссии… в качестве ее председателя, равно как и вообще принимать какое-либо участие в Комиссии. Я прошу Совет народных комиссаров освободить меня от работы в Комиссии».

Как вспоминал Бонч-Бруевич, постановление об отставке

Дзержинского было не только напечатано в газетах, но и «расклеено всюду по городу». И сделано это было демонстративно по «внешним» причинам. Вероятно, для того, чтобы немцы оценили этот поступок. 10 июля Дзержинского официально допросили в качестве свидетеля.

Временным главой ВЧК стал Петерс. Главной задачей, поставленной перед ним Лениным и Троцким, стала чистка ВЧК — прежде всего от левых эсеров. Ему было поручено «в недельный срок представить Совнаркому доклад о личном составе работников Чрезвычайной комиссии на предмет устранения всех тех ее членов, которые прямо или косвенно были прикосновенны к провокационно-азефовской деятельности члена партии „левых социалистов-революционеров“ Блюмкина».

Главного же левоэсеровского чекиста — Александровича — ждала незавидная участь.

После того как утром 6 июля Александрович расстался с Блюмкиным в кабинете Дзержинского на Лубянке, он совершил еще ряд любопытных действий. Во-первых, выписал и заверил печатью удостоверение на имя Сергея Александровича Журавлева, сотрудника советских учреждений, дающее ему право на проживание в Москве и ее окрестностях. Зачем — непонятно. Вероятнее всего, чтобы в случае необходимости перейти на нелегальное положение.

Затем Александрович взял из сейфа 544 тысячи рублей, конфискованные у одного арестованного, и отправился в штаб Попова. Там передал эти деньги в партийную кассу. Он весьма активно участвовал в событиях 6–7 июля — аресте Дзержинского, именно по его приказу арестовали Лациса, именно он агитировал солдат переходить на сторону левых эсеров.

Восьмого июля газета «Известия ВЦИК» напечатала сообщение «К аресту Александровича», где, в частности, говорилось: «Один из главных вдохновителей левоэсерского мятежа, бывший товарищ Председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Александрович, пытаясь бежать с Курского вокзала, переоделся, сбрил себе усы и загримировался. Однако этот маскарад не помог Александровичу укрыться от внимания дежуривших на вокзале сотрудников Чрезвычайной комиссии». Александрович был задержан. При обыске у него изъяли наличными деньгами 2644 рубля 75 копеек, 100 финских марок и расписку от 7 июля 1918 года о получении в президиуме Комиссии 40 рублей.

Днем 7 июля Александровича допросил член Коллегии ВЧК Савинов. Ему было предъявлено обвинение в организации восстания против советской власти и аресте Лациса, а также в

отдаче приказа об аресте члена коллегии ВЧК Петерса. Александрович заявил: «Все, что я сделал, я сделал согласно постановлению Центрального комитета партии левых социалистов-революционеров. Отвечать на задаваемые мне вопросы считаю морально недопустимым и отказываюсь». Он пообещал, что 544 тысячи рублей будут возвращены в Комиссию, а затем написал: «…деньги мною оставлены в отряде Попова и, думаю, будут возвращены ЦК партии социалистов-революционеров. Александрович. 7.VII.18».

Александровича и еще 12 бойцов из отряда Попова — «участников ареста Лациса и других, разоруженных в помещении ВЧК и арестованных как разведчиков у здания Комиссии на Лубянке» — приговорили к расстрелу.

За Александровича заступались отдельные видные большевики, например, Александра Коллонтай. По некоторым данным, между ними еще в Норвегии завязались романтические отношения.

«Каждая встреча с ним убеждала меня, что в его душе разыгрывается темная трагедия, — вспоминала Коллонтай о работе Александровича в ВЧК. — То, что творилось в ВЧК, шло резко и вразрез с убеждениями революционера, ненавидевшего страстно, непримиримо „сыск“ и всё, что пахло „полицейщиной“ и административным насилием…

Чем заметнее становилось противоречие между тем делом, которое изо дня в день творили Александрович и его сотрудники, и его принципами и убеждениями, тем громче требовала его революционная совесть „очищения“ и искупления… В таком состоянии люди идут только на самоубийство либо на акт величайшего самопожертвования… Взрыв во дворце Мирбаха должен был быть сигналом для все еще медлящих пролетариев Германии и Австрии».

Однако хлопоты ни к чему не привели. Перед расстрелом с Александровичем долго беседовал Петерс. «Александрович был сильно взволнован, — отмечал он. — Я долго говорил с ним наедине, и он не находил слов для оправдания своего поведения… Его оправдания сводились к тому, что он беспрекословно только подчинялся партийной дисциплине… но у меня создалось впечатление, что он говорил искренно, что он был образцовым по дисциплине членом партии эсеров, и его ошибка в том, что он подчинился дисциплине этой партии… Он плакал, долго плакал, и мне стало тяжело, быть может, потому, что он из всех левых эсеров оставил наилучшее впечатление. Я от него ушел». В ночь на 9 июля 1918 года Александровича расстреляли.

«Я его знал и, когда встречался с ним, никогда не спрашивал,

левый он эсер или большевик. Он был авторитетный член комиссии, и это было достаточно, — заявил на следующий день Троцкий. — Эта Комиссия была одним из важнейших наших органов, боевым органом, направленным против контрреволюции… Он работал рука об руку с Дзержинским, ему доверяли, и он делает эту Комиссию органом убийства графа Мирбаха, он похищает 500 тысяч рублей и передает левоэсеровскому ЦК на организацию восстания. Он был революционер, и мне рассказывали, что он умер мужественно, но здесь дело идет не о личной оценке, а о долге власти, которая хочет существовать. Он должен понять, что товарищ Председателя Комиссии по борьбе с контрреволюцией не может допускать превращения аппарата Советской власти в орудие восстания против нее, не может взять деньги этой власти для организации восстания, арестовать ее представителей. А он арестовал Дзержинского, своего ближайшего начальника, который доверял ему. Большего вероломства (правда, продиктованного дисциплиной партии) — большого вероломства и большего бесчестия нельзя себе представить».

Что же, с точки зрения «корпоративной этики» вина Александровича действительно была очевидной. Не исключено, впрочем, что его расстрел носил показательный характер — для немцев, которым нужно было «предъявить» человека, при помощи которого Блюмкин и Андреев попали в их посольство с документами ВЧК.

Говорят, что Коллонтай написала некролог «Памяти тов. Александровича» и отнесла в «Правду», но ей в публикации категорически отказали. Остается еще добавить, что 14 апреля 1998 года Александрович был реабилитирован. В заключении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по его делу говорилось: «Никаких доказательств совершения Александровичем каких-либо противоправных действий против советской власти и революции в деле не имеется. Сведений о подготовке террористического акта над Мирбахом Александрович не имел, а заверение удостоверения от имени Дзержинского, дающее полномочия Блюмкину и Андрееву на аудиенцию у посла Р. Мирбаха (ошибка в тексте; правильно: В. Мирбаха. — *Е. М.*), не может служить основанием для привлечения Александровича к уголовной ответственности и его осуждению».

А Дзержинский вскоре вернулся на свою должность. Уже 22 августа 1918 года тот же Совет народных комиссаров постановил: «Председателем ВЧК вновь назначается т. Ф. Дзержинский, отставка которого была принята больше месяца тому назад по собственному его прошению». Позже Петерс признавался, что

увольнение «железного Феликса» было фикцией. «Хотя формально Дзержинский был устранен как председатель ВЧК, — вспоминал он, — фактически он оставался руководителем ВЧК, и коллегия была сформирована при его непосредственном участии».

«ФЛАГ ЖЕЛТО-ГОЛУБОЙ…»

«Высокого роста, голова бритая, обросший черной бородой…» Блюмкин скрывается

Июль 1918 года. Хроника событий нескольких дней после «восстания»:

7 июля. Москвич Никита Окунев записал в дневнике: «К вечеру были в электрическом театре. По дороге туда слышалась стрельба, но театр полнехонек, и все спокойны. О восстании эсеров разговору мало, как будто это заурядное явление… Вечером можно было наслаждаться, сидя у открытого окна, звуками гармошек и граммофонов, коими забавляли себя буржуи и товарищи, видимо, нисколько не потрясенные чрезвычайными происшествиями прошлых суток».

8 июля. Состоялась панихида по графу Мирбаху. Ее совершили два польских священника — немецких в Москве не было. Затем гроб повезли на Александровский вокзал. Немцы хотели, чтобы процессия состояла из катафалка, запряженного четверкой лошадей, а все сотрудники и друзья посла шли за ним пешком. Однако власти на это не решились — посчитали, что в свете последних событий такая церемония будет выглядеть слишком вызывающей. В итоге гроб повезли на грузовике, а немцы прошли за ним лишь несколько сотен метров до Арбата.

Ни Ленин, ни кто-либо из советского правительства на похороны не пришли. От Арбата тело посла сопровождали лишь несколько человек в легковом автомобиле. Впереди и сзади ехали грузовики с красногвардейцами. К удивлению немцев, в пути их встретил нарком Чичерин. Затем он приехал на вокзал и возложил на гроб венок с надписью на белой ленте: «Смерть графа Мирбаха — тяжелая утрата и для нас. Он пал, отстаивая идею мира».

«Совершенно очевидно, — отмечал в дневнике майор фон Ботмер, — что убийство посланника должно было послужить сигналом выступления левых социалистов-революционеров против большевиков… Правительство Советов действовало энергично, поскольку дело шло о его существовании. Однако тот факт, что убийцам дали возможность уйти, что расследование не дало никаких результатов, свидетельствует о том, что по отношению к нам оно такой энергии не проявило. Хотя внешне было сделано все, что можно было ожидать и что требовалось сделать».

9 июля. В Большом театре возобновилось заседание съезда Советов. Троцкий заявил, что партия левых эсеров «совершила

окончательно политическое самоубийство» и «уже не может воскреснуть». А делегаты возмущенно вторили, что левым эсерам «не может быть места в Советах». Свердлов добавил, что в ЦИК будут предоставлены места лишь тем членам ПЛСР, которые заявят о своей «несолидарности» с действиями их ЦК.

Большевики охотно подливали масло в огонь, который сжигал партию левых эсеров. В ней начались расколы. Осудили действия московских товарищей тульские, саратовские и другие левоэсеровские партийные организации (в общей сложности восемнадцать). Вместе с тем левых эсеров начали повсеместно исключать из Советов. (Уже к началу августа недавно мощная партия де-факто перестанет существовать как единая политическая сила; большинство ее руководителей будут находиться в подполье.)

В этот же день было сформировано новое руководство ВЧК. В него вошли девять большевиков. Принято решение уволить из Комиссии всех левых эсеров, а беспартийных чекистов обязали в трехнедельный срок представить рекомендации от членов РКП(б) [21] и подробно описать свою предыдущую деятельность.

10–11 июля. В Симбирске поднял мятеж против советской власти главком Восточного фронта левый эсер Михаил Муравьев (тот самый, который в начале 1918-го терроризировал Киев, потом попал под подозрение за якобы имевшуюся связь с анархистами, но был оправдан).

В ночь на 10 июля Муравьев, погрузив два полка на пароходы, двинулся из Казани, где находился штаб Восточного фронта, в Симбирск. Занял город, арестовал советских руководителей (в том числе командующего 1-й армией Михаила Тухачевского) и выступил за создание «Поволжской Советской республики» во главе со Спиридоновой, Камковым и Карелиным, призвал разорвать Брестский мир, объявил войну Германии, а себя — «главкомом армии, действовавшей против Германии».

До сих пор не вполне понятно — было ли связано выступление Муравьева с событиями в Москве, или же он преследовал какие-то личные цели. Существует, например, версия, что Мирбах передал Муравьеву деньги — чтобы он воевал против Чехословацкого корпуса, но агент, который их вез, был арестован чекистами.

Муравьев был убит при аресте. Впрочем, на следующий день московские «Известия» написали, что, «видя полное крушение своего плана, Муравьев покончил с собой выстрелом в висок». Ленин и Троцкий объявили его «изменником и врагом народа», которого «всякий честный гражданин обязан… застрелить на месте».

14 июля. Первый советник германской миссии доктор Рицлер вручил Чичерину ноту, полученную из Берлина. Немцы требовали разрешения на ввод в Москву своего батальона для охраны посольства, но эту идею большевики категорически отвергли. Ленин писал, что «подобное требование мы ни в коем случае и ни при каких условиях удовлетворить не можем, ибо это было бы объективно началом оккупации России чужеземными войсками». К тому же большевики понимали, что немцы уже не настолько сильны, чтобы настаивать на своем.

15–19 июля. В Берлин направлены две советские ноты, в которых отвергались германские требования. Впрочем, в качестве компромисса немцам разрешили допустить для охраны 300 человек в гражданской одежде и пообещали охрану из тысячи красногвардейцев.

Немцы не стремились обострять конфликт. «Берлин отклонил идею отмежевания от Ленина и товарищей, — писал фон Ботмер. — Таким образом, мы останемся здесь, о чем мы чисто по-человечески никак не сожалеем. Жизнь здесь столь же приятна, как и интересна».

Вскоре в Москву из Берлина прибыл новый посол — бывший директор Немецкого банка и вице-канцлер Карл Гельферих. Правда, задержался он в столице Советской России недолго. Несколько раз здание посольства обстреливалось, причем пули попадали в окно кабинета Гельфериха, где тот работал. Кто стрелял — установлено не было. Гельферих так опасался покушения, что даже не поехал в Кремль для вручения верительных грамот Свердлову, а 6 августа отбыл в Берлин.

Восстание левых эсеров для большинства жителей Москвы прошло малозамеченным. К тому же его тут же затмили другие события. Вскоре до Москвы дошли слухи о расстреле в Екатеринбурге царя Николая II. Потом в городе начали снимать памятники императорам. По всей столице проходили митинги с обсуждением темы «Что дает трудовому народу Советская Конституция» (она была принята на том же V съезде Советов). Снова появились трудности с хлебом. Приходили тревожные сводки с фронтов разгоравшейся Гражданской войны. В общем, события 6 июля очень быстро стали историей. Но только не для тех, кто играл в них главную роль.

* * *

Имена убийц Мирбаха сразу обнародованы не были. Газеты сообщали о «провокаторах», «заговорщиках» и т. д. Фамилия

Блюмкина появилась в прессе лишь 8 июля — в сообщении Троцкого. Он подчеркивал, что «некий Блюмкин» совершил убийство немецкого посла графа Мирбаха по постановлению ЦК ПЛСР. Об Андрееве газеты упомянули еще позже — 14 июля.

На самом деле убийцы Мирбаха сразу же были объявлены в розыск. Уже 6 июля во все милицейские участки Москвы была направлена телеграмма: «Задержать и препроводить в уголовную милицию Якова Блюмкина. Приметы: высокого роста, голова бритая, обросший черной бородой, хромой ввиду вывихнутой ноги. Одет в зеленый френч, может быть, и синий костюм. У Блюмкина могут быть бланки Чрезвычайной комиссии».

Было еще и дополнение к телеграмме: «Роста Блюмкин выше среднего, черные волосы, лоб высокий, лицо бледно-желтоватое, густая круглая борода, у губ редкая. Тип еврейский. Одет в черную шляпу (опять эта шляпа! — *Е. М.)* и синий костюм».

В этом дополнении фигурировал и Андреев: «Надлежит также задержать Николая Андреева. Приметы: небольшого роста, рыжеватый, нос горбатый, лицо тонкое, длинное, худощавый, глаза косят. Тип еврейский».

Некоторое время немцы требовали (правда, довольно вяло) розыска террористов. Советское правительство отвечало, что они скрываются. И действительно, Блюмкин и Андреев как в воду канули.

Между тем 6 и 7 июля Блюмкин был совсем рядом, как уже говорилось, — всего лишь в нескольких десятках метров от штаба отряда Попова. Он находился в госпитале, на другой стороне Трехсвятительского переулка, и оставался там до середины дня 7 июля.

Позже Блюмкин утверждал, что испытывал сильные душевные терзания. Когда он узнал, что в штаб приехал Дзержинский, то попросил перенести его в лазарет, чтобы «предложить ему меня арестовать».

«Меня не покидала все время незыблемая уверенность в том, что так поступить исторически необходимо, что Советское правительство не может меня казнить за убийство германского империалиста, — отмечал он в автобиографии. — И даже в сентябре, когда июльские события четко скомпоновались, когда проводились репрессии правительства против левых эсеров, и все это сделалось событием, знаменующим собою целую эпоху в Русской Советской Революции, даже тогда я писал к одному члену ЦК, что меня пугает легенда о восстании и мне необходимо выдать себя правительству, чтобы ее разрушить». Но его просьбу, утверждал Блюмкин, отказался выполнить левоэсеровский ЦК.

Седьмого июля левые эсеры так быстро отступили (сбежали)

из своего штаба, что часть их раненых бойцов осталась в лазарете. Блюмкин так и рассказывал: «При отступлении из Трехсвятительского переулка я был забыт во дворе лазарета». Оттуда-де его увезла на автомобиле в первую городскую больницу некая сестра милосердия, имени которой Блюмкин так никогда и не узнал. Там он назвался красноармейцем Григорием Беловым, раненным в бою с отрядом Попова.

В суматохе тех дней на «красноармейца Белова» никто не обратил внимания. К тому же Блюмкин не был похож на человека, которого описывали в правительственных ориентировках. Он был уже без бороды, острижен почти наголо и одет в солдатскую форму. Но долго оставаться на одном месте было опасно — подозрительных раненых разыскивали по московским больницам и рано или поздно он попал бы в руки большевиков.

Вечером 9 июля Блюмкина увезли из больницы. Сделали это, как он писал, его «внепартийные друзья». Кто были эти друзья — осталось неизвестно. Уж не его ли знакомые по литературной тусовке? Кто знает… Так же непонятно, как «внепартийные друзья» узнали, что Блюмкин находится именно в этой больнице, и как был совершен побег. Во всяком случае, ему удалось улизнуть. В Москве он скрывался еще несколько дней — в лечебнице или на частных квартирах. И здесь непонятно — кто его все-таки прятал?

Вообще, об этом периоде биографии Блюмкина известно крайне мало — лишь то, о чем он потом сам писал в своих показаниях. Было ли все так, как он рассказывал, или что-то «бесстрашный террорист» присочинил — можно только гадать. Остается верить Блюмкину на слово. Но можно, конечно, и не верить.

Двенадцатого июля Блюмкин выбрался из Москвы и оказался в Рыбинске. Там он жил под фамилией Авербах и лечил раненую ногу. Так продолжалось до конца августа. В начале сентября, «очень нуждаясь», он начал давать уроки в Кимрах, в уездном комиссариате земледелия. Интересно, кого он там учил и чему? «Все это время, — писал Блюмкин, — я был абсолютно оторван от партии. Она не знала, где я нахожусь и что со мной делается». И действительно, многие важнейшие события в стране прошли мимо него.

* * *

Четвертого августа 1918 года «ограниченный контингент»

войск стран Антанты высадился в Архангельске. На Волге и в Сибири возникли «демократические» проэсеровские правительства — там уже вовсю шла Гражданская война. 30 августа в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК Урицкий, а вечером того же дня в Москве — ранен Ленин. Советские газеты были заполнены патетическими стихами, посвященными вождю. В стихотворении Нелюдима-Соловьева, напечатанном в «Правде» 15 сентября 1918 года, говорилось, что «доверчивого Орла» укусила в крыло Змея. А некто Е. Красная в той же «Правде» объясняла, за что ранен Ленин (стихотворение так и называлось — «За что?»).

…Лишь за то, что мечом беспощадным в крови
Разрушает он ваши химеры,
Разгоняет лучом светозарным в умах
Все, чем вы затемняли сознанье!
Лишь за то, что великий в словах и делах
Строит с нами он новое зданье.

На эти убийство и покушение большевики ответили объявлением «красного террора» — газеты публиковали списки расстрелянных заложников, «представителей эксплуататорских классов».

Находившаяся в это время под арестом Мария Спиридонова написала открытое письмо в ЦК партии большевиков. В нем она обвинила их в «надувательстве трудящихся» и репрессиях, которые, по ее словам, представляли собой убийства «тысяч людей» из-за «поранения левого предплечья Ленина». Однако ЦК ПЛСР 31 августа 1918 года выпустил резолюцию с одобрением террора «против всех империалистов и прихвостней буржуазии»:

«Слугами буржуазной контрреволюции ранен Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин. Мы, стоящие на крайне левом крыле революционного социализма, считающие террор одним из способов борьбы трудящихся масс, будем всеми силами бороться против подобных приемов, когда они имеют целью удушить русскую революцию. Покушение на Ленина произведено справа, защитниками буржуазного строя, кого революция лишила былых привилегий и кто желает уничтожения советского строя и социалистических реформ. Ленин ранен не за то, что он капитулировал и пошел на путь соглашательства. Нет, он ранен теми, для кого даже его политика есть политика крайней революционности. <…> Мы считаем, что восстание миллионов трудящихся, хотя и искаженное соглашательской политикой вождей, не удастся задушить гибелью этих вождей. Покушение на

Ленина — один из таких эпизодов контрреволюционного падения, и на такие попытки контрреволюции трудящиеся массы должны ответить встречным нападением на цитадели отечественного и международного капитала…»

В Москве большевики объявили, что раскрыли так называемый «заговор послов» во главе с руководителем британской миссии Локкартом. По советской версии, Локкарт пытался подкупить охранявших Кремль латышских стрелков, чтобы с их помощью совершить переворот и арестовать правительство Ленина. Затем латышские части должны были занять Вологду и соединиться с англичанами, которые наступали бы из Архангельска.

После покушения на Ленина Локкарт был арестован. Французский генконсул Гренар, Сидней Рейли и Анри Вертамон скрылись.

В октябре 1918 года «измотанный нечеловеческим напряжением» Дзержинский уехал на несколько дней в Швейцарию, где находились его жена и сын. Поехал он туда, разумеется, под другой фамилией и даже бороду сбрил. Встретивший его перед отъездом комендант Кремля не узнал «железного Феликса». Вскоре Дзержинский вернулся из Швейцарии, потом приехала его семья, и они поселились в Кремле. С Блюмкиным Дзержинскому предстоит встретиться еще не раз.

Левые эсеры окончательно раскололись. Одна их часть решила пойти на сотрудничество с большевиками, другая ушла в подполье. Из всех лидеров партии своей смертью умрут лишь двое. Прош Прошьян в декабре 1918 года скончается от тифа[22], а Исаак Штейнберг, уехавший в 1923 году из России, умрет спустя 34 года в эмиграции в Нью-Йорке. Все остальные погибнут в борьбе с большевиками или будут арестованы и расстреляны в годы репрессий. Но тогда они еще не потеряли надежды…

В сентябре Блюмкин наконец-то «случайно» завязал сношение с ЦК левых эсеров. Он обратился туда с предложением «спешно» отправить его «на Украину в область германской оккупации для террористической работы». Ему приказали выехать в Петроград и там ожидать отправки.

Надо сказать, что самую громкую акцию левых эсеров на Украине, которая могла бы соперничать с убийством Мирбаха, Блюмкин тоже пропустил.

«Палач международной революции». Убийство фон Эйхгорна

В списке «виднейших представителей международного империализма», которых левые эсеры собирались уничтожить, одними из первых значились гетман «всея Украины» Павло Скоропадский и главнокомандующий группой армий «Киев», глава оккупационной администрации занятых германскими войсками областей Украины генерал-фельдмаршал Герман фон Эйхгорн.

В июне 1918 года в Киев прибыла боевая группа левых эсеров. Ее возглавляла Ирина Каховская. В группе был и Борис Донской. Через некоторое время группа приняла решение — первый удар будет нанесен по Эйхгорну.

В 1918 году Герману фон Эйхгорну исполнилось 70 лет. Профессиональный прусский военный, участник Франко-прусской войны, внук (по матери) известного немецкого философа-идеалиста Фридриха Шеллинга, он во время Первой мировой войны командовал группой армий на русском фронте, которая так и называлась — «Эйхгорн». Группа действовала в Прибалтике и Белоруссии.

Для противников Брестского мира Эйхгорн, как и Мирбах, был одной из самых мрачных и одиозных фигур «германского империализма». «Генерал Эйхгорн, как и недавно убитый в Москве граф Мирбах — оба являлись представителями немецкого капитала, оба — один штыками, другой сетями дипломатических нот и политической полиции — выполняли черное дело уничтожения Советской России», — говорилось в одной из левоэсеровских листовок.

«Душа и мозг переворота на Украине», «палач международной революции», «покрывший за короткое время своего командования и царствования на Украине богатую, красивую и веселую страну кровью, виселицами и неубранными трупами», «агент разбойничьего империализма», «палач Украинской свободы» — и это все о нем, фон Эйхгорне. Ну а Блюмкин в одной из своих статей позже назовет его «титулованной акулой».

Итак, группа начала слежку за Эйхгорном. Борис Донской даже купил коня и превратился в «извозчика», чтобы свободно передвигаться по городу. Через некоторое время террористы установили, что каждый день в час дня генерал-фельдмаршал и его адъютант прогуливаются по городу. Теракт запланировали на

30 июля.

Исполнитель Донской в карман плаща положил самодельную бомбу. Его подстраховывали другие члены группы, в их числе и Ирина Каховская.

Эйхгорн в сопровождении адъютанта, капитана фон Дресслера, шел по Екатерининской улице, направляясь к своему дому. На перекрестке с Липским переулком они прошли мимо человека в плаще, который неожиданно выхватил из кармана бомбу и швырнул ее в немцев. Раздался взрыв. Террорист вскочил в проезжавший мимо фургон, но тут же выскочил и поднял руки. Его схватили подбежавшие немецкие солдаты.

Донской поступил в полном соответствии с кодексом чести эсеров-террористов — не скрываться с места теракта, а использовать его в целях революционной пропаганды и объяснить властям и населению мотивы своего поступка.

«На место покушения немедленно прибыл пан Гетман, и в его присутствии генерал-фельдмаршал, который был в сознании, был перевезен в одну из киевских клиник», — писали киевские газеты.

Гетман Скоропадский жил рядом с домой Эйхгорна — на Левашовской улице. Когда раздался взрыв, они с немецким генералом Раухом только что закончили завтракать в саду резиденции и решили немного прогуляться там. «Не отошли мы и нескольких шагов, как раздался сильный взрыв, — вспоминал Скоропадский. — Я по звуку понял, что разорвалось что-то вроде сильной ручной гранаты… Я и мой адъютант побежали туда. Мы застали действительно тяжелую картину, фельдмаршала перевязывали и укладывали на носилки, рядом с ним лежал на других носилках его адъютант Дресслер, с оторванными ногами, последний, не было сомнения, умирал. Я подошел к фельдмаршалу, он меня узнал, я пожал ему руку, мне было чрезвычайно жаль этого почтенного старика».

«Пан гетман, — добавляла газета „Голос“, — наклонился и поцеловал раненого. Фельдмаршал открыл глаза, улыбнулся и пытался было заговорить, но силы оставили его». Впрочем, эту сцену, скорее всего, придумали репортеры.

Скоропадский тут же отправил свои соболезнования в Берлин. Кайзер Вильгельм II прислал в ответ телеграмму:

«Искренно благодарю вас за выражение вами от имени украинского правительства и украинского народа чувства соболезнования по поводу достойного проклятия преступления, которое учинено подлыми убийцами против моего генерал-фельдмаршала фон Эйхгорна.

Бессовестность наших врагов, которые являются в то же самое время врагами спокойствия и порядка на Украине, не

останавливается при выполнении своих мрачных планов ни перед какими самыми презренными средствами. Я надеюсь, что удастся подвергнуть заслуженному наказанию как непосредственных выполнителей преступления, так и его руководителей, а также надеюсь, что Всевышнему благоугодно будет оставить в живых жертвы гнусного покушения».

Несмотря на эти надежды, Эйхгорн и его адъютант скончались. Гетман выпустил грамоту, в которой объявлял «народу Украины» о покушении на Эйхгорна и его смерти:

«Сегодня, 30 июля 1918 г., в 10 ч. вечера, скончался командующий группою германских войск на Украине Генерал-Фельдмаршал Эйхгорн, погибший от злодейской руки заклятых врагов Украины и ее союзников.

Тем, кто не знал усопшего Генерал-фельдмаршала, трудно оценить, какая это великая и горькая утрата для Украины. Генерал-фельдмаршал Эйхгорн был искренним и убежденным нашим сторонником и другом украинского народа; целью его было создание самостоятельной Украинской Державы. Усматривая неисчерпаемые творческие силы в нашем народе, он радовался той славной будущности, которая ожидает Украину, и всеми силами поддерживал идею Украинской Державы даже среди тех, кто относились к ней с недоверием.

Мир же праху твоему, великий и славный воин! Как боевая твоя слава не умрет в сердцах германского народа, так и убежденная твоя работа на благо Украины оставит глубокий след в сердцах наших и не изгладится никогда со страниц истории Украины. Единственное утешение в этом тяжком горе, которое нас постигло, это то, что постыдное злодейство совершено не сыном Украины, а чуждым человеком, враждебным Украинской Державе и ее союзникам».

После панихиды тела генерал-фельдмаршала и его адъютанта отправили в Германию. Украинские власти устроили помпезную траурную церемонию. По некоторым данным, во время этой церемонии террористы хотели совершить покушение и на гетмана, но оно сорвалось.

Бориса Донского после допросов и пыток публично повесили на площади перед Лукьяновской тюрьмой. Никого из своих товарищей он не выдал. Донской сообщил лишь свое имя, то, что он состоит в партии левых эсеров и что Эйхгорн убит потому, что он «задушил революцию на Украине, изменил политический строй, произвел, как сторонник буржуазии, переворот, способствуя избранию гетмана, и отобрал у крестьян землю». Из тюрьмы он сумел передать записку: «Для меня нет в жизни более дорогого, чем революция и партия».

Руководитель группы боевиков Ирина Каховская попала в засаду на одной из явочных квартир — точнее, на даче вблизи Киева. Ее тоже жестоко допрашивали и в сентябре вынесли смертный приговор. Но чтобы казнить женщину, приговор должен был утвердить кайзер Германии. Этого он сделать не успел — в ноябре в Германии началась революция. Каховская оставалась в тюрьме еще несколько месяцев.

В 1919 году Липский переулок в Киеве будет назван именем Донского. Историк Ярослав Леонтьев пишет, что до конца 1930-х годов в музее Красной армии в Москве был стенд, посвященный его подвигу, с фотографией виселицы. Однако после заключения пакта Молотова — Риббентропа в августе 1939-го стенд по соображениям политкорректности убрали. Не стало и в Киеве переулка, названного именем эсера. Ну а во время оккупации Киева гитлеровцами в 1941–1943 годах Крещатик назывался Эйхгорнштрассе.

* * *

Об убийстве Эйхгорна сообщили и советские газеты. Интересно впечатление от прочитанного сотрудника германской дипломатической миссии в Москве майора Карла фон Ботмера: «Позиция большевистской прессы по случаю убийства в Киеве доказывает, что в этом случае даже не находят нужным соблюсти хотя бы внешнюю форму, как это было сделано после убийства посланника 6 июля. Тогда, в связи с последовавшим одновременно восстанием, убийство рассматривалось и как покушение на власть, и поэтому можно было легко изобразить возмущение. Убийство же Эйхгорна находит почти неприкрытое одобрение даже со стороны советского правительства как шаг на пути освобождения Украины».

Роберт Брюс Локкарт имел случай наблюдать реакцию Чичерина и Карахана в тот момент, когда им сообщили по телефону об убийстве Эйхгорна. «Они не скрывали своей радости, в особенности Чичерин, — рассказывал Локкарт, — он обратился ко мне со следующими словами: „Видите, вот что происходит, когда иностранцы идут против воли народа“… В глазах большевиков немецкие и английские генералы принадлежали к одной категории, как только они вступали на русскую землю. Они были агентами контрреволюции и, следовательно, вне закона».

А Донской и Каховская в глазах большевиков были героями. Правда, их партийные товарищи в Советской России находились в подполье и под следствием.

Двадцать седьмого ноября 1918 года состоялось заседание Ревтрибунала при ВЦИКе по делу о «контрреволюционном заговоре ЦК партии левых эсеров против Советской власти и революции». Формально перед трибуналом должны были предстать 14 человек, но фактически на скамье подсудимых сидели двое — Мария Спиридонова и Юрий Саблин. Остальные скрывались.

До суда Спиридонова и Саблин сидели под арестом в Кремле. Мария Александровна ехидно замечала: «Я двенадцать лет боролась с царем, а теперь меня большевики посадили в царский дворец». В Кремле большевики содержали своих наиболее опасных врагов — царских министров, обвиненную в покушении на Ленина Фанни Каплан (ее там же и расстреляли) и того же Локкарта — его, впрочем, освободили после трех недель заключения.

Комендант Кремля Павел Мальков разместил их в отдельных комнатах, в так называемом Чугунном коридоре, «приставив надежных часовых». Свердлов приказал арестованных особо не стеснять, но внимательно за ними наблюдать, особенно за Спиридоновой, так как «она превосходный агитатор, да и конспиратор неплохой, кого хочешь вокруг пальца обведет».

В своих мемуарах Мальков отмечал, что Спиридонова действительно сразу же начала обрабатывать охрану и ему часто приходилось менять часовых. Один из них вскоре не выдержал и пришел к нему со словами: «Товарищ комендант! Переведите вы меня на другой пост, замучила, проклятая!» Оказалось, что она уговаривала его «вернуться к революционной борьбе», установить связь с «подлинными революционерами». Этого часового ЧК потом использовала в своих целях — он получал от Спиридоновой записки и регулярно приносил ей ответы, а ЧК получала обширную информацию о нелегальной деятельности эсеров.

Локкарт писал, что во время прогулок по Кремлю (в сопровождении конвоя) он иногда встречал Спиридонову и они «торжественно раскланивались». Она, по словам Локкарта, выглядела больной и нервной, «с черными кругами вокруг глаз». Саблин же «выглядел почти мальчиком».

В начале процесса Спиридонова отказалась отвечать на вопросы суда и потребовала, чтобы ей сначала предоставили слово. Суд согласился. После этого Спиридонова сказала, что это «суд одной партии над другой, что совершенно недопустимо» и что конфликт может разобрать только будущий Третий интернационал. Она заявила, что покидает зал. К ее заявлению присоединился и Саблин.

В роли государственного обвинителя выступал сам председатель Ревтрибунала, недавний большевистский главковерх Николай Крыленко (в 1938 году он будет расстрелян). Он призвал суд отклонить претензии обвиняемых и продолжать заседание. Однако трибунал постановил объявить перерыв на десять минут.

После перерыва было оглашено решение: дело слушать, хотя обвиняемые и отказываются присутствовать в зале.

Крыленко в своей речи настаивал на смертном приговоре Попову, Блюмкину, Андреева призвал «удалить навсегда из пределов Советской Республики», а остальных обвиняемых заключить под стражу «с высылкой из пределов Советской Республики не менее чем на 5 лет». Спиридонову и Саблина, учитывая их «заслуги перед революцией», предлагал просто выслать на пять лет.

Трибунал продолжался недолго. Приговор выглядел так: Попова объявить врагом трудящихся и вне закона и, «как такового, при поимке и установлении личности расстрелять» (Попов был задержан в ноябре 1920-го и расстрелян весной 1921 года); три года заключения с принудительными работами получили Прошьян, Камков, Карелин, Трутовский, Магеровский, Голубовский, Черепанов, Майоров и Фишман; Спиридонову и Саблина, с учетом их заслуг перед революцией, приговорили к заключению в тюрьме сроком на один год. Но уже 29 ноября их амнистировали и освободили.

Что же касается Блюмкина и Андреева, то они тоже были приговорены заочно к трем годам заключения с принудительными работами.

* * *

Осенью 1918 года Блюмкин нелегально перебрался под Петроград. В своих показаниях он кратко упоминает это время: «Я жил в окрестностях Петрограда очень замкнуто — в Гатчине, в Царском Селе и др., занимаясь исключительно литературной работой, собиранием материала об июльских событиях и писанием о них книги». Литературные упражнения Блюмкину всегда нравились, но куда потом делся собранный им материал и что стало с его заметками — это одно из многочисленных «белых пятен» его биографии, которое уже вряд ли удастся заполнить. А жаль. Интересно было бы почитать, что он там написал. С книгой так ничего и не вышло.

Тогда у него был уже новый псевдоним — Константин

Владимиров.

Разыскивали ли его чекисты? Формально — да. Но, видимо, без особого старания. Есть даже версия, будто Блюмкина в Петрограде спрятал Дзержинский, чтобы потом использовать его для различных деликатных поручений. Однако никаких подтверждений этого нет.

Фамилия Блюмкина возникла в протоколе заседания президиума Коллегии отдела по борьбе с контрреволюцией ВЧК от 12 сентября 1918 года. К тому времени он уже два месяца находился в розыске. Суть дела, в связи с которым упоминался Блюмкин, определить трудно — в протоколе об этом всего три строчки. Некий чекист Шибов выступил с заявлением, по которому было принято решение: «Сообщить в Президиум о назначении контрольно-ревизионной комиссии для проверки счетов гр. Блюмкина».

Возможно, в ВЧК решили проверить финансовую деятельность отделения Блюмкина. Но почему только в сентябре, когда отделение уже не существовало, а его руководитель находился в бегах? Скорее всего, это происходило в рамках расследования дела о событиях 6 июля. Оно продолжалось до ноября.

«В октябре, — отмечал Блюмкин в своих показаниях, — я самовольно, без ведома ЦК, поехал в Москву, чтобы добиться скорейшей командировки на Украину. Недолго жил в Курске, и 5 ноября я был уже в Белгороде, в Скоропадчине».

«Я не могу не сказать нескольких слов о своей работе на Украине, — продолжал он. — По ряду причин мне нельзя еще говорить о ней легально, подробно. Скажу только следующее: я был членом боевой организации партии <левых эсеров> и работал по подготовке нескольких террористических предприятий против виднейших главарей контрреволюции. Такого рода деятельность продолжалась до свержения гетмана». «Словом, посильно я служил революции», — скромно заключал Блюмкин.

Его появление на Украине практически совпало с поистине историческими событиями, которые потрясли Европу и весь мир.

«Гарцует Директория…» Блюмкин на Украине

Четырнадцатого октября 1918 года на Западном фронте началось общее наступление войск Антанты. В начале ноября германские войска оказались на грани катастрофы. В это критическое для Германии время в городе Киль восстали моряки. Восстание охватило всю страну. 9 ноября кайзер Вильгельм II бежал из Германии в Голландию. Германия была провозглашена республикой. 11 ноября немецкая делегация подписала условия перемирия в Компьенском лесу. Оно обернулось для Германии фактической капитуляцией, а затем и унизительным Версальским миром.

Тринадцатого ноября на заседании ВЦИКа в Москве Свердлов объявил об аннулировании Брест-Литовского договора. Вскоре Красная армия перешла в наступление и вступила на занятые немцами территории.

По условиям перемирия Германия должна была вывести свои войска с оккупированных ею территорий. В первую очередь это касалось Украины.

Пока немцы готовились к эвакуации, новые претенденты уже строили планы по захвату власти на Украине. 11 ноября Ленин приказал подготовить наступление на Украину красных войск. Но 13–14 ноября 1918 года там была создана Директория во главе с Владимиром Винниченко. В ее состав вошел и Симон Петлюра — бывший министр обороны Украинской Народной Республики, в июле 1918 года арестованный по обвинению в антиправительственном заговоре. 13 ноября его освободили под честное слово, взяв обещание не выступать против гетмана. Однако в течение следующих дней он стал одним из активнейших участников восстания против слабеющего с каждым днем режима Скоропадского.

Войска Директории 18 ноября начали наступление на Киев. Надо сказать, что буквально в считаные дни в ее распоряжении оказалось несколько тысяч человек с пулеметами и артиллерией. В основном это были полки, сформированные при гетмане, но теперь с энтузиазмом переходившие на сторону восставших. Присоединялись к ним и крестьяне, которые ничего хорошего ни от гетмана, ни от немцев не видели. В конце 1918 года петлюровцы (Петлюра стал главнокомандующим армией Директории, ее головным атаманом) представляли внушительную силу.

Гетман Скоропадский попытался совершить политический пируэт в сторону Белого движения. Он объявил о федерации с будущей некоммунистической Россией, приостановил «украинизацию» и начал зондировать почву о соглашении с Добровольческой армией генерала Деникина. «Кое-где замелькал русский национальный флаг», — отмечал один из очевидцев. Действительно — в Киеве началось формирование добровольческих дружин под русским триколором.

Киевским добровольцам было разрешено носить русскую военную форму и воинские знаки отличия. По Киеву были расклеены афиши с призывами: «К оружию, к оружию! В ком бьется русское сердце — пусть идет к нам!.. Все верные дети России, идите на ее спасение», «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан!». Деникин разрешил киевским формированиям использовать флаг Добровольческой армии.

Четырнадцатого ноября 1918 года гетман издал грамоту, в которой призвал население встать на защиту Украины, с которой должно будет начаться восстановление «Великой России». Командующим вооруженными силами Скоропадский назначил генерала Федора Келлера — убежденного монархиста, ненавистника всякой «украинизации» и популярного в русской армии человека. Он все это время жил на Украине и не думал скрывать своих взглядов.

Впрочем, на посту командующего Келлер пробыл чуть больше недели — он подал в отставку. Считается, что ее причиной стали слишком резкие генеральские высказывания в адрес гетмана и Германии. Новым командующим был назначен личный друг гетмана, генерал князь Долгоруков.

Силы защитников Киева насчитывали в лучшем случае около пяти тысяч человек. В русских добровольческих дружинах — две — четыре тысячи. Это и была та самая булгаковская «Белая гвардия».

Бои с петлюровцами начались вблизи Киева 21 ноября. Но сам город жил обычной жизнью. Защищало Киев явное меньшинство из тех, кто мог держать в руках оружие. «Как чувствовал себя киевский обыватель? Обыватель веселился — пир во время чумы, — отмечала в мемуарах русская общественная деятельница Мария Нестерович-Берг. — Пусть где-то сражаются, нас это не интересует нимало, нам весело, — пусть потоками льется офицерская кровь, зато здесь во всех ресторанах и шантанах шампанское: пей пока пьется. Какой позор эти кутившие тогда весельчаки!.. Когда настал перерыв в оркестре, я крикнула в толпу: „Тепло вам здесь и весело. А в нескольких верстах за Киевом начались бои. Дерутся офицеры. Льется кровь

защитников ваших. Слышите? Они дерутся за вас, бросив на произвол судьбы своих детей!“».

В эти дни жизнь гетмана Скоропадского висела на волоске. Но не только из-за наступления петлюровцев.

* * *

На гетмана «всея Украины» охотилась сводная боевая группа левых эсеров и эсеров-максималистов, в которую входил и наш главный герой. Люди подобрались отчаянные и со стажем. Например, «максималистка» Надежда Терентьева участвовала еще в покушении на премьера Столыпина в 1906 году на Аптекарском острове в Петербурге (тогда, при взрыве его дома, Столыпин уцелел чудом, но была тяжело ранена его дочь). Входил в группу и напарник Блюмкина по убийству графа Мирбаха Николай Андреев. Сначала именно ему отводилась роль исполнителя теракта по устранению гетмана. Однако, как потом рассказывал Блюмкин, «после долгих и мучительных колебаний Андреев от выполнения возложенной на него задачи отказался, мотивируя свой отказ бессмысленностью убийства человека, ничтожного в политическом отношении и являющегося лишь ширмой, за которой скрывались немецкие оккупационные власти».

После этого задачу убийства Скоропадского возложили на Владимира Шеварева (того самого, который, по словам Блюмкина, должен был по первоначальному плану убить Мирбаха). Теракт был назначен на 26 ноября. В тот день в Киеве проходили похороны погибших в боях с петлюровцами офицеров. Гетман приехал на похороны, однако бомбы, которые должны были полететь в него, почему-то оказались неисправными. Покушение провалилось. Скоропадскому повезло.

Тринадцатого декабря немцы и петлюровцы заключили соглашение. В обмен на разрешение эвакуировать свои войска германское командование обязалось не мешать вступлению армии украинской Директории в Киев. Город оказался фактически беззащитным.

Четырнадцатого декабря от власти отрекся гетман Скоропадский. Как известно, под видом раненого немецкого офицера он был вывезен в Берлин. Бежали и командующий армией князь Долгоруков, и офицеры его штаба. «Гетманщина, начавшаяся опереткой, завершалась трагикомедией, персонажами которой были гетман со товарищи, с одной стороны, а с другой стороны — действительной трагедией рядовых защитников Киева, преданных и брошенных начальством на произвол

судьбы», — писал известный политик Василий Шульгин.

В тот же день, 14 декабря, петлюровцы вошли в Киев. Войска проходили по городу молча, организованно, стройными рядами, под желто-голубыми украинскими флагами, на папахах алели красные ленты и красные банты на шинелях. Все-таки новая власть считала себя «социалистической».

Уже в день падения Киева на улицах города началась настоящая охота за офицерами и юнкерами. Сам Петлюра и его сподвижники впоследствии заявляли, что никогда не отдавали приказов убивать белогвардейцев. Однако мемуаристы отмечают, что жестокость и кровожадность петлюровцев, как и ужасы террора в целом, превосходили «даже то, что в последнее время приходилось наблюдать в Советской России. Офицеров в форме убивали на улицах Киева как собак».

Расстрелы, сообщает один из очевидцев, «производились исподтишка, украдкой. Встретят на улице русского офицера или вообще человека, по возрасту и обличью похожего на офицера, выведут на свалку, пристрелят и тут же бросят. Иногда запорют шомполами насмерть, иногда на полусмерть. Во время междуцарствия, когда Петлюра ушел из Киева, а большевики еще не вошли, было найдено в разных частях города около 400 полуразложившихся трупов, преимущественно офицерских». Был убит и генерал Келлер. Его вместе с двумя офицерами повели в тюрьму, а по дороге то ли расстреляли, то ли закололи штыками…

На два месяца Киев оказался в руках украинских социалистов-самостийников. Популярный в начале XX века поэт Владимир Мятлев, автор эпиграмм и стихотворных памфлетов, так описывал те «киевские дни»:

Виктория! Виктория!
Флаг — желто-голубой,
Гарцует Директория,
Довольная собой…

Украина! Украина!
Все это пустяки,
Но скоро, дети Каина,
Придут большевики.

Возьмут в свои объятия
Все классы целиком.
Узнает демократия,
Что значит Совнарком!

Но если это скверное
Минует нас пока,
Тогда придут, наверное,
Деникина войска.

С неясными «заветами»,
С стремлениями в даль,
И закипит кадетами
«Континенталь».

Судьба так переменчива,
Во всем такой хаос!
Покуда что застенчиво
Шепчу: «Я — малоросс».

Виктория! Виктория!
Окончен славный бой.
Петлюра, Директория,
Флаг желто-голубой.

О том, что делал Блюмкин в то время, когда над Украиной реял желто-голубой флаг, он сам рассказывал кратко в автобиографии: «При правительстве Директории, в период диктатуры кулачества, офицерства и сечевых стрелков, я работал для восстановления на Украине Советской власти. По поручению партии организовал совместно с коммунистами и другими партиями на Подолии ревкомы и повстанческие отряды, вел советскую агитацию среди рабочих и крестьян, был членом нелегального Совета рабочих депутатов Киева».

На самом деле в украинском левоэсеровском подполье ситуация была совсем не простой. Шла жаркая дискуссия — создавать единый фронт борьбы с коммунистами или нет? Судя по всему, Блюмкин был категорически против этого союза. Пройдет всего три месяца, и он кардинально изменит свою позицию, но тогда…

Как можно судить по дошедшим до нас отрывочным сведениям о деятельности Блюмкина в это время, он ездил по украинским городам с целью создания подпольных ревкомов и установления связи между различными подпольными партийными организациями. На Украине Блюмкин жил под именем Григория Вишневского. Его настоящую фамилию знал только Николай Андреев и еще один человек — левый эсер Иван

Алексеев-Небутев (во всяком случае, так он утверждал).

Во время немецкой оккупации Украины и при Директории Алексеев-Небутев находился на нелегальной работе в Одессе, Киеве, Жмеринке. В 1922 году в Москве были изданы его мемуары «Из воспоминаний левого эсера (Подпольная работа на Украине)», в которых автор приводит немало ярких подробностей о той обстановке, в которой тогда проходила подпольная жизнь революционеров. Вот, к примеру, как он описывает квартиру в Киеве, где тайно жили несколько эсеровских боевиков:

«В комнатах табачный дым — не продохнуть. На полу плевки и окурки. Некоторые из них успели пожелтеть от времени. На столе своеобразный винегрет. Здесь смешались в одну кучу — селедка, огурцы, яблоки, книжки и газеты. Этот художественный пейзаж дополняют неубранные кровати, из-под которых торчит грязное белье, уживающееся в соседстве с еще более грязными и мокрыми сапогами…

В этот день они все были голодны… Я дал им семьдесят рублей. И вот начался подлинный Содом. Крики и визг, спор — кому идти за хлебом. Тянут жребий!

И это подпольная квартира революционеров — думалось тогда».

Трудно сказать, насколько бывший подпольщик был искренен в своих оценках почти пять лет спустя, когда его книга издавалась в стране, где у власти стояла партия, фактически разгромившая левых эсеров. Но тем не менее картина впечатляющая.

С Блюмкиным Алексеев-Небутев встретился позже, уже после того, как к власти пришла Директория. Случилось это в Жмеринке, где левые эсеры готовили выступление против петлюровцев. Однажды из Киева «на усиление» прибыли несколько боевиков, и среди них Блюмкин. Алексеев с Блюмкиным должны были выступать на большом митинге железнодорожников. Блюмкин призывал рабочих не сдавать оружие — тогда власти Директории под угрозой расстрела требовали от населения его сдачи. Блюмкин, по словам Алексеева, «говорил долго, красиво, резко и удачно».

Потом состоялись выборы в подпольный ревком. От левых эсеров в него выбрали Блюмкина и Алексеева. В него же вошли и коммунисты. Блюмкин возражал против этого. Теоретический спор быстро перешел на личности. Блюмкин имел от ЦК широкие полномочия и требовал, чтобы те, кто допустил коммунистов в ревком, уехали в Киев. Но его не поддержали. Тогда ему пришлось уехать самому.

Любопытно, что в этой истории они оказались «по разные стороны баррикад» с Николаем Андреевым. Он-то и занял место

Блюмкина в подпольном ревкоме Жмеринки. В том же 1919 году Андреев умрет на Украине от тифа.

Жмеринская история происходила, по-видимому, в январе — феврале 1919 года. Во всяком случае, восстание готовилось на 16 февраля 1919-го. Как видно, в то время Блюмкин был негативно настроен к возможности сотрудничества с коммунистами. Действительно, несмотря на общего врага, недоверие между коммунистами и эсерами возрастало. Алексеев-Небутев рассказывает такую историю. Их организация нуждалась в деньгах. Тогда он предложил отправиться в Одессу и, представившись участниками коммунистического подполья, получить средства у тамошней мощной организации большевиков. Были изготовлены фальшивые документы, и Алексеев-Небутев пустился в путь. Впрочем, из этой затеи ничего не вышло — подпольщики-коммунисты что-то заподозрили и денег ему не дали.

Пятого февраля 1919 года части Красной армии заняли Киев. Знаменитый финал «Дней Турбиных» Булгакова[23], когда все главные герои наблюдают из окна своей квартиры с «кремовыми шторами» вхождение в город красных:

«**Мышлаевский**. Совершенно верно: шестидюймовая батарея салютует.

За сценой издалека, все приближаясь, оркестр играет „Интернационал“.

Господа, слышите? Это красные идут!

Все идут к окну.

Николка. Господа, сегодняшний вечер — великий пролог к новой исторической пьесе.

Студзинский. Кому — пролог, а кому — эпилог».

Что касается Блюмкина, то к его дальнейшей судьбе больше подошли бы слова Николки.

«Я решил явиться в Чрезвычайную комиссию…» Загадки возвращения

Двенадцатого февраля 1919 года, всего лишь через неделю после вхождения в Киев Красной армии, Блюмкин напечатал в газете «Борьба» статью «Об акте Бориса Донского». Она была подписана фамилией «Вишневский».

«Убийством палача Эйхгорна, — писал Вишневский-Блюмкин, — наша партия от имени украинских трудящихся, с одной стороны, совершила устрашающее предупреждение, реальную угрозу мировой реакции, с другой стороны, через голову международной буржуазии апеллировала к классовому сознанию международных трудящихся масс. Она призывала их в свидетели героической борьбы укр<аинских> раб<очих> и крестьян с международными хищниками капитала.

Теперь на празднике трудящихся, на суровом торжестве революции, в момент возрождения Советской власти на Украине, Борис Донской и его высокий акт приобретают еще большее значение и являются как огромный прекрасный исторический символ борьбы за дело соц<иальной> революции».

Блюмкин успел даже сделать что-то вроде партийной карьеры и стал секретарем Киевского комитета Украинской партии левых социалистов-революционеров. Но вскоре «на суровом торжестве революции» положение левых эсеров осложнилось.

После прихода красных украинские левые эсеры оказались в двойственном положении. С одной стороны, они тоже боролись против немцев, гетмана и петлюровцев, а иногда даже рука об руку с коммунистами; с другой — именно в феврале 1919 года на всей территории, где существовала советская власть, прошли массовые аресты членов этой партии. 18 марта 1919 года Дзержинский объявил, что «отныне ВЧК не будет делать разницы между белогвардейцами типа Краснова и белогвардейцами из социалистического лагеря… Арестованные эсеры и меньшевики будут рассматриваться как заложники, и их участь будет зависеть от политического поведения их партий».

Интересна в этом смысле судьба Ирины Каховской. После свержения Вильгельма II она по-прежнему оставалась в тюрьме. Революционная германская власть не решалась освободить террористку, хотя с просьбой о ее освобождении к немцам обращалась партия левых эсеров. После бегства гетмана Скоропадского и прихода к власти Директории Каховскую тоже не выпускали, хотя, по некоторым данным, ей симпатизировал

сам Петлюра, а требования освободить ее звучали от большевиков до Махно включительно. И только в конце января 1919 года друзьям Каховской все-таки удалось добиться ее освобождения.

Но тут начались новые испытания. Теперь на нее объявили охоту чекисты. Некоторое время Каховскую прятал красный командир Николай Щорс (герой популярной песни «Шел отряд по берегу, шел издалека, / Шел под красным знаменем командир полка…»). Она вернулась в Москву, но там была арестована. За Каховскую лично вступился Ленин. Ее освободили, но лишь после того, как узнали о планах левых эсеров устроить покушение на генерала Деникина, в то время главнокомандующего Вооруженными силами Юга России, — она тоже должна была принимать участие в этой акции. Как отмечает историк Ярослав Леонтьев, выпуская ее на волю, следователь ВЧК по левоэсеровским делам Романовский взял с нее слово революционерки, что в случае возвращения живой она добровольно явится в тюрьму.

Несколько месяцев Каховская и ее товарищи пытались организовать покушение на белого главкома. Но им феноменально не везло. Когда же — в Ростове-на-Дону — все было готово, опять случилось непредвиденное. Заговорщики один за другим заболели сыпным тифом.

В 1920-е годы Каховская арестовывалась еще несколько раз, затем были ссылки в Среднюю Азию и Уфу, потом — десять лет лагерей и снова ссылка в Сибирь. На свободу она вышла только в 1955 году. Умерла Ирина Каховская в 1960 году.

* * *

Однако Блюмкина в 1919 году аресты обошли стороной. Возможно, потому, что в Киеве почти никто не знал, кем на самом деле является «Григорий Вишневский». Подробности его киевской жизни в то время почти не сохранились. Известно только, что по партийным делам он выезжал в тыл к петлюровцам. Одна из таких поездок чуть было не стоила ему жизни.

В марте 1919-го Блюмкин отправился в Елисаветград. Ехал он на подводе. Недалеко от города Кременчуг ему встретился отряд петлюровцев. Неизвестно, что именно произошло, но, видимо, человек на подводе, да еще явно семитской наружности, им не понравился. «Я попал в районе Кременчуга в плен к петлюровцам, подвергшим меня жесточайшим пыткам, — писал Блюмкин в своей „Краткой автобиографии“ в 1929 году. — У меня вырвали все передние зубы, полузадушили и выбросили как мертвого

голым на полотно железной дороги. Я очнулся, добежал до железнодорожной будки, откуда на следующий день, 13 марта, на дрезине был доставлен в Кременчуг, в богоугодное заведение».

Трудно сказать, было ли все именно так, как рассказывал об этом Блюмкин. О его склонности приукрашивать происходящие с ним события мы еще поговорим. Впрочем, его «побитые зубы» помнили многие. Потом Блюмкин вставил себе металлические челюсти, чем тоже привлекал внимание.

В больнице он провалялся около трех недель. Там у него хватало времени подумать. Блюмкин размышлял — что делать дальше? Вариантов было несколько. Можно снова вернуться к подпольной работе и бороться против коммунистов. Можно уйти за линию фронта и совершать теракты против белых. Можно вступить в Красную армию или устроиться на какую-нибудь советскую должность под чужой фамилией. Наконец, можно просто «лечь на дно» и дожидаться лучших времен. Вряд ли его сразу начали бы искать в Киеве. Но Блюмкин выбрал самый необычный и рискованный вариант.

Четырнадцатого апреля 1919 года к часовому у входа в здание Киевской ГубЧК, которая занимала бывший особняк Бродского по адресу: Садовая улица, дом 5, подошел странный худой человек с выбитыми зубами. Шамкая беззубым ртом, он попросил провести его к председателю ЧК Иосифу Сорину. Часовой спросил, зачем. «Я — Блюмкин, — ответил человек. — Я нахожусь в розыске по делу об убийстве германского посла Мирбаха».

По такому случаю, как явка с повинной самого Блюмкина, в Киев из Харькова приехал его бывший начальник, а теперь председатель Всеукраинской ЧК (ВУЧК) Мартин Лацис. Он лично беседовал с убийцей Мирбаха. С 14 по 17 апреля Блюмкин дал подробные показания о событиях 6 июля 1918 года, о своей роли в покушении на Мирбаха и, наконец, о том, почему он решил прийти в ЧК.

Изложив свою версию московских событий, Блюмкин несколько раз подчеркнул: 6 июля никакого восстания против советской власти не было. «Я знаю только одно, что ни я, ни Андреев ни в коем случае не согласились бы совершить убийство германского посла в качестве повстанческого сигнала», — заявил он.

Затем он начал возмущаться тем, что «за голову Мирбаха, этого титулованного разбойника, упало много мужественных, честных и преданных Революции голов матросов, рабочих — левых эсеров» и что «председатель Совета Народных Комиссаров тов. Ленин лаконично объявил меня и Андреева просто „двумя

негодяями“».

«Правительство возненавидело нас, Центральный Комитет и исполнителей акта предали суду революционного трибунала как преступников и даже провокаторов, — отмечал Блюмкин. — Каждую нашу элементарную попытку опровергнуть возводимые на нас незаслуженные обвинения пресекали в корне, считали новым походом против Советской власти… Мы, интернационалисты, участники октябрьского переворота, не имели прибежища в творимой и нами социалистической республике…

До сих пор я, один из непосредственных участников этих событий, не мог в силу партийного запрета явиться к Советской власти, довериться ей и выяснить, в чем она видит мое преступление против нее. Я, отдавши себя социальной революции, лихорадочно служивший ей в пору ее мирового наступательного движения, вынужден был оставаться в стороне, в подполье. Такое состояние для меня не могло не явиться глубоко ненормальным, принимая во внимание мое горячее желание реально работать на пользу Революции. Я решил явиться в Чрезвычайную комиссию, как в один из органов власти (соответствующий случаю) Советской власти, чтобы подобное состояние прекратить».

Через некоторое время Блюмкина отправили в Москву. Там его допрашивал сам Дзержинский. Впрочем, скорее это была беседа. Затем он повторил свои показания Особой следственной комиссии, которая изучала его дело. Крайне любопытны два момента. Во-первых, он четко заявил: после того как левые эсеры отказались его выдать Дзержинскому (Блюмкин, как уже говорилось, неоднократно указывал, что сам якобы настаивал на этой выдаче), он больше не нес ответственности за действия ЦК. «Арест тов. Дзержинского, захват почтамта и посылка телеграммы по линии, стрельба по Кремлю и бегство из отряда Попова — все это происходило в моем отсутствии и без моего участия», — подчеркнул Блюмкин.

Во-вторых, он заметил, что «было бы крайне ошибочно рассматривать мой приход как отказ от акта, исполнителем которого я был, равно как и отказ от моего эсеровского понимания революции и Советской власти. *Я по-прежнему остаюсь членом партии левых социалистов-революционеров, по-прежнему расхожусь во многом в политике Советской власти,* и именно это побуждает меня вполне честно рассеять все то запутанное, трагичное положение, которое создалось благодаря отказу ЦК выдать меня в результате убийства Мирбаха» (курсив мой. — *Е. М.*).

Интересно сравнить это заявление Якова Блюмкина с тем, что он писал в автобиографии на Лубянке десять лет спустя. А писал он вот что: «Моя явка явилась результатом моего аналитического, под углом интересов социалистической революции, наблюдения событий на Украине и на Западе, интенсивно ведшегося мной со времени июльской драмы 1918 г., равно как и моего интенсивного теоретико-политического самообразования. *Как видно, понадобилось лишь 9 месяцев, чтобы я понял историческую правоту большевистской линии в социалистической революции»* (курсив мой. — *Е. М.)*.

Возникает неизбежный вопрос: когда же Яков Григорьевич был искренен? Увы, окончательного ответа на него уже, наверное, не найти…

* * *

Дальнейшие события развивались самым удивительным образом. Напомним — по приговору Ревтрибунала от 27 ноября 1918 года Блюмкин был приговорен к трем годам тюрьмы с принудительными работами. Но уже 16 мая 1919 года, всего лишь через восемь дней после того, как он дал свои показания Особой следственной комиссии, президиум ВЦИКа принял постановление:

> «ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОТ 16 МАЯ 1919 ГОДА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЯКОВА ГРИГОРЬЕВИЧА БЛЮМКИНА
>
> Ввиду добровольной явки Я. Г. Блюмкина и данного им подробного объяснения обстоятельств убийства германского посла графа Мирбаха президиум постановляет Я. Г. Блюмкина амнистировать.
>
> Секретарь ВЦИК А. Енукидзе».

Постановление было принято после ходатайства Особой следственной комиссии по делу Блюмкина. В нем заслуживают внимания два момента. Во-первых, говорится, что «поднятый партией левых эсеров после убийства Мирбаха мятеж против советской власти он, Блюмкин, осуждает и категорически отмежевывается от тех преступных действий, которые были совершены партией вопреки данному ему обещанию». Во-вторых, указывается, что он не может нести ответственность за этот мятеж, а «должен нести ответственность только за совершение

террористического акта по отношению к Мирбаху, *каковая ответственность, во всяком случае, не может вызвать необходимости содержания Блюмкина в тюрьме»* (курсив мой. — *Е. М.*).

Другими словами, убийство иностранного посла тогдашние руководители Советской России признавали не слишком серьезным проступком. А если и нужно разыскивать Блюмкина, то только за то, что в результате их с Андреевым акции начался «мятеж». Ну а поскольку Блюмкин явился с повинной и объяснил, что убивал Мирбаха не в порядке сигнала к началу «мятежа», а по идейным соображениям, то и особой вины в убийстве не нашли. Отношение к «разбойнику Мирбаху» у большевиков было почти таким же, как и у левых эсеров.

Итак, Блюмкина выпускали на свободу. Правда, в постановлении оговаривались условия этого освобождения — несколько пунктов:

«…2) Заменить ему трехлетнее тюремное заключение отдачей его на этот срок под контроль и наблюдение лиц по указанию президиума ВЦИК и

3) в случае уклонения Блюмкина от контроля над своими политическими действиями или в случае совершения каких-либо новых действий во вред Советской власти немедленно привести в исполнение состоявшийся по делу об убийстве Мирбаха приговор революционного трибунала при ВЦИК».

Фамилии лиц, которые должны были «контролировать» поведение Блюмкина, нигде не называются. Но резонно считать, что в их числе его «старые знакомые» — Дзержинский и Лацис. Во всяком случае, дальнейшая судьба и карьера Блюмкина в ЧК позволяют думать именно так.

Как и в других историях с участием Блюмкина, в его явке в ЧК и освобождении от ответственности много странного. Конечно, все могло быть так, как он сам рассказал, — в такое сумасшедшее время, когда идет Гражданская война, бывало и не такое. Но можно также предположить, что Блюмкин каким-то образом смог заранее обговорить условия своей явки в ЧК и получить от ее руководства определенные гарантии. А взамен предложить услуги по своей основной специальности — боевика и террориста. Тогда такие люди были нужны. Возможен и другой вариант — инициатива по привлечению Блюмкина к выполнению спецзаданий в интересах большевиков в обмен на прощение прошлых «грехов» исходила от его «старых знакомых» чекистов. И почему бы ему было не согласиться?

Вскоре после амнистии он снова оказался в Киеве.

«…Казнить меня без суда и следствия». Как Блюмкина невеста убивала

В один из майских дней 1919 года Надежда Хазина разговаривала на балконе второго этажа киевского отеля «Континенталь» с поэтом Осипом Мандельштамом. Они познакомились совсем недавно, в том же «Континентале», а точнее говоря, в кафе «Х.Л.А.М.», которое находилось в здании отеля. Это название расшифровывалось просто: «Художники, литераторы, архитекторы, музыканты», иногда чуть варьировалось.

«Х.Л.А.М.» было очень популярным местом. В кафе бывали и выступали почти все известные писатели, поэты, художники, которые оказывались в Киеве. Один из основателей советского джаза Леонид Утесов вспоминал: «В Киеве сделали привал, решили посмотреть, как он живет и как в нем живется. Киев жил так же, как Одесса, — тяжело и голодно. Вечером мы отправились в рекомендованное нам местной интеллигенцией кафе под странным названием „ХЛАМ“, что означало „Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты“. В этом кафе, как и в других, ни спаржей, ни омарами не кормили — морковный чай с монпансье. Черный хлеб посетители приносили с собой. Самой главной достопримечательностью этого кафе была надпись на фронтоне: „Войдя сюда, сними шляпу, может быть, здесь сидит Маяковский“. Здесь читал свои стихи Мандельштам. Зал всегда был переполнен».

Так вот, недавно познакомившиеся в кафе Осип Мандельштам и Надежда Хазина стояли на балконе «Континенталя», и вдруг их внимание привлекла необычная кавалькада, мчавшаяся по широкой Николаевской улице.

«Она состояла из всадника в черной бурке и конной охраны, — вспоминала Надежда Мандельштам (позже она вышла замуж за поэта). — Приближаясь, всадник в бурке поднял голову и, заметив нас, резко повернулся в седле, и тотчас в нашу сторону вытянулась рука с наставленным револьвером. О. М. было отпрянул, но тут же, перегнувшись через перила, приветливо помахал всаднику рукой. Кавалькада поравнялась с нами, но рука, угрожающая револьвером, уже спряталась под бурку. Все это продолжалось секунду… Всадники промчались мимо, свернули и скрылись в Липках, где находилась Чека.

Всадник в бурке — это Блюмкин — человек, „застреливший императорского посла“ — Мирбаха. Он направлялся, вероятно, в

Чека, к месту своей службы. Ему поручили, как мы слышали, чрезвычайно важную и конспиративную работу по борьбе со шпионажем. Бурка и кавалькада — скорее всего, дань личным вкусам этого таинственного человека. Не понимаю только, как вязались такие эффекты с предписанной ему конспирацией».

Чем на самом деле занимался Блюмкин в Киеве в мае-июне 1919 года? «Я приехал в Киев организовывать из своих друзей боевую организацию для выполнения одного боевого предприятия в тылу колчаковского фронта по предписанию ЦК РКП в лице т. Серебрякова и Аванесова», — писал Блюмкин в «Краткой автобиографии». Леонид Серебряков — в то время секретарь президиума ВЦИКа, член Реввоенсовета Южного фронта и будущий видный троцкист (расстрелянный в феврале 1937 года). Что касается Варлаама Аванесова, он же Сурен Мартиросов, — тогда он был членом Коллегии ВЧК.

По некоторым данным, на встрече Блюмкина с этими людьми обсуждалась возможность покушения на «Верховного Правителя России» адмирала Александра Колчака. Неизвестно, кто предложил эту идею — Блюмкин или чекисты. Ее инициаторами могли быть обе стороны. Но как бы то ни было, это «предприятие» вполне отвечало взглядам и характеру Блюмкина. Позже, как мы еще увидим, он будет организовывать покушение на генерала Деникина. Деникин, Колчак, Мирбах, Эйхгорн — все эти деятели были для Блюмкина людьми одного порядка, кого он называл «титулованными разбойниками».

Блюмкину выдали мандат ВЦИКа за подписями Серебрякова и Енукидзе. В нем говорилось, что Яков Блюмкин командируется в Киев по делам ВЦИКа и все советские организации РСФСР и Украины обязаны оказывать ему всяческое содействие. Был и еще один документ, по которому Блюмкин получал право на внеочередное получение железнодорожных билетов и посадку в вагон. Документ, кстати, очень важный. Что представляли собой поезда в то время, можно вообразить хотя бы по фильмам о Гражданской войне.

Итак, Блюмкин начал подготовку покушения на Колчака. Почему в Киеве? Ну, во-первых, потому, что там в это время находились многие боевики из левых эсеров и эсеров-максималистов, которых он хорошо знал. Во-вторых, группу боевиков собирались забросить в Сибирь с территории, которую контролировала Добровольческая армия под командованием Деникина. Из Киева это было сделать гораздо легче, чем из Москвы.

Подробности подготовки операции пока неизвестны. Но есть сведения, что ее должны были осуществить члены Союза

максималистов, в который в мае 1919 года вступил и Блюмкин. Он подал заявление о вступлении в союз, когда находился в Москве.

Вообще-то Союз социалистов-революционеров-максималистов образовался еще в 1906 году. Эта партия была близка по своим взглядам к анархистам. «Максималисты» выступали за социализацию земли, промышленных предприятий, создание самоуправляющейся «Трудовой республики» и немедленный переход к социализму. Они участвовали в Октябрьском вооруженном восстании в 1917 году, но были против Брестского мира и продразверстки. В 1919 году «максималисты» раскололись — от дружественного левым эсерам Союза социалистов-революционеров-максималистов отделился просто Союз максималистов, выступавший за признание советской власти, союз с коммунистами и совместную с ними борьбу против контрреволюции. «Максималисты» стояли за индивидуальный террор против виднейших представителей враждебного лагеря.

Надо сказать, что коммунисты, теоретически осуждавшие индивидуальный террор, вовсе не собирались сдерживать террористические амбиции представителей других партий. И в отдельных случаях даже готовы были оказывать им содействие. Так было в деле Ирины Каховской, отправившейся убивать Деникина, так было и с Блюмкиным. Что ж, «на войне как на войне». Правда, когда те же эсеры, анархисты или «максималисты» наносили удары уже по самим большевикам, их беспощадно уничтожали и клеймили как «агентов мировой буржуазии и контрреволюции». Но это так, к слову.

* * *

План покушения на Колчака — если он и существовал — провалился. Дело в том, что вскоре после возвращения Блюмкина из Москвы в Киев у него начались серьезные неприятности. Его самого решили убить.

В мае 1919 года чекисты арестовали в Киеве нескольких левых эсеров. Некоторые из бывших товарищей Блюмкина связали эти аресты с его явкой с повинной. Иначе говоря, на Блюмкина пало подозрение в провокаторстве и доносительстве. Это было одно из самых тяжелых обвинений, которое могли предъявить подпольщику-революционеру. Правда, Блюмкин в «Краткой автобиографии» несколько сместил акценты и представил дело так, что убить его хотели за отход от партии. «Левые эсеры… за мой отход организовали на меня три

покушения».

За 12 дней в июне 1919 года Блюмкина убивали трижды. Поздно вечером 6 июня трое левых эсеров пригласили его за город для «политической беседы», но неожиданно открыли по нему огонь из револьверов. Судя по всему, стреляли его бывшие товарищи так плохо, что Блюмкин умудрился сбежать. Возможно, его спасла темнота.

Второй раз боевики стреляли в Блюмкина в кафе на Крещатике. К нему подошли двое и несколько раз выстрелили почти в упор. О том, что происходит, окружающие догадались не сразу — в кафе громко играл оркестр, и музыка почти заглушила звуки выстрелов. Блюмкин был ранен в голову и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Удивительно, что и на этот раз он остался жив.

Через несколько дней эсеры попытались добить его прямо в Георгиевской больнице, где он находился после ранения. Ночью в больничное окно бросили бомбу. Но по какому-то невероятному везению никто не пострадал. В том числе и Блюмкин. Во время допроса он отказался отвечать на вопрос о том, кто и за что его преследует. «Это в значительной мере тормозит следствие», — заметила по этому поводу киевская газета «Известия ВУЦИК».

Он, конечно, прекрасно знал тех, кто охотится за ним. Между первым и вторым покушениями возмущенный Блюмкин успел написать письмо в ЦК ПЛСР:

«Считая огромной трагической ошибкой намерения ЦК казнить меня без суда и следствия… я, тем не менее, как революционер и террорист, для которого обвинение в предательстве является чудовищным по тяжести и кошмарным по своему моральному значению, абсолютно предоставляю себя в полное распоряжение ЦК партии левых социалистов-революционеров.

Я горячо прошу ЦК партии предъявить мне обвинение и, если по заслушании моих объяснений оно окажется незыблемо веским, казнить меня».

Кто же так упорно хотел убить Блюмкина? Это были весьма колоритные люди.

Сергей Пашутинский, член партии эсеров с 1906 года, боевик и террорист с большим стажем. Скорее всего, именно он был главой группы «охотников за Блюмкиным».

Николай Арабаджи. Этнический турок, бывший офицер русской армии, участник Первой мировой войны, левый эсер.

И, наконец, самый любопытный персонаж в этой истории. То ли подруга, то ли невеста Блюмкина Лидия Соркина (иногда ее неправильно называют Сорокиной).

Вдова поэта Надежда Мандельштам называла ее в своих воспоминаниях даже женой нашего главного героя: «Мне приходилось встречаться с Блюмкиным еще до моего знакомства с О. М. (Осипом Мандельштамом. — *Е. М.)*. Мы когда-то жили вместе с его женой в крохотной украинской деревушке, где среди кучки молодых художников и журналистов скрывалось несколько человек, преследуемых Петлюрой. После прихода красных жена Блюмкина неожиданно явилась ко мне и вручила охранную грамоту на квартиру и имущество на мое имя. „Что это вы?“ — удивилась я. „Надо охранять интеллигенцию“, — последовал ответ… Вот от этой женщины, спасавшей интеллигенцию такими наивными способами, и от ее друзей я наслышалась об убийце Мирбаха и несколько раз встречала его самого, мелькавшего, исчезавшего, конспиративного…»

В 1919 году Лидии Соркиной было 22 года. Она окончила с золотой медалью женскую гимназию в Ялте, получила квалификацию «домашней наставницы с правом преподавать русский язык и математику». В 1917 году вступила в партию эсеров, входила в руководство киевской партийной организации. Тогда же начала учиться в Киевском медицинском институте.

Как и где они познакомились с Блюмкиным — точно не известно. Вполне вероятно, что в Киеве, куда после событий 6 июля 1918 года из Москвы нелегально прибыл убийца Мирбаха. Если между ними действительно был роман (а скорее всего, был), то к лету 1919 года с романом уже было покончено. Для идейных революционеров-подпольщиков изменник общего дела, даже если он и был близким человеком, автоматически переставал существовать. И можно только догадываться, что пережила Лидия Соркина, если несколько раз участвовала в попытках убить своего бывшего друга-любовника.

В книге Алексея Велидова «Похождения террориста. Одиссея Якова Блюмкина» говорится: «Кстати сказать, судьба террористов, охотившихся за Блюмкиным, по некоторым, не подтвержденным до конца сведениям, сложилась плачевно. Сорокину (то есть Соркину. — *Е. М.)* и Арабадже (Арабаджи. — *Е. М.)* ликвидировали сами левые эсеры „как деникинских провокаторов“. Пашутинский в 20-х годах якобы осужден Харьковским ревтрибуналом за контрреволюционную деятельность».

На самом деле все было не совсем так.

По некоторым сведениям, Пашутинский, Арабаджи и Соркина в том же 1919 году пытались организовать в Одессе покушение на главнокомандующего Вооруженными силами Юга России генерала Деникина, но оно сорвалось.

Как отмечает историк Ярослав Леонтьев, в апреле 1922 года Пашутинский действительно был приговорен к расстрелу в Харькове — за контрреволюционную деятельность, связь с румынской контрразведкой и в том числе за покушения на Блюмкина. Ему же инкриминировалось и такое преступление, как выдача деникинской контрразведке конспиративных квартир и подпольных работников. Согласно газетному отчету в «Правде», после задержания контрразведкой в Одессе (во время подготовки покушения на Деникина?) Пашутинский «выступает от них в роли посредника при вымогательстве денег от одного из эсеров, арестованного по указанию Пашутинского, но отделавшегося от контрразведки посредством денежного выкупа».

Однако странно другое — Пашутинского не только не расстреляли, но и выпустили на свободу. Он долго работал на мелкой должности в системе кооперации в Средней Азии. По некоторым данным, он погиб уже во время репрессий конца 1930-х годов.

Что касается Арабаджи и Соркиной, то никакие эсеры их не ликвидировали. По данным того же Ярослава Леонтьева, Николай Арабаджи в 1920-х годах учился в Торгово-промышленном техникуме в Киеве, арестовывался ГПУ, но вскоре был освобожден. А Лидия Соркина в 1930-х годах жила в Москве. Что с ними произошло дальше — точно не установлено, но если их и «ликвидировали», то уж точно не левые эсеры.

Ну а что же Блюмкин? Оправившись после ранения, он переезжает в Москву. Там его ждали новые приключения.

«МОСКОВСКИЙ ОЗОРНОЙ ГУЛЯКА»

«Я ставлю себя еще под защиту революционно-социалистических партий». Суд и фронт

В Москве новые товарищи-«максималисты» предложили Блюмкину пройти через межпартийный товарищеский суд — чтобы очиститься от всяких нехороших подозрений. Такое не раз происходило в революционных кругах. Блюмкин согласился.

Суд продолжался две недели. Происходило это в отеле «Националь», который был переименован в «1-й Дом Советов». Председательствовал видный анархо-коммунист Аполлон Карелин, проживавший тут же. В среде революционеров всех направлений он считался человеком кристальной честности. В заваленном анархистской литературой двухкомнатном номере, где Карелин жил вместе с женой — он был членом ВЦИКа, «советского парламента», — и проводились заседания. Вторым членом суда был представитель левых эсеров-интернационалистов Дмитрий Магеровский, а третьим — делегат от так называемой «Партии революционного коммунизма» Георгий Максимов. Он-то и оставил небольшие воспоминания о суде.

Но сначала немного о самом Максимове. Он состоял в партии левых эсеров и 6 июля 1918 года был арестован в Большом театре вместе с партийной фракцией. Затем скрывался, потом снова перешел на легальное положение, стал одним из руководителей Партии революционного коммунизма (она была создана теми левыми эсерами, которые стремились к сотрудничеству с большевиками), был избран во ВЦИК.

Правда, вскоре Максимов опять не поладил с властями. Он выступал за создание оппозиционной партии, стоящей, однако, на платформе советской власти. За это арестовывался. В 1920-х годах отошел от политики, работал экономистом. В 1930-х снова арестовывался, потом оказался в ГУЛАГе всерьез и надолго. Вышел из лагерей только в 1954 году. Жил в Москве. Требовал политической реабилитации, но так ее и не добился. Занимался живописью. Умер в 1970-х годах.

Так вот, по словам Максимова, в межпартийный товарищеский суд были представлены документы как со стороны обвинения, так и Блюмкиным. Приглашались и свидетели. Разумеется, выслушали и самого подсудимого.

Блюмкин — в пересказе Максимова — утверждал, что пришел в ВЧК в Киеве затем, чтобы рассеять убеждение советского

правительства в том, что «убийство Мирбаха было началом выступления партии левых эсеров против Советской власти, что он еще перед убийством добивался от ЦК партии левых с.-р. заверения, что никакого выступления не будет, что если бы ЦК в этом его не заверил, он бы не участвовал в убийстве Мирбаха и что добился указа ВЦИК о своем амнистировании».

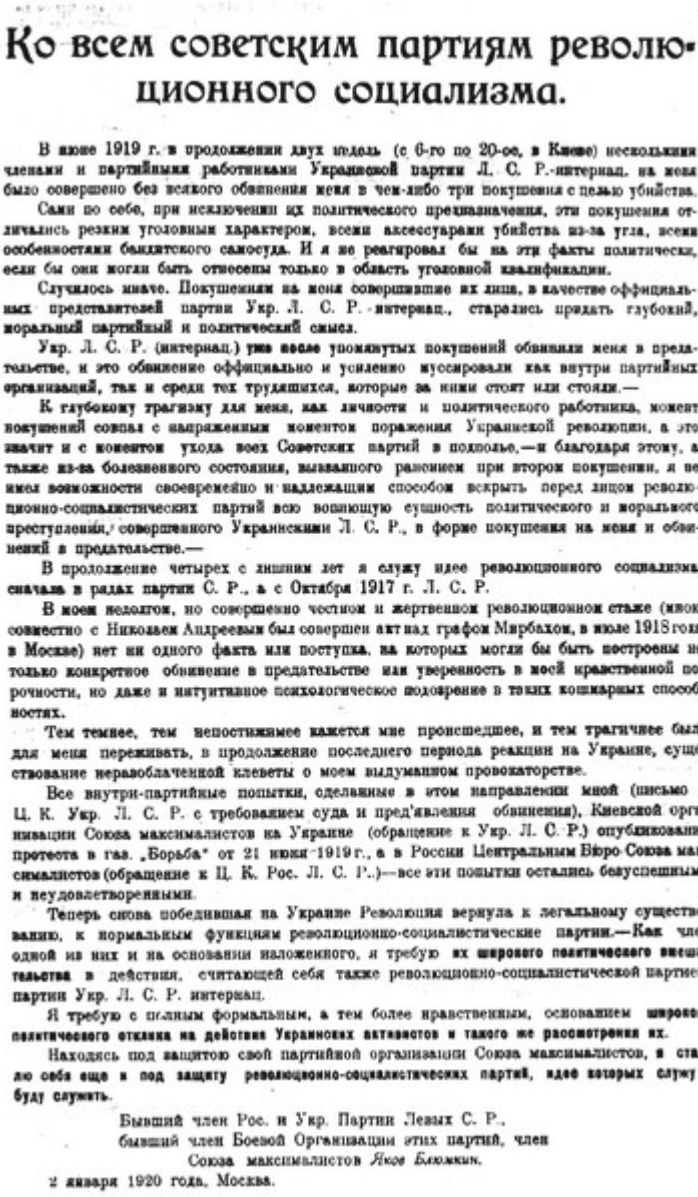
По мнению Максимова, высказанному в мемуарах, сам факт ходатайства одного из членов партии без санкции ЦК перед ВЧК о партии в целом «являлся нечистоплотным и недопустимым». Однако закончился суд, по сути, ничем. Однозначных доказательств того, что Блюмкин предал своих товарищей, представлено не было. А факты обвинения не давали суду права обвинить Блюмкина в предательстве. Но и сам Блюмкин показался судьям не очень-то убедительным.

Так что после разбирательства было вынесено такое определение: «Из всех просмотренных документов, представленных суду, и личных показаний свидетелей, Товарищеский Межпартийный Суд не установил, что Блюмкин не предатель». То есть понимай как хочешь.

Любопытно, что, несмотря на это двусмысленное решение суда, Союз эсеров-максималистов все же принял Блюмкина в свои ряды. Впрочем, сам он потом настаивал на том, что с него якобы сняли все обвинения, а ЦК левых эсеров принес ему свои извинения. По его утверждению, эту миссию выполнила сама Ирина Каховская.

Вместе с тем за свою жизнь Блюмкин опасался еще очень долго. А в январе 1920 года написал воззвание «Ко всем советским партиям революционного социализма»[24]. В воззвании он еще раз возвратился к киевским событиям:

«В июне 1919 г. в продолжение двух недель (с 6-го по 20-е, в Киеве) несколькими членами и партийными работниками Украинской партии Л. С. Р. интернац<ионалистов> на меня было совершено без всякого обвинения меня в чем-либо три покушения с целью убийства.



Ко всем советским партиям революционного социализма.

В июне 1919 г. в продолжении двух недель (с 6-го по 20-ое, в Киеве) несколькими членами и партийными работниками Украинской партии Л. С. Р.-интернац. на меня было совершено без всякого обвинения меня в чем-либо три покушения с целью убийства.

Сами по себе, при исключении их политического предназначения, эти покушения отличались резким уголовным характером, всеми аксессуарами убийства из-за угла, всеми особенностями бандитского самосуда. И я не реагировал бы на эти факты политически, если бы они могли быть отнесены только в область уголовной квалификации.

Случилось иначе. Покушениям на меня совершившие их лица, в качестве официальных представителей партии Укр. Л. С. Р.-интернац., старались придать глубокий, моральный партийный и политический смысл.

Укр. Л. С. Р. (интернац.) уже после упомянутых покушений обвинили меня в предательстве, и это обвинение официально и усиленно муссировали как внутри партийных организаций, так и среди тех трудящихся, которые за ними стоят или стояли.—

К глубокому трагизму для меня, как личности и политического работника, момент покушений совпал с напряженным моментом поражения Украинской революции, а это значит и с моментом ухода всех Советских партий в подполье,—и благодаря этому, а также из-за болезненного состояния, вызванного ранением при втором покушении, я не имел возможности своевременно и надлежащим способом вскрыть перед лицом революционно-социалистических партий всю вопиющую сущность политического и морального преступления, совершенного Украинскими Л. С. Р., в форме покушения на меня и обвинений в предательстве.—

В продолжение четырех с лишним лет я служу идее революционного социализма, сначала в рядах партии С. Р., а с Октября 1917 г. Л. С. Р.

В моем недолгом, но совершенно честном и жертвенном революционном стаже (кроме совместно с Николаем Андреевым был совершен акт над графом Мирбахом, в июле 1918 года в Москве) нет ни одного факта или поступка, на которых могли бы быть построены не только конкретное обвинение в предательстве или уверенность в моей нравственной порочности, но даже и интуитивное психологическое подозрение в таких кошмарных способностях.

Тем темнее, тем непостижимее кажется мне происшедшее, и тем трагичнее было для меня переживать, в продолжение последнего периода реакции на Украине, существование неразоблаченной клеветы о моем выдуманном провокаторстве.

Все внутри-партийные попытки, сделанные в этом направлении мной (письмо к Ц. К. Укр. Л. С. Р. с требованием суда и пред'явления обвинения), Киевской организации Союза максималистов на Украине (обращение к Укр. Л. С. Р.) опубликование протеста в газ. „Борьба" от 21 июня 1919 г., а в России Центральным Бюро Союза максималистов (обращение к Ц. К. Рос. Л. С. Р.)—все эти попытки остались безуспешными и неудовлетворенными.

Теперь снова победившая на Украине Революция вернула к легальному существованию, к нормальным функциям революционно-социалистические партии.—Как член одной из них и на основании изложенного, я требую их широкого политического вмешательства в действия, считающей себя также революционно-социалистической партией, партии Укр. Л. С. Р. интернац.

Я требую с полным формальным, а тем более нравственным, основанием широкого политического отклика на действия Украинских активистов и такого же рассмотрения их.

Находясь под защитой своей партийной организации Союза максималистов, я ставлю себя еще и под защиту революционно-социалистических партий, идее которых служу и буду служить.

Бывший член Рос. и Укр. Партии Левых С. Р.,
бывший член Боевой Организации этих партий, член
Союза максималистов *Яков Блюмкин.*

2 января 1920 года, Москва.

Воззвание Якова Блюмкина „Ко всем советским партиям революционного социализма", написанное после трех покушений на него со стороны украинских левых эсеров. 2 января 1920 г. РГАСПИ

Сами по себе, при исключении их политического предназначения, эти покушения отличались резким уголовным характером, всеми аксессуарами убийства из-за угла, всеми

особенностями бандитского самосуда. И я не реагировал бы на эти факты политически, если бы они могли быть отнесены только в область уголовной квалификации.

Случилось иначе. Покушениям на меня совершавшие их лица, в качестве официальных представителей партии Укр<аинских> Л. С. Р. интернац<ионалистов>, старались придать глубокий моральный, партийный и политический смысл.

Укр<аинские> Л. С. Р. (интернац<ионалисты>) *уже после* упомянутых покушений обвинили меня в предательстве, и это обвинение официально и усиленно муссировали как внутри партийных организаций, так и среди тех трудящихся, которые за ними стоят или стояли.

К глубокому трагизму для меня, как личности и политического работника, момент покушений совпал с напряженным моментом поражения Украинской революции, а это значит и с моментом ухода всех Советских партий в подполье, — и благодаря этому, я также из-за болезненного состояния, вызванного ранением при втором покушении, не имел возможности своевременно и надлежащим способом вскрыть перед лицом революционно-социалистических партий всю вопиющую сущность политического и морального преступления, совершенного Украинскими Л. С. Р, в форме покушений на меня и обвинений в предательстве.

В продолжение четырех с лишним лет я служу идее революционного социализма, сначала в рядах партии С. Р., а с Октября 1917 г. Л. С. Р.

В моем недолгом, но совершенно честном и жертвенном революционном стаже (мною совместно с Николаем Андреевым был совершен акт над графом Мирбахом в июле 1918 года в Москве) нет ни одного факта или поступка, на которых могли быть построены не только конкретное обвинение в предательстве или уверенность в моей нравственной порочности, но даже и интуитивное психологическое подозрение в таких кошмарных способностях.

Тем темнее, тем непостижимее кажется мне происшедшее, и тем трагичнее было для меня переживать, в продолжение последнего периода реакции на Украине, существование не разоблаченной клеветы о моем выдуманном провокаторстве.

Все внутрипартийные попытки, сделанные в этом направлении мной (письмо к Ц. К. Укр<аинских> Л. С. Р. с требованием суда и предъявлением обвинения), Киевской организации Союза максималистов на Украине (обращение к Укр<аинским> Л. С. Р.), опубликование протеста в газ<ете> „Борьба“ от 21 июня 1919 г., а в России Центральным Бюро Союза

максималистов (обращение к Ц. К. Рос<сийских> Л. С. Р.) — все эти попытки остались безуспешными и неудовлетворенными.

Теперь снова победившая на Украине Революция вернула к легальному существованию, к нормальным функциям революционно-социалистические партии. Как член одной из них и на основании изложенного я требую *их широкого политического вмешательства* в действия, считающей себя также революционно-социалистической партией, партии Укр<аинских> Л. С. Р. интернац<ионалистов>.

Я требую с полным формальным, а тем более нравственным, основанием *широкого политического отклика на действия Украинских активистов и такого же рассмотрения их.*

Находясь под защитою своей партийной организации Союза максималистов, *я ставлю себя еще под защиту революционно-социалистических партий, идее которых служу и буду служить.*

Бывший член Рос<сийской> и Укр<аинской> Партии Левых С. Р., бывший член Боевой Организации этих партий, член Союза максималистов Яков Блюмкин.

2 января 1920 года, Москва».

Все же история с извинениями левых эсеров перед Блюмкиным была, как видно, «несколько преувеличена».

* * *

В июле 1919 года Блюмкин поступил на службу в Красную армию. Сначала он попал в Политуправление РККА. Там познакомился с сестрой Троцкого и женой председателя Моссовета Льва Каменева — Ольгой Каменевой. Вместе с ней он совершал инспекционную поездку по Поволжью и подарил ей свою фотографию с надписью: «Ольге Давидовне, глубокоуважаемому товарищу, „неистовому Виссариону“ Советской власти на память о нашей инспекционной эпопее от опального „мятежника“».

Ольга Давидовна заведовала театральным отделом Наркомпроса («Тео») и действительно с неистовством Белинского старалась его «революционизировать и большевизировать». Ядовитый Владислав Ходасевич описывал ее как «существо безличное, не то зубной врач, не то акушерка. Быть может, в юности она игрывала в любительских спектаклях. Заведовать Тео она вздумала от нечего делать и ради престижа».

В «Тео» работали такие поэты и писатели, как Бальмонт, Брюсов, Балтрушайтис, Вяч. Иванов, Пастернак и сам Ходасевич, который утверждал, что они делали это, чтобы «не числиться

нетрудовым элементом».

«Мы старались протащить классический репертуар: Шекспира, Гоголя, Мольера, Островского, — вспоминал Ходасевич. — Коммунисты старались заменить его революционным, которого не существовало. Иногда приезжали какие-то „делегаты с мест“ и, к стыду Каменевой, заявляли, что пролетариат не хочет смотреть ни Шекспира, ни революцию, а требует водевилей: „Теща в дом — все вверх дном“, „Денщик подвел“ и тому подобного… Бывали рукописи с рекомендацией Ленина, Луначарского… Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись».

«Большевизация» театра не нравилась и наркому просвещения Луначарскому. В 1920 году с согласия Ленина он уволил Каменеву. Она занималась связями с заграницей, борьбой с голодом, а после падения Троцкого и Каменева была выслана из Москвы и в 1930-е годы арестована. Были арестованы и расстреляны оба ее сына. Саму же Ольгу Каменеву расстреляли 11 сентября 1941 года в Медведевском лесу под Орлом. В тот же день и там же расстреляли Марию Спиридонову и еще полторы сотни политических заключенных Орловского централа.

Но если бы кто-нибудь в 1919 году предсказал Блюмкину или Каменевой то, что их ожидает в будущем, они вряд ли поверили бы. Тогда Ольга Давидовна считалась очень влиятельным человеком — особенно учитывая ее родственные связи. Для Блюмкина это было весьма полезное знакомство, которое, вероятно, сыграло свою роль в его дальнейшей судьбе.

Вскоре Блюмкин попал на Южный фронт. «В сентябре или октябре < 19> 19 г. по личному желанию я был мобилизован и послан на фронт ЦБ Союза максималистов», — писал он. Там его использовали уже по прямому назначению — как бывшего чекиста и террориста одновременно. В Реввоенсовете фронта с ним провел беседу Сталин. И опять-таки — знал бы Блюмкин, что ровно через десять лет именно этот человек утвердит его смертный приговор.

«Рев<олюционным Военным> С<оветом> Южфронта — тов. Серебряковым и Сталиным я был откомандирован в 13 армию, — вспоминал Блюмкин. — Здесь Политотдел в порядке армейской дисциплины направил меня для работы в Особый отдел, где меня назначили уполномоченным по борьбе со шпионажем. Работа эта имела две сферы: одну в пределах самой армии, другую — в отношении неприятеля. Так как работа в тылу велась еще и разведот<делом> армии, то для централизации и соединения этой работы я был приглашен в качестве

формального сотрудника агентурной военной разведки, фактически в качестве инструктора входившей <в> функции разведота боевой работы в тылу… Тогдашний политический момент был таков, что применение актов индивидуального террора к главарям Деникинской контрреволюции считалось крайне целесообразным даже коммунистическими руководителями разведота и Особого отд<ела> 13 армии».

Одной из инициатив Блюмкина стала заброска в тыл белых диверсионной группы из террористов-«максималистов» — с целью убийства главнокомандующего Вооруженными силами Юга России генерала Деникина. Но операция сорвалась. Как утверждал Блюмкин, руководитель группы и ее участники «предъявили такие материальные и технические требования, которые не только были крайне чрезмерны, но еще казались и подозрительными». Поэтому всякие переговоры с террористами-«максималистами» прекратились.

Но вот что интересно. Слухи о том, что красные могут использовать Блюмкина в зафронтовой нелегальной работе, вероятно, доходили до белых. Косвенным подтверждением этого служит история Александра Рекиса — сначала одесского подпольщика, затем — в короткий период советской власти в Одессе в 1919 году — члена коллегии губотдела юстиции. После возвращения белых в город в августе 1919-го он снова оказался в подполье и вскоре был арестован. Рекиса обвинили в том, что он не кто иной, как сам Яков Блюмкин, нелегально прибывший в Одессу по заданию ВЧК.

Почему его приняли за «бесстрашного террориста» — сказать трудно. Возможно, они были похожи, и кто-то из видевших Блюмкина в Одессе принял Рекиса за него. Но это и свидетельство того, что белые тоже прекрасно знали, кто такой Яков Блюмкин, поэтому так оперативно отреагировали на сигнал.

Александру Рекису удалось освободиться из контрразведки за крупную взятку. Позже, после прихода красных, он стал секретарем Одесского горсовета.

А настоящий Блюмкин весной 1920 года был опять отозван в Москву.

«Блюмкин держался в кафе хозяйчиком…» «Кафейный период»

В 1919 году, когда Блюмкина амнистировали, он поселился в Москве во 2-м Доме Советов, как был назван «Метрополь». Занимал небольшую комнату. По соседству находилась комната советского наркома иностранных дел Георгия Чичерина. Только в то время это было возможно. Да и не только это. Поэт Анатолий Мариенгоф вспоминал: шел он как-то по Александровскому саду, а навстречу известный журналист Михаил Кольцов. Прямо из Кремля, от Ленина. «Безобразие! — говорит Кольцов с нежностью в голосе. — Взяли Старика в халтуру. Прихожу, а он примус накачивает, чтобы суп себе подогреть». Ленину тогда было 48 лет, и в партии за глаза его называли «Стариком».

«Только в моем веке председатель Совета Народных Комиссаров и вождь мировой революции накачивал примус, чтобы подогреть суп, — с гордостью писал Мариенгоф. — Интересный был век! Молодой, горячий, буйный и философский». Трудно с ним не согласиться.

Впрочем, не только интересный, но и жуткий. Многие москвичи, пережившие осень — зиму 1919–1920 годов, потом вспоминали об этих днях как о самом тяжелом времени своей жизни.

Обычная картина еще недавно «купеческой» Москвы с ее калачами, бубликами и самоварами: горожане понуро бредут по неочищенным от снега улицам и тянут за собой самодельные санки. На них — кочаны мороженой капусты, мешок картошки, бидон с маслом или керосином. К груди граждане — так они теперь называются — прижимают пакет с селедкой, черным мокрым хлебом и мешочком муки или пшена. Стараются держать все эти сокровища покрепче — не ровен час, выскочит из переулка какой-нибудь ухарь, вырвет из рук пакет с едой, а гражданина в лучшем случае толкнет носом в снег. А то еще и «перо» в бок засадит…

Москва заполнилась попрошайками. В Третьяковском проезде, например, сидел богатырского сложения, с пышной седой бородой древний старик в полушубке, на шее висела дощечка, где крупными черными буквами было выведено: «Герой Севастопольской обороны». В Газетном переулке в дерюге и черных очках стоял скелетообразный человек с белой лентой на груди. «Я — слепой поэт», — гласила надпись. Беспризорники на улицах выводили жалостливыми голосами:

Позабыт, позаброшен.
С молодых юных лет
Я остался сиротою,
Счастья-доли мне нет!

Советский художник Леонид Хорошкевич, которому в 1919 году было 17 лет, вспоминал:

«Чувство голода мучило и казалось унижающим. По утрам полулитровая кружка кофе на сахарине и без молока и лепешки из кофейной гущи уделялись мне на завтрак. Все мы находились в одной комнате, в нашей бывшей гостиной. Холод заставил нашу семью запереть одну за другой все комнаты, и мы остались в одной, где дымила наскоро сложенная печка и ржавые капли падали из отпотевших грязных труб, пересекавших всю комнату по диагонали…

Грузовики, наполненные доверху голыми трупами умерших от тифа. Их провозили по Москве, слегка прикрыв рогожами. На Семеновском кладбище их сбрасывали в общие ямы, а мы, в нескольких метрах от них, тогда еще школьники, набивали мешки капустой — продовольственная база и мы находились рядом.

Диктатура пролетариата, разруха, дезертирство, голод, спекуляция, беспризорность, таковы были новые слова и понятия, грубо входившие в сознание через быт, декреты и плакаты. Я становился очевидцем огромных событий России, и это огромное будущее казалось непонятно, страшно и мерзостно».

Но, конечно, не все представители русской молодой интеллигенции думали тогда так, как Хорошкевич. Была в Москве и другая жизнь. И в этой жизни молодой «революционер и террорист» Блюмкин снова, как и год назад, оказался как рыба в воде.

* * *

По-прежнему, как и в 1918 году, вечерами в московских литературных кафе шумели молодые поэты. Даже громче, чем раньше. Это было время настоящего расцвета «кафейного» периода русской поэзии. Многие из тех «литературных забегаловок», в которые мы уже заглядывали, не дожили до этого времени — как, например, футуристическое «Кафе поэтов», где «футурист жизни» Владимир Гольцшмидт ломал о свою голову доски, — но в измученном и голодном городе работали другие

заведения: «Домино», «Красный петух», клуб Союза поэтов, «Стойло Пегаса».

«В Москве поэты, художники, режиссеры и критики дрались за свою веру в искусство с фанатизмом первых крестоносцев», — вспоминал Анатолий Мариенгоф. Диспуты плавно переходили в скандалы, а бывало, и в потасовки.

В сентябре 1919 года была образована Ассоциация вольнодумцев. В нее вошли Есенин, Мариенгоф, Шершеневич, Рюрик Ивнев и другие поэты-имажинисты. Первый пункт устава общества гласил: «Ассоциация Вольнодумцев есть культурно-просветительное учреждение, ставящее себе целью духовное и экономическое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе мировой революции. Свою цель Ассоциация Вольнодумцев полагает в пропаганде и самом широком распространении творческих идей революционной мысли и революционного искусства человечества путем устного и печатного слова».

На всякий случай устав отправили на утверждение наркому просвещения РСФСР Анатолию Луначарскому. Естественно, что не утвердить документ, который провозглашал столь высокие задачи, Анатолий Васильевич не мог. О чем и наложил соответствующую резолюцию: «Подобные общества в Советской России в утверждениях не нуждаются. Во всяком случае, целям Ассоциации я сочувствую и отдельную печать разрешаю иметь».

Пройдет немного времени, и Луначарский поссорится с имажинистами. Уже в 1921 году он напишет, что «среди имажинистов есть талантливые люди, но которые как бы нарочно стараются опаскудить свои таланты». Имажинисты обиделись и публично предложили Луначарскому: 1) как критику вступить с ними в дискуссию; 2) как наркому «выслать их за пределы Советской России, если их деятельность вредна для государства». Луначарский ответил, что как критик он отказывается от дискуссии, потому что ее «имажинисты обратят еще в одну неприличную рекламу для своей группы», а как нарком он вовсе не собирается высылать не нравящихся ему лично поэтов. Пусть, писал Луначарский, сами читатели разберутся «в той огромной примеси клоунского крика и шарлатанства, которая губит имажинизм… и от которой, вероятно, вскоре отделаются действительно талантливые члены „банды“».

Воистину — либеральные были времена в 1921 году! Хотя и «философские пароходы» уплывали из страны в то же самое время, а точнее, в 1922-м.

Что еще удивительно: в годы Гражданской войны и военного коммунизма, когда, казалось бы, каждый индивидуальный

предприниматель должен был автоматически приравниваться к «буржую» с соответствующими последствиями (а нэп провозгласят только весной 1921-го), поэты-«вольнодумцы» развили бурную коммерческую деятельность. Они создали издательство, две книжные лавки, журнал и, по некоторым данным, перекупили синематограф «Лилипут».

Но самым главным коммерческим предприятием имажинистов было кафе «Стойло Пегаса». Оно приносило очень неплохой доход. Впрочем, неправильно говорить только о коммерческой ценности этого заведения. Тогда это было, как сейчас сказали бы, «культовое место» Москвы.

Прежде чем рассказать об атмосфере, которая царила в «Стойле Пегаса», надо, наверное, уточнить, какое все это имеет отношение к нашему герою. Да самое прямое. Во-первых, большинство имажинистов к этому времени были его хорошими знакомыми или даже друзьями. Во-вторых, среди «отцов-учредителей» Ассоциации вольнодумцев, подписавших ее устав, мы находим и такую подпись: «Як. Блюмкин». И, наконец, в-третьих, сам Блюмкин тоже часто появлялся в литературных кафе, а в «Стойле Пегаса» даже выступал в роли конферансье — проводил поэтические вечера.

Итак, «Стойло Пегаса». Кафе находилось по адресу: Тверская улица, дом 37. Над его входом висела полированная фанера с парящим в облаках Пегасом и названием, как бы летящим за ним. Стены были выкрашены в ультрамариновый цвет. На них яркими желтыми красками известный художник-имажинист Георгий (Жорж) Якулов написал портреты самих поэтов. А под портретами были выведены строки из их стихотворений. Подпись под портретом Есенина, к примеру, гласила:

> Срежет мудрый садовник-осень
> Головы моей желтый лист.

Судя по воспоминаниям современников, публика в кафе собиралась разная — от восторженной литературной молодежи до спекулянтов и других полукриминальных персонажей, готовых «тряхнуть бумажниками» перед своими дамами. Имажинист и один из основателей Ассоциации вольнодумцев Иван Старцев так описывал обстановку в кафе: «Двоящийся в зеркалах свет, нагроможденные из-за тесноты помещения чуть ли не друг на друге столики. Румынский оркестр. Эстрада. По стенам роспись художника Якулова и стихотворные лозунги имажинистов. С одной из стен бросались в глаза золотые завитки волос и неестественно искаженное левыми уклонами живописца лицо

Есенина в надписях: „Плюйся, ветер, охапками листьев“».

В литературные круги Блюмкина ввели его старые друзья-знакомые, которых он знал еще с 1918 года — Есенин, Шершеневич, Мариенгоф, Александр (Сандро) Кусиков, автор слов романса «Слышен звон бубенцов издалека…». Все они тогда были молоды. Есенину — 25 лет, Шершеневичу — 27, Мариенгофу — 23, ну а Блюмкину — вообще 20.

Регулярно появляться в писательских кафе он начал уже в мае 1919 года, после того, как был амнистирован. Время от времени он исчезал — по делам службы, — но потом снова возникал среди литераторов. Блюмкин наверняка хотел, чтобы и его портрет красовался на ультрамариновых стенах в «Стойле Пегаса». Ведь он тоже, как уже говорилось, пробовал писать стихи, и вообще его тянуло к литературе и писателям. Встречается, правда, версия, что в кафе он сидел чуть ли не по заданию ЧК, чтобы приглядывать за молодыми и горячими друзьями-поэтами. Не исключено и это. Но искренняя страсть Блюмкина к поэзии, его преклонение перед талантами друзей — факт, можно сказать, медицинский. Он подтверждается множеством воспоминаний.

А вот друзья его как литератора явно не ценили. Да и каких-либо выдающихся стихотворных или прозаических произведений Блюмкина до нас не дошло. Мариенгоф написал об их дружбе весьма ехидно и не без самоуверенности: «Блюмкин был лириком, любил стишки, любил свою и чужую славу. Как же не прилепиться к нам, состоявшим у нее в избранниках? И он прилепился, ласково, заискивающе». Правда, возникает другой вопрос: а зачем такой человек нужен был тем, кто тогда состоял в «избранниках славы»? Но об этом позже.

Пока что отметим: Блюмкин действительно проводил много времени в окружении поэтов. И — удивительное дело! — множество крупных литераторов и других деятелей искусства, не считая, конечно, его близких друзей-имажинистов, упоминают Блюмкина в своих мемуарах.

Борис Пастернак об одном из вечеров в кафе «Домино»: «К нам вскоре подсела „знаменитость“ — убийца посла Вильгельма П графа Мирбаха левый эсер Блюмкин, бородатый брюнет плотного телосложения».

Вадим Шершеневич: «Блюмкин был очень хвастлив, так же труслив, но, в общем, милый парень, который в свои двадцать два года казался сорокалетним».

Имажинист Матвей Ройзман, будущий автор мемуаров о Есенине и популярного советского детектива «Дело № 306»: «Яков Блюмкин сразу привлекал внимание: среднего роста,

широкоплечий, смуглолицый, с черной ассирийской бородой. Он носил коричневый костюм, белую рубашку с галстуком и ярко-рыжие штиблеты».

Писатель Борис Лавренев о вечере в кафе, который вел Блюмкин: «Развязный и крикливый, отрастивший бородку „под Троцкого“, Блюмкин держался в кафе хозяйчиком и командовал парадом».

Художник-карикатурист Борис Ефимов: «Я не раз потом встречал Блюмкина в редакциях, в творческих клубах, в обществе журналистов, писателей, и повсюду он любил находиться в центре внимания, всячески давая понять, что он личность — историческая, разглагольствуя о былях и небылицах своей биографии. Помню, в какой-то компании Блюмкин патетически рассказывал, как схваченный белогвардейцами и поставленный ими „к стенке“, он, в ожидании расстрела, гордо запел „Интернационал“. „Что же было дальше?“ — с интересом спросил писатель Лев Никулин. „Меня спасли прискакавшие в этот момент буденновцы“, — не задумываясь, ответил Блюмкин. В таком стиле Блюмкин рассказывал о себе, где бы ни появлялся».

Писатель Виктор Ардов: «Это был некрасивый еврей, похожий на иллюстрации к Шолом-Алейхему, да еще с заячьей губой».

Анатолий Мариенгоф: «Он был большой, жирномордый, черный, кудлатый с очень толстыми губами, всегда мокрыми. И обожал — надо не надо — целоваться. Этими-то мокрыми губами!»

Что и говорить — не очень приятный портрет «романтика революции» рисуют мастера литературного цеха. Лишь писатель и коминтерновец Виктор Серж (Кибальчич) выглядит на этом фоне исключением: «Его невероятно худое, мужественное лицо обрамляла густая черная борода, темные глаза были тверды и непоколебимы».

Но поведение «бесстрашного террориста», судя по свидетельствам его друзей, часто вызывало сомнения в его героизме и непоколебимости.

«Он озирался и пугливо сторожил уши». Страх и совесть

Почти все, кто знал Блюмкина в это время и кто оставил воспоминания о нем, отмечают две черты его характера — он был большой хвастун и большой трус. Даже казалось странным, что этот же человек совершил теракт, участвовал в подпольной борьбе и был на войне.

«Всем нам было известно, что в деле убийства Мирбаха он играл трудную, но не очень почетную роль главного паникера, — отмечал Шершеневич. — После выстрела он бежал впереди всех. На допросах он всячески выгораживал себя. Тем не менее он кой-каким уважением и почетом пользовался и иногда помогал нам».

Оценка хоть и субъективная, но нельзя сказать, что совсем уж несправедливая. В 1919–1922 годах, когда Блюмкин преимущественно находился в Москве, черты «паникерства» в его поведении бросались в глаза. Блюмкин боялся многого и многих. Например, немецких агентов.

«Он всегда был убежден, что кто-то собирается его убить, — вспоминал тот же Шершеневич. — В каждом посетителе он видел шпиона, приехавшего из Москвы специально за ним. Он почти серьезно уверял, что германское правительство обещало десятки тысяч марок за его голову.

Кусиков язвил, что он бы не дал. Блюмкин шуток не понимал. Он обожал роль жертвы».

Боялся Блюмкин и своих коллег-чекистов. Хотя он и покаялся перед новой властью, ему в любой момент могли припомнить его старые дела. Так, собственно, и произошло, только гораздо позже.

Но больше всего он боялся своих бывших товарищей по партии левых эсеров. Часть из них по-прежнему считала Блюмкина предателем и отступником. С соответствующими выводами. А какими могут быть эти выводы — Блюмкин хорошо знал еще по Киеву.

* * *

После событий 6 июля партия левых эсеров пережила ряд расколов. Часть из них решила сотрудничать с большевиками. Еще в сентябре 1918 года образовались Партия революционного коммунизма и Партия народников-коммунистов. Многие из их членов потом вступили в РКП(б).

Приговоренная к году тюрьмы, но амнистированная «за заслуги перед революцией», Мария Спиридонова в декабре 1918 года председательствовала на разрешенном большевиками съезде партии левых эсеров. Она выступила с решительным осуждением террора ЧК. 10 февраля 1919 года Спиридонова, как и 210 других участников съезда, была арестована и приговорена революционным трибуналом к «помещению в санаторий ввиду своего истерического состояния». Дзержинский указывал начальнику секретного отдела ВЧК Самсонову: Спиридонову нужно поместить в «психический дом, но с тем условием, чтобы оттуда ее не украли и она не сбежала… Санатория должна быть такая, чтобы из нее было трудно сбежать и по техническим условиям». Впрочем, из «санатории», а точнее говоря, из Кремлевской больницы она как раз и сбежала.

Спиридонова перешла на нелегальное положение. Потом снова была арестована, снова отпущена на поруки. Жила под надзором ЧК. Пыталась бежать за границу. Получила три года ссылки. Болела и жила почти что в нищете. В 1931 году снова получила три года ссылки — потом этот срок продлили до пяти лет. К тому времени она уже не занималась политикой. В 1937-м была арестована и приговорена к двадцати пяти годам тюремного заключения. Сидела в Орловском централе. Как уже говорилось, в сентябре 1941 года ее расстреляли в Медведевском лесу под Орлом. В одном из своих писем в ЦК РКП(б) она писала: «Только убийством вы можете меня изъять из революции». Своим идеалам она оставалась верна до конца.

Когда в мае 1919 года Блюмкин давал показания Следственной комиссии и его освобождали от ответственности за убийство Мирбаха, многие из его недавних левоэсеровских партийных товарищей боролись с большевиками в подполье. Иллюзий в отношении новой власти — власти РКП (б) — у них больше не было.

Некоторые из левых эсеров решили перейти к террору против коммунобольшевиков. Весной 1919 года был образован Всероссийский повстанческий комитет революционных партизан. В него вошли представители левых эсеров, эсеров-максималистов, так называемых «анархистов подполья» и других левых радикалов, которые встали на путь борьбы с «комиссародержавием». Одним из руководителей Повстанческого комитета стал уже знакомый нам Донат Черепанов по кличке «Черепок» — бывший член ЦК партии левых эсеров и активный участник событий 6 июля 1918 года. Как мы помним, это именно он, согласно показаниям Дзержинского, сказал ему при аресте в особняке в штабе отряда Попова: «У вас были октябрьские дни, у

нас — июльские…» Так же, как и Блюмкин, Черепанов после июльских боев в Москве перешел на нелегальное положение, но раскаиваться и идти с повинной к большевикам вовсе не собирался.

«Партизаны» провели несколько «эксов» (то есть экспроприаций) в Москве и на патронном заводе в Туле, захватив немалые средства. На них они закупали динамит, револьверы, организовали типографию в подмосковном Краскове, выпускали листовки. Но самой громкой их акцией стал взрыв в здании Московского комитета РКП(б) 25 сентября 1919 года. Тогда погибли 12 и были ранены 55 человек (в том числе и Николай Бухарин).

«Подготовка этого взрыва, выработка плана и руководство им до самого последнего момента были возложены на меня, — рассказывал Черепанов на допросе в ЧК. — В самом же метании бомбы я, по постановлению штаба, участия не принимал. Не будь этого постановления, я бы охотно принял на себя метание бомбы. До того как остановиться на террористическом акте, этот вопрос дебатировался долго у нас в штабе. Высказывалось несколько мнений по этому поводу. Предлагалось бросить бомбу в Чрезвычайную комиссию, но это предложение было отклонено по следующим соображениям: чрезвычайка и сам гражданин Феликс Эдмундович Дзержинский являются только орудием, слугами партии и, следовательно, во всей политике ответственными являются не чрезвычайки, а партия.

Собрание 25 сентября главных ответственных партийных работников в Московском комитете как нельзя лучше могло быть рассматриваемо главнейшим виновником, тем более что на этом собрании предполагалось присутствие гражданина Ленина».

По иронии судьбы МК РКП(б) занимал теперь то самое здание в Леонтьевском переулке, где до 6 июля 1918 года находился ЦК партии левых эсеров. Так что Черепанов знал его хорошо. Он же показал окно, в которое нужно бросить бомбу, — тогда она попала бы прямо в президиум, где должны были сидеть руководители большевиков. Анархист Петр Соболев так и поступил, но именно в этот день президиум почему-то разместился в другом конце зала. Если бы не эта случайность, то, скорее всего, погибли бы и Бухарин, и другие большевистские вожди. С этой точки зрения теракт не достиг цели — погибли в основном рядовые партийные активисты, за исключением секретаря Московского комитета компартии Владимира Загорского.

Большинство организаторов и исполнителей акции вскоре были уничтожены и арестованы (потом расстреляны). В феврале

1920 года попался и Черепанов. Он ни в чем не раскаивался. «Конечно, нужно только сожалеть о том, что жертвами взрыва были не видные партийные работники, и никто из более крупных не пострадал», — говорил Черепанов на допросе, который проводил лично Дзержинский. На замечание, что при взрыве пострадало много незначительных работников, он возразил, что «ваша чрезвычайка в этом отношении не лучше».

«Об одном я сожалею: при аресте меня схватили сзади, и я не успел пристрелить ваших агентов», — добавил Черепанов. В конце допроса он бросил Дзержинскому в лицо: «То, что сейчас творится, сплошная робеспьериада!» Данные о его дальнейшей судьбе противоречивы — то ли его расстреляли, то ли он был отправлен в ссылку и там погиб.

На допросе Дзержинский спросил Черепанова, что он думает о тех левых эсерах, которые встали на путь сотрудничества с большевиками. «Я на них смотрю, как на предателей и подлецов», — ответил тот. Это безусловно, с его точки зрения, относилось и к Блюмкину.

* * *

Слухи об угрозе жизни «бесстрашному террористу» постоянно ходили в компании, с которой он проводил свободное время. Анатолий Мариенгоф пишет об этом, не скрывая едкого сарказма: «Левоэсеровское ЦК вынесло решение: „Казнить предателя“. Опять для Блюмкина запахло смертью. А он — как мы уже знаем — не очень-то любил этот запах. Впрочем, как и большинство жалких смертных. И вот Блюмкин сделал из нас свою охрану. Не будут же левоэсеровские террористы ради „гнусного предателя“ (как именовали они теперь своего проштрафившегося „героя“) приканчивать бомбочкой двух молодых стихотворцев».

Сцена сопровождения поэтами друга Яши из кафе домой — если Анатолий Мариенгоф в мемуарах ничего не присочинил — достойна того, чтобы привести ее описание полностью. Итак, каждый вечер перед закрытием кафе Блюмкин «умоляюще говорил»:

«— Толя, Сережа, друзья мои, проводите меня.

Свеженький член ВКП(б), то есть Блюмкин, жил тогда в „Метрополе“, называвшемся 2-м Домом Советов. Мы почти каждую ночь его провожали, более или менее рискуя своими шкурами. Ведь среди пылких бомбошвырятелей мог найтись и такой энтузиаст этого дела, которому было бы в высшей степени наплевать на всех подопечных российского Аполлона. Слева

обычно шел я, справа — Есенин, посередке — Блюмкин, крепко-прекрепко державший нас под руки».

Был и такой эпизод. Однажды вечером Блюмкин возвращался домой из кафе. На этот раз его провожал Кусиков. Навстречу им шли какие-то темные фигуры. Блюмкин выхватил револьвер, схватил за руку Кусикова и бросился бежать. Раздались крики: «Стой!»

Блюмкин отпустил Кусикова, а сам быстро скрылся в темноте. Вслед ему загремели выстрелы. Однако вскоре их обоих задержали — оказалось, что они встретили патруль ЧК.

«Через секунду, — сообщает в своих воспоминаниях Вадим Шершеневич, — в темноте его (Кусикова. — *Е. М.)* подвели к дрожащему осиновой дрожью Блюмкину. Револьвер Блюмкина остался незаряженным… Стуча поломанными в немецком плену зубами, Блюмкин просил его не убивать».

Блюмкина и Кусикова доставили на Лубянку, но быстро отпустили — документы у них были в порядке, а Блюмкина там хорошо знали. Их даже подвезли в автомобиле домой. Блюмкин говорил: «Как хорошо, что я не стал отстреливаться! Стреляю я очень метко, мог бы кого-нибудь из вас убить!» О том, что он не попал в графа Мирбаха с расстояния в несколько шагов, Блюмкин предпочитал не вспоминать.

Потом в кафе Блюмкин в красках рассказывал о ночном приключении и показывал шляпу, пробитую пулями в двух местах.

О том, что Блюмкин все время чего-то боялся, вспоминал и Вадим Шершеневич: «Он озирался и пугливо сторожил уши на каждый шум. Если кто-нибудь сзади резко вставал, человек немедленно вскакивал и опускал руку в карман, где топорщился наган. Успокаивался, только сев в свой угол».

Чувство страха, которое испытывал Блюмкин, можно понять. Все-таки он пережил три покушения. Тем более что получить пулю от своих бывших товарищей на темной улице — это совсем не то, что погибнуть на фронте, в застенках врага или за линией фронта, при выполнении важного задания Революции.

К тому же кроме страха Блюмкина, видимо, долго терзали и другие чувства. Все-таки он скрылся с места теракта после убийства Мирбаха, что противоречило кодексу чести революционера-террориста. В начале 1921 года он встретился с Ильей Эренбургом, который собирался ехать в Париж. У них, по словам Эренбурга, состоялся «диковинный разговор». Блюмкин спросил, увидит ли он в Париже Бориса Савинкова. В то время знаменитый эсеровский террорист был, как тогда говорили, «злейшим врагом советской власти» и участвовал в вооруженной

борьбе против Советской России.

Эренбург ответил отрицательно. Тогда Блюмкин сказал: «Может быть, вы его все-таки случайно встретите, спросите, как он смотрит на уход с акта…» И объяснил: его интересует, должен ли террорист, убивший политического врага, попытаться скрыться или предпочтительно заплатить за убийство своей кровью. «Бесспорно, — заключает Эренбург, — встретив Савинкова, он его убил бы как врага; вместе с тем он его уважал как террориста с большим стажем. Для таких людей террор был не оружием политической борьбы, а миром, в котором они жили».

Пройдет всего три года, и в 1924-м Савинков попадет в сети чекистской операции «Синдикат-2». Его заманят в СССР — якобы на встречу с антисоветским подпольем — и арестуют. На суде он раскается, признает советскую власть и будет приговорен к расстрелу, который заменили на десять лет заключения. 7 мая 1925 года Савинков — по версии чекистов — выбросился из окна здания ОГПУ на Лубянке и погиб. По другой версии, его выбросили в окно сами чекисты.

Но тогда, в начале 1921-го, Савинков был еще жив, непримирим и очень интересовал Блюмкина. Сам Яков Григорьевич не раз выступал в Москве с рассказами и воспоминаниями о том, как он убивал графа Мирбаха. И каждый раз вынужден был как бы косвенно оправдываться за свое поведение после теракта. Вероятно, образы эсеров, которые поступали по-другому и заплатили за свои убеждения жизнью, тревожили его душу. Как, например, Борис Донской, о котором он написал статью.

До нашего времени сохранились некоторые статьи Блюмкина о своих коллегах-боевиках. В них он пытается «теоретизировать» по вопросу терроризма. В уже упомянутой статье «Об акте Бориса Донского» он пишет:

«…когда революция разгромлена, когда трудящиеся покорены и неспособны к массовым выступлениям, когда торжествует реакция — в борьбу с господствующими силами вступает протестующая личность. Она берет на себя инициативу действовать и бороться от имени подавленного народа.

Это незыблемый принцип, вечный фактор революционного процесса».

Еще более любопытна статья Блюмкина «От выстрела к выстрелу». В ней он рассуждает об «эпохе русского террора» — от выстрела Веры Засулич 24 января 1878 года в петербургского градоначальника Трепова до выстрела Фанни Каплан в Ленина и пытается проанализировать, как менялся все это время психотип эсера-террориста.

«Боевая организация предъявляла своим агентам очень ограниченные требования, лишь психологического порядка — большее из них — способность, в условиях определенной этической обрядности, умереть. — писал Блюмкин. — <…> Это способствовало заполнению террористических конур самыми разнообразными людьми. Здесь можно было встретить любителей сильных ощущений, авантюристов от крови и конспиративных постановок — Савинкова, романтиков с примесью мистицизма — Каляева[25], гуманистических аскетов и сподвижников — Сазонова[26], истерическую экзальтированную интеллигенцию из „Хождения по мукам“ — Ал. Толстого, охотников пострадать, красиво кончить. Наша массовая эпоха застала эти старые персонажи особенностей русского революционного движения во всеоружии их навыков».

К какому из этих типов относился он сам, Блюмкин не указывает. Его интересует Фанни Каплан, которую он выводит в статье этаким антиподом самого себя. И если террористка, покушавшаяся на Ленина, была «не в состоянии понять новую стадию революции» и осталась «отталкивающим образом мелкой трагедии и великого преступления», то другие были «счастливее». «По воле условий они наблюдали революции больше, события и их великие откровения излечили их от старой искалеченности», — пишет Блюмкин. То есть, надо полагать, и его тоже.

* * *

Несмотря на то что Блюмкин «перешел в новую веру», то есть вступил в компартию (о чем речь ниже), он, как уже говорилось, и не думал забывать главное событие своей жизни — убийство Мирбаха. Наоборот, при каждом удобном случае рассказывал о нем. Художник Борис Ефимов вспоминал: «Яша потом очень этим гордился, с кем ни познакомится, первое, что говорит — „Я убил Мирбаха!“ Большой был фанатик».

С точки зрения большевиков это был весьма сомнительный поступок, но Блюмкину пока никто не мешал хвастаться своим «подвигом». В начале 1921 года он даже вступил в Историческую секцию Дома печати. Ее члены выступали с различными докладами и сообщениями. Их хотели напечатать отдельным сборником, но из этой затеи почему-то ничего не вышло. Может быть, потому, что в секции состояли бывшие эсеры, анархисты, меньшевики, хотя были авторитетные марксисты или даже такие легендарные персонажи, как Вера Фигнер или участник

Парижской коммуны анархист Михаил Сажин, он же Арман Росс.

Естественно, что Блюмкин выступал с рассказом о событиях 6 июля 1918 года. Например, его доклад, состоявшийся 29 марта 1921 года, назывался просто и ясно: «Из воспоминаний террориста». 30 января 1922 года он снова выступает с докладом — «Боевые предприятия левых эсеров в зоне немецкой оккупации на Украине в 1918 году». Любопытно, что на следующий день в Доме печати должна была пройти генеральная репетиция буффонады «„Улучшенное отношение к лошадям“. Текст — В. Масса. Худ. — С. Юткевич и С. Эйзенштейн. По окончании — дискуссия». Ну а 1 февраля там же ожидалась лекция на чрезвычайно популярную в то время тему — об омоложении организмов. Как тут не вспомнить «Собачье сердце» Булгакова…

Надо сказать, активистов из еще тлеющего левоэсеровского подполья эти блюмкинские «концерты» возмущали. Они даже сочинили протест.

«В Президиум Дома Печати.

До сведений Московской нелегальной организации Партии Лев. Соц. — Рев. (интернационалистов) дошло, что на подмостках Дома Печати 30-го января с. г. выступает с докладом на тему: „О боевых предприятиях П.л.с.-р. на Украине в 1918 г.“ провокатор Яков БЛЮМКИН.

С одной стороны, мы категорически протестуем, чтобы подобные типы, вроде г. Блюмкина, трепали славное имя Партии, с другой — крайне удивлены, что это делается при Вашем благосклонном содействии.

Делая это заявление из глубокого подполья, мы тем более ожидаем от Вас, что Вы выполните элементарные правила, т. е. предупредите г. Блюмкина о нашем категорическом протесте, и если он останется к нему глух, а для Вас настоящее предупреждение будет „гласом вопиющего в пустыне“, то огласите настоящий протест перед слушателями его доклада. Московская организация Партии Левых Соц. — Рев. (интернационалистов). Москва, 30/1–22 года».

Все-таки наивные они были люди. Идеалисты молодого и буйного века. Как сказал бы Блюмкин, так и «не излеченные от старой искалеченности». Но он их все-таки боялся.

Впрочем, не только их. Мариенгоф утверждал, что Блюмкин «ужасно трусил перед болезнями, простудой, сквозняками, мухами („носителями эпидемий“) и сыростью на улице: обязательно надевал калоши даже после летнего дождичка».

«Я без револьвера, как без сердца!» Скандалист

Периодически Яков Блюмкин куда-то исчезал из Москвы. Потом появлялся снова. Но о том, где Яков Григорьевич успел побывать во время своих исчезновений, — чуть позже. Пока же о другом.

В свободное время Блюмкин вел вполне богемную жизнь. В кругу его знакомых за ним закрепилась репутация не только хвастуна, но и большого скандалиста.

Илья Эренбург запомнил, например, такую сцену. Осенью 1920 года он с женой пришел в Дом печати. Обстановка соответствовала времени: «…давали крохотные ломтики черного хлеба с красной икрой и воблой; кроме того, там можно было получить чай, который благоухал не то яблоками, не то мятой, разумеется, без сахара. Все это было восхитительным, и я сразу погрузился в литературный спор, кто больше соответствует действительности — футуристы или имажинисты».

Вот тут-то всё и произошло. В углу комнаты сидел Осип Мандельштам. «Вдруг, — вспоминал Эренбург, — выскочил Блюмкин и завопил: „Я тебя сейчас застрелю!“ Он направил револьвер на Мандельштама. Осип Эмильевич вскрикнул. Револьвер удалось вышибить из руки Блюмкина, и все кончилось благополучно». Почему Блюмкин в тот вечер хотел застрелить Мандельштама — история умалчивает. Но, как известно, они давно уже не выносили друг друга.

Самый известный из дошедших до нас случаев, когда Блюмкин махал в кафе своей «пушкой», описан в воспоминаниях нескольких очевидцев. Матвей Ройзман рассказывал о нем так:

«Впервые я увидел его (Блюмкина. — *Е. М.)* в клубе поэтов: какой-то посетитель решил навести глянец на свои ботинки и воспользовался для этого уголком конца плюшевой шторы, висящей под разделяющей кафе на два зала аркой. Блюмкин это увидел и направил на него револьвер: „Я — Блюмкин! Сейчас же убирайся отсюда!“

Побледнев, посетитель пошел к выходу, официант на ходу едва успел получить с него по счету. Я, дежурный по клубу, пригласил Блюмкина в комнату президиума и сказал, что такие инциденты отучат публику от посещения нашего кафе.

— Понимаете, Ройзман, я не выношу хамов. Но ладно, согласен, пушки здесь вынимать не буду.

Конечно, в то время фамилию левого эсера Блюмкина,

убийцы германского посла графа Мирбаха, все знали и побаивались его».

Борис Ефимов запомнил этот инцидент несколько по-другому: «Однажды в театре какой-то парень чистил ботинки портьерой, Блюмкин увидел, достает пистолет — „Ах ты, сука! Мы ради чего революцию делали? Чтобы ты имущество народное поганил?“».

Но наиболее живописное изложение скандала можно найти в воспоминаниях Анатолия Мариенгофа. По его словам, дело было так.

Как-то один молодой артист из театра Всеволода Мейерхольда вытер старой плюшевой портьерой свои запылившиеся заплатанные ботинки. Увидев это, Блюмкин пришел в бешенство.

«— Хам! — заорал Блюмкин. И мгновенно вытащив из кармана здоровенный браунинг, направил его черное дуло на задрожавшего артиста. — Молись, хам, если веруешь!

Все, конечно, знали, что Блюмкин героически прикончил немецкого графа. Что ж ему стоит разрядить свой браунинг, заскучавший от безделья, в какого-то мейерхольдовского актеришку?»

Актер стал белым, как потолок в комнате. К Блюмкину бросились Мариенгоф и Есенин.

«— Ты что, опупел, Яшка?

— Бол-ван!

И Есенин повис на его поднятой руке.

— При социалистической революции хамов надо убивать! — сказал Блюмкин, обрызгивая нас слюнями. — Иначе ничего не выйдет. Революция погибнет…

Есенин отобрал у него браунинг:

— Пусть твоя пушка успокоится у меня в кармане.

— Отдай, Сережа, отдай, — взмолился романтик. — Я без револьвера, как без сердца».

Остается добавить, что молодым актером, перед носом которого Блюмкин в тот раз размахивал пистолетом, был будущий знаменитый комик и «звезда» советского кино Игорь Ильинский.

Любопытное замечание оставила в своих воспоминаниях Надежда Мандельштам. Как уже говорилось, у ее мужа Осипа Мандельштама с Блюмкиным были очень непростые отношения. Она писала: «По мнению О. М., Блюмкин был страшным, но далеко не примитивным человеком. О. М. утверждал, что Блюмкин и не собирался его убивать: ведь нападений было несколько, но он всегда позволял присутствующим разоружать

себя, а в Киеве сам спрятал револьвер… Выхватывая револьвер, беснуясь и крича как одержимый, Блюмкин отдавал дань своему темпераменту и любви к внешним эффектам: он был по природе террористом неудержимо-буйного стиля, выработавшегося у нас в стране еще до революции».

* * *

Несмотря на все эти выходки, поэты весьма дорожили знакомством с Блюмкиным. Не меньше, чем он с ними. Маяковский презентовал ему три свои книги — «Про это» (1923), «Два голоса» (1923) и «Париж» (1925). Дарственные надписи на них гласили, соответственно: «Дорогому Блюмкину. Маяковский», «Дорогому товарищу Блюмочке. Вл. Маяковский» и «Дорогому Блюмочке. Вл. Маяковский». И это, несмотря на то, что они тоже ругались на поэтических вечерах.

Однажды в «Стойле Пегаса», вспоминал писатель Борис Лавренев, какой-то тип выскочил на сцену и запел популярную тогда песенку:

Солдаты, солдаты, по улице идут!
Солдаты, солдаты, играют и поют!

За столиками кафе в тот вечер сидели матросы с маузерами, перемотанные пулеметными лентами. Внезапно раздался жуткий грохот. Матросы вскочили и схватились за маузеры. Но выяснилось, что это находившийся тут же, в кафе, Маяковский грохнул кулаком по столу. Затем он встал и крикнул: «Хватит! Вон с эстрады! Стыдно людям, которые идут на фронт защищать революцию, давать такую пошлятину! Уберите эту сволочь!»

Поднялся шум. Одни матросы поддержали Маяковского, другие начали возмущаться. Дело шло к большой драке. С поясов уже снимались гранаты. На эстраде появился Блюмкин, который закричал Маяковскому: «Вы думаете, Маяковский, ваши стихи понятны матросам? Им гораздо ближе эта песня!» На это последовал спокойный ответ: «А вот посмотрим». Через минуту Маяковский сам появился на эстраде. Он оттолкнул Блюмкина и начал читать «Наш марш».

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

Матросам эти стихи понравились, а вот Ленину — нет. В мемуарах Надежды Крупской описан такой эпизод: «Однажды нас позвали в Кремль на концерт, устроенный для красноармейцев. Ильича провели в первые ряды. Артистка Гзовская декламировала Маяковского: „Наш бог — бег, сердце — наш барабан“ и наступала прямо на Ильича, а он сидел, немного растерянный от неожиданности, недоумевающий, и облегченно вздохнул, когда Гзовскую сменил какой-то артист, читавший „Злоумышленника“ Чехова».

Сама же Гзовская вспоминала и свой разговор с Лениным после этого концерта:

«По окончании концерта в соседней комнате был подан чай, и тут произошел мой разговор о Маяковском с Владимиром Ильичом. Он спросил: „Что это вы читали после Пушкина? И отчего вы выбрали это стихотворение? Оно не совсем понятно мне… там всё какие-то странные слова“. Я отвечала Владимиру Ильичу, что это стихотворение Маяковского, которое он поручил мне исполнять. Непонятные слова я старалась объяснить Владимиру Ильичу так же, как мне объяснял это стихотворение сам Маяковский.

Владимир Ильич сказал мне: „Я не спорю, и подъем, и задор, и призыв, и бодрость — все это передается. Но все-таки Пушкин мне нравится больше, и лучше читайте чаще Пушкина“».

Но вернемся к Блюмкину. При желании он мог бы собрать неплохую коллекцию автографов классиков молодой советской литературы. Есенин на подаренном ему сборнике своих стихов вывел:

«Тов. Блюмкину
с приязнью
на веселый вспомин
рязанского озорника.
Сергей Есенин
Москва
Стойло
26 янв. 21 г.».

Кстати, Есенина Блюмкин тоже иногда критиковал. За «Москву кабацкую» он обвинял его в упадничестве. Но их дружбе это не мешало. А Вадим Шершеневич так вообще посвятил Блюмкину свои знаменитые тогда стихи — «Сердце частушка молитв».

Другим надо славы, серебряных ложечек,
Другим стоит много слез, —
А мне бы только любви немножечко
Да десятка два папирос.

А мне бы только любви вот столечко
Без истерик, без клятв, без тревог.
Чтоб мог как-то просто какую-то Олечку
Обсосать с головы до ног.

И, право, не надо злополучных бессмертий,
Блестяще разрешаю мировой вопрос, —
Если верю во что — в шерстяные материи,
Если знаю — не больше, чем знал Христос.

И вот за душою, почти несуразною,
Широколинейно и как-то в упор,
Май идет краснощекий, превесело празднуя
Воробьиною сплетней распертый простор.

Коль о чем я молюсь, так чтоб скромно мне в дым уйти,
Не оставить сирот — ни стихов, ни детей.
А умру — мое тело плечистое вымойте
В сладкой воде фельетонных статей.

Мое имя попробуйте, в Библию всуньте-ка.
Жил, мол, эдакий комик святой,
И всю жизнь происка л он любви бы полфунтика,
Называя любовью покой.

И смешной, кто у Данта влюбленность наследовал,
Весь грустящий от пят до ушей,
У веселых девчонок по ночам исповедовал
Свое тело за восемь рублей.

На висках у него вместо жилок по лилии,
Когда плакал — платок был в крови,
Был последним в уже вымиравшей фамилии
Агасферов единой любви.

Но пока я не умер, простудясь у окошечка,
Всё смотря: не пройдет ли по Арбату Христос, —
Мне бы только любви немножечко
Да десятка два папирос.

И снова возникает вопрос: почему поэтов тянуло к этому не очень-то симпатичному человеку, который и не думал скрывать, что на его руках — кровь? И тянуло не только тех, которые вместе с ним пили, балагурили, спорили о литературе в кафешках голодной послереволюционной Москвы, но и других тоже?

Летом 1921 года в Москву приехал Николай Гумилёв. Он находился в зените славы. На одном из вечеров, вспоминал литератор Герасим Лугин[27], стихи Гумилёва читал крепкий человек с рыжеватыми волосами, черной бородой, в кожаной куртке и с кобурой на боку. Гумилёв даже назвал его Самсоном — библейским героем-силачом. Поэтесса Ирина Одоевцева, студийная ученица Гумилёва, тоже оказавшаяся в Москве, описала в мемуарах «На берегах Невы» другой вечер, где Гумилёва как раз приняли почти враждебно (извечные «контры» питерцев и москвичей). Впрочем, сам Гумилёв ко всему отнесся невозмутимо и в конце вечера предложил Одоевцевой пойти в буфет, выпить чаю.

«И мы идем. Гумилёв оглядывается.

— А этот рыжий уж опять тут как тут. Как тень за мной ходит и стихи мои себе под нос бубнит. Слышите?

Я тоже оглядываюсь. Да, действительно, — огромный рыжий товарищ в коричневой кожаной куртке, с наганом в кобуре на боку, следует за нами по пятам, не спуская глаз с Гумилёва, отчеканивая:

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыплется золото с кружев,
С розоватых, брабантских манжет…

Гумилёв останавливается и холодно и надменно спрашивает его:

— Что вам от меня надо?

— Я ваш поклонник. Я все ваши стихи знаю наизусть, — объясняет товарищ.

Гумилёв пожимает плечами:

— Это, конечно, свидетельствует о вашей хорошей памяти и вашем хорошем вкусе, но меня решительно не касается.

— Я только хотел пожать вам руку и поблагодарить вас за стихи. — И прибавляет растерянно: — Я Блюмкин.

Гумилёв вдруг сразу весь меняется. От надменности и холода не осталось и следа.

— Блюмкин? Тот самый? Убийца Мирбаха? В таком случае — с большим удовольствием. — И он, улыбаясь, пожимает руку Блюмкина. — Очень, очень рад…»

Вот ведь как. «Убийца Мирбаха» — это, оказывается, лучшая рекомендация для поэта. Впрочем, есть и другая версия этого разговора, из которой становится понятно, почему Гумилёв испытывал такую «симпатию» к Блюмкину. По этой версии, он якобы сказал: «Я рад, когда мои стихи читают воины и сильные люди». А Блюмкин представлялся Гумилёву — певцу конкистадоров, путешественников, воинов и охотников — именно таким.

Пройдет, правда, совсем немного времени, и такие же «воины и сильные люди», хотя, может быть, не столь колоритные, как их коллега Блюмкин, арестуют Гумилёва по обвинению в контрреволюционном заговоре, а потом расстреляют. Это случится 26 августа 1921 года. Но до своего трагического конца Гумилёв еще успеет описать встречу с Блюмкиным в стихотворении «Мои читатели». Говорят, одном из последних.

Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи…

Да. Такое было время. Если уж великому русскому поэту, пусть тогда и молодому, казалось вполне нормальным, завоевывая внимание барышни, предложить ей пойти в ЧК и посмотреть, «как расстреливают», то неудивительно, что террорист, совершивший одно из самых известных политических убийств того времени во имя «высоких идеалов», воспринимался многими «в обществе» как романтический и загадочный герой, как человек, рисковавший жизнью ради своих убеждений и не боявшийся ни Бога, ни черта. Настоящий Блюмкин не совсем соответствовал этим представлениям, а вернее, совсем не соответствовал, но, как сказали бы сейчас, его имидж еще долго работал на него.

Да и молодые поэты-имажинисты чувствовали интерес к Блюмкину. Почти одно поколение. Такая же готовность устраивать скандалы и эпатировать публику. Однажды на Есенина даже написали «телегу» в ВЧК: о том, что он вышел на эстраду и заявил, что сделал это только для того, чтобы «послать все к… матери». «Просим принять по сему соответствующий предел», — просили авторы доноса.

Да и Блюмкин тешил себя «духовной общностью» с

«московским озорным гулякой» и «хулиганом» — «Хулиган я, хулиган. / От стихов дурак и пьян» — Есениным. «Я, — говорил он Есенину, — террорист в политике, а ты, друг, террорист в поэзии». Нечто подобное написал на подаренном Блюмкину издании поэмы «Крематорий» Вадим Шершеневич: «Милому Яше — „террор в искусстве и в жизни — наш лозунг“. С дружбой Вад. Шершеневич». Вот так, ни больше ни меньше.

Сейчас уже трудно понять, была ли это дружба в полном смысле этого слова или обе стороны чувствовали друг к другу «меркантильный интерес». Поэты ввели Блюмкина в литературные круги, но и он был весьма полезен для них.

«Я — Блюмкин!» «Ангел-хранитель»

Несмотря на его не очень-то презентабельную, по меркам большевиков, биографию, Блюмкин уже тогда завел важные связи в советских «верхах». Это, конечно, кажется парадоксальным, но фамилия человека, который совсем недавно укокошил иностранного посла, объясняя это несогласием с политикой властей, производила магическое действие даже на милиционеров, охранявших теперь эти власти. Стоило ему сказать: «Я — Блюмкин!» — как отношение к нему и его друзьям резко менялось.

Он не раз выручал друзей-приятелей в различных щекотливых ситуациях. И вряд ли делал это с каким-то холодным расчетом, разве что козырял своим «всемогуществом». Они же вместе пили, вместе читали стихи и куролесили, как же он мог их бросить в беде? Это было бы не комильфо.

* * *

Семнадцатого ноября того же года в Большом зале Политехнического музея проходил вечер «Суд имажинистов над литературой». Название вполне в духе того времени. Народу было так много, что сами имажинисты смогли попасть в здание только с помощью конной милиции.

К удовольствию публики, вечер, как обычно, проходил со скандалом. Председатель суда поэт Валерий Брюсов с трудом успокаивал зал, звоня в колокольчик. Имажинисты вовсю костерили своих литературных противников футуристов, которые отвечали им тем же. «Громыхал метафорами» Маяковский, объявивший, что недавно он слушал дело в народном суде: «Дети убили свою мать. Они, не стесняясь, заявили на суде, что мать была дрянной женщиной. Однако преступление намного серьезней, чем это может показаться на первый взгляд. Мать это — поэзия, а сыночки-убийцы — имажинисты!»

Имажинисты, в свою очередь, в убийстве литературы обвиняли футуристов. Это же они сбрасывали всех поэтов, которые были до них, с «парохода современности»[28]. Стоял невообразимый шум. Маяковский кричал выступавшему Вадиму Шершеневичу: «Вы у меня украли штаны!»

С этими штанами произошла следующая история. В стихотворении «Кофта фата» Маяковский написал:

Я сошью себе черные штаны
Из бархата голоса моего.

Чуть позже Шершеневич напечатал свои стихи:

Я сошью себе полосатые штаны
из бархата голоса моего.

Маяковский был уверен, что эти штаны украдены у него, хотя Шершеневич это отрицал, а Мариенгоф писал о «катастрофическом совпадении», которые в литературе не редкость. Тем не менее Маяковский при каждом удобном случае припоминал Шершеневичу эти штаны. Вот и сейчас тоже.

«Заявите в уголовный розыск! — парировал Шершеневич. — Нельзя, чтобы Маяковский ходил по Москве без штанов!» На сцене появился Есенин и тоже обрушился на Маяковского. «У этого дяденьки-достань воробышка хорошо привешен язык, — говорил он. — Он ловко пролез сквозь угольное ушко Велимира Хлебникова и теперь готов всех утопить в поганой луже, не замечая, что сам сидит в ней. Его талантливый учитель Хлебников понял, что в России футуризму не пройти ни в какие ворота, и при всем честном народе, в Харькове, отрекся от футуризма… А ученик Хлебникова Маяковский все еще куражится. Смотрите, мол, на меня, какая я поэтическая звезда, как рекламирую Моссельпром и прочую бакалею. А я без всяких прикрас говорю: сколько бы ни куражился Маяковский, близок час гибели его газетных стихов».

Затем Есенин начал читать свои стихи, но в зале заорали: «Стыдно! Позор!» Кто-то запустил в него недоеденным пирожком. В общем, вечер удался.

Потом имажинисты присели передохнуть в примыкающей к эстраде комнате.

«Вдруг, — вспоминал Матвей Ройзман, — до меня донеслись четкие слова:

— Граждане имажинисты…

Я открыл глаза и увидел командира милиции с двумя шпалами в петлицах, который, вежливо отдавая приветствие, предлагал нам всем последовать за ним в отделение.

Неожиданно из угла комнаты раздался внушительный бас:

— Я — Блюмкин! Доложите вашему начальнику, что я не считаю нужным приглашать имажинистов в отделение!

Командир удалился, а мы стали обсуждать создавшееся положение. Нас удивило: почему нужно идти имажинистам, а не

всем участникам вечера? Но командир вскоре явился и, взяв под козырек, доложил Блюмкину, что такой-то товарищ оставляет все на его усмотрение…

После суда имажинистов над литературой мы все отправляемся ужинать в „Стойло Пегаса“. Идет с нами и Блюмкин. Вокруг нас движутся все имажинисты, наши поклонники и поклонницы. Блюмкин шагает, окруженный кольцом людей. Так же, в кругу молодых поэтов и поэтесс, уходил он из клуба поэтов и из „Стойла Пегаса“. Как-то Есенин объяснил, что Яков очень боится покушения на него. А идя по улице, в окружении людей, уверен, что его не тронут».

Случаев, когда Блюмкин выступал в роли «ангела-хранителя» своих друзей, судя по всему, было немало. Из дошедших до наших дней описаний этого приведем такое.

Лучшим другом Блюмкина среди его литературных знакомых в то время был, наверное, Сандро Кусиков. Кусиков жил в районе Арбата, в Большом Афанасьевском переулке, дом 30, вместе с отцом, тремя сестрами и младшим братом Рубеном, которому только исполнилось 17 лет. Когда в квартире Кусиковых освободилась комната, Блюмкин получил на нее ордер и некоторое время жил вместе с ними. Он помог устроиться на работу Рубену — секретарем-делопроизводителем в Наркомат по морским делам РСФСР.

Вскоре у Кусиковых начались неприятности. Сначала арестовали Сандро и его сестру Тамару. Причиной ареста стал донос брата бывшего мужа Тамары. Он сообщил в ЧК, что Сандро и Рубен «белогвардейцы», а их отец держит дома большие ценности. Провели обыск. И правда — чекисты обнаружили две бутылки спирта, 65 тысяч царских рублей и мануфактуру (то есть отрезы тканей). Отец Кусиковых до революции владел магазином в городе Армавир и, как предполагает в своей книге Алексей Велидов, он действительно мог кое-что скрыть от конфискации[29].

Блюмкин сразу же бросился выручать арестованных. Он лично убедил следователя в Московской ЧК отпустить их. Более того, Кусиковым вернули изъятые при обыске деньги и мануфактуру. Но это было еще не всё.

В ночь на 19 октября 1920 года чекисты снова арестовали Сандро, а вместе с ним и его брата Рубена. На этот раз причиной ареста был «сигнал» от одного из знакомых семьи о том, что в квартире Кусиковых скрываются белогвардейцы, а именно Рубен. Некоторое время он действительно провел в Добровольческой армии Деникина, куда попал по мобилизации в Киеве. Но «сигнал» выглядел следующим образом.

«Заявление в ВЧК
12 сентября 1920 г.

В семье Кусиковых, проживающих по Б. Афанасьевскому пер. (Арбат) в доме № 30, есть один сын по имени Рубен. Он бывший деникинский вольноопределяющийся, служил в деникинской армии в Дикой дивизии, в Черкесском полку. В одном из боев с красными войсками был ранен в руку. Теперь он был привезен в Москву с партией пленных деникинских офицеров и помещен в одном из лагерей. Так как семья Кусиковых имеет большие связи среди старых партийных работников, сын этот, по хлопотам тов. Аванесова, был освобожден и находится ныне на свободе. Этот тип белогвардейца ненавидит Сов. власть и коммунистов, как и вся их семья, и собирается по выздоровлении бежать к Врангелю. Когда он мне это сказал, я попросил его, нельзя ли и мне с ним уехать, на <что> он обещал мне свое содействие, заявив, что на Кавказе у него много родных и что мы можем вместе бежать через Урупский аул.

Теперь он старается заручиться знакомствами с коммунистами, часто пьянствует, по его словам, с т. Потоловским (из ВЧК). Мне он рассказывал, как их дивизия зверски расправлялась с нашими красноармейцами, когда они имели несчастье попасть к ним в плен, и как он жалеет, что он из-за раны не мог уехать со своими друзьями к Врангелю при приближении наших войск.

П. С. Все сказанное в этом сообщении, в той части его, где говорится о тов. Аванесове, подлежит проверке».

Заодно был арестован и некий «подозрительный гражданин», ночевавший в ту ночь в квартире Кусиковых. Особое подозрение у чекистов вызвал тот факт, что он буквально накануне вернулся из Грузии, где тогда у власти находились антисоветски настроенные меньшевики. Этим «подозрительным гражданином» был Сергей Есенин. В протоколе обыска, при котором присутствовали «председ<атель> домкома Вальд В. Г., тов. Карпович и жилец Фонер», было изъято: «у гр. Кусикова А. Б. тридцать тысяч сов<етских> денег, документы и переписка, у гр. Есенина документы, у гр. Кусикова Бориса Карповича (отец поэта. — *Е. М.)* 530 000 р. (пятьсот тридцать тысяч руб.) советскими деньгами и 20 000 р. (двадцать тысяч руб.) думскими».

Арестованных увезли в тюрьму, а на квартире оставили

засаду.

Блюмкин на следующий день пришел в Большой Афанасьевский переулок и тут же попал в эту засаду. Его, разумеется, тронуть не посмели. Вскоре он отправился на Лубянку и потребовал освободить арестованных под его личное поручительство. Следователь ВЧК Штейнгард согласился освободить только Есенина, поскольку против него не было никаких улик. Блюмкин тут же заполнил соответствующий бланк.

> «Подписка
>
> О поручительстве за гр. Есенина Сергея Александровича, обвиняемого в контрреволюционной деятельности по делу гр. Кусиковых. 1920 года октября месяца 25-го дня, я, ниже подписавшийся Блюмкин Яков Григорьевич, проживающий в гостинице „Савой“ № 136, беру на поруки гр. Есенина и под личной ответственностью ручаюсь, что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следственных и судебных властей.
>
> Подпись поручителя Я. Блюмкин
>
> 25. X.20 г. Москва.
>
> Партбилет ЦК Иранской коммунистической партии».

Следователь ВЧК Штейнгард вынес заключение: «Полагаю гр. Есенина Сергея Александровича из-под ареста освободить под поручительство тов. Блюмкина». И в тот же день Есенина выпустили из тюрьмы.

Несколькими днями ранее, 19 октября, следователь Московской ЧК Матвеев допрашивал Александра Кусикова. В числе прочих ему был задан вопрос: «Кто может подтвердить о вашей лояльности Сов. власти?» Кусиков ответил: «Тов. Блюмкин, руководит < ель > персидских красных войск…»

Вот так. Блюмкин — теперь еще член ЦК Иранской компартии и руководитель персидских красных войск! Однако это заслуживает отдельного рассказа.

Следствие по делу братьев Кусиковых продолжалось. За них ходатайствовал даже нарком просвещения Луначарский. Он направил послание заместителю председателя ВЧК Ивану Ксенофонтову, перепутав при этом почему-то инициалы Есенина, имена и фамилию Кусиковых. Впрочем, это мелочи.

> «3 ноября 1920 г.
>
> В ВЧК. Тов. Ксенофонтову
>
> В ночь с 18 на 19 октября по ордеру ВЧК был

арестован С. С. Есенин и Александр и Руден Кузиковы по обвинению в контрреволюции. Меня уверяют вполне надежные люди, что арест вызван ложным доносом; как бы то ни было, за поручительством некоторых коммунистов Есенин в настоящее время освобожден, между тем как оба Кузикова продолжают сидеть.

Насколько я знаю Кузиковых, они совершенно преданы чисто литературной работе и вряд ли могут участвовать, прямо или косвенно, в какой-нибудь мере. М<ожет> б<ыть>, Вы обратите на это дело особое внимание и поспешите с его выяснением.

Нарком по Просвещению А. Луначарский Секретарь А. Флаксерман».

Блюмкин же написал поручительство.

«20 ноября 1920 г.

В секретно-оперативный отдел ВЧК

Я, нижеподписавшийся, слушатель Академии Генштаба Кр<асной> Армии, Яков Григорьевич Блюмкин, настоящим ручаюсь, под условием личной ответственности, что арестованный гр. Рубен Борисович Кусиков будет являться в ВЧК по первому требованию, будет находиться в Москве под контролем семьи и моим.

Яков Блюмкин

20/X-920 г. Москва

Адрес: Рождественка, „Савой“, № 136».

То ли благодаря вмешательству наркома, то ли хлопотам Блюмкина, то ли добросовестности следователей, но в ноябре 1920 года ВЧК освободила Сандро Кусикова и его младшего брата. О Рубене следователь по фамилии Патаки выразился так: «Это юноша, допускающий мальчишеские шалости, совершенно не разбирающийся в политике».

Пройдет немного времени, и Сандро Кусиков уедет за границу. Тоже не без помощи Луначарского и, вероятно, своего друга Блюмкина. Вместе с Кусиковым в эту заграничную командировку поехал и Борис Пильняк. Они провели несколько литературных выступлений в Ревеле, Дерпте, потом переехали в Германию.

Там Кусиков получил от эмигрантов кличку «Чекист» — за то, что неизменно положительно отзывался о русской революции. Но шло время, а его командировка за границу затягивалась. На родину он явно не торопился. В итоге Кусиков переехал в Париж, где и прожил всю оставшуюся жизнь до своей смерти в июле 1977

года. С 1930-х годов он практически не занимался литературой.

Но кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы не Блюмкин?

СОЛДАТ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

«Персия будет советской страной!» «Товарищ Якуб-заде»

Разумеется, в этот «кафейный период» 1920–1922 годов Блюмкин не только кутил с друзьями-поэтами, скандалил и рассказывал о своих прошлых подвигах. После его исчезновений из Москвы он привозил с собой новые истории, которые звучали как отрывки из каких-то приключенческих романов. Некоторые его слушатели скептически улыбались, зная склонность Якова, так сказать, к некоторым преувеличениям. Но многое из того, что рассказывал Блюмкин, было правдой. «Я — солдат мировой революции!» — как-то сказал он. И это тоже было так.

* * *

Клянемся волосами Гурриэт эль Айн,
Клянемся золотыми устами Заратустры —
Персия будет советской страной.
Так говорит пророк!

Эти стихи один из основателей русского футуризма и «Председатель Земного Шара» Велимир Хлебников написал не где-нибудь, а в самой Персии. В качестве агитатора политотдела «Персидской Красной Армии» он вместе с ней наступал на Тегеран. Так что строки о том, что «Персия будет советской страной» вряд ли можно рассматривать как пустые мечтания. Тогда, весной 1921 года, такая перспектива казалась весьма реальной. «Мы были в 42 верстах от Тегерана, — вспоминал очевидец похода. — Между нами и Тегераном лежала одна гора, после взятия которой дорога на столицу была открыта…»

Среди тех, кто «разжигал» революцию в Персии и готовил поход на Тегеран, был человек, которого в 1920 году называли «Якуб-заде». Ну, конечно же, под этим именем там находился Яков Блюмкин.

В его автобиографии 1929 года о «персидской эпопее» сказано кратко:

«В 1920 г. я, после десанта в Энзели, был командирован в Персию для связи с революционным правительством Кучек-хана. Там я принимал деятельное участие в партийной и военной работе в качестве военкома штаба Красной Армии, был

председателем комиссии по организации персидского представительства на съезде народов Востока в Баку, захватывал власть 31 июля 1920 г. для более левой группы персидского национально-революционного движения для группы Эсанулы, больной тифом, руководил обороной Энзели. Вернувшись осенью 1920 г., я поступил в военную академию РККА…»

Вот и всё. Всего лишь десять строчек. Однако речь шла о том, чтобы сделать еще один шаг по пути к «Мировой Республике Советов».

В 1919 году надежды на близкую «мировую революцию» не оправдались. Разгромлено восстание коммунистов в Германии, не смогли долго продержаться Советские республики в Баварии и Венгрии. Однако в 1920 году надежды появились снова.

Летом Красная армия перешла в контрнаступление на польском направлении, и казалось, скоро возьмет Варшаву. Командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский призывал в приказе по войскам: «На штыках мы принесем трудящемуся человечеству счастье и мир. Вперед! На Запад! На Варшаву! На Берлин!»

Впрочем, к осени того же года советские войска потерпели поражение под Варшавой и вынуждены были отступить, а Советская Россия — подписать с Польшей 18 марта 1921 года мирный договор в Риге. Иногда его называют «вторым Брестом» — по договору Россия уступила Польше Западную Белоруссию и Западную Украину, а также обязывалась выплатить репарации на сумму в 18 миллионов золотых рублей.

Но в том же 1920-м возникли другие надежды: «заря мировой революции» все равно может взойти — только на Востоке, как ей, заре, и полагается. И, разумеется, не сама по себе, а при помощи интернационалистов из Советской России.

Троцкий еще 5 августа 1919 года в секретной записке в Политбюро ЦК РКП(б) предлагал организовать поход Красной армии в Индию. Он, правда, оговаривался, что наброски похода носят лишь «предварительный характер», но идея состояла в том, чтобы сформировать конный корпус в 30–40 тысяч человек, а «где-нибудь на Урале или в Туркестане» создать «революционную академию, политический и военный штаб азиатской революции». Троцкий подчеркивал, что «путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии».

Двадцатого сентября 1919 года Троцкий предложил «создать в Туркестане серьезную военную базу» и нанести удар по формируемой Великобританией антибольшевистской «цепи государств» Персия — Бухара — Хива — Афганистан. По некоторым данным, план «индийского похода» предложил

Троцкому один из самых талантливых красных полководцев Михаил Фрунзе, а наркомвоенмор взялся заручиться его политической поддержкой в партийном руководстве.

Казалось бы, до осуществления такой грандиозной и вместе с тем авантюристической идеи у советского руководства руки так и не дошли, но это еще как посмотреть.

В январе 1920 года Красная армия взяла штурмом Хиву — столицу и «жемчужину» Хорезмского оазиса Туркестана. В апреле было объявлено об основании Хорезмской Народной Советской Республики.

Второго сентября 1920 года части Красной армии под командованием Михаила Фрунзе после упорных трехдневных боев взяли город и крепость Бухару. По этому поводу Фрунзе послал телеграмму Ленину: «Крепость Старая Бухара взята сегодня штурмом соединенными усилиями красных бухарских и наших частей. Пал последний оплот бухарского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победно развевается красное знамя мировой революции». К октябрю отряды Красной армии продвинулись в восточные районы Бухарского эмирата, откуда уже и до Афганистана было не так далеко. В октябре была провозглашена Бухарская Народная Советская Республика.

Итак, Хива, Бухара да и Афганистан уже совсем рядом. Такое впечатление, что Красная армия действительно наносила удары по антибольшевистской «цепи государств», как это и предлагали осенью 1919-го Троцкий и Фрунзе. В Хорезме и Бухаре фактически созданы «политический и военный штаб азиатской революции» и «серьезная военная база».

Странные совпадения с «предварительными набросками» по организации «индийского похода» Красной армии становятся еще более очевидными, если посмотреть на то, что происходило в 1920–1921 годах в Персии — еще одной стране, которая фигурирует в плане Троцкого — Фрунзе.

* * *

Началась «персидская революция», казалось бы, случайно. 17–18 мая 1920 года корабли Волжско-Каспийской флотилии и корабли «Красного Флота» Азербайджана под общим командованием Федора Раскольникова открыли огонь по городу Энзели в провинции Гилян — самому крупному иранскому порту на Каспийском море.

Советский Азербайджан стал тылом и своеобразным «аэродромом подскока» для частей Красной армии, которые

направлялись «революционизировать» Персию. Значение Азербайджана в подобных планах, собственно, и не скрывали. В «Правде», например, печатались такие стихи:

Погребем в своих душах глубóко
Колебанья и тоску.
Да станет Москвою Востока
Опаленный восстаньем Баку.

Возрожденному Азербайджану
Ослепительная звезда
Указывает путь к Тегерану,
На Индию, на Багдад.

Итак, под прикрытием артиллерии на персидский берег высадился десант красных моряков. Персидские части и британские колониальные войска, находившиеся в Энзели, были застигнуты врасплох и серьезного сопротивления не оказали. Англичане прислали парламентера с просьбой прекратить боевые действия. Затем англичане, белогвардейцы и подразделения правительственных войск спешно отступили из Энзели, причем англичан местные жители провожали издевательским хохотом и презрительными криками.

Цель этой операции сначала была ограничена одной задачей — Федору Раскольникову надо было захватить корабли, которые при отступлении увели в Энзели белые войска — около трех десятков вспомогательных крейсеров, торпедных катеров, транспортов и т. д. Но неожиданные и легкие победы навели Раскольникова на мысль развить успех.

Раскольников вступил в переговоры с влиятельным местным «полевым командиром» Мирзой Кучек-ханом. Он уже несколько лет возглавлял партизанские отряды, воевавшие сначала против русских войск, которые в 1915 году заняли Северный Иран, а потом — против англичан. Кучек-хана считали «честным и бескорыстным моджахедом», называли его «персидским Гарибальди» и «патриотом-идеалистом». Он пользовался большой популярностью на севере Ирана, но, разумеется, никаким коммунистом не был. Однако после переговоров с Раскольниковым Кучек-хан согласился провозгласить на севере страны «Персидскую Советскую Республику».

В ночь с 4 на 5 июня 1920 года в оставленном англичанами центре иранской провинции Гилян — городе Решт было образовано Временное революционное правительство Персидской Советской Республики во главе с Кучек-ханом, а вскоре —

Реввоенсовет Персии и «Персидская Красная армия». Были посланы приветственные телеграммы Ленину и Троцкому. В «Манифесте» нового правительства говорилось: «Общество красной революции Персии уничтожает монархию и официально объявляет об учреждении Советской Республики». «Яркий свет зажегся в России, но первоначально мы были так ослеплены его лучами, что даже отвернулись от него, — говорил Кучек-хан на митинге. — Но теперь мы поняли все величие этого лучезарного светила». Вскоре Кучек-хан был награжден орденом Красного Знамени.

Раскольников запрашивал у Москвы инструкции — как ему действовать дальше? «Могу ли я считать у себя развязанными руки в смысле продвижения вглубь Персии, если в Персии произойдет переворот и новое правительство призовет нас на помощь?» — писал от Троцкому. Троцкий приказал соблюдать осторожность: «никакого военного вмешательства под русским флагом», но при этом всемерная помощь Кучек-хану. И, наконец, — надо «оставить в Персии широкую советскую организацию».

Осторожность Троцкого весной 1920-го объяснялась просто — в Лондоне как раз начинались переговоры о восстановлении отношений между Советской Россией и Англией, и ситуацию на Востоке в Москве рассматривали в качестве сильного козыря в этих переговорах. «Потенциальная советская революция на Востоке, — довольно цинично писал Троцкий, — нам сейчас выгодна, главным образом, как важнейший предмет дипломатического товарообмена с Англией».

Другими словами, революцию в Персии надо было формально делать персидскими же руками. Знакомый рецепт — в будущем к нему будут прибегать неоднократно. Однако руководство новой республики буквально набито было «советскими интернационалистами», которые скрывались под различными псевдонимами. В Реввоенсовет «Советской Персии» вошли, к примеру, командир десантных отрядов Каспийской флотилии Иван Кожанов (под псевдонимом Ардашир), комиссар этих же отрядов кабардинец Батырбек Абуков, его жена Матильда Булле, краском Георгий Пылаев (Фазулла). Костяк «Персидской Красной армии» составили советские моряки, командирами назначались азербайджанцы, а начальником Главного штаба армии стал генерал Василий Каргаретели (псевдоним Шапур) — раньше он находился на службе у азербайджанского националистического правительства, но потом перешел на сторону советской власти.

Между тем после первых успехов революция в Северной

Персии начала давать сбои. «Персидская Красная армия» должна была совершить поход на Тегеран, но застряла перед Менджилем — ближайшим городом на пути к столице. К тому же одних красноармейцев начинает косить малярия, а других — курение опия. Уже 20 июня встревоженный Троцкий телеграфирует: «Сообщите о ходе персидской революции. Приостановка ее движения — опасный симптом. Только непрерывный натиск смог бы обеспечить быструю победу».

Именно в это время в Персию отправляется Яков Блюмкин.

* * *

В архивах сохранился любопытный документ. Это письмо заместителя наркома иностранных дел Карахана и заведующего отделом Востока Наркоминдела Вознесенского от 17 июня 1920 года, направленное то ли Федору Раскольникову, то ли председателю кавказского бюро ЦК РКП(б) Серго Орджоникидзе.

«Согласно просьбе тов. Раскольникова, переданной им через тов. Кучек-Хана о командировании ему опытных революционеров, в качестве советников по различным областям социалистического строительства, командируем тов. Блюмкина и его жену (медичку[30]), заслуживающих полного доверия. Об их дальнейшей деятельности <распоряжения> и инструкции, применительно к местным условиям, просим дать им на местах».

В Персии Блюмкин получил псевдоним — Якуб-заде. В общем-то, это была уже привычная для него работа революционера-нелегала под чужим именем, хотя и в дружественной среде. В дальнейшем, когда Блюмкин станет уже настоящим разведчиком-нелегалом, персидский опыт ему пригодится.

В чем заключались задачи Блюмкина в Персии? Иногда встречаются утверждения, будто он организовывал Иранскую коммунистическую партию и ее первый съезд. Это не так. Сам Блюмкин писал в марте 1921 года в автобиографии: «По приезде в Персию я сейчас же вступил в только организовавшуюся на Съезде в Энзели Иранскую Компартию, всецело принявшую программу РКП и входящую в III Коминтерн». (Съезд в Энзели открылся 22 июня.)

Ситуация в «Персидской Советской Республике» была к тому времени сложной. Иранское правительство резко протестовало против вторжения советских войск на территорию их страны. Англичане поддерживали Тегеран. В Москве оправдывались, объясняя все самодеятельностью Федора Раскольникова и других

командиров.

Между тем части закавказских коммунистов во главе с Микояном, Ломинадзе и Мдивани совсем не нравилась установка Троцкого на дипломатические игры с Англией при помощи революции в Персии. Они на самом деле хотели установить там советский режим. Такой же точки зрения придерживалась и часть руководства РКП(б). Сторонники переворота говорили о необходимости наконец-то «перейти от персидского Февраля к персидскому Октябрю», проводя параллели с событиями в России в 1917 году.

Десятого июля 1920 года «радикалы» решили свергнуть Кучек-хана, так как его правительство, по их мнению, «губит революцию» и ведет «тайные переговоры» с шахом и англичанами. В Энзели прибыли — вряд ли случайно — Микоян и Мдивани.

Утром 31 июля советские военные моряки очень быстро взяли Энзели под контроль. В Реште же переворотом командовал Яков Блюмкин. Вооруженный отряд советских и персидских красноармейцев под его командованием, практически не встречая сопротивления, занял ключевые объекты города Решт. Большинство сторонников старого правительства бежали, некоторые были арестованы.

Бакинская газета «Коммунист» 8 августа 1920 года в заметке «Подробности переворота в Персии» сообщала: «В час ночи, на 31 июля, отряд из ста дженгелийцев[31] под общим начальством тов. Блюмкина получил приказ занять все военные и гражданские учреждения города Решт. Приказ этот был в точности выполнен, и к четырем часам утра все правительственные учреждения перешли в руки новой власти без единого выстрела. Старые русские революционеры — участники Октябрьского переворота восхищены дисциплинированностью революционных персидских солдат. Наутро город принял обычный вид, лавки на базарах открылись».

Еще раньше, 31 июля, Микоян докладывал в ЦК РКП(б): «31-го июля в ночь был совершен переворот в Реште без выстрела и в Энзели. С нашей стороны — двое ранены, арестованы оставшиеся руководители кучуковской партии и объявлена власть революционного комитета Иранской Советской Республики и установлен полный порядок».

Кучек-хан, узнав о заговоре заранее, ушел из города в леса, не желая, как он писал Ленину, «становиться причиной страдания многих невинных лиц». Он сообщал в Москву, что останется там до тех пор, пока не будет «установлена истина».

«Коммунисты, англичане, деспотическое шахское

правительство будут для нас равны, и мы будем сопротивляться им всем во имя защиты родины, защиты персидского народа и охраны прав… — писал он в одном из своих воззваний. — Если российское советское правительство будет хорошо осведомлено о том, что здесь происходит, оно несомненно воспрепятствует деятельности этих господ (коммунистов. — *Е. М.*)».

Власть в «Советской Республике» перешла в руки «Революционного комитета Ирана» из восьми человек во главе с левым республиканцем Эхсануллой. Естественно, Комитет полностью зависел от советских большевиков.

«В состав Ревкома, — сообщал Микоян в Москву, — вошли 4 персидских коммуниста и столько же членов левой группы. Программа правительства: организация Иранской Красной Армии по типу российской и поход на Тегеран, уничтожение феодальных повинностей и удовлетворение насущных нужд трудящихся города и деревни».

Эта программа, безусловно, импонировала Блюмкину. Она казалась ему по-настоящему революционной. Да, революция в Европе пока не получилась, зато буквально на его глазах она совершалась в древней Персии, и он, террорист, не так давно убивший германского посла ради разжигания этого «революционного пожара», теперь лично участвовал в событиях исторического значения. Блюмкину было чем гордиться. Да и чувствовал он себя там увереннее, чем в Москве, где всерьез боялся получить пулю от своих же бывших товарищей по партии. А тут если уж погибать, то, по крайней мере, за дело революции.

В Персии у него было множество дел и обязанностей. Так во всяком случае утверждал он сам. «Товарища Якуб-заде» будто бы ввели в ЦК Иранской компартии и даже назначили секретарем ЦК. В одной из автобиографий Блюмкин писал: «В ЦК партии я являлся ответственным работником, будучи заведующим отде<лом> по раб<оте> в деревне, председател<ем> агитационной комиссии, членом комиссии по созыву персидск<их> предст<авителей> на Съезд Народов Востока, редактором газеты и т. д. По поручению партии я вел не менее ответственн<ую> работу в военной области (нач<альник> курдск<ого> отряда, военком Штаба Персидск<ой> Армии, раб<отник> Поарма и т. д.)». Поарм — это Политический отдел Штаба «Персидской Армии».

Новое «революционное правительство» решительно приступило к «экспроприации буржуев и кулаков в деревне» и тут же получило то же, что и в России, — сопротивление крестьян и мелких собственников. А их в Персии было большинство. «Благодаря этому мы оказались лишенными в Персии всякой

почвы и опоры, очутились в роли только пришлых иноземцев-завоевателей и тем создали возможность для англичан занять положение спасителей персидского народа от надвигающихся на них насильников и грабителей», — признавал президиум бакинского филиала Коминтерна.

К тому же положение на фронтах обстояло не лучшим образом. В августе фактически провалился новый поход на Тегеран. Войска шаха при поддержке англичан начали контрнаступление. Уже 18 августа 1920 года Ревком Ирана умолял советских товарищей прислать «полторы тысячи абсолютно надежных русских красноармейцев», так как «только немедленная присылка русских частей может спасти положение».

Троцкий, чей «предварительный план» удара по «антибольшевистской цепи государств» в Азии осуществлялся в Персии, к тому времени, видимо, понимал, что попытка пока не удалась, и выступил за то, чтобы воздержаться от отправки дополнительных сил в Иран. «Центральная задача Республики — разбить Врангеля, — писал он. — Ни один солдат, ни один патрон не должен быть отвлечен от этой работы». Но отправлять солдат и патроны все же пришлось.

Двадцать второго августа пал Решт. Под угрозой падения был и Энзели, обороной которого командовал больной тифом Блюмкин. Трудно сказать, какова была его роль в обороне города, — Энзели удалось отстоять лишь благодаря артиллерии советских кораблей. Через день из Баку прибыл стрелковый полк. Решт удалось отбить, но командование «Персидской Красной Армии» уже откровенно сообщало о «враждебности населения» и что речь может идти «лишь о военной оккупации».

«В персидских массах нет никакого энтузиазма, отсутствует воля к борьбе, все объято пассивностью и страхом перед русскими… — откровенно докладывал в Москву советский полпред в Энзели Шалва Элиава. — Эхсанулла, по-видимому, — дегенерат, опиоман, неврастеник… Вся наша работа в Персии, начиная с Раскольникова, — сплошное недоразумение, приведшее к дискредитированию Советской России в Персии вследствие недопустимых действий наших войск и политработников, а также неразборчивого якшания с такой политической рванью, как Кучек-хан или Эхсанулла. Сейчас Эхсанулла сам держится на наших частях, никакой опоры в массах он не имеет… Для дальнейшего: либо почетный уход, либо движение вперед на Тегеран…» Как видим, тут есть камень и в огород Блюмкина — как ведущего «советско-персидского политработника».

* * *

О личной жизни Блюмкина в Персии до нас не дошло практически никаких сведений. С его слов известно о том, что он тяжело болел тифом. Но не исключено, что эта была малярия — бич прикаспийских районов того времени. Скорее всего, за ним ухаживала его жена — действительно медик по образованию.

Но и о работе Блюмкина в Иране тоже осталось не так много сведений. Даже странно: почему имя такого важного в «Советской Персии» человека крайне редко встречается в известных нам архивных документах? Из-за этого возникают различные вопросы. Например, являлся ли Блюмкин на самом деле членом ЦК Иранской компартии?

Как помним, Блюмкин при поручительстве за Есенина и Кусикова в октябре 1920-го действительно предъявлял партбилет члена ЦК Иранской компартии. На первом съезде членами ЦК были избраны 15 человек, но его имени среди них нет. Забегая вперед скажем, что на втором съезде Иранской компартии в октябре 1921 года в ЦК были избраны 18 человек, но Блюмкин не значится и в этом списке.

Теоретически его могли потом ввести в состав ЦК или «кооптировать», но и об этом сведений нет. В сентябре 1920 года вокруг руководства Иранской компартии началась настоящая свара — ЦК обвиняли во всех неудачах. Многие требовали его распустить. Попахивало даже расколом партии. К тому же произошла весьма неприятная история с одним из руководителей партии Абуковым и его женой Булле (тоже членом ЦК). Их обвинили в утаивании партийных денег и исключили из ЦК.

По этим поводам принимались резолюции, писались письма, их подписывали руководители партии. Но странно — фамилия Блюмкина или его псевдоним «Якуб-заде» среди них не встречается.

Конечно, это может быть связано с тем, что в конце августа 1920 года Блюмкин уже был в Баку. То ли из-за болезни, то ли из-за того, что политработники наворотили в Персии множество дел, приведших к «дискредитированию Советской России», Блюмкина в конце августа отодвинули от военной работы и «бросили» на важный организационный участок. Но неужели он настолько утратил интерес к партии? В это верится с трудом.

Каким же образом у Блюмкина появился партбилет члена ЦК Иранской компартии, который он предъявлял следователю ВЧК, когда выручал Есенина и Кусикова? Во-первых, так он мог назвать следователю — для усиления собственной важности — обычный партбилет, и вряд ли работник ВЧК знал фарси, чтобы это проверить.

Вариант второй — Блюмкин «по знакомству» выписал себе в

Персии подобный билет. Как представляется, это нетрудно было сделать — в обстановке всеобщей неразберихи, наступления-отступления, тем более при наличии нужных знакомых. Говорили, что он вообще выписал себе партбилет номер 2. Это, конечно, только слухи, но проделка вполне в его духе.

Вообще, надо учитывать, что в Персии Блюмкин пробыл всего лишь около полутора месяцев. Вряд ли за это время можно было сделать многое. Особенно на ниве «политического перевоспитания персидских масс», за что он и отвечал. По косвенным данным, политической и «комиссарской» работой Блюмкина многие были недовольны. В одном из информационных сообщений о положении в «Персидской Советской Республике», составленном в Энзели 20 октября 1920 года, например, говорилось, что «Политотдел Персармии мало-помалу начинает производительно работать. За последние три недели Политотдел ожил, сделано уже много. Правда, о полной налаженности работы говорить еще рано, но кое-какие плоды есть». Напрашивается вопрос: если в октябре Политотдел только-только начал оживать, то как же там дела обстояли раньше, при Блюмкине?

Что еще известно о его работе в Иране? По некоторым данным, именно там он привлек к работе в разведке Якова Серебрянского, которого сегодня часто называют одним из «выдающихся советских диверсантов». Серебрянский, в прошлом тоже эсер, член Бакинского Совета, после свержения советской власти в Баку бежал в Персию, где и познакомился с Блюмкиным в августе 1920 года. При содействии бывшего однопартийца Серебрянский стал работать в особом отделе штаба «Персидской Красной Армии». Их знакомство с Блюмкиным продолжалось многие годы. И Блюмкин еще будет для Серебрянского и спасителем, и своего рода «крестным отцом».

«За горло английских империалистов и коленом их в грудь!» Персия — Баку — Москва

В конце августа 1920 года перед Блюмкиным была поставлена новая важная задача — он должен был принять участие в формировании персидской делегации на Первый съезд народов Востока.

Двадцать седьмого августа он был уже в Баку. Это известно из донесения советского полпреда в Энзели — Элиава, который сообщал в тот день в Москву: «…завтра думаю выехать в Энзели. Сегодня буду информироваться у приехавшего из Персии Блюмкина о положении дел там».

Сам Блюмкин помимо подготовки персидской делегации к участию в работе Съезда народов Востока вместе с другими «радикалами» писал докладные записки и отчеты в Москву, оправдывая «июльский переворот». В одном из таких документов, подписанных кроме Блюмкина руководителями Иранской компартии Султан-заде, Ага-заде и другими, давалась такая характеристика Кучек-хану: «Местный партизан, неустойчивый, беспринципный, лишенный каких-либо серьезных намерений истинно национально-освободительного характера», хотя и обладающий «исключительно интуитивными способностями и склонностью к народническому либерализму». Авторы записки указывали, что демократы не могут быть «хотя бы временными союзниками в борьбе с международным империализмом» и что революция в Персии «мыслима только как движение крестьянства и городской бедноты», которое должна возглавить Иранская компартия.

Между тем 1 сентября в Баку открылся Первый съезд народов Востока.

Это событие почти забыли, а тогда, в 1920 году, к нему, как принято писать в газетах, «было приковано внимание всей международной общественности». И понятно почему — в Баку приехало более двух тысяч делегатов, представлявших 44 нации, национальности, народности и этнические группы. Примечательно, что только половина из них имела отношение к коммунистическим партиям, некоторые другие участники съезда вскоре перешли в другой лагерь, возглавив, к примеру, отряды басмачей в Средней Азии.

Вообще среди делегатов были разные люди. Например, разведчик Джон Филби — отец будущего знаменитого

британского, а по совместительству и советского разведчика Кима Филби. Или турецкий политический и военный деятель Энвер-паша, которого считают одним из организаторов геноцида армян и греков в Османской империи во время Первой мировой войны. После войны Энвер-паша бежал в Германию, где вступил в контакт с большевиками. С ними он договорился о совместной борьбе против англичан в Средней Азии.

В Баку Энвер-паша выступил с идеей объединения ислама и коммунизма. А вскоре его послали в Туркестан для борьбы с басмачами. Там Энвер-паша им и сдался. Вскоре с группой турецких офицеров он попытался объединить отряды басмачей в одну армию и занял большую часть территории Бухарского эмирата.

Борьбу с войсками Энвер-паши Красная армия вела до августа 1922 года. После серии тяжелых поражений его отряд был окружен, а сам Энвер-паша зарублен во время нападения на его лагерь красной кавалерии[32].

…Вернемся, однако, к съезду. Специальным поездом из Москвы в Баку прибыло руководство Коминтерна во главе с Зиновьевым и Радеком (в одном вагоне с ними ехал и Энвер-паша). Их сопровождала специальная группа кинохроники. На бронепоезде приехал американский журналист и член Исполкома Коминтерна Джон Рид, автор «Десяти дней, которые потрясли мир». Он тоже выступал на съезде. Но эта поездка оказалась для него последней — возвратившись в Москву после съезда, Рид умер 19 октября 1920 года от сыпного тифа. По официальной версии, от того, что «он ел немытые фрукты во время недавней поездки в Баку».

* * *

Персидская делегация оказалась одной из самых больших — 192 человека. Больше была только турецкая — 235 человек. Блюмкин тоже приехал в Баку вместе с представителями Персии, но публично во время работы съезда он никак не проявился. Как известно, например, из изданного в 1920 году сборника стенографических отчетов «Первый Съезд народов Востока», слово ему не предоставляли и в Совет пропаганды и действия народов Востока, который выбрали делегаты, он не вошел. Блюмкин был самым обычным делегатом, который слушал ораторов и «бурно аплодировал» председателю съезда Зиновьеву, говорившему о необходимости объявить английским империалистам священную войну — то есть джихад.

«Да, мы против буржуазии Англии, за горло английских империалистов и коленом их в грудь!» — восклицал Зиновьев с трибуны. Как отмечается в отчете о съезде, его выступление вызвало «бурю аплодисментов, долгие крики „ура!“» — «Члены съезда встают, потрясая оружием, слышны крики: „Клянемся!“». Блюмкин наверняка был среди них.

Вообще, основной пафос Съезда народов Востока сводился к призывам начать революцию и всемирную борьбу против английского империализма.

Писатель Илья Эренбург в романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» так описал мероприятие в Баку: «На съезд я отправился лишь один раз. В большом зале сидели кавказцы в черкесках, афганцы с чалмами, в клеенчатых халатах, бухарцы в ярких тюбетейках, персы в фесках и многие другие. У всех были приколоты на груди портреты Карла Маркса, с его патриархальной бородой. В середине восседал товарищ просто в пиджаке и читал резолюции. Делегаты кивали головами, прикладывали руку к сердцу и всячески одобряли мудрые тезисы. Я слыхал, как один перс, сидевший в заднем ряду, выслушав доклад о последствиях экономического кризиса, любезно сказал молодому индийцу: „Очень приятно англичан резать“, — на что тот, приложив руку к губам, шепнул: „Очень“».

Даже не понять сразу, что это — пародия или описание реального заседания? Похоже и на то и на другое.

В персидской делегации не было единства. Шли споры и ссоры из-за политики нового Ревкома в «Советской Персии». 4 сентября большинство членов делегации (121 человек) провели заседание, на котором выдвинули множество обвинений в адрес ЦК Иранской компартии. И за разрыв с Кучек-ханом, и за «возмутительное отношение» к крестьянам, и за «преступное бегство из Решта, когда фронт был еще в 35 верстах от города», и за «лишение притока средств в кассу Республики», и за многое другое. В итоге группа признала необходимым распустить ЦК Иранской компартии и изучить степень виновности каждого из его членов, а на следующем съезде избрать новый ЦК.

Неизвестно, был ли Блюмкин на этом заседании. Скорее всего, нет. Поскольку он был одним из тех, кто способствовал приходу к власти «радикалов» Эхсануллы и К° и входил, по его словам, в ЦК компартии Ирана, то эти упреки должны были относиться и к нему. Вообще, за время работы съезда он не оставил никаких следов — его фамилия или псевдоним «Я куб-заде» в известных сегодня архивных документах не упоминается. Когда было нужно, он, видимо, умел «ложиться на дно».

Съезд продолжался до 8 сентября. Потом делегаты и гости

начали разъезжаться, а в Москву отправились «посланцы персидских делегатов». Это были представители той же группы, которая потребовала роспуска ЦК. Возможно, вместе с ними в Москву уехал и Блюмкин с женой. Во всяком случае, уже в октябре 1920 года и Блюмкин, и персы «оставляют следы» в столице Советской России. Пока «товарищ Якуб-заде» хлопотал за арестованных Есенина и Кусикова и предъявлял в подтверждение своей важности билет члена ЦК Иранской компартии, персы обращались в ЦК РКП (б) и к Ленину с просьбой распустить этот самый ЦК, назначив следственную комиссию.

В Персию Блюмкин больше не вернется. Встречаются утверждения, будто он там был еще и летом 1921 года, но вряд ли это соответствует действительности. Согласно документам Блюмкин тогда находился уже совсем в другом месте. Короткий «персидский этап» был для него закрыт. Что же касается судьбы «персидской революции», к которой наш герой тоже приложил руку, то ее агония растянулась еще на год.

* * *

Осенью 1920 года бои в Персии шли с переменным успехом. В каком-то смысле персидские события были продолжением Гражданской войны в России — большевики и красноармейцы из советских республик составляли основу «Персидской Красной Армии», а на стороне войск шаха воевали казаки и белые офицеры.

В октябре «красные персы» снова оставили Решт, затем снова заняли его, потом опять сдали. Война приобрела позиционную форму. Тем временем в советском руководстве шли острые дискуссии: что делать с Персией дальше? С правительством в Тегеране начались переговоры о заключении договора о дружбе, что вызвало возмущение Эхсануллы и Ревкома, которые обратились за помощью прямо к Ленину.

Однако Ленин, Троцкий, Чичерин и другие советские руководители тогда уже придерживались умеренной линии. Они полагали, что «персидский проект» не получился и его необходимо постепенно сворачивать. «Экспедиции вооруженных отрядов отбрасывают всю Персию в объятия англичан…» — писал нарком иностранных дел Чичерин. Но горячие кавказские большевики Орджоникидзе, Нариманов, Элиава, Мдивани хотели совсем другого.

Двадцать шестого февраля 1921 года в Москве состоялось подписание советско-персидского договора об установлении

дружественных отношений, а 16 марта в Лондоне — торгового соглашения с Англией, в соответствии с которым большевики обещали воздерживаться «от всякой попытки к поощрению… какого-либо из народов Азии к враждебным британским интересам или Британской Империи действиям». Однако еще с января «кавказцы» совместно с Ревкомом Эхсануллы начали готовить новый поход на Тегеран. Договоренность Москвы с шахским правительством они объясняли «красным персам» просто — советское правительство вынуждено прибегнуть «к испытанной тактике выжидания и маневрирования», а по сути ничего не изменилось.

Дело принимало серьезный оборот. Персидское правительство отказалось даже впускать в страну Федора Ротштейна, назначенного советским полпредом в Тегеране, до тех пор, пока не будет ликвидирована Советская республика. Англичане грозили разорвать торговое соглашение с РСФСР. Чичерин почти истерически призывал немедленно «ликвидировать советскую власть в Гиляне» и «железной рукой прекратить попытки срыва нашей политики в Персии». Но только в мае из Энзели началась эвакуация советских войск, а «Персидская Красная Армия» была объявлена расформированной.

Однако дальше произошло то, чего, похоже, не ожидал никто. Персидские коммунисты, Эхсанулла и другие «полевые командиры» заключили союз. Самое же главное, что к нему присоединился и Кучек-хан. Их воззвание о создании нового, объединенного Ревкома из пяти человек и борьбе за социалистическую революцию начиналось с цитаты из Корана.

В июле Эхсанулла предпринял новый поход на Тегеран. В его войсках было немало «добровольцев», а точнее говоря, недавних бойцов «Персидской Красной Армии» и их командиров. Многие из них носили совсем не персидские имена и фамилии. В этом походе участвовал и Велимир Хлебников, занимавший должность агитатора политотдела Персармии. Именно тогда он и написал свои стихи о том, что Персия будет советской.

Но поход закончился поражением, которое превратилось в бегство. После этого Эхсанулла фактически сошел с арены политической борьбы — он впал в депрессию и курил опиум. К тому же гилянские революционеры перессорились между собой, и отряды, подчиненные разным командирам, вступали друг с другом в стычки. Фактически раскололась и компартия.

Двадцать пятого сентября 1921 года советский полпред в Иране Ротштейн откровенно писал главе Ревкома в Энзели Гейдар-хану: «Я считаю дело революции в Персии совершенно безнадежным… Персия нуждается в спокойствии и в

освобождении ее из-под империалистического ига чужестранцев. И то и другое возможно лишь при усилении центральной власти и обновлении экономической жизни… Задача истинного революционера далеко не всегда заключается в бряцании оружием и учинении местных вспышек и выступлений»[33].

Девятого ноября 1921 года Орджоникидзе и Киров сообщили из Баку Ленину и Сталину о том, что «в Персии все окончено». «Энзели занят русскими (имелись в виду белоказачьи отряды, которые находились на службе в иранской армии. — *Е. М.)*. Человек 30 во главе с Эхсануллой прибыли в Баку, остальные разошлись там же… Кучук-Хан сбежал в лес, преследуемый русскими войсками» (точнее сказать — иранскими правительственными войсками. — *Е. М.)*.

Кучек-хан ушел не в лес, а в горы, где сумел продержаться еще некоторое время. В декабре его, обмороженного и полумертвого, обнаружил отряд одного из иранских помещиков. В 1922 году о судьбе Кучек-хана писал Велимир Хлебников:

«Я узнал, что Кучук-хан, разбитый наголову своим противником, бежал в горы, чтобы увидеть снежную смерть, и там, вместе с остатками войск, замерз во время снеговой бури на вершинах Ирана. Воины пошли в горы и у замороженного трупа отрубили жрески прекрасную голову и, воткнув на копье, понесли в долины и получили от шаха обещанные 10 000 туманов награды…

Он, спаливший дворец, чтобы поджечь своего противника во сне, хотевший для него смерти в огне, огненной казни, сам погибает от крайнего отсутствия огня, от дыхания снежной бури».

Голову Кучек-хана выставили в Реште на всеобщее обозрение возле городских казарм, где еще совсем недавно размещались части «Персидской Красной Армии».

«Персидская революция» закончилась.

Военная академия. Странное личное дело Блюмкина

Осенью 1920 года Блюмкин возвращается в Москву. Он появляется в «Стойле Пегаса» и других кафе, рассказывает друзьям-поэтам о Персии, и те слушают его раскрыв рты. К романтическому образу «бесстрашного террориста» и революционера добавились еще и черты какого-нибудь «Лоуренса Аравийского»[34], тайного агента, выполняющего секретные миссии за границей, только советского разлива. Сам Блюмкин старался всемерно соответствовать этому представлению.

Журналист Виктор Серж-Кибальчич встретил в это время Блюмкина на улице — «еще более мужественного и еще с более гордой осанкой, чем прежде». «Его суровое лицо, — вспоминал Серж, — было гладко выбрито, высокомерный профиль напоминал древнееврейского воина. Он декларировал стихи Фирдоуси и печатал статьи в стиле Фоша[35] „Моя персидская повесть“. Там нас было несколько сотен — плохо экипированных русских. Однажды пришла телеграмма от Центрального комитета: „Умерьте ваш пыл, революция в Иране сейчас идет на попятную…“ А мы ведь могли взять Тегеран».

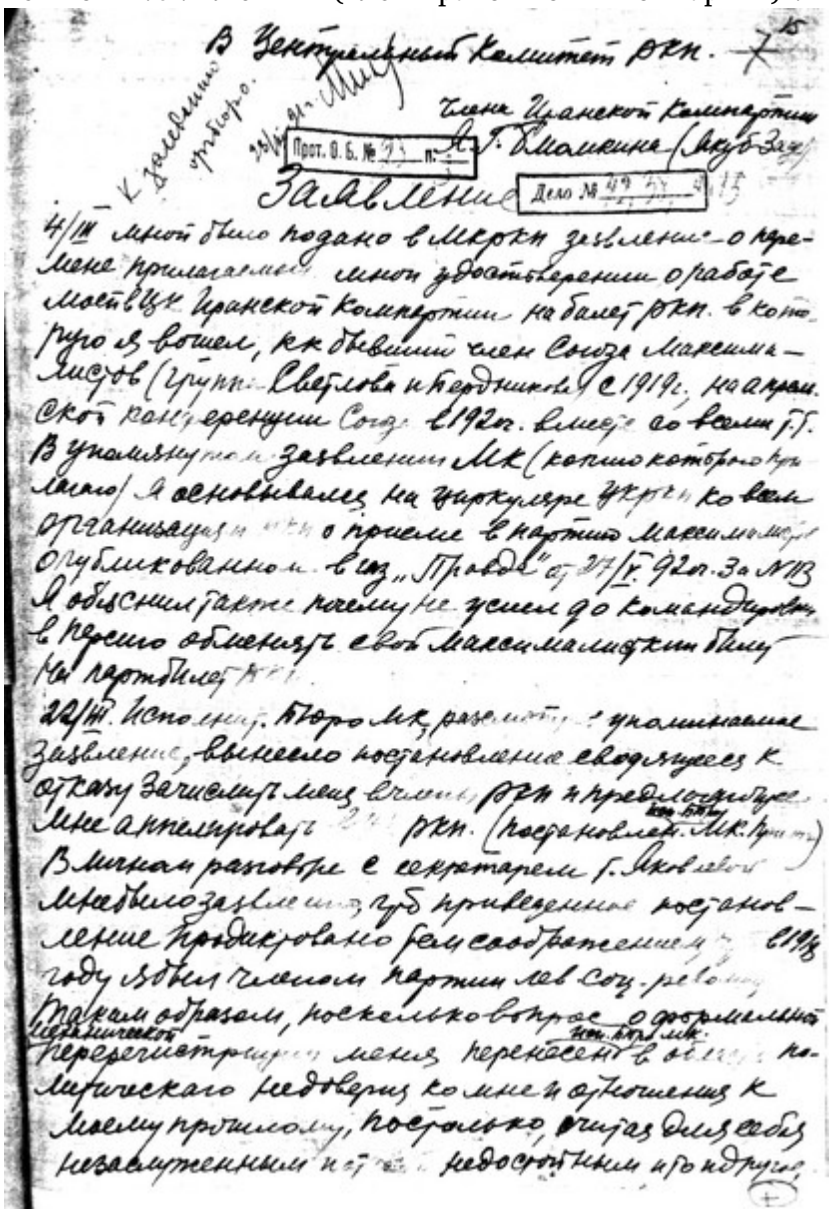
По словам Сержа, Блюмкин тогда оправлялся после перенесенной болезни и «готовился к руководству деятельностью спецслужб на Востоке». Последнее, впрочем, явное преувеличение.

Через некоторое время после возвращения из Персии Блюмкин решил уладить свои партийные дела. 4 марта 1921 года он написал заявление в Московский комитет РКП(б) с просьбой о приеме его в компартию.

Вообще, с партийностью нашего героя ситуация сложилась довольно запутанная. Как уже говорилось ранее, после своего разрыва с левыми эсерами он состоял в Союзе социалистов-революционеров-максималистов. В апреле 1920 года на конференции союза большинство делегатов (и Блюмкин) проголосовали за слияние с РКП(б).

Блюмкин считал себя коммунистом, хотя и объяснял, что в связи со срочной командировкой в Персию он не успел «обменять свой максималистский билет на партбилет РКП». «Этим обстоятельством, — писал Блюмкин, — организационно я был совершенно оторван от РКП, хотя политически являлся ее членом с момента упомянутой максималистской конференции». «Теперь, — продолжал он, — имея возможность представить все

необходимые документы, я настоящим заявлением прошу МК РКП утвердить меня членом партии и выдать партбилет. С тов. привет <ом>. Я. Блюмкин (член Иранск<ой> Компартии)».


В Центральный Комитет РКП.

К заявлению

Член Иранской Коммунистической

Прот. О. Б. № 71 п. 4

Я. Г. Блюмкина (Якуб-Заде)

Дело № 49

Заявление

4/III мной было подано в МК РКП заявление о приеме меня принадлежащем мной удостоверении о работе Иранской Компартии на благо РКП. в которую я вошел, как бывший член Союза Максималистов (группа Светлова и Бедного) с 1919г. на Апрельской конференции Союза с 1920г. вышел со всей г.

В упомянутом заявлении МК (копию которого прилагаю) я основывался на циркуляре ЦК РКП ко всем организациям о приеме в партию Максималистов опубликованном в газ. „Правда" от 27/V. 920г. за №113 я объяснил также почему не успел до командировки в Персию обменять свой Максималистский билет на партбилет РКП.

22/III. Исполнительное Бюро МК, разобрав упомянутое заявление, вынесло постановление сводящееся к отказу Зачислить меня в члены РКП и предложило мне аннулировать РКП. (постановление МК. прилагается)

В личном разговоре с секретарем г. Яковлевой мне было заявлено, что приведенное постановление продиктовано ей соображением о том, что в 1918 году я был членом партии лев. Соц.-рев. Таким образом, поскольку вопрос о формальной перерегистрации меня перенесен в область политического недоверия ко мне и отношения к моему прошлому, постольку, считая для себя незаслуженным подобное недостойным и обидным

Однако… Блюмкину отказали! В личном разговоре ему заявили, что отказ связан с его эсеровским прошлым. Возмущенный Блюмкин написал еще одно заявление — уже в ЦК РКП(б) — от имени «члена Иранской компартии Я. Блюмкина (Якуб-Заде)».

В заявлении он еще раз излагал свою биографию и замечал:

«В свете всех этих фактов постановление МК РКП, относящееся всецело к далекому, скоро сгоревшему в огне революции, прошлому 18 года, кажется мне не только неосновательным и недопустимым, поскольку я уж принес РКП столько пользы, сколько может принести активный преданный работник, хотя и „молодой“ в партии.

Это постановление еще и противоречиво, и потому, что в рядах РКП сейчас находятся тт., которые еще так недавно были активистки настроенными левыми и которые теперь „безупречные“ коммунисты, в то время, когда они разорвали с партией на 2 года позже, чем я. И скомпрометированы… не только июльскими событиями».

Оргбюро ЦК Коммунистической партии слушало дело Блюмкина 20 апреля 1921 года. Было принято решение собрать о нем все сведения и еще раз заслушать в присутствии Дзержинского. Для него в этом случае все закончилось благополучно — в конце концов Блюмкина приняли в партию.

* * *

Когда Виктор Серж встретил Блюмкина, он обратил внимание на то, что тот одет в форму слушателя Академии Генштаба. Ничего удивительного — он к тому времени уже был слушателем Восточного отделения Академии. «Вернувшись осенью 1920 г. (из Персии. — *Е. М.),* я поступил в военную академию РККА…» — писал он в автобиографии.

Академия Генерального штаба РККА была основана приказом Реввоенсовета Республики № 47 от 7 октября 1918 года. Академия должна была готовить кадры высшего и среднего комсостава для Красной армии (в августе 1921 года Академию преобразовали в общевойсковую и переименовали в Военную академию РККА).

Приказом от 29 января 1920 года за подписью Троцкого при Академии было открыто Восточное отделение (потом — отдел, а еще позже — факультет). Учитывая интерес советской власти к Востоку, создание такого отделения представляется вполне логичным. Планировалось, что оно будет готовить

квалифицированных «в военной, политической и социально-политической областях товарищей для работы на восточном направлении». Если называть вещи своими именами, то речь шла о подготовке военных разведчиков, военных специалистов и советников, военных дипломатов.

Вскоре на основной курс Восточного отделения начали зачислять слушателей по направлению Наркомата иностранных дел и Государственного политического управления (ГПУ), ставшего с февраля 1922 года преемником ВЧК.

«Академия Генерального штаба была расположена на Воздвиженке в доме, где раньше был Охотничий клуб, — вспоминал однокашник Блюмкина Александр Бармин, впоследствии разведчик и дипломат (кстати, генеральный консул СССР в Гиляне в 1923–1925 годах), сбежавший за границу в 1937 году. — По сторонам огромной центральной лестницы стояли два медвежьих чучела с подносами для визитных карточек. Стены были украшены оленьими рогами и другими охотничьими трофеями. Именно в этой экзотической обстановке нас встретил начальник академии, пожилой генерал Андрей Евгеньевич Снесарев, в прошлом исследователь Центральной Азии. Встретил он нас с безукоризненной вежливостью и, как мне показалось, с большим любопытством.

В академии не было ни одного преподавателя, отличившегося во время революции. Весь штат состоял из бывших генералов императорской армии, знаменитых, награжденных, нередко известных за пределами своего профессионального круга».

Блюмкин начал специализироваться по Персии. Что же, вполне логично. Опыт практической работы в этой стране — хотя и не очень большой — у него уже был. Но интересно: кто именно его рекомендовал в Академию?

На каждого слушателя отделения, разумеется, заводилось личное дело. Архивный поиск почти сразу же принес результат — в каталоге Российского государственного военного архива (РГВА) значилось и личное дело Блюмкина Я. Г. Но дальше начались сюрпризы, впрочем, уже привычные в этой истории.

Сначала сотрудники архива долго не могли разыскать это дело и высказывали предположения, что оно потеряно, а его следы остались только в каталоге. Но нет — дело Блюмкина все же нашлось. Правда, оно оказалось подозрительно тонким.

Дальше — больше. В бумажной папке синего цвета обнаружился только один лист. Это была напечатанная с двух сторон анкета без названия. И практически пустая. О том, что «Дело № 335» имело отношение к Блюмкину, подтверждали лишь записи в графах «Фамилия», «Имя» и «Отчество»: «Блюмкин Яков

Григорьевич». «Отдел и должность» — «Разъездной инспектор Политотдела». Из анкеты следует, что на эту должность он назначен 12 июля 1919 года и был командирован в Московско-Ярославский округ «для инспекции» 14 июля 1919 года. Уволен с этой должности 7 октября того же года.

Это всё. Все остальные графы — «Время рождения», «Происхождение», «Образование», «Воинское звание» и пр. — оказались незаполненными. Кроме этой анкеты в архиве не было обнаружено никаких документов, связанных с обучением Блюмкина в Военной академии — ни характеристик, ни зачетных ведомостей и т. п.

Как и чему учился Блюмкин на Восточном отделении Военной академии, можно, однако, судить по косвенным сведениям. В 1923 году в Москве вышел сборник «Военная академия за пять лет» с монументальной фигурой на обложке Троцкого, простирающего руку куда-то вдаль на фоне парящих в небе аэропланов (которого изобразил известный художник Юрий Анненков).

Среди статей о различных областях работы Академии есть и такая: «Восточный отдел Военной Академии». Ее автор — Батырбек Абуков, один из недавних руководителей Иранской компартии и создателей «Персидской Красной Армии». Судя по тому, как подробно Абуков описывает особенности учебного процесса на Восточном отделении, он, похоже, имел отношение к его администрации. Возможно, Абуков сыграл свою роль и в том, что Блюмкина приняли в число слушателей отделения — они хорошо знали друг друга по Персии.

Сначала занятия на Восточном отделении начинались в 18.00 и заканчивались в 21.15. Слушатели занимались в общей сложности по 24 часа в неделю. Так что у Блюмкина оставалось время для общения с поэтами и сидения в кафе. Лекции проходили без строгой регулярности, да и вообще в первый год существования Восточное отделение больше походило на языковые курсы. С 12 февраля по 30 декабря 1920 года было прочитано 7689 часов лекций по восточным языкам, 2560 часов по языкам западным, 45 часов по общеобразовательным предметам и 52 часа по страноведению. Но постепенно ситуация менялась.

Примерно со второй половины 1921 года учебный процесс Восточного отделения (в 1922 году оно было переименовано в Восточный отдел) стал упорядочиваться и становиться более напряженным. Слушатели начали изучать социально-политические, военные, юридические дисциплины. Им, к примеру, преподавали такие совершенно разные предметы, как

железнодорожное хозяйство, мусульманское право или история социализма. Изучались как западные языки — английский, французский, так и восточные — арабский, китайский, японский, турецкий, урду, персидский.

«Жизнь в академии была очень примитивной, — вспоминал Александр Бармин. — Мы были лишены какого-либо комфорта, к которому привыкли в Оксфорде или Сорбонне. Конечно, республика заботилась о нас, но то, что она нам давала, было одновременно и мало и много: питание, жилье и форму. Последняя отличалась известным шиком. Многие из нас носили темно-красные кавалерийские галифе с желтыми лампасами. Рослые, загорелые парни ходили из класса в класс во всем этом великолепии с орденами на защитных или голубых гимнастерках, в сапогах, со стопками книг и буханками хлеба под мышкой. Вместе со своими учителями, бывшими генералами императорской армии, они терпеливо стояли в очереди за талонами на питание. К двум часам дня мы, как правило, уже съедали свою дневную норму хлеба, получали жидкий суп, и, чтобы заглушить чувство голода, нам оставалось только пить несладкий чай».

Обучение длилось три года. После второго курса слушатель должен был написать и защитить работу по определенной теме. Затем предполагалась шестимесячная стажировка в стране изучаемого языка. То есть Блюмкину вновь «светила» Персия, где его знали под именем «Якуб-заде». Если бы, конечно, его туда теперь впустили. Впрочем, до этого дело так и не дошло.

В 1922 году штатное расписание Восточного отдела включало в себя начальника, комиссара, двух старших преподавателей (один — по Ближнему и Среднему Востоку, другой — по Дальнему Востоку), 17 преподавателей и 80 слушателей. На 27 сентября 1922 года в Восточном отделе числились 73 слушателя.

В августе 1921 года начальником Академии был назначен командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский, но год спустя он снова уехал к месту своей основной службы.

Что можно сказать об академических успехах Блюмкина? Да почти ничего. Как уже говорилось, в его личном деле нет никакой информации о его отметках, выполненных учебных работах, характеристиках — в общем, всего того, что обычно остается в учебном заведении после студента, курсанта или даже школьника.

В сборнике «Военная академия за пять лет» есть глава «Наши герои». Блюмкина, понятно, среди них нет. Но там нет и многих других слушателей и выпускников 1920-х годов, кто оставил заметный след в истории советской разведки и дипломатии.

Восточное отделение, к примеру, окончили бывший левый эсер и начальник Блюмкина по ВЧК Григорий Закс, будущий маршал Советского Союза и герой Сталинграда Василий Чуйков, известный советский разведчик и один из организаторов убийства Троцкого Наум Эйтингон, первый руководитель Института военных переводчиков и один из первых советских футбольных судей генерал-лейтенант Николай Биязи и другие известные люди.

Что касается Блюмкина, то вряд ли он был прилежным учащимся. Хотя нет никаких оснований полагать, что учиться он не хотел. Как многие люди «из низов», он жадно стремился к знаниям. Другое дело, что слишком «живой» (одна из конспиративных кличек Блюмкина, кстати, была «Живой») характер «романтика революции», думается, мало способствовал тому, чтобы день ото дня корпеть над конспектами. Да и обстановка в стране пока не позволяла спокойно учиться.

Курсантов и слушателей Академии то и дело отрывали от занятий и бросали в «горячие точки», которых тогда было предостаточно. Весной 1921 года им было приказано круглосуточно оставаться в стенах Академии. Слушателям раздали винтовки, ночевали они в аудиториях, которые на ночь превращались в казармы. Обстановка была серьезной: в Кронштадте вспыхнуло восстание моряков под лозунгом «За Советы без коммунистов!», в Тамбовской губернии разгоралась крестьянская война[36].

Многие из будущих «красных Генштабистов» сами весьма охотно покидали Академию, уезжая заниматься привычной им «боевой работой». В этом смысле интересен пример знаменитого Василия Ивановича Чапаева, который был принят в Академию одним из первых, оказался довольно способным слушателем, но через несколько месяцев попросился обратно на фронт. «Преподавание в академии мне не приносит никакой пользы, — писал Чапаев в январе 1919 года, — что преподают, это я прошел на практике. Вы знаете, что я нуждаюсь в общеобразовательном цензе, которого я здесь не получаю»[37]. В феврале того же года он снова вернулся на фронт.

«Из четырехсот наших курсантов… — писал Бармин, — сто пятьдесят погибли на „боевой практике“. Из тридцати человек моего класса пятнадцать погибли за четыре месяца».

Блюмкин писал в автобиографии, что учился в Академии, «неоднократно самомобилизуясь на внутренние фронты, на разные командные должности». Эти «внутренние фронты» в конце концов и стоили ему академической карьеры.

«А мне бы только любви немножечко…» Любовь, война и товарищ Троцкий

Вскоре после возвращения из Персии в Москву Блюмкин поселился в Большом Афанасьевском переулке, в квартире Кусиковых. Ему выделили маленькую, зато отдельную комнату. Эту комнату делила с ним и его жена.

Все-таки Шершеневич напрасно писал о Блюмкине:

> А мне бы только любви немножечко
> Да десятка два папирос.

В реальной жизни ему нужно было гораздо больше. Не в том примитивном смысле, когда мечтают о сундуках с золотом, банковских счетах или роскошных виллах. Наверное, Блюмкин не отказался бы от хорошей жизни, но все же главную цель видел в другом — в переустройстве мира при своем активном участии. И, как человек тщеславный и эгоцентричный, более всего хотел, чтобы его имя осталось в истории.

Как известно, «продолжительные думы» Васисуалия Лоханкина из «Золотого теленка» тоже сводились к «приятной и близкой теме»: «Васисуалий Лоханкин и его значение» или «Лоханкин и его роль в русской революции». Но не стоит сравнивать этого карикатурного персонажа с нашим героем, который все же не лежал на диване, предаваясь мечтаниям. Ради идеи, в которую Блюмкин, безусловно, верил («кто был ничем, тот станет всем»), он готов был действовать, менять окружающую действительность и не жалеть себя. Правда, и других тоже. Покоя в жизни он явно не искал. Что же до любви…

* * *

Как помним, с первой женой (или невестой) Лидой Соркиной он расстался, и она даже участвовала в покушении на него. Однако к моменту отъезда в Персию, то есть к июлю 1920 года, он был уже женат. И надеялся, что всерьез и надолго. Не зря же его жена отправилась с ним в неспокойную Персию, где шла война и свирепствовали тиф и малярия. Значит, была готова разделить судьбу мужа.

Его избранницей на этот раз стала Татьяна Файнерман. Она была старше Блюмкина на три года — родилась в 1897 году в

городе Вознесенске Херсонской губернии. Ее отец пользовался немалой известностью в литературных и журналистских кругах. Его знали Горький, Чехов, Леонид Андреев и даже Лев Толстой. Именно благодаря Толстому Файнерман добился известности, которая, впрочем, имела явно нездоровый оттенок.

В молодости Исаак Файнерман увлекался чтением (и учением) Толстого и стал ярым толстовцем. Он переехал в Ясную Поляну, принял православие, работал там учителем в сельской школе, которую создали Толстой и его дочери. Потом уехал в Кременчуг и там усиленно проповедовал толстовство. Интересно, что одним из тех, кто слушал его рассуждения об «опрощении» и «нравственном самосовершенствовании», был молодой полтавский семинарист Георгий Гапон — будущий «провокатор поп Гапон». А молодой и увлекавшийся в 1893–1894 годах толстовством дворянин Иван Бунин учился под руководством Файнермана ремеслам, за счет которых существовали толстовские общины[38].

Исаак Файнерман занимался еще много чем — столярным делом, лечением зубов, но известным стал после того, как начал писать в газеты и журналы под псевдонимом «Тенеромо». Почти сразу же он нащупал «золотую жилу» — свое знакомство с Толстым. Тенеромо выпустил несколько книг и множество статей о писателе — в том числе и свою переписку с ним. Они принесли ему скандальную славу. О Тенеромо говорили, что он «продает Толстого оптом и в розницу», «эксплуатирует факт знакомства с гением» и печатает о нем «слухи и прочую галиматью».

Рассказывали, например, что Тенеромо мог целыми днями просиживать возле забора у имения Толстых и наблюдать в щелочку за всем происходившим, а через несколько дней в какой-нибудь крупной газете появлялась огромная статья «Как живет и работает великий писатель Лев Николаевич Толстой и как он разговаривает с пташками и букашками».

Чехов как-то поиронизировал: «Тенеромо часов не вытаскивал, кошельков не воровал и золотых коронок изо рта не выкручивал, но он делал несоизмеримо худшие вещи: устно и печатно выдавал себя за друга и конфидента Толстого, Чехова, Андреева».

Исаак Файнерман-Тенеромо был, однако, человеком не без способностей и к тому же оперативным. Он быстро понял, какие перспективы открывает перед литератором синематограф, и стал одним из первых киносценаристов в России. Он организовал съемки похорон Толстого в 1910 году, а два года спустя по его сценарию Яков Протазанов и Елизавета Тиман сняли немой художественный фильм «Уход великого старца» — о последних

днях жизни Толстого.

Этот фильм вызвал небывалый общественный скандал. Дети писателя назвали его «возмутительным надругательством над памятью отца», а журнал «Вестник кинематографии» в том же 1912 году с негодованием писал:

> «В самом деле, неужели же идеал кинематографии и высшее напряжение ее интересов в том и заключаются, чтобы показать, как Лев Николаевич готовит из полотенца петлю, зацепляет его за крюк и (нам стыдно писать это!) просовывает в эту петлю свою голову, или как Софья Андреевна (жена Л. Н. Толстого. — *Е. М.)* бежит к пруду с намерением утопиться и затем падает на землю, дрыгая ногами?»
>
> Скандал вызвал и другой фильм по его сценарию — «Безумие пьянства». 22 мая 1914 года газета «Раннее утро» в рубрике «Мир экрана» сообщала:
>
> «В одном из специальных кинематографических журналов появилось возмутительное объявление. Приводим его текст дословно:
>
> „Сенсация! К борьбе с пьянством драма наших дней ‘Безумие пьянства’ по сценарию И. Тенеромо со слов Льва Николаевича Толстого“.
>
> В погоне за сенсацией гг. авторы сценариев переходят всякие границы приличия, самовольно распоряжаясь даже такими именами, как имя Л. Толстого.
>
> Г. Тенеромо написал с его слов сценарий, а нашелся даже такой кинематографщик, который выпускает на рынок сценарий, написанный самим гр. Толстым.
>
> Нужно ли добавлять, что гр. Л. Н. Толстой ни одного сценария не написал и никому тем для них не давал. Пора очистить русскую кинематографию от подобных авторов сценариев. Они только компрометируют ее».

В советское время Тенеромо стал одним из сценаристов фильма «Еврейское счастье» по рассказам Шолом-Алейхема. Среди сценаристов был Исаак Бабель, а главную роль в фильме сыграл Соломон Михоэлс. Умер Файнерман-Тенеромо в 1925 году, оставив о себе весьма противоречивую память.

Вернемся, однако, к его дочери и Блюмкину.

Они познакомились осенью 1919 года. По крайней мере на допросах в Министерстве государственной безопасности в 1950 году Татьяна Файнерман говорила следующее: «Я сошлась с Блюмкиным осенью 1919 года и прожила до 1925 года».

Она окончила гимназию в Елисаветграде с золотой медалью, училась в Киевском медицинском институте, затем — на медицинском факультете Московского университета. 25 июля 1920 года ее мобилизовали и направили на работу в Управление военного комиссара московских медфакультетов. Вскоре она отправилась с мужем в Персию.

После Персии Татьяна Файнерман вернулась на медицинский факультет, но в 1922 году решила поменять специальность и поступить в Высший литературно-художественный институт (ВЛХИ). В заявлении, поданном в приемную комиссию, она писала: «Живя и воспитываясь в семье журналиста и литератора… я всегда глубоко интересовалась литературой, историей, гуманитарными науками. Мои литературные начинания относятся к 1913–14 гг., но действительность показала, что для воплощения в жизнь творческих замыслов мне необходимы знания, систематические занятия, приобрести которые я смогу, работая в Литературно-художественном институте». В институт ее приняли — в Российском государственном архиве литературы и искусства сохранилось личное дело студентки Файнерман.

Их семейная жизнь вряд ли протекала спокойно. Яков то был занят учебой, то кутил с друзьями в кафе, то пропадал в командировках на «внутренних фронтах», а их в 1921–1922 годах в Советской России было предостаточно.

Известно, что за время учебы в Академии Блюмкин находился в «боевых командировках» по крайней мере дважды. Летом 1921 года его направили в 27-ю Омскую дивизию, которая воевала на «внутреннем фронте» в Нижнем Поволжье, иными словами, подавляла крестьянские восстания. Дивизия была «с традициями» — созданная в 1918 году, участвовала в Гражданской войне, подавляла Кронштадтский мятеж в марте 1921-го и восстание крестьян в Тамбовской губернии. По приказу РВС СССР от 26 сентября 1925 года она получила наименование 27-й Омской Краснознаменной им. Итальянского пролетариата стрелковой дивизии. В истории осталась даже песня о ней:

В степях приволжских, в безбрежной шири,
В горах Урала, в тайге Сибири,
Стальною грудью врагов сметая,
Шла с красным стягом Двадцать седьмая…

Ее видали мятежным мартом
На льду залива форты Кронштадта.
Стальною грудью врагов сметая,
Шла с красным стягом Двадцать седьмая.

И труд свободный оберегая,
Стоит на страже Двадцать седьмая.
Стальною грудью врагов сметая,
Стоит на страже Двадцать седьмая.

Но если вспыхнет сражений пламя,
Взовьется снова алое знамя.
Стальною грудью врагов сметая,
Пойдет в атаку Двадцать седьмая!

Летом 1921 года этой дивизией командовал Витовт Путна. Ее штаб, или, как тогда писали в сводках, «штаб. войск низовий Волги» («штаб Низволги» 15 июля был переименован в штаб 27-й Омской стрелковой дивизии) находился в Саратове. Там же располагался и штаб 79-й стрелковой бригады, в которую был направлен Блюмкин. Командовал бригадой Григорий Хаханьян.

Бригада гонялась за «бандитами». В оперативной сводке за 21 июня, например, говорилось, что «в связи с появлением банд в Холерском районе б<атальо>н 236 полка с командой пулеметной и разведчиков <в> 23 часа 50 мин. 20.6. выступили из сл. Елань…». 25 июня сообщалось, что «79 бригада <отправлена> для ликвидации банд на островах р. Волги в районе Щербаково — Кресты из Камышина на буксире „Переправа“ в 16 час. 30 мин.» и т. д.

Интересно, что в связи с переходом на «штаты мирного времени» бригаду хотели расформировать, но не успели и начали формировать снова. Очевидно, это было связано с всплеском крестьянских восстаний. К 1 августа 79-я бригада дислоцировалась в Саратове и насчитывала, согласно сводке от 28 июля, 968 бойцов, а всего «1865 едоков».

По некоторым данным, Блюмкин был назначен на должность временно исполняющего обязанности начальника штаба 79-й бригады, а потом стал и временно исполняющим обязанности комбрига, но в обнаруженных архивных документах эти назначения никак не отражены. Во всяком случае, Блюмкин, вероятно, находился в Поволжье не очень долго. В начале сентября он был уже совсем в другом конце страны.

В конце августа 1921 года Блюмкина назначили начальником штаба 61-й бригады 21-й Пермской дивизии. Бригада действовала в Сибири — в районах Барнаула, Кузнецка, Новониколаевска, Бийска. Ее основные задачи, как и задачи 79-й бригады, заключались в «борьбе с бандитизмом», то есть с

контрреволюционными выступлениями местного населения.

В Российском государственном военном архиве сохранилась целая пачка телеграмм, которыми обменивались командования 61-й бригады и 21-й дивизии, в которую бригада входила. Фамилия Блюмкина в них действительно встречается, и не раз. Первая оперативная сводка за подписью «врид (то есть временно исполняющий дела. — *Е. М.)* начштабриг 61 Блюмкин», посланная начальнику штаба дивизии в Барнаул, датирована 28 августа 1921 года.

Сводки направлялись ежедневно, и судя по их содержанию, бригада в целом находилась в относительно спокойных условиях. Любопытная деталь: телеграммы полны грамматических ошибок, что часто затрудняет их прочтение. Уровень образования телеграфистов, служивших в Красной армии тогда, все-таки оставлял желать лучшего. Вот наиболее характерный пример (орфография сохранена):

> «НАЧШТАДЫВУ 21 БАРНАУЛ
> ЧЕРЕЗ ПАЛИДКОМА БР НОВОНИКОЛАЕВСКА (то есть телеграмма направлена через политкома — политического комиссара — бригады из Новониколаевска. — *Е.М.)*
> 1921 Г 12 СЕНТЯБРЯ ОПЕРСВОДКА 15 ЧАС…
> ПО РАЙОНЕ РАЗПАЛАЖЕНИЯ 181 ПАЛКА И УЧАЗТКА ОХРАНЫ ЖД 183 ПАЛКА БИС ПЕРЕМЕН
> ОТ 182 ПАЛКА СВЕДЕНИЙ НЕ ПАЗТУПАЛО…
> НШТАДБРИГ 61 БЛЮМКИН ВАЕНКОМ РЯБОВ АДЪЮТАНТ БУДКОВ».

Иногда, впрочем, случались боестолкновения: в оперсводке от 9 сентября, к примеру, говорится, что «для ликвидации бандитов в районе деревне Маровково, что 15 верст северо-восточнее г. Кузнецк от Свободбатальона 61 бригады 8 сентября направлен отряд в числе 65 штыков при 2-х пулеметах». По некоторым данным, позже Блюмкин заменял и комбрига.

Осенью 1921 года Блюмкин вернулся из Сибири в Москву, чтобы продолжить учебу. Но окончить Академию ему не удалось. В 1922 году его отчислили.

Почему это произошло? Никаких документов, связанных с этим событием, в архивах не обнаружено. По одной версии, Блюмкин оказался «жертвой обстоятельств». Осенью 1922 года в Академии началась «большая чистка». Из нее отчислили почти половину курсантов и слушателей. «Чистка» объяснялась тем, что слишком «пестрый состав слушательской массы парализовал целесообразные учебно-административные мероприятия» и к

тому же многие слушатели больше времени проводили в командировках, чем в учебных аудиториях.

Будучи слушателем Восточного отделения, Блюмкин уже проходил одну чистку — партийную, которой была охвачена вся РКП(б). Стояла задача очиститься от «чуждых элементов», так что «партчистки» шли во всех организациях и советских учреждениях. По результатам отчетов партийцев и собеседований с членами партии партийные организации решали — оставлять их «в рядах» или исключать. В Военной академии через «чистку» прошел даже ее начальник Михаил Тухачевский. Блюмкин тоже тогда не стал исключением.

Однокашник Блюмкина по Восточному отделению Александр Бармин писал в мемуарах:

«Следующим вызвали широкоплечего слушателя с гордой осанкой, Якова Блюмкина. Если бы Блюмкин мог дать волю своему красноречию, то перед слушателями развернулась бы одна из самых романтических и авантюрных историй.

— По рождению я еврей, из буржуазии, — начал свою исповедь Блюмкин. — После гимназии стал профессиональным революционером. Состоял в левом крыле партии эсеров, во исполнение решения партии в июле тысяча девятьсот восемнадцатого года убил германского посла графа Мирбаха. Организовывал и руководил деятельностью подпольных групп в тылу Белой армии на Украине. В составе партизанских групп выполнял специальные задания, несколько раз был ранен. В качестве члена ЦК Компартии Персии вместе с Кучук-ханом принимал участие в революции в этой стране.

Комиссия тогда решила, что слушатель Блюмкин достоин „высокого звания члена партии пролетариата“.

Но с учебой дело обстояло хуже, чем с партией. И „учебную чистку“ Блюмкин, судя по всему, уже не прошел и был отчислен из Академии.

5 октября 1922 года Реввоенсовет Республики разослал специальный циркуляр, в котором говорилось, что отчисление из Академии „безусловно, не имеет сколько-нибудь дискредитирующего значения, а свидетельствует о том, что данное лицо при имеющемся служебном стаже и полученной общей подготовке не соответствует прохождению курса высшего военно-учебного заведения. В условиях же практической работы откомандирование для многих должно явиться благоприятным моментом, позволяющим пополнить существующие пробелы“. Отчисление не закрывает в будущем путь в Академию».

По другой версии, отчисление Блюмкина было связано с иными обстоятельствами — его взял к себе на работу «демон

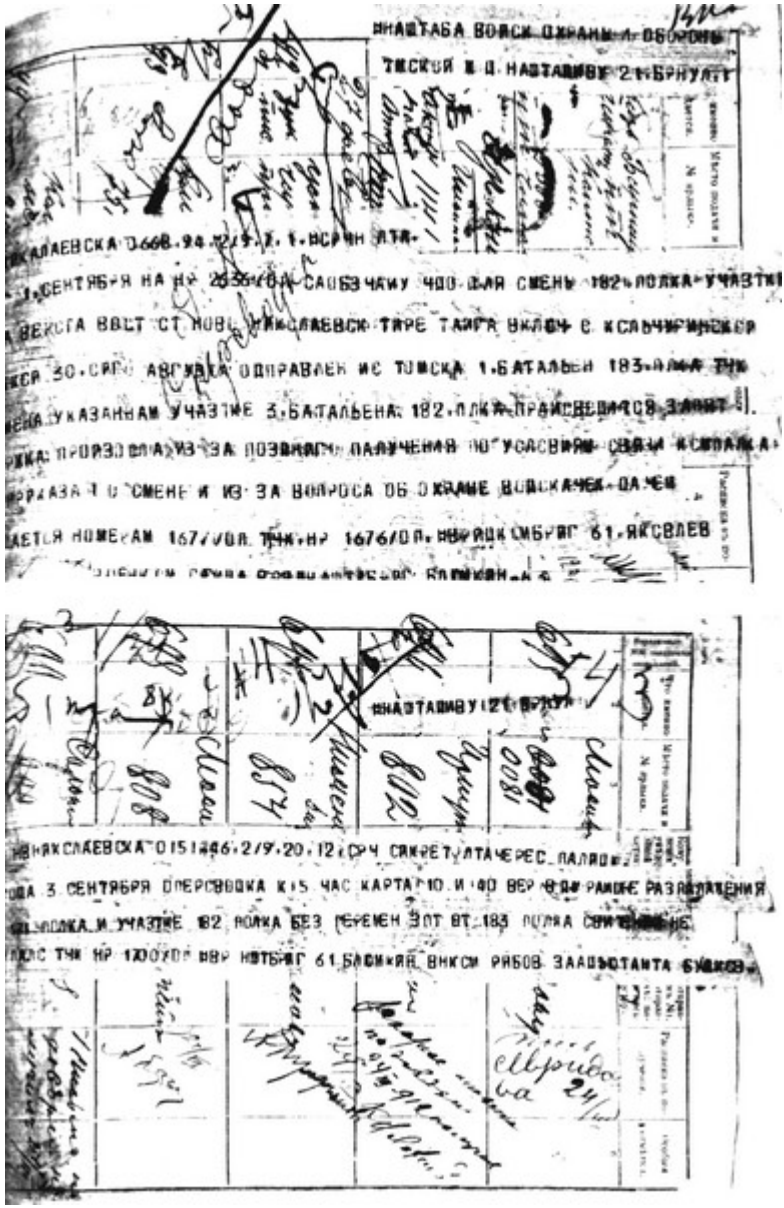
революции», нарком по военным и морским делам Лев Троцкий.

«Когда я нуждался в храбром человеке, Блюмкин был в моем распоряжении». Рядом с Троцким

Лев Троцкий, которому в октябре 1921-го исполнился 41 год, находился на пике своего политического могущества и жизненного расцвета. Уже упоминавшийся писатель и коминтерновец Виктор Серж писал о нем: «В сорок один год — на вершине власти, популярности и славы, трибун Петрограда во время двух революций, создатель Красной Армии, которую он, по словам Ленина, буквально „вытащил из небытия“, внесший непосредственный вклад в победу во многих решающих битвах, признанный организатор победы в гражданской войне…» Сам Троцкий позже вспоминал, что в его руках «сосредотачивалась власть, которую практически можно назвать беспредельной».

Он занимал ключевые в РСФСР посты народного комиссара по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета Республики. Школьные тетрадки выпускались с его портретами и цитатами, вроде: «Грызите молодыми зубами гранит науки». В 1920-х годах в стране появилось два города с названием Троцк. Первый — это нынешняя Гатчина под Санкт-Петербургом, второй — нынешний Чапаевск в Самарской области.

В советских учреждениях висели, как правило, два портрета — Ленина и Троцкого. Лев Давидович, безусловно, был вторым человеком в партии и государстве после Ильича. А в каком-то смысле даже первым.



Телеграммы об оперативной обстановке в районах действия 61-й бригады 21-й Пермской дивизии, подписанные начальником штаба бригады Я. Блюмкиным. Сентябрь 1921 г. РГВА. Публикуются впервые

Революционной молодежи — таким как Блюмкин — импонировал именно он: яркий, энергичный, романтический «демон революции». Наверное, с Троцким — больше, чем с

Лениным — у молодежи ассоциировалось будущее «мировой революции». И если Ильича называли «машинистом», то Троцкому досталось не менее многозначительное звание «кочегара революции». Кстати, именно Троцкий стал автором Манифеста Коммунистического интернационала — главного «инструмента», с помощью которого планировалось «выковывать» «мировую революцию».

Правда, после окончания Гражданской войны Троцкий почувствовал себя немного не у дел. Повседневная текучка мирного времени была не для него. Ленин предлагал ему разные сферы деятельности и посты — вплоть до должности своего заместителя в Совнаркоме, но Троцкий отказывался. Он уже не испытывал того интереса, или, как сейчас говорят, «драйва», которым он заражал окружающих еще совсем недавно.

В начале 1922 года он попросил месячный отпуск, сославшись на апатию и свою «плохую работоспособность». Его просьбу уважили. Но и после отпуска еще несколько месяцев Троцкий провел в «полурабочем» состоянии. Это было относительно спокойное время — война почти закончилась, внутрипартийная борьба обострится позже, на международных фронтах тоже наблюдалось некоторое затишье. Так что Троцкий писал критические заметки о литературе, очерки мемуарного характера, размышлял о положении в партии. И здесь-то Блюмкин оказался очень кстати.

* * *

«Я взял его к себе, в свой военный секретариат, — писал Троцкий о Блюмкине, — и всегда, когда я нуждался в храбром человеке, Блюмкин был в моем распоряжении». Иногда встречаются утверждения, что он возглавил личную охрану «кочегара революции». Но это не так — Блюмкин был, что называется, «специалистом широкого профиля». То, чем он занимался при Троцком, можно назвать обязанностями «чиновника по особым поручениям». Причем самым разнообразным.

Среди первых заданий Блюмкина в ведомстве Троцкого стала подготовка юбилейной выставки «Пять лет Красной Армии». Ее открытие было намечено на февраль 1923 года. Разумеется, одно из видных мест в экспозиции должна была занимать фигура самого наркомвоенмора Троцкого — как организатора Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). Планировалось, например, что целый зал будет посвящен легендарному «поезду

председателя Реввоенсовета Республики»[39]. Этот поезд Троцкого всю Гражданскую войну носился по фронтам, приводя одних в восхищение, на других наводя ужас, а у третьих вызывая отвращение и насмешки. В Киеве при белых распевали, например, такие сатирические куплеты:

А кто-то жил в салон-вагоне,
Совсем, как прежний царь на троне.
В роскошной ванне тут же брился,
Затем он за обед садился.
Четыре повара всегда
Борцу труда
Обед варили!

Поезд Троцкого был сформирован в ночь с 7-го на 8 августа 1918 года в Москве на Московско-Казанской железной дороге. Он состоял из двенадцати вагонов и команды из 232 человек, в том числе охраны, пулеметчиков, телефонистов, экипажа броневика, мотоциклистов с мотоциклами, шоферов, связистов и телеграфистов, агитаторов, медиков, работников вагона-ресторана. В поезде размещались телеграф, электростанция, библиотека, типография, баня, гараж с автомобилями, а иногда два самолета и оркестр из тридцати человек.

В составе находились два салон-вагона. Один — для самого Троцкого, другой — для начальника поезда и членов Реввоенсовета, Ревтрибунала и гостей.

Служить в «поезде председателя» считалось очень престижным делом. Экипаж поезда был одет в особую форму со знаком отличия на левом рукаве — металлическим щитком с надписью «Поезд Председателя Реввоенсовета Республики». Эти щитки выпускались на Московском монетном дворе. Троцкий вспоминал: «Все они носили кожаное обмундирование, которое придает тяжеловесную внушительность… Каждый раз появление кожаной сотни в опасном месте производило неотразимое действие».

Красноармейцы, служившие в поезде, снабжались спортивной формой, спортинвентарем и даже… шоколадными конфетами, такими как «Трюфели», «Новые крупные», «Флепи яблочные» или карамель «Парфэ».

Для «поездников» устанавливались повышенные оклады. Скажем, начальник поезда пользовался правами командира дивизии и получал 2450 рублей в месяц, коменданты поезда (они приравнивались к командирам полка) — 1950 рублей, а поездной фельдшер — 1450 рублей. Для сравнения — строевой комдив мог

рассчитывать на 2000 рублей, комполка — на 700–1000 рублей, а фельдшер — на 350 рублей в месяц. Зарплата самого Троцкого была, разумеется, во много раз больше. В архивах сохранилась, к примеру, расписка его жены: «Получено… аванс в счет жалования Льва Давыдовича за январь 1924 г. 500 000 руб. в дензнаках 1923 г. 31.XII.23. Н. И. Троцкая».

За годы Гражданской войны поезд прошел свыше 105 тысяч километров. Как писал Троцкий, поезд «связывал фронт и тыл, разрешал на месте неотложные вопросы, просвещал, призывал, снабжал, карал и награждал». Последняя функция представлялась наркомвоенмору чрезвычайно важной. В поезде всегда имелся большой выбор подарков: золотые и серебряные часы, перстни с драгоценными камнями, портсигары и т. д. Они вручались красноармейцам и командирам в торжественной обстановке, часто прямо на фронтах.

На какое-то время Блюмкину предстояло превратиться в «архивную крысу». Работа для него была непривычной и малознакомой, но он отнесся к ней с энтузиазмом. «Неустрашимый террорист» теперь прилежно сидел в библиотеках и архивах, изучал работы Троцкого, перелистывал газетные подшивки и систематизировал документы, связанные с рейсами «поезда Председателя Реввоенсовета». В том, что многие из них сохранились до нашего времени, как можно предположить, есть и его заслуга.

Когда Блюмкин работал с документами, перед ним открывалась и совсем другая сторона жизни поезда Троцкого, которая была далека от парадной. В рапортах, отчетах, донесениях, сводках сообщалось, например, о том, в каких условиях жили красноармейцы этой, как сейчас сказали бы, «элитной» части РККА: «…грязь в купе, тараканы, клопы, раковина худая, в вагоне — мыши… во время обхода замечены карточные игры, красноармейцы спали раздетыми, что выявлено во время тревоги… часовой спал у денежного ящика… за время исполнения обязанностей зав. гаражом было выдано в премию за сверхурочную работу десять фунтов спирта… сотрудники во время следования поезда покупают продукты, превращаясь в мешочников…»

Комиссар ВЧК при поезде докладывал о случаях покупки красноармейцами орденов Красного Знамени на Сухаревском рынке в Москве, о том, как опоздавшие на поезд два подвыпивших бойца оскорбляли часового (диалог с нецензурными выражениями полностью воспроизводится в протоколе), о случаях хищений и воровства в поезде денег, вещей и оружия. Сам Блюмкин в рапорте о состоянии предназначенных

для юбилейной выставки экспонатов, связанных с поездом председателя Реввоенсовета, отмечал их многочисленные недостатки. Например, такие: «…бунчуки у почетного знамени изодраны и превращены в мочалистый пучок».

Но и фактов, которые подтверждали бы особую роль Троцкого в создании и организации Красной армии, Блюмкин мог найти предостаточно. Многие из них представляются весьма любопытными. «Демон революции», к примеру, уделял огромное внимание пропаганде. Он подчеркивал, что «каждый поезд, который приносил 10–15 или 20 коммунистов на фронт вместе с запасом литературы, был также дорог, как поезд, который приносил хороший полк или богатый запас артиллерии… Сильнейшим цементом новой армии были идеи Октябрьской революции. Поезд снабжал этим цементом фронты».

«Идеологическим цементом», доставляемым на фронты, стала газета «В пути», которая выпускалась в поезде. Троцкий был единственный деятель советского руководства, издававший по сути собственную газету и сам писавший для нее львиную долю материалов. Надо полагать, не писать он просто не мог — журналистика еще в молодости навсегда вошла в его кровь. Недаром Радек острил, что перо Троцкого именно «революция перековала в меч».

С 6 сентября 1918 года по сентябрь 1920 года вышло, по различным данным, от 233 до 500 номеров газеты (точная цифра неизвестна). В одном из ее первых выпусков, в сентябре 1918 года, Троцкий объяснял значение нового знака Красной армии — пятиконечной красной звезды: «В Красной армии введен новый значок: пятиугольная звездочка с плугом и молотом накрест посередине. Что это значит? И затем — нужен ли уж непременно особый красноармейский знак? Да, знак нужен. Нужно, чтобы и в мирной жизни, и в особенности во время боя наши солдаты могли узнавать друг друга, чтоб их можно было отличить от врага, или даже от „вольной“ публики».

А в другом номере он резко критиковал работу военной цензуры: «Мне донесено, что военная цензура воспрепятствовала печати сообщить в свое время о том, что нами сдана была белогвардейским шайкам Пермь. Но военная цензура существует для того, чтобы препятствовать проникновению в печать таких сведений, которые, будучи по своему существу военной тайной, могли бы послужить орудием в руках врагов против нас. Падение Перми не может составлять тайны для наших врагов. Стало быть, военная цензура попыталась скрыть от русского народа то, что знают его враги. Это — прием старого режима…»

Статьи из газеты «В пути» перепечатывали «Правда» и

«Известия ВЦИК». Троцкий писал Ленину: «Я строю организацию в расчете на длительную войну. Нужно эту войну сделать популярной. Пошлите сюда корреспондентов, Демьяна Бедного и рисовальщика». Так что в архивах поезда Блюмкин мог найти к выставке и множество листовок, плакатов и агитационных рисунков.

* * *

Выставка открылась, как и было запланировано, 23 февраля 1923 года по адресу: Воздвиженка, 6, — в здании бывшего Русского охотничьего клуба (еще раньше это был особняк графов Шереметевых, а до них — графов Разумовских). Теперь же это здание принадлежало Военной академии РККА. В день открытия выставки ее посетил корреспондент «Правды», подписавшийся инициалами Г. Р.

«Зал Охотничьего клуба переполнен военными и политическими работниками… — сообщал он. — Комната, предоставленная поезду Троцкого. Надпись: поезд Троцкого не личное учреждение — это изобретение гражданской войны, вносившее перелом в опасные участки фронта. Ряд поездных газет „В пути“…

Стемнело.

Выхожу в обширный двор бывшего Охотничьего клуба и погружаюсь в обстановку боевого лагеря. Гудит полевая электростанция. Зияют жерла пушек и гаубиц. Четыре прожектора прорезывают тьму. В их лучах — порошится снежок».

С небольшими перерывами выставка работала до 1 ноября 1924 года. Забегая вперед скажем, что судьба большой части ее экспонатов (их насчитывалось около десяти тысяч) сложилась печально. Когда работа выставки закончилась, Военная академия настояла на том, чтобы помещение очистили. В результате экспонаты взял молодой «Музей Красных Армии и Флота», размещавшийся на улице Кропоткина (нынешней Пречистенке), в особняке, где сейчас находится Государственный литературный музей им. Пушкина. Но тогда этот старинный дом был совершенно не приспособлен для хранения такого количества музейных экспонатов, он почти не отапливался, в помещениях — сырость и теснота. Экспонаты свалили на стеллажи и просто на пол.

В 1927 году музей переехал в здание на Екатерининской площади (ныне площадь Суворова), где вскоре был открыт Центральный дом Красной армии (ЦДКА).

Политическая обстановка в стране радикально менялась. Троцкий вскоре был объявлен одним из главных врагов Советского Союза (о чем речь впереди), так что напоминать о его заслугах в создании Красной армии никому не могло прийти в голову. По некоторым данным, многие из еще уцелевших экспонатов выставки «Пять лет Красной Армии» сожгли в котельной ЦДКА в середине 1930-х годов.

«Кабинет Троцкого — это небоскреб мировой политики». Блюмкин в «Огоньке» и товарищ Сталин

1923-й был весьма интересным годом в советской истории, по существу прелюдией к новой эпохе. Он начался с того, что уже тяжело болеющий Ленин решил надиктовать свое знаменитое «Письмо к съезду», которое потом назовут его «политическим завещанием». Точнее сказать, диктовать записки он начал еще в декабре 1922 года, а закончил письмом в январе 1923-го.

В «завещании» явно ощущается ленинское опасение раскола партии после его смерти — письмо буквально пронизано этим предчувствием. Ленин безошибочно сумел предугадать двух главных героев будущей драмы партии и государства — Троцкого и Сталина.

Весь 1923 год действительно прошел под знаком борьбы — сторонников Троцкого со сторонниками «тройки» временных союзников Зиновьева, Каменева и Сталина — за ленинское наследство. И тот и другой лагерь почти сразу же начали использовать ленинские записки в борьбе друг против друга. К тому же 10 марта 1923 года у Ленина случился новый тяжелый инсульт, который положил конец его политической деятельности.

А уже через четыре дня в «Правде» появился большой очерк о Троцком. Его автором был Карл Радек. В очерке Троцкий преподносился и как создатель Красной армии, и как военный гений, и как крупнейший организатор, и как вдохновитель «мировой революции». Словом, как самый настоящий наследник Ленина.

Вскоре в рамках юбилейной выставки, посвященной пятилетию Красной армии, открылась и художественная выставка, где были представлены 260 полотен, рисунков, изделий из фарфора. Центральным экспонатом выставки был огромный портрет Троцкого работы Юрия Анненкова (именно этот портрет потом использовали для оформления книги «Военная академия за пять лет»). Вообще, портретов и бюстов наркома по военным и морским делам на выставке имелось более чем достаточно. Затем в «Огоньке» вышел огромный очерк «День Троцкого» Я. Сущевского, но об этом очерке и его авторе — чуть ниже.

А пока скажем, что появление Блюмкина в Москве, его учеба в Военной академии, скандальные выходки в литературных кафе и работа у Троцкого не остались незамеченными немцами.

В ноябре 1922 года должность посла Германии в Москве

занял профессиональный дипломат граф Ульрих фон Брокдорф-Ранцау.

Он стремился наладить хорошие отношения между Берлином и Москвой, но игнорировать «фактор Блюмкина» ему не позволяли ни дипломатические правила, ни кодекс чести аристократа. Брокдорф-Ранцау дал понять советскому руководству, что германское правительство хотело бы получить официальные разъяснения, почему убийца германского посла (хотя бы и императорского) свободно разгуливает по Москве, да еще в качестве официального сотрудника самого Троцкого.

Эта аристократическая педантичность озадачила Троцкого. Ворошить прошлое сейчас было совсем не в интересах Советской России. И хотя в секретном письме, направленном Ленину, Чичерину, Крестинскому и Бухарину, Троцкий назвал немецкое требование «удовлетворения за графа Мирбаха» дурацким, вместе с тем он считал, что необходимо срочно принять «предупредительные меры».

«Если это требование будет официально выдвинуто, и нам придется войти в объяснения, — писал он, — то всплывут довольно неприятные воспоминания (Александровича, Спиридоновой и проч.). Я думаю, что поскольку вопрос уже всплыл в печати, необходимо, чтобы откликнулась наша печать, и чтобы тов. Чичерин в интервью или другим порядком дал понять немецкому правительству… что, выдвинув это требование, они впадают в самое дурацкое положение. Газеты могли бы высмеять это требование в прозе и стихах, а по радио отзвуки дошли бы до Берлина. Это гораздо выгоднее, чем официально объясняться на переговорах по существу вопроса».

Газеты требования немцев так и не высмеяли, поскольку дело удалось как-то замять. Во всяком случае, официально немцы вопроса о Блюмкине больше не поднимали. Хотя, кто знает, может быть, именно нежелание большевиков портить отношения с Германией привело к перемещению Блюмкина в том же 1923 году на другую работу, в менее заметную сферу деятельности.

Но еще во время работы у Троцкого Блюмкин в очередной раз решил попробовать себя в качестве журналиста.

В начале апреля 1923 года вышел первый номер возобновленного иллюстрированного еженедельника «Огонек». Раньше, с 1899 по 1917 год, он издавался в Санкт-Петербурге в виде приложения к газете «Биржевые ведомости». После революции «Огонек» начал выходить уже как самостоятельный журнал. Его первым главным редактором стал известный журналист Михаил Кольцов.

«Гвоздем» первого номера нового «Огонька» стал большой

очерк «День Троцкого», подписанный неким Я. Сущевским. Брат Кольцова, карикатурист Борис Ефимов в своих мемуарах утверждал, что за этим псевдонимом скрывался не кто иной, как Яков Блюмкин. По его словам, именно Блюмкин и принес этот очерк в «Огонек».

«Смотрел на него, конечно, с любопытством, — вспоминал Ефимов, — у него как будто на лбу было написано: „Я — тот самый Блюмкин, который убил графа Мирбаха!“ Он был весьма словоохотлив и подробно рассказывал, что недавно вернулся с Кавказа, где принимал участие в подавлении каких-то мятежей против советской власти. При этом выразился со смаком: „мы их там шлепнули, тысячи две“. (Я впервые тогда услышал этот залихватский термин „шлепнули“, означавший „расстреляли“.) (Здесь за давностью лет Борис Ефимов, похоже, смешал два события: „шлепать“ на Кавказе Блюмкин мог позже, когда работал в Закавказском ЧК, и, возможно, разговор об этом тоже состоялся позже. В марте же 1923 года Блюмкин мог рассказывать в редакции „Огонька“ что-то о своих персидских приключениях. — *Е. М.)*

По возвращении в Москву Блюмкин был принят на работу в секретариат Троцкого, тогда председателя Реввоенсовета Республики. Блюмкина, видимо, потянуло к литературной деятельности, и он пришел в редакцию „Огонька“ предложить очерк о работе этого секретариата. Как раз при мне редактор нового журнала, Кольцов, прочел очерк и сказал:

— Ну, что ж, мы это напечатаем. А как подписать? Вашей фамилией?

Блюмкин подумал.

— Нет, — сказал он, — пожалуй, как-нибудь иначе.

Кольцов оглянулся вокруг, и взгляд его упал на стоявший в углу несгораемый шкаф, на дверце которого была надпись „Сущевский завод“.

— Вас устроит подпись „Я. Сущевский“, товарищ Блюмкин?

Блюмкин согласился, и очерк под названием „День Троцкого“ за подписью „Я. Сущевский“ появился на страницах „Огонька“. Надо отдать справедливость Блюмкину — очерк написан бойко, образно, хорошим литературным языком».

Если все было так (а какие у нас основания не верить Ефимову?), то «День Троцкого» — самый солидный журналистский материал Блюмкина из всех известных к сегодняшнему дню. Зная график и манеру работы Троцкого, он имел возможность описать все это в очерке. И действительно, ему удалось довольно живо и свободно по тем временам показать некоторые весьма любопытные особенности повседневных

занятий «вождя революции». По тексту чувствуется, что автор — не просто журналист, но человек с литературными амбициями. Вот лишь несколько цитат:

«Его рабочий день переваливает за восемь часов, и, по состоянию времени, день — ночью может быть еще в разгаре».

«На путях Николаевского вокзала отдыхает поезд Троцкого — революционный бродяга со скоростью тигра, покрывший не раз страну…»

«На его столе военная тактика гениального чудака и балагура Суворова познала книжное соседство с тактикой Маркса, чтобы прихотливым образом соединиться в голове одного человека, обслуживающей запросы, проблемы, тактику революции».

«Он диктует, шагая и бегая по кабинету, другие перепишут, педантически расставят запятые и двоеточия, подпишут, сдадут самокатчику, проследят судьбу пакета до конца».

«Читает с карандашом в руке, который держит как хирург зонд, подчеркивает, размечает, нумерует мысли авторов, ассоциирует, делает полемические замечания — и книга возвращается с его рабочего стола как препарированный труп».

«Кабинет Троцкого — это небоскреб мировой политики».

«Аппарат Троцкого состоит из простых, но всемогущих вещей — стенографиста, телефонного коммутатора и хорошего автомобиля — всего, что сокращает движение, содействует усилию экономить энергию».

«Так же как и Крапоткин (так в тексте. — *Е.М.),* Троцкий отдыхает или переходом к другой работе, или сменой темы и объектов, или в спорте… Иногда, очень устав, Троцкий охотится, бегает на лыжах, удит рыбу, играет в крокет и шахматы».

«Так работает Троцкий… универсальный человек, представляющий универсальное сосредоточие высоких человеческих интересов — вождь революции».

К очерку прилагались несколько любопытных фотографий, иллюстрирующих работу различных служб в ведомстве Троцкого. Особенный интерес вызывает та, на которой наркомвоенмор (под собственным портретом) позирует перед фотокамерой вместе с сотрудниками своего секретариата. Есть ли среди них сам Блюмкин? Во всяком случае, один человек похож на него, хотя утверждать трудно, учитывая невысокое качество полиграфии.

ДОМ ПЕЧАТИ

(Никитский бул., д. 8. Тел. 4-48-39).

Очередное Заседание Исторической Секции Дома Печати.

Доклад Я. Г. Блюмкина

„Боевые предприятия левых эсеров в зоне немецкой оккупации на Украине в 1918 г."

(Покушение на Скоропадского и др.).

Генеральная репетиция

„УЛУЧШЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ".

Новый вариант буффонады.

Текст В. Масса. Постан. Н. Фореггера. Худ.: С. Юткевич и С. Эйзенштейн.

По окончании—дискуссия.

15-я НАУЧНАЯ СРЕДА.

Доклад М. В. ВОЛОЦКОГО

Афиша Дома печати с анонсом доклада Я. Г. Блюмкина «Боевые предприятия левых эсеров в зоне немецкой оккупации на Украине в 1918 г. (Покушение на Скоропадского и др.)». Москва. 1922 г. РГАЛИ

ДЕНЬ ТРОЦКОГО.

Новейшие снимки тов. „Огонька" Н. Оцупа.

У кондуктора, у чернорабочего, у любого советского служащего есть восьмичасовой рабочий день, охраняемый ВЦСПС и Кодексом Труда.

У Л. Троцкого этого дня нет.

Его рабочий день переливает за восемь часов и, по состоянию времени, день — ночью может быть еще в разгаре.

По времени так было все эти пять лет. По содержанию дня, его, так сказать, внешний стиль и внутренний смысл, конечно, зависела от того, что переживала сегодня Советская Республика.

По неровности, напряженности, историческим посылкам, подвижности, по количеству произнесенных речей, характеру действия, дни Л. Троцкого в пределах 21—22 г.г. отличаются от дней 18 или 19 г.г. Теперь — „и стих я дни не те".

На путях Николаевского вокзала отдыхает поезд Троцкого — революционный бронепоезд, со скоростью тигра, исколесивший не раз страну — и горячечные дни Л. Троцкого, высекшие из обычного темпа, теперь вернулись к нему. Вместо железнодорожных узлов, дивизионных штабов, областных городов, шоссе, поездных салонов они сосредоточились на старой пустынной Знаменке, в бессолнечных дортуарах царского военного училища.

Военных фронтов нет—это верно. Но есть фронты — промышленный, художественный, по выражению Шоу, короля памфлета. — Все от суборанированного военного рапорта эпитетами „вышеозначенный и нижеследующий"— странички штабной хрестоматии — до математических результатов обследования заработной платы крупнейших предприятий —

Л. Д. Троцкий.

минил Лилзлу—бесконечной философской эпитафии, умирающей Европы; от доклада о банкизме—фантастической русской летописи—до сводок Коминтерна о международной революции, о движении—систематическое целых капиталистических континентов.— И Шпенглера с Эйнштейном, и „Тайме" с „Таном", и „Лли" с „Рулем", регулярно получаемые вместе со всей европейской прессой.

На его столе военная тактика гениального чудака и баллтура Суворова познала книжное соседство с тактикой Маркса, чтобы приспособиться образом соединяться в голове одного человека, обслуживающей запросы, проблемы, тактику революции.

Читает с карандашом в руке, который держит, как хирург зонд, подчеркивает, размечает, измеряет мысли авторов, ассоциирует, делает полемические замечания — и книга возвращается с его анатомического стола, как препарированный труп.

Что диктует?

Запросы, резолюции, ведомственные назидания, приказы, статьи, брошюры, дружеские и саркастические письма, отписки, воспоминания — короткие и длинные, сухие и пылающие, стилистически-тщательные, блестящие, являющиеся образом эпистолярного стиля и памфлетической реплики, восторгавшей Брест-Литовского удальца гр. Чернина, все точное, ясное, деловое. Диктует по всем адресам и направлениям — на Лубянку, на Поварскую, в Париж... подполь-

«День Троцкого» — очерк Я. Сущевского (псевдоним Я. Блюмкина), опубликованный в журнале «Огонек» 1 апреля 1923 года

Очерк читали с большим любопытством. Михаил Кольцов был доволен. Однако в дальнейшем «День Троцкого» имел для него весьма неприятные последствия. В 1924 году, уже после смерти Ленина, его вызвал Сталин, который был генеральным секретарем ЦК. Борис Ефимов так передает рассказ брата об этой встрече:

«…Приезжаю я в ЦК, — продолжает брат, — поднимаюсь на пятый этаж, в Секретариат ЦК, и дверь мне почему-то открывает сам Сталин. Входим в кабинет, садимся, он мне говорит: „Вот что, товарищ Кольцов… Журнал ‘Огонек’ — неплохой журнал, живой. Но некоторые члены ЦК замечают в нем определенный сервилизм…“ „Сервилизм? — спрашивает Кольцов. — В чем это выражается?“ „Некоторые члены ЦК считают, — раздраженно продолжает Сталин, — что вы скоро будете печатать, по каким туалетам ходит Троцкий“.

Брат немного опешил, потому что Троцкий был тогда еще членом Политбюро, председателем Реввоенсовета и так далее. В общем, Троцкий был Троцкий. И такая откровенная грубость в его адрес была, на взгляд Кольцова, неуместна. Он стал оправдываться: „‘Огонек’ — массовый журнал, и мы считали своей обязанностью давать очерки о наших, так сказать, руководителях, вождях. Опубликовали ‘День Калинина’, дали очерк ‘День Рыкова’ и вот теперь ‘День Троцкого’. А недавно напечатали фотографию окна, через которое бежал товарищ Сталин, когда в подпольную бакинскую типографию нагрянула полиция“.

Сталин посмотрел на него, подозрительно прищурившись, и говорит: „Товарищ Кольцов, я передал вам мнение членов ЦК. Учтите в дальнейшей работе! Всего хорошего“…

Сталин занес Кольцова в свой феноменальный компьютер. Коба придерживался восточного правила: блюдо мести должно подаваться холодным. Он ждал годами…» (Заметим, что Борис Ефимов писал воспоминания уже в эпоху компьютеров, то есть в весьма преклонных годах.)

Кольцов был расстрелян в феврале 1940 года. Если прав Борис Ефимов, и Сталин уже тогда, после появления очерка о Троцком, занес его брата в свой «компьютер», то смерти Кольцова косвенно поспособствовал и Яков Блюмкин, который ушел в мир иной от пуль чекистов на девять лет раньше.

Однако Сталин имел все основания разозлиться на Кольцова

за блюмкинский материал. Дело в том, что весной 1923 года уже разворачивалась его ожесточенная борьба с Троцким за «ленинское наследство», а в 1924 году она была в самом разгаре. На этом фоне появление таких очерков, как «День Троцкого», выглядело мощной пиар-поддержкой его конкуренту. Мог ли Сталин не заметить этого?

Публикацией репортажа о работе Троцкого Блюмкин не ограничился. «В тот же период сотрудничал в „Правде“ в качестве политического фельетониста», — отмечал он в автобиографии.

Формально все так и было, хотя «политическим фельетонистом» в полном смысле этого слова Блюмкина можно назвать с очень большой натяжкой. Для этого достаточно изучить подшивки «Правды» за 1920-е годы. Часто появляются на ее страницах статьи, фельетоны и заметки таких видных тогда журналистов, как Михаил Кольцов, Лев Сосновский, Емельян Ярославский, Лариса Рейснер и др. Не уступали им и первые лица СССР — Троцкий, Зиновьев, Бухарин (бывший тогда главным редактором «Правды»), Радек, Луначарский, Красин… Это были настоящие «звезды» советской публицистики того времени.

На первой странице газеты почти постоянно появлялась рубрика «Маленький фельетон», которую вели менее известные журналисты — Яков Окунев, Егор Красный, Сигов и др. А вот фамилия фельетониста Блюмкина в «Правде» за эти годы встречается только один раз. Впрочем, он, конечно, мог печататься под каким-нибудь псевдонимом, как в «Огоньке», или вообще без подписи — таких материалов в газете тоже было предостаточно. О чем шла речь в его фельетоне — немного позже.

* * *

Весной 1923 года у многих складывалось впечатление, что Троцкий переиграет своих соперников. Но многое зависело от XII съезда РКП(б), который открывался 17 апреля 1923 года. Было очевидно, что Ленина на съезде не будет. В партийных кругах гадали: кто будет делать отчетный доклад ЦК? Этот человек по традиции и мог считаться официальным наследником Ленина, который был по-прежнему тяжело болен. Газеты печатали бюллетени о состоянии его здоровья и пожелания скорейшего выздоровления от рабочих, крестьян, коммунистов и представителей «всего прогрессивного человечества». Главный тогда «пролетарский поэт» Демьян Бедный, чуть ли не ежедневно публиковавший в «Правде» свои стихотворные фельетоны, описывал такую сцену:

На каком-то заводе,
На «Красной пряже», или в этом роде,
Работниц опечаленная толпа
Постановила: позвать попа.
Отпор коммунистов был дружен:
— «Зачем вам поп этот нужен?»
— «Для ча? Как, для ча?
Помолиться за здоровье Ильича!»

В мемуарах «Моя жизнь» Троцкий описывает интригу, разыгранную накануне съезда вокруг вопроса: кто должен выступать с отчетным докладом ЦК? Все это походило на какой-то фарс. Сначала — по инициативе Сталина — с докладом предложили выступить Троцкому. Но он отказался — чтобы не казалось, будто он претендует на роль наследника Ленина, — и вообще предложил отменить доклад, но его не поддержали. Тогда Троцкий предложил выступить Сталину. Однако Сталин тоже отказался. В результате доклад поручили Зиновьеву. Вероятно, потому, что вряд ли кто-то мог его воспринять в роли «наследника».

С организационным докладом — как генеральный секретарь ЦК партии — на съезде выступил Сталин. Троцкий — с докладом «О государственной промышленности». На съезде он был избран в ЦК и в Политбюро, но это был уже его последний триумф.

«Тройка» Сталин — Зиновьев — Каменев пока что вела «тихую» работу по распространению своего влияния на партийный аппарат. Первые результаты этой деятельности проявились в июле, когда контролируемое «тройкой» большинство членов ЦК организовало комиссию по проверке положения дел в Красной армии — главной «крепости» Троцкого.

Осенью 1923 года комиссия пришла к заключению, что армия «развалена», а «тов. Троцкий не уделяет достаточно внимания деятельности Реввоенсовета». На пленуме ЦК в Реввоенсовет предложили ввести новых людей — ими оказались противники «кочегара революции». И здесь разыгрался очередной фарс.

Обиженный Троцкий с пафосом потребовал, чтобы тогда уж его отправили «простым солдатом в назревающую германскую революцию». В ответ Зиновьев иронически предложил отправить в Германию и его, а Сталин с издевкой попросил «не рисковать двумя драгоценными жизнями своих любимых вождей». В ответ на реплику одного из участников пленума — «не понимаю одного, почему товарищ Троцкий так кочевряжится», — председатель Реввоенсовета возмутился еще больше и ринулся к

выходу из зала. Напоследок он хотел исторически хлопнуть дверью, но и тут вышел казус — дверь была тяжелой и хлопать никак не хотела. Никакого «историзма» не получилось. «А получилось так — крайне раздраженный человек с козлиной бородой барахтается на дверной ручке в непосильной борьбе с тяжелой и тупой дверью, — ехидничал в мемуарах помощник Сталина Борис Бажанов (сбежавший позже из СССР в Персию, а потом на Запад, где и опубликовал свои скандальные мемуары). — Получилось нехорошо».

Однако вскоре Троцкий нанес ответный удар. Он написал письмо в ЦК, в котором указывал на причины тяжелого положения в стране и в партии. Этими причинами, по его мнению, были «секретарская иерархия» и «бездушные партийные бюрократы, которые каменными задами душат всякое проявление свободной инициативы и творчества трудящихся масс».

Своим письмом Троцкий инициировал дискуссию в партии. Его поддержали известные партийцы, выпустившие так называемое «Заявление 46-ти». В ответ сторонники «тройки» выступили с «Ответом членов Политбюро на письмо тов. Троцкого», в котором он обвинялся в организации фракционной деятельности и стремлении к личной диктатуре. Но сам «кандидат в диктаторы» вел себя весьма странно.

«Троцкий молчал, в дискуссии участия не принимал и на все обвинения никак не отвечал, — вспоминал Борис Бажанов. — На заседаниях Политбюро он читал французские романы, и когда кто-либо из членов Политбюро к нему обращался, делал вид, что он этим чрезвычайно удивлен. <…> Вообще говоря, Троцкий был, так сказать, „левее“, чем ЦК, то есть был более последовательным коммунистом. Между тем ЦК приклеило его к оппозиции „правой“… Если бы он был беспринципным оппортунистом, став во главе оппозиции и приняв ее правый курс, он, как скоро выяснилось, имел все шансы на завоевание большинства в партии и на победу. Но это означало курс вправо, термидор, ликвидацию коммунизма. Троцкий был фанатичный и стопроцентный коммунист. На этот путь он стать не мог. Но и открыто заявить, что он против этой оппозиции, он не мог — он бы потерял свой вес в партии».

Вскоре, 25–27 октября состоялось заседание объединенного пленума ЦК и Центральной контрольной комиссии (ЦКК), где Троцкому пришлось обороняться. Он, например, отвергал обвинения в бонапартизме, хотя весьма оригинальным образом. Один из его аргументов заключался в том, что сосредоточить власть в своих руках ему помешало бы его «еврейское происхождение». «В моей личной жизни это не играет роли, как

политический момент это очень серьезно», — объяснил он.

Сталин же обвинял Троцкого в том, что он «создает обстановку фракционной борьбы… грозящую нам расколом. Надо так оценить поступок Троцкого и осудить его».

Мнение Сталина победило — пленум признал выступление Троцкого «глубокой политической ошибкой… грозящей нанести удар единству партии и создающей кризис партии». Но вся основная борьба была еще впереди. И, наверное, нет смысла уточнять, на чьей стороне в этой борьбе был Яков Блюмкин.

«Ребята, хотите побеседовать со Львом Давыдовичем?» Литература и «Новый курс» Троцкого

Блюмкин преклонялся перед Троцким. Он восхищался им как революционером, как политиком, как личностью и, наконец, как литератором, что для него самого было очень важно. Однажды он якобы сказал: «Троцкий — это самый совершенный человек нашего времени». Интересно, что через сорок с лишним лет эту фразу почти дословно повторит французский писатель Жан Поль Сартр, назвавший «самым совершенным человеком нашей эпохи» Че Гевару. А ведь Блюмкин, Троцкий и Че Гевара вполне могли бы найти общий язык…

Работа в секретариате Троцкого доставляла Блюмкину искреннее и даже какое-то детское чувство гордости. Пожалуй, даже странно, что человек с такими личными амбициями и таким высоким самомнением, каковое, несомненно, имелось у нашего героя, мог так восхищаться кем-то еще. Но Троцкий действительно стал для Блюмкина кумиром.

Вскоре он получил новое задание — подготовить к печати трехтомник военных работ Троцкого под общим названием «Как вооружалась революция». Над ним работала целая группа, и Блюмкин принял самое активное участие в издании первого тома, который вышел в 1923 году. 3 марта в опубликованной на первой полосе «Правды» статье «За пять лет (К первому тому статей, речей и приказов, посвященных Красной Армии)» благодарный Троцкий писал: «…судьбе было угодно, чтобы тов. Блюмкин, левый эсер, ставивший в июле 1918 года свою жизнь на карту в бою против нас, а ныне член нашей партии, оказался моим сотрудником по составлению этого тома, отражающего в одной части смертельную схватку с партией левых эсеров».

Тем временем «бесстрашный террорист» осваивал еще одну сферу деятельности при наркомвоенморе. На какое-то время Блюмкин стал у Троцкого кем-то вроде помощника по связям с «литературной общественностью». Эти обязанности, надо полагать, приносили ему особое удовольствие. Не зря ведь говорят, что лучшая работа — это хобби, за которое еще и платят деньги. Теперь Блюмкин мог посещать московские литературные кафе не только для общения с друзьями-поэтами, но и по работе. Хотя кто знает, может, и прежде было так — по линии ВЧК.

* * *

Еще в 1922 году болеющий Троцкий, скучая, нашел себе занятие по «интересам». Он писал литературные критические заметки, и вскоре вышла его книга «Литература и революция». Наверняка Блюмкин ее прочитал.

Книга действительно весьма любопытная. Идеологические взгляды Троцкого, судя по содержанию, не сильно отличались от взглядов большинства советских деятелей с их основным принципом — «классовость» и «партийность» литературы. При чтении статей Троцкого иногда кажется, что впоследствии советские идеологи, курирующие литературу, будут просто повторять его мысли и суждения, разве что более кондовым языком.

Именно Троцкий придумал популярный в раннесоветской литературной критике термин «попутчик». «Относительно попутчика, — писал он, — всегда возникает вопрос: до какой станции?» «Попутчиком» он называл и Есенина, хотя, похоже, ему симпатизировал.

Но при всем этом по эрудиции, литературным способностям, речевой энергетике «демон революции» превосходил многих литидеологов.

Как у каждого любителя литературы — хотя бы и революционера — у Троцкого существовали свои личные и только ему понятные симпатии и антипатии. Ему нравился Есенин, он неплохо относился к Блоку, а вот Чуковского почему-то терпеть не мог еще с дореволюционных времен. 1 октября 1922 года в «Правде» была опубликована статья Троцкого «Внеоктябрьская литература», где он так характеризует «Книгу об Александре Блоке» Корнея Чуковского: «…этакая душевная опустошенность, болтология дешевая, дрянная, постыдная!» Поэт Самуил Маршак откликнулся на эту статью едкими стихами:

Расправившись с бело-зелеными,
Прогнав и забрав их в плен, —
Критическими фельетонами
Занялся Наркомвоен.
Палит из Кремля Московского
На тысячи верст кругом.
Недавно Корнея Чуковского
Убило одним ядром.

Маршак, конечно, тогда вряд ли представлял, какой огонь по

литературе будет открыт из «Кремля Московского» лет через пятнадцать и сколько литераторов погибнет от этих «ядер» не фигурально, а на самом деле.

Но до этого было еще далеко.

Летом 1923 года Есенин вернулся в Москву из заграничной поездки с Айседорой Дункан. Сохранилось немало свидетельств о его встречах с Блюмкиным в это время. Однажды в ресторане «Медведь» к компании, с которой застольничал Есенин, подошел молодой человек с «круглым красным улыбающимся лицом», чтобы поприветствовать поэта. Есенин официально представил его компании: «товарищ Блюмкин». За соседними столиками начали перешептываться: «Да это же тот парень, который убил Мирбаха в 1918 году!»

Блюмкин посещал и авторские вечера Есенина, где довольно резко критиковал его «Москву кабацкую» за «упадничество». Есенин иногда яростно возражал, а иногда, слушая Блюмкина, лишь посмеивался. Вероятно, тогда Блюмкин уже ощущал себя не просто другом Есенина, но сотрудником самого Троцкого, ответственным за «связь с литераторами», и это давало ему право критиковать даже своих близких друзей.

Несколько раз он устраивал встречи Есенина с Троцким. Однажды поэта встретил на улице писатель Матвей Ройзман. Есенин сказал ему, что «бежит в парикмахерскую мыть голову», объяснив, что идет на встречу к наркомвоенмору. «Разумеется, эту встречу организовал Блюмкин, — уточняет Ройзман. — О ней Сергей мало рассказывал». Насколько известно, Есенин тогда хотел издавать журнал и обращался за помощью к Троцкому, но по каким-то причинам ничего из его затеи не вышло.

Мариенгоф вспоминал в книге «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», как однажды к ним с Есениным (когда они снимали жилье в Богословском переулке) ворвался Блюмкин:

«— Ребята, хотите побеседовать со Львом Давыдовичем? — покровительственно спросил Блюмкин. — Я могу устроить встречу.

— Хотим!

— Очень!

— Устраивай!

Примерно через неделю Блюмкин явился к нам на Богословский. Я лежал с перевязанной шеей и каждые четверть часа полоскал горло перекисью водорода.

— Ребята, сегодня едем ко Льву Давыдовичу. Будьте готовы.

— Есть!

— Будем, как огурчики!

И счастливый Есенин побежал мыть голову, что всегда делал,

когда хотел выглядеть покрасивей и попоэтичней.

— Ой, а у меня тридцать восемь и пять. Ангина проклятая, — простонал я, поспешно разбинтовывая шею. — Дай, Яшенька, пожалуйста, брюки.

— И не подумаю давать. Лежи, Анатолий. Я не могу позволить тебе заразить Троцкого.

— Яшенька, милый…

— Дурак, это контрреволюция!

— Контрреволюция? — испуганно пролепетал я.

— Лежи! Забинтовывай шею! Полощи горло! — повелел романтик, торопливо отходя от моей кровати».

Блюмкин и Есенин отправились на встречу к Троцкому в автомобиле. Есенин захватил с собой журнал имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном» и подарил его Троцкому. Тот поблагодарил и вытащил из ящика стола тот же номер журнала — оказалось, что перед встречей он уже его прочитал. Этим, писал Мариенгоф, он сразу покорил Есенина.

В журнале была напечатана «Поэма без шляпы» Мариенгофа, где имелась такая строфа:

> Не помяни нас лихом, революция.
> Тебя встречали мы какой умели песней.
> Тебя любили кровью —
> Той, что течет от дедов и отцов.
> С поэм снимая траурные шляпы, —
> Провожаем.

«Передайте своему другу Мариенгофу, — сказал Троцкий, — что он слишком рано прощается с революцией. Она еще не кончилась. И вряд ли когда-нибудь кончится. Потому что революция — это движение. А движение — это жизнь».

* * *

Свое политическое молчание Троцкий прервал в декабре 1923 года. В «Правде» начали печататься его статьи, которые чуть позже, в январе 1924-го, он издал отдельной брошюрой под общим названием «Новый курс».

«Новый курс, — писал Троцкий, — должен начаться с того, чтобы в аппарате все почувствовали, снизу доверху, что никто не смеет терроризировать партию». Он призывал заменить бюрократов «свежими силами» и больше внимания обращать на учащуюся молодежь, о которой писал, что она «вернейший

барометр партии — резче всего реагирует на партийный бюрократизм».

Троцкому ответили Каменев, Зиновьев, Бухарин и др. В партии снова началась дискуссия. Особую тревогу у сторонников «тройки» вызывали настроения среди военных. 20 декабря, например, собрание партийных ячеек Военной академии поддержало позицию Троцкого. А через четыре дня начальник Политуправления РККА Владимир Антонов-Овсеенко подписал циркуляр номер 200, согласно которому в ячейках официально вводился принцип выборности секретарей, а они сами освобождались «от мелочной опеки военкомов и политорганов». Предписывалось также «допускать свободную дискуссию… и критику деятельности руководящих военно-политических и партийных организаций». Более того, Антонов-Овсеенко направил угрожающий протест в ЦК и Политбюро, в котором предупреждал, что в партии есть люди, чей голос когда-нибудь «призовет к ответу зарвавшихся „вождей“, так, что они его услышат даже несмотря на свою крайнюю фракционную глухоту».

После опасного демарша Антонова-Овсеенко последовал быстрый ответ — в январе — марте 1924-го со своих постов были смещены он сам и заместитель председателя РВС СССР Эфраим Склянский. Их заменили Андрей Бубнов и Михаил Фрунзе. Другие соратники «демона революции» Раковский (ему Троцкий посвятил книгу «Литература и революция»), Крестинский, Иоффе вскоре были отправлены послами за границу.

Троцкого постепенно обложили со всех сторон. В январе 1924 года XIII партконференция обвинила его в организации фракционной деятельности и заклеймила «троцкизм» как «мелкобуржуазный уклон». Сам Троцкий в конференции не участвовал. Еще осенью, во время охоты, он провалился в болото и сильно простудился. С тех пор плохо себя чувствовал, никак не мог справиться с осложнениями после простуды, и 8 января 1924 года «Правда» поместила сообщение о том, что ему предоставлен отпуск по болезни «не менее чем на два месяца». 18 января 1924 года он отбыл на лечение в Сухум.

«Хронически воспаленный Лев Давидович» — ехидно называли Троцкого его недруги. В это время он был действительно болен, но его «проваливание в болото» в решающий момент борьбы со Сталиным выглядело как-то уж слишком символически.

Возможно, если бы Троцкий смог преодолеть себя и остался в Москве, судьба страны могла бы сложиться по-другому. Но как — вот вопрос. Однако он, что уже бывало и раньше, предпочел уклониться от решающей схватки. Вольно или невольно Троцкий

оставил поле битвы своим противникам.

Через три дня после отъезда Троцкого на юг, под Москвой, в Горках, умер Ленин. Потом Лев Давидович будет возмущаться — его якобы специально неправильно информировали о дате похорон вождя, чтобы он не успел приехать из Сухума. Однако было уже поздно. 21 января 1924 года в России началась новая эпоха.

НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ СТРАНЫ СОВЕТОВ

«Высокоответственное боевое предприятие». От «германского Октября» до палестинской прачечной

Для Блюмкина 1923 год тоже стал переломным.

С одной стороны, работой у Троцкого он гордился и даже бравировал. Но, с другой стороны, было в ней много такого, к чему он не мог привыкнуть. Бумажная текучка, справки, отчеты, донесения, министерская солидная обстановка, где надраенные до блеска люди в военной форме с кожаными портфелями и деловым видом сновали по коридорам и кабинетам — все это вряд ли вызывало воодушевление у «бесстрашного террориста». Конечно, ежедневная бюрократическая рутина компенсировалась общением с кумиром, но Блюмкина все-таки тянуло к работе «в поле», а не на «паркете», судя по тому, что он охотно принял неожиданное предложение Зиновьева и Дзержинского.

Блюмкин пишет об этом предложении кратко: «В апреле 1923 г. по инициативе т. Зиновьева, Дзержинского я был привлечен к выполнению одного высокоответственного боевого предприятия. Тогда же я перешел на работу в Коминтерн, затем ИНО[40] ОГПУ». Но за этими тремя строчками — множество событий. И, кроме того, это было начало совершенно нового этапа в жизни Якова Блюмкина.

* * *

Писать об этом периоде его биографии очень сложно. Архивы, связанные с закордонной работой Блюмкина по линии внешней разведки, до сих пор закрыты и вряд ли откроются в обозримом будущем. Имеющееся же источники информации о работе Блюмкина крайне скудны, часто — малодостоверны, и, как бы сказали раньше, «засорены» различными мифами и сплетнями. Но тем не менее попробуем.

Итак, что же это за задание, к которому привлекли Блюмкина Зиновьев и Дзержинский?

Скорее всего, оно было связано с некой операцией за границей, которую совместно готовили и осуществляли Коминтерн[41] и ГПУ. Именно поэтому Блюмкин пишет, что его «привлекли» Зиновьев — в то время председателя Исполкома Коминтерна — и глава ГПУ Дзержинский. 15 ноября 1923 года, в связи с образованием СССР, Государственное политическое

управление (ГПУ) при НКВД РСФСР было преобразовано в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при Совнаркоме СССР. По той же причине Блюмкин отмечает, что перешел на работу в Коминтерн.

Работа в Коминтерне — это только на поверхностный взгляд бумаги перекладывать и листовки для иностранных компартий писать. На самом деле аппарат Коминтерна располагал самой настоящей «красной паутиной», опутавшей почти весь мир и состоявшей из весьма квалифицированно подготовленных в Москве разведчиков и боевиков. Об этой разведслужбе всегда было известно гораздо меньше, чем о ее «соседях» — внешней разведке ГПУ-ОГПУ-НКВД и военной разведке (созданное в 1918 году Регистрационное управление Полевого штаба Реввоенсовета Республики, которое потом называлось Разведывательным управлением Штаба РККА, потом еще несколько раз меняло название, пока, наконец, в феврале 1942 года превратилось в знаменитое Главное разведуправление Генштаба РККА, или просто ГРУ).

Функции внешней разведки в Коминтерне выполняли специальный отдел, отдел международных связей, военно-конспиративная комиссия Исполкома. При Коминтерне работали секретные военно-политические курсы, слушатели которых изучали приемы конспирации, шифровальное дело, радиодело, общую военную подготовку, языки. Слушателями курсов, как правило, были иностранные коммунисты, которых агенты Коминтерна отбирали на местах. Формально они могли учиться в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада (КУНМЗ), а могли вообще проживать в СССР под другими именами и фактически нелегально.

Блюмкина вполне могли использовать для работы, к которой готовили коминтерновцев. Все данные — боевой опыт, в том числе и за границей, знание языков и правил конспирации — у него для этого уже были. Но где именно должен был Блюмкин выполнять «одно высокоответственное боевое предприятие»?

С большой долей вероятности можно предположить, что речь шла о Германии.

* * *

С самого начала 1923 года Германию буквально трясло. Сначала германское правительство заявило, что не сможет выплачивать странам Антанты репарации, фактически поставив под вопрос условия Версальского мира[42]. В ответ на это войска

Франции и Бельгии оккупировали Рурскую область — «индустриальное сердце» Германии.

В Руре вспыхнула всеобщая забастовка. Французы и бельгийцы пытались заставить немцев выйти на работу с помощью военной силы. Оккупационные власти действовали жестко. За призывы к неповиновению, оскорбления или угрозы в адрес французских и бельгийских солдат подозреваемых судили по законам военного времени. Командующий союзными силами генерал Дегут объявил даже о введении коллективной ответственности за преступления против его подчиненных.

День 31 марта 1923 года остался в истории Германии как «кровавая суббота Эссена». Отряд французских солдат прибыл на один из заводов Круппа, чтобы наложить арест на его имущество. Рабочие начали собираться у входа на завод. Военные восприняли это как угрозу. Последовал приказ стрелять по толпе: 13 человек были убиты и несколько десятков ранены. Сам Крупп был арестован по обвинению в саботаже и позже приговорен к тюремному заключению сроком на 20 лет и штрафу в 100 миллионов марок.

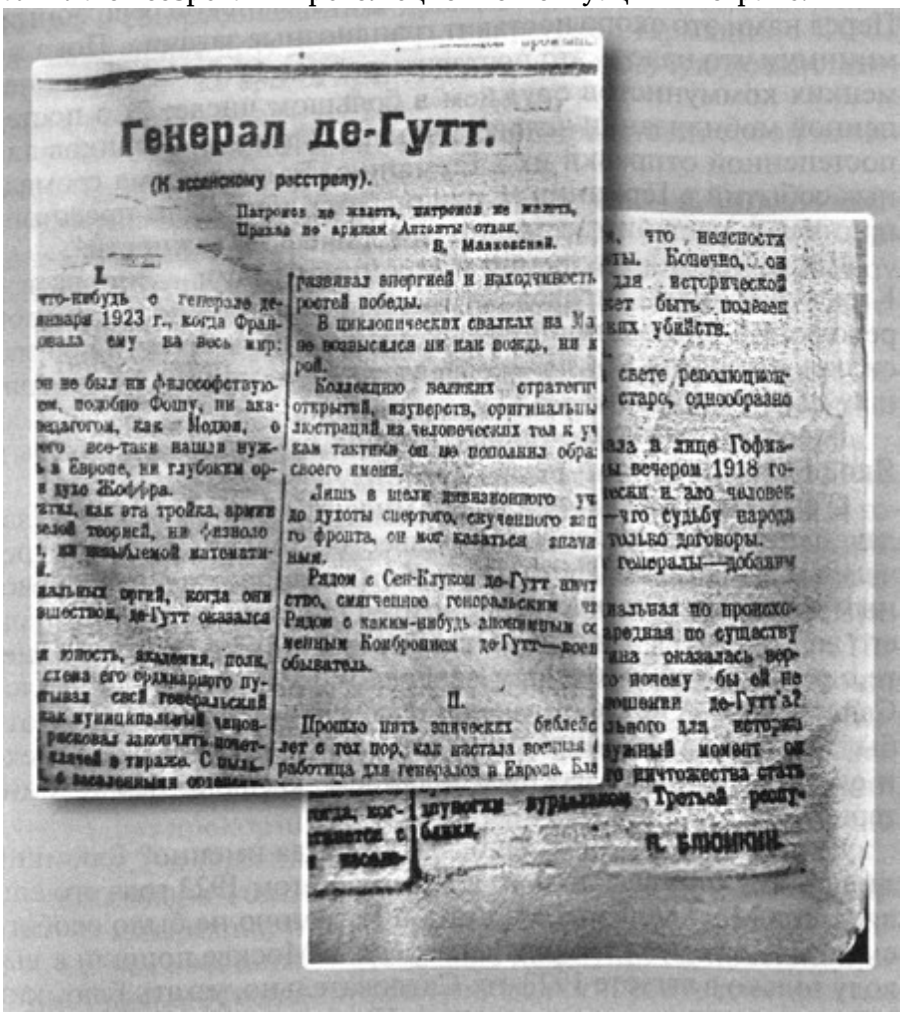
Событиям в Эссене был посвящен и тот самый фельетон Блюмкина в «Правде», опубликованный 14 апреля 1923 года. Он назывался «Генерал де-Гутт (к эссенскому расстрелу)». Эпиграфом к нему Блюмкин взял строки своего хорошего знакомого — Маяковского: «Патронов не жалеть, патронов не жалеть, / Приказ по армии Антанты отдан». В весьма язвительном тоне Блюмкин «прошелся» по биографии генерала Дегута, «ничтожества, смягченного генеральским чином», как он его назвал.

«Он превратил Рур в концентрационный лагерь Франции… — писал Блюмкин, — он заставлял шахтеров добывать уголь… он закрывал их газеты, запрещал их собрания, держал их в осадном удушье, в крайнем случае, убивал их втихомолку, наконец, он начал их расстреливать публично, на улицах и площадях в Эссене».

Блюмкин припомнил слова своего кумира Троцкого, сказанные им в начале 1918 года на заседании ВЦИКа после переговоров в Бресте с немцами о том, что «судьбу народа определяют не одни только договоры». «И не одни только генералы», — добавлял Блюмкин, выражая уверенность, что эта простая истина окажется верной и в отношении Дегута (де-Гутта, как писал автор фельетона), «замечательного для историка лишь тем, что в нужный момент он сумел из абсолютного ничтожества стать двуногим вурдалаком Третьей республики».

Рурский кризис потряс всю экономику Германии. В стране началась невиданная инфляция — в 1923 году она составляла 3

миллиона 250 тысяч процентов в месяц. Другими словами, цены на товары удваивались раз в двое суток. Самой крупной стала банкнота в 100 триллионов марок. Число безработных достигло шести миллионов. Германские рабочие, охваченные сначала патриотическим порывом, вскоре начали выступать и против своего собственного правительства. Компартия Германии даже заявила о «созревании революционной ситуации» в стране.



Генерал де-Гутт.

(К эссенскому расстрелу).

Патронов не жалеть, патронов не жалеть,
Прикладов для армии Антанты отлит.
В. Маяковский.

I.

что-нибудь о генерале де-
января 1923 г., когда Фран-
ал ему на весь мир:

он не был ни философствую-
им, подобно Фошу, ни ака-
едагогом, как Модюи, о
его все-таки нашли нуж-
в Европе, ни глубоким ор-
ия дуло Жоффра.
ты, как эта тройка, армия
ной теорией, ни физиоло
, ни языческой математи-
й.
иальных оргий, когда они
ышеством, де-Гутт оказался

ность, академия, поли,
слова его ординарного пу-
тывал свой генеральский
как муниципальный чинов-
рисовал закончить почет-
ачей в тираже. С тыл-
в засаленных отопи-

газвивал энергией и находчивость
ростей победы.

В циклопических свалках на Ма
не возвышался ни как вождь, ни к
рой.

Коллекцию великих стратегич
открытий, изуверств, оригинальны
люстраций из человеческих тел к уч
кам тактики он не пополнил обра
своего имени.

Лишь в цепи дивизионного уч
до дуэты спертого, скученного зап
го фронта, он мог казаться эпиза
ным.

Рядом с Сен-Клуком де-Гутт инст
ство, смягченное генеральским ч
Рядом с каким-нибудь алюминиевым со
менным Комбронном де-Гутт—всего
обыватель.

II.

Прошло пять эпических библейс
лет с тех пор, как настала военная
работица для генералов в Европе. Бла

гда, ког-
ставили с
ники,
и посыл-

, что , несмотря
ты. Конечно, он
для исторической
ет быть полезен
ких убийств.

свете революции
старое, однообразно

зал в лице Гофма-
ы вечером 1918 го-
ески и ало человек
-что судьбу народа
только договоры.
генералы—добавим

иальная по происхо-
аредная по существу
ина оказалась вер-
почему бы ей не
ошении де-Гутта?
ьного для истори
ужный момент он
го ничтожества стать
Третьей респу-

П. БЛЮМКИН.

Статья Я. Г. Блюмкина «Генерал де-Гутт. (К эссенскому расстрелу)», опубликованная в «Правде» 14 апреля 1923 года

В Москве внимательно следили за этими событиями. Особую активность проявлял глава Коминтерна Зиновьев. 31 июля 1923 года он писал Сталину: «Кризис в Германии назревает очень быстро. Начинается новая глава германской революции. Перед

нами это скоро поставит грандиозные задачи… Пока же минимум что надо — это поставить вопрос 1) о снабжении немецких коммунистов оружием в большом числе; 2) о постепенной мобилизации человек 50 наших лучших боевиков для постепенной отправки их в Германию. Близко время громадных событий в Германии. Близко время, когда нам предстоит принимать решения всемирно-исторической важности».

После некоторых трений и «тройка» Сталин — Зиновьев — Каменев (Сталин, правда, относился к возможности скорой революции в Германии более скептически), и Троцкий согласились с тем, что кризис «созревает» и что немецким товарищам следует помочь.

Вероятно, в числе «наших лучших боевиков» мог быть и Яков Блюмкин.

О его подготовке к секретной миссии, как и о ее целях и задачах, нет никаких сведений. Известно только, что он встречался с секретарем Исполкома Коминтерна, главным «красным финном» Отто Куусиненом. «Однажды, — вспоминала его дочь Анна, — я застала Отто беседующим в своем кабинете с рослым чернобородым человеком. Мне он представился Сафириным. А когда он ушел, Отто, улыбаясь, сказал, что это был убийца графа Мирбаха — Блюмкин. Он работает в Чека и едет за границу с важным заданием, касающимся Коминтерна».

Если эта поездка все же была, то когда именно? Блюмкин пишет, что «привлекли» его в апреле. Летом 1923 года его еще видели в Москве. До этого ехать в Германию не было особого смысла — о том, что «кризис назрел», в Москве пришли к выводу только в августе 1923-го. Следовательно, уехать Блюмкин мог в конце лета — начале осени. Именно тогда ситуация там накалилась до предела, и в Москве с энтузиазмом заговорили о предстоящем германском «красном Октябре».

Мало того, еще 30 июля Троцкий с воодушевлением писал в «Правде» о том, что «своевременно выдвинуть лозунг Соединенных штатов Европы…». 23 сентября пленум ЦК РКП(б) утвердил тезисы Политбюро «Положение в Германии и наши задачи», которые констатировали, что «пролетарский переворот не только неизбежен, но уже совершенно близок — надвинулся вплотную». А дальше речь шла о ближайшем будущем двух стран:

«Советская Германия с первых же дней своего существования заключит теснейший союз с СССР. Этот союз принесет неисчислимые выгоды трудящимся массам как Германии, так и СССР. СССР с его преобладанием сельского хозяйства и Германия с ее преобладанием промышленности как нельзя лучше дополняют друг друга. Союз советской Германии с СССР в

ближайшее же время представит собой могучую хозяйственную силу…

Союз советской Германии с СССР представит собой не менее могучую военную базу…

Лозунг „Соединенные штаты“ (Европы. — *Е. М.)* для коммунистов является не чем иным, как этапом к лозунгу „Союза советских республик Европы“. А поскольку к такому союзу, разумеется, будет принадлежать и СССР — лозунгу „Союз советских республик Европы и Азии“».

Да, планы советских руководителей можно назвать поистине грандиозными. Но сначала надо было все-таки разобраться с революцией в Германии, на которую они очень надеялись.

Эта революция, по их мнению, могла бы принести СССР то, с чем они сами никак не могли справиться. В октябре 1923 года в «Правде» вышла статья «Какое дело русскому крестьянину до германской революции?», а затем в девяти (!) номерах печаталась объемная работа Зиновьева «Проблемы германской революции». В них почти дословно пересказывались тезисы Политбюро и доводилась до читателей важная мысль: революция в Германии поможет СССР преодолеть кризис в стране, большое количество дешевых германских машин хлынет в советскую деревню, после чего та сможет дать столько продукции, «что хватит прокормить не только двухсотмиллионное население (СССР и Германии. — *Е. М.*), но и всей Европы».

Политбюро 4 октября приняло решение — направить в Германию четырех партийных деятелей для руководства приближающимся восстанием. Немецкие коммунисты просили прислать Троцкого (тогда-то они требовал отправить его «простым солдатом» в «назревающую германскую революцию» и боролся с тяжелой дверью). Рассматривалась также кандидатура Зиновьева, но в итоге было решено, что «возможный арест названных товарищей в Германии принес бы неисчислимый вред международной политике СССР и самой германской революции».

В конце концов руководить германской революцией поехали люди хоть и известные, но все же второстепенные — член Исполкома Коминтерна Радек, заместитель председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) Пятаков, нарком труда Шмидт (немец по национальности), заместитель председателя ГПУ Уншлихт. Все они отправились в Германию с фальшивыми паспортами. На месте им активно помогал и советский полпред в Германии Крестинский.

«В конце сентября состоялось чрезвычайное заседание Политбюро, настолько секретное, что на него были созваны только члены Политбюро и я, — вспоминал Борис Бажанов. —

Никто из членов ЦК на него допущен не был. Оно было созвано для того, чтобы фиксировать дату переворота в Германии. Он был назначен на 9 ноября 1923 года.

План переворота был таков. По случаю годовщины русской октябрьской революции рабочие массы должны были выйти на улицу на массовые манифестации. Красные сотни Уншлихта должны были провоцировать вооруженные конфликты с полицией, чтобы вызвать кровавые столкновения и репрессии, раздуть негодование рабочих масс и произвести общее рабочее восстание.

По заранее разработанному плану отряды Уншлихта должны были занять важнейшие государственные учреждения и должно было быть создано советское революционное правительство из членов ЦК германской компартии; вслед за тем экстренный конгресс заводских комитетов должен был провозгласить советскую власть».

Самое место для таких людей, как Яков Блюмкин!

Советское постпредство в Берлине в те дни напоминало Смольный в октябре 1917-го. Вплоть до того, что в коридорах стояли ящики с оружием для «красных сотен». Планировалось вооружить до шестидесяти тысяч рабочих в Саксонии и Тюрингии. Казалось, что «красный Октябрь» в Германии — уже почти очевидный факт.

Шестого октября — для оказания помощи советской Германии — началась скрытая мобилизация Красной армии. Причем призывались только «сознательные элементы» — в основном коммунисты. Готовился выступить и Балтийский флот.

Счет шел уже на дни, но тут «революционная машина» начала давать сбои.

Двадцать первого октября в наступление неожиданно перешли части рейхсвера — германской армии. Они заняли Дрезден и разогнали там рабочее правительство. 23 октября то же самое произошло и в Эрфурте.

В городе Хемниц 21-го должна была состояться конференция рабочих, где руководство германской компартии собиралось объявить о всеобщей забастовке, которая могла бы перерасти в восстание. Но предложение о забастовке поддержано не было. В условиях наступления правительства и отсутствия единства лидеры компартии Германии не рискнули призвать к восстанию. Более того — они дали отбой.

«Пролетарские» или «красные» сотни так и не вышли на улицы. Только в Гамбурге коммунисты во главе с Эрнстом Тельманом, проигнорировав это указание (или не получив его), 23 октября начали восстание. Оно продолжалось несколько дней,

но было подавлено войсками. Вооруженные столкновения произошли и в некоторых других городах Саксонии, но уже к 27 октября все было кончено[43].

Революция в Германии, на которую так надеялись и к которой так долго готовились, потерпела молниеносное поражение. Это вызвало бурные дискуссии в советском руководстве. Троцкий обвинял «тройку» в том, что они «проглядели» революционную ситуацию. «Тройка» упрекала Троцкого в том, что он, наоборот, слишком переоценил ее. В Коминтерне метали стрелы в адрес руководства компартии Германии. Однако всем было понятно — по ожиданиям «мировой революции» нанесен очередной тяжелый удар.

* * *

Был ли в это время в Германии Блюмкин? Вопрос по-прежнему остается открытым. Непонятно, состоялась ли в конце концов его миссия или же все закончилось только подготовкой к «боевому предприятию». Но в любом случае история с германским «красным Октябрем» для него лично не прошла бесследно. Осенью 1923 года он снова вернулся на Лубянку — после пятилетнего перерыва.

Предложение Блюмкину перейти на работу в ОГПУ сделал лично Дзержинский. Тот самый, который в июле 1918-го уверял следователей из Особой следственной комиссии по делу о выступлении левых эсеров, что Блюмкина он «ближе не знал и редко с ним виделся» и «благодаря» которому ему пришлось писать заявление об отставке с поста председателя ВЧК.

Конечно, за прошедшие годы Феликс Эдмундович мог узнать убийцу Мирбаха поближе, оценить его способности и признать достойным служить в ОГПУ, этом «ордене меченосцев» партии, куда с годами становилось попасть все сложнее. Несколько лет спустя на торжественном заседании, посвященном десятилетию ВЧК — ОГПУ, Николай Бухарин скажет, что в России за последние годы «появился новый тип русского человека — инициативного, подвижного, энергичного, быстро выходящего из любого затруднения, появился новый пламенный человек! Чекист — наиболее законченный тип такого нового человека». Знал бы Николай Иванович, что вскоре «пламенные люди» придут и за ним.

Сделав предложение о работе в ОГПУ Блюмкину, Дзержинский тем самым окончательно признал, что тот заслужил право служить в органах. Несмотря на все свои фокусы, Блюмкин

вполне подходил на роль «пламенного человека», что уже не раз доказывал на практике. Думается, Феликс Эдмундович и сам в душе признавал это раньше. Он вообще имел склонность к «левым» настроениям и одно время очень даже симпатизировал Троцкому, хотя потом перешел на сторону его противников.

«Дзержинский голосовал за Троцкого, — говорил Сталин на расширенном заседании Военного совета при наркоме обороны 2 июня 1937 года, — не просто голосовал, а открыто Троцкого поддерживал при Ленине против Ленина. Вы это знаете? Он не был человеком, который мог бы оставаться пассивным в чем-либо. Это был очень активный троцкист, и всё ГПУ он хотел поднять на защиту Троцкого. Это ему не удалось.

Самое лучшее — судить о людях по их делам, по их работе. Были люди, которые колебались, потом отошли, отошли открыто, честно и в одних рядах с нами очень хорошо дерутся с троцкистами… И нет ничего удивительного, что такие люди, как Дзержинский… и десятка два-три бывших троцкистов, разобрались, увидели, что линия партии правильна, и перешли на нашу сторону».

Дзержинский умер от сердечного приступа в июле 1926 года; вскоре после того, как обличал троцкистов на пленуме ЦК.

Однако в 1923 году близость к Троцкому еще значила много. Человек, проявивший себя на нелегальной боевой работе и плюс к тому в ведомстве одного из «вождей революции», вполне мог подойти для ОГПУ. Правда, Блюмкину предложили поменять сферу деятельности — если во время своего первого прихода в ВЧК он занимался контрразведкой, то теперь Дзержинский рекомендовал его во внешнюю политическую разведку, то есть в Иностранный отдел ОГПУ.

Иностранный отдел (ИНО) ВЧК-ГПУ-ОГПУ был создан 20 декабря 1920 года приказом Дзержинского № 169. Этот день принято считать днем создания внешней разведки органов госбезопасности. Первым его руководителем был Яков Давтян (Давыдов). Вторым — Соломон Могилевский (позже он сыграет в жизни Блюмкина заметную роль). Третьим начальником ИНО — с марта 1922 года — стал Михаил Трилиссер. С его назначением отдел начал расширяться и укрепляться. В каждом советском учреждении за рубежом создавались резидентуры внешней разведки. Число сотрудников, работавших на ИНО за границей, вскоре превысило 70 человек.

«Вся разведывательная работа в иностранных государствах, — писал Трилиссер в одной из своих инструкций, — должна проводиться с целью:

— установления на территории каждого государства

контрреволюционных групп, ведущих деятельность против СССР;

— тщательного разведывания всех организаций, занимающихся шпионажем против нашей страны;

— освещения политической линии каждого государства и его экономического положения;

— добывания документальных материалов по всем указанным направлениям работы».

Трилиссер был необычным шефом разведки. Он лично выезжал за границу, где устраивал резидентуры и держал непосредственные контакты со своими агентами. Например, в Берлине он побывал под видом специалиста по готике. На самом деле — восстанавливал связь с ценным агентом. Об этой операции знали кроме него только два человека — Дзержинский и его заместитель Вячеслав Менжинский.

Трилиссер подбирал людей в разведку, в том числе и из революционного подполья. Он считал, что деятельность подпольщика и работа разведчика не так уж сильно различаются. Так что и здесь Блюмкин был настоящей находкой.

* * *

Подробности «второго пришествия» Блюмкина в ведомство Дзержинского и точная его дата тоже неизвестны. Возможно, сведения об этом сегодня пылятся в еще неоткрытых архивных делах в ФСБ. Он сам позже, будучи уже в камере внутренней тюрьмы ОГПУ, кратко упомянул лишь о том, чем занимался вскоре после прихода в разведку — был резидентом в Палестине, тогдашней подмандатной территории Великобритании.

По некоторым данным, Блюмкин получил агентурную кличку «Джек». Не исключено, что он придумал ее сам — потому что с юности обожал романы и рассказы Джека Лондона. Это был, кстати, не последний случай, когда «певец» золотоискателей, обитателей южных морей и вообще сильных и мужественных людей оставлял след в его жизни.

Выбор Блюмкина для засылки в Палестину нельзя не признать удачным. Он попал в родственную себе национальную и духовную среду. Ведь он учился в Талмуд-торе, хорошо знал идиш, быт, нравы и обычаи иудеев, наверняка имел представление об иврите. К тому же его появление в Палестине вряд ли могло вызвать большие подозрения — в 1920-е годы эмиграция на Землю обетованную была весьма популярной идеей среди евреев всего мира.

С большой долей вероятности можно предположить, что

главная задача советского резидента в Палестине состояла прежде всего в сборе и анализе информации о британских планах на Ближнем Востоке, в Азии и возможном подрыве английского господства в этом регионе.

Англичане, кстати, давно уже с беспокойством наблюдали за ростом советской активности в их зоне влияния на Востоке. Знаменитый «ультиматум Керзона», то есть составленный министром иностранных дел Великобритании лордом Джорджем Натаниэлом Керзоном и врученный советской стороне 8 мая 1923 года, прежде всего требовал прекратить советскую антибританскую пропаганду (подрывную деятельность) в Персии и Афганистане и отмечал факт направления в Индию (тогда британскую колонию) подготовленных в Москве индийских студентов[44]. На выполнение условий ультиматума Керзон дал Москве десять дней, после чего, при невыполнении, грозил разрывом дипломатических отношений Великобритании с СССР.

Именно тогда появились советские плакаты: летящий самолет с кулаком или кукишем вместо пропеллера и подписью «Наш ответ Керзону!». А в известном «Авиамарше» («Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…») пели:

> И, верьте нам, на каждый ультиматум
> Воздушный флот сумеет дать ответ!

Сначала советское правительство демонстративно отвергло ноту Керзона. Потом стороны начали переговоры, срок ультиматума Керзон продлевал дважды. В итоге Москва согласилась уплатить компенсацию за расстрел англичан, конфискацию судов и предоставить возможность английским рыбакам ловить рыбу в советских водах. Что же касается советской «пропаганды» на Востоке, то и здесь Москва «пошла навстречу пожеланиям» британского правительства и выразила готовность «воздержаться от всякой политики воздействия военным, дипломатическим или иным путем и от пропаганды в целях поощрения каких-либо из народов Азии к действиям, в любой форме враждебным британским интересам или Британской империи, особенно в Индии и независимом государстве Афганистан».

Но это была всего лишь дипломатия. От тайной войны никто отказываться не собирался. И не случайно Блюмкин нелегально отправился в Палестину в конце того же 1923 года.

На Ближний Восток Блюмкин уехал не один. Вместе с ним в качестве его заместителя туда был направлен Яков Серебрянский (которому он продолжал покровительствовать и после

возвращения из Персии). Серебрянский мог оказаться там весьма полезным человеком — хотя бы потому, что свободно владел английским, французским и немецким языками. Блюмкин же убедил руководство ИНО зачислить Серебрянского в штат отдела «особоуполномоченным закордонной части».

Перед отъездом их принял первый заместитель председателя ОГПУ Вячеслав Менжинский. Он поставил обоим Яковам задачу — сбор информации о планах Англии и Франции на Ближнем Востоке.

Англия тогда считалась главным потенциальным противником СССР. Дзержинский в одной из записок Трилиссеру писал: «Просьба составить мне сводку (которую потом можно будет пополнять) всех махинаций Англии против нас… по нашим и НКИндел (Наркомата иностранных дел. — *Е. М.)* данным. Я думаю с этим вопросом выйти в Политбюро. По-моему, надо образовать секретный комитет противодействия этим английским махинациям путем целого ряда мер не только дипломатических, но и экономических, чекистских и военных». Так что в обязанности Блюмкина могли входить и мероприятия, связанные с поддержкой национально-освободительных движений и групп в Палестине, боровшихся против англичан.

Резидент «Джек» поселился в городе Яффа под именем мелкого предпринимателя Моисея Гурсинкеля. В качестве «деловой крыши» он открыл прачечную. Надо сказать, что Блюмкин оказался весьма оборотистым бизнесменом и его «банно-прачечные» дела шли успешно. Разумеется, помещение его предприятия использовалось как удобное место для встречи с агентами, информаторами и связниками. Клиенты, заходившие в прачечную благопристойного и всегда услужливого господина Гурсинкеля, никаких подозрений не вызывали.

Блюмкин проработал в Палестине недолго — до весны 1924 года. Резидентом вместо него там остался Серебрянский[45].

С чем был связан отзыв Блюмкина из Палестины — тоже одно из «белых пятен» в его биографии. Сохранилась, впрочем, такая история — почти апокриф.

Якобы Блюмкин плыл на пароходе в Хайфу под видом еврея-эмигранта, с накладным брюхом и приклеенными пейсами, как вдруг девчонка-англичанка свалилась за борт. Блюмкин бросился в воду ее спасать, когда же выбрался с ней, пейсы у него отклеились, а намокшая подушка сползла. Странным пассажиром заинтересовалась британская контрразведка, и Блюмкину пришлось уносить ноги.

Так это было или нет, но после возвращения в Москву он не получил нового назначения на работу за границей. Более того,

Блюмкину на время пришлось уйти из внешней разведки и, скорее всего, снова заняться контрразведывательной работой. Означало ли это, что Блюмкин не справился с поставленной перед ним задачей, «засветился» или же руководство ОГПУ решило, что он более нужен в другой области, — остается лишь гадать и строить версии.

«Я как заморский кот…» Кавказ и Есенин

Блюмкин вернулся уже в другую страну. 21 января 1924 года умер Ленин. Несколько дней тысячи людей шли в Колонный зал Дома союзов, где было выставлено для прощания тело вождя. Газеты и журналы заполнились клятвами и обещаниями «продолжить дело Ленина», «выполнить заветы вождя», мемуарными очерками и подборками стихов как известных, так и малоизвестных поэтов. Некий А. Чемисов, к примеру, писал в газете «Красный воин»:

«Ильич» и «смерть» — два слова страшные
Газеты кинули крича,
Ликует падаль буржуазная:
— Не будет больше Ильича!

Но тщетно радость запоздалая
Ковать нам тяжесть новых уз,
Стоит стеной, громадой алою
Наш тесно спаянный союз!

Взгляни, чужак, в глаза рабочего
В Европе, в Африке — они
Зовут на бой, а вы пророчите
Успокоительные дни.

Заглушены звенящим золотом,
Вы не поймете, хоть кричи,
Что за станком, плугом и молотом
Везде живые Ильичи.

На Красной площади уже стоял временный Мавзолей Ленина. В июле 1924 года откроют новый, пока еще тоже деревянный, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева.

Мнения соперников по борьбе за ленинское наследство разошлись в том, как поступить с телом вождя: Троцкий назвал идею сохранять его в мавзолее «безумием», а «тройка» была «за». Зиновьев говорил, что «и в гробу Владимир Ильич остается апостолом коммунизма, и в могиле он продолжает быть призывом и кличем для рабочего класса нашего государства и всей земли… Мы все знаем, что Ленин — это пророк нового человечества и апостол коммунизма в лучшем смысле этого

слова, что это человек, одно имя которого заставляет учащенно биться сердца миллионов людей».

С 23 по 31 мая 1924 года проходил XIII съезд партии — первый без Ленина. Съезду предшествовала настоящая интрига, от которой во многом зависел дальнейший расклад сил в руководстве РКП(б). Речь шла о ленинском «Письме к съезду» — оглашать ли на форуме данные вождем в письме характеристики руководителям партии? Кроме Троцкого все члены Политбюро были против оглашения. За два дня до начала съезда вдова Ленина Надежда Крупская передала письмо Комиссии по ленинскому наследию — Зиновьеву, Каменеву и Сталину, указав, что «Ильич выражал твердое желание», чтобы его заметки были оглашены на съезде.

Этот вопрос (как и само письмо) 21 мая обсуждался на заседании, своего рода совете старейшин съезда, состоящем из членов ЦК и руководителей местных партийных организаций. Троцкий вспоминал, что Сталин тогда даже предложил написать заявление о своей отставке:

«— Что ж, я действительно груб… Ильич предлагает вам найти другого, который отличался бы от меня только большей вежливостью. Что же, попробуйте найти.

— Ничего, — отвечал с места голос одного из тогдашних друзей Сталина. — Нас грубостью не испугаешь, вся наша партия грубая, пролетарская».

Борис Бажанов в воспоминаниях так передавал речь Зиновьева на этом совещании: «Товарищи, вы все знаете, что посмертная воля Ильича, каждое слово Ильича для нас закон… Но есть один пункт, по которому мы счастливы констатировать, что опасения Ильича не оправдались… Я говорю о нашем генеральном секретаре и об опасностях раскола в ЦК».

Большинством голосов Сталина решили оставить генеральным секретарем ЦК компартии. Сторонники Троцкого голосовали против. Что касается ленинского «завещания», то «старейшины» постановили — письмо будет оглашено на закрытых заседаниях отдельных делегаций; при этом никто из делегатов не имел права делать записи и пересказывать его содержание на прочих заседаниях съезда.

После съезда позиции Троцкого в руководстве партии значительно ослабли. Хотя он остался и в Политбюро, и в ЦК, из его видных сторонников в ЦК попали только Пятаков и Раковский. Впрочем, и в «тройке» уже начались трения. Вплоть до того, что 19 июля 1924 года Сталин написал заявление об отставке, поскольку для него стала «совершенно ясной невозможность честной и искренней совместной политической

работы» с Зиновьевым и Каменевым. Сталин просил дать ему отпуск для лечения на два месяца, а потом направить его «либо в Туруханский край, либо в Якутию, либо куда-нибудь за границу на научную или невидную работу». Но сталинское прошение об отставке, разумеется, отклонили. Интрига закручивалась все сильнее.

* * *

Блюмкин появился в Москве, скорее всего, уже после завершения работы съезда. Виделся ли он в это время с Троцким? Не исключено, хотя точных сведений об этом нет. Вероятно, тогда же Блюмкин «ходил к Ленину», в мавзолей. Уже начала складываться традиция посещать «великую могилу» целыми делегациями от различных ведомств и фотографироваться рядом с Ильичом. Интересно, есть ли где-нибудь фотографии Блюмкина в мавзолее?

В том же 1924 году журналист и издатель Илья Василевский (более известный по своему газетному псевдониму «Не-Буква»), недавно вернувшийся в Советскую Россию из эмиграции, затеял выпуск серии брошюр «Вожди и деятели революции». По крайней мере две из них появились на свет. Писатель Дмитрий Стонов[46] написал биографию Михаила Калинина, в то время председателя Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР[47]. А недавний крайне правый публицист Александр Бобрищев-Пушкин — о петроградском комиссаре по делам печати, агитации и пропаганды В. Володарском (настоящее имя Моисей Гольдштейн), убитом эсером-террористом в 1918-м и канонизированном большевиками.

«Трудно не сойти с ума, — записывал в дневнике Михаил Булгаков, — Бобрищев пишет о Володарском… Старый, убежденный погромщик, антисемит pur sang (чистокровный *(фр.)*. — *Е. М.)* пишет хвалебную книгу о Володарском, называя его „защитником свободы печати“. Немеет человеческий ум».

При чем здесь Блюмкин? А вот при чем. Летом 1924 года он договорился о написании брошюры в эту же серию. О самом Дзержинском! Не каждый мог похвастаться тогда таким ответственным заданием. 16 августа 1924 года Булгаков записал: «…Писать „Дзержинского“ будет Блюмкин, тот самый изумительный убийца (якобы) посла Мирбаха. Наглец». Забегая вперед скажем, что из этой затеи Блюмкина ничего не вышло. Своих литературных упражнений он не прекращал, но книгу так и не написал. Наверное, ему было не до нее.

Вскоре Блюмкин получил новое назначение, снова связанное с персидскими и кавказскими делами. Точнее сказать, назначений было сразу несколько — помощник полпреда ОГПУ в Закавказье по командованию войсками ОГПУ, член коллегии Закавказского ГПУ, уполномоченный ОГПУ и Наркомвнешторга по борьбе с контрабандой. Позже Блюмкин стал еще членом советско-персидской и советско-турецких комиссий. Но как он оказался на Кавказе? Это тоже довольно интересная и пока не вполне понятная история.

Полномочным представителем ОГПУ в Закавказье с марта 1922 года был Соломон Могилевский — второй по счету руководитель Иностранного отдела ВЧК. Именно он и попросил Дзержинского прислать Блюмкина к нему. Почему его — вопрос открытый. Судя по их биографиям, они не должны были пересекаться раньше. Тем не менее Блюмкин отправился в Закавказье.

Он обосновался в Тифлисе, но часто бывал и в Баку. Работал он там не под своей фамилией, а под псевдонимами Исаков и Ильин. Почти сразу же после приезда ему пришлось заняться подавлением антисоветского восстания в Грузии, организованного грузинскими меньшевиками. Что же, опыт по этой части у него тоже был.

Восстание началось 28 августа 1924 года под руководством Комитета по вопросам независимости Грузии. В городе Читаура было организовано «Временное грузинское правительство». Повстанцы заняли большую часть Западной Грузии. Они потребовали независимости, вывода Красной армии и возвращения правительства, которое находилось у власти до марта 1921 года, то есть до того момента, когда Грузия стала советской.

Однако уже к 5 сентября части РККА и ОГПУ разгромили восставших. 1465 человек были взяты в плен, а более трехсот расстреляны. Руководили подавлением восстания на месте Соломон Могилевский[48] и заместитель председателя Грузинского ГПУ, 25-летний, но уже подающий надежды чекист по имени Лаврентий Берия. Обоих за подавление восстания наградили орденами Красного Знамени.

Блюмкин тоже принимал участие в его подавлении. «На рукаве мундира у него были три ромба, — пишет историк Алексей Велидов, — что свидетельствовало о принадлежности к высшему составу РККА». С этим не поспоришь — до трех ромбов на рукаве мог дослужиться далеко не каждый.

Первые нарукавные знаки различия были введены в РККА приказом Реввоенсовета от 16 января 1919 года. Они

представляли собой красную звезду с серпом и молотом и красные же треугольники, квадраты и ромбы, нашиваемые на левый рукав гимнастерки и шинели — под звездой. Звезда и три ромба на рукаве означали, что их обладатель соответствует должности командующего армией, то есть командарму (персональных воинских званий — капитан, майор, генерал и т. д. в Красной армии тогда еще не было).

Однако Блюмкин мог носить и знаки различия сотрудников ОГПУ, которые были введены летом 1922 года. Три ромба и звезда на клапане рукава тоже свидетельствовали о высоком положении их обладателя — заместителя начальника отдела ОГПУ, командующего корпусом или военкома корпуса в войсках ОГПУ. Впрочем, летом 1924 года нарукавные знаки различия в РККА, как и в системе ОГПУ, отменили — перенесли на петлицы. Знаки различия на рукавах остались только на Красном флоте.

Мог ли Блюмкин носить три ромба на рукаве? Ведь они действительно означали бы, что он занимал очень высокую должность в армии или ОГПУ. Теоретически — мог. Известно же, что еще в 1921 году он служил начальником штаба бригады, а потом, по некоторым данным, и комбригом (один ромб на рукаве).

По сведениям Алексея Велидова, руководство ОГПУ высоко оценивало его деятельность. Положительно отзывались о работе Блюмкина Менжинский, Трилиссер и еще один заместитель председателя ОГПУ — Генрих Ягода. Блюмкина избрали почетным курсантом окружной пограничной школы, почетным красноармейцем войск ОГПУ в Тифлисе.

* * *

Однокашник Блюмкина по Восточному отделению Военной академии РККА Александр Бармин, который был назначен на должность генерального консула в Гиляне и в августе 1924 года ехал в Персию вместе с советской дипломатической делегацией во главе с полпредом Борисом Шумяцким, вспоминал:

«…У нас было два неожиданных попутчика: мой коллега по академии Яков Блюмкин и знаменитый поэт Сергей Есенин. Они прекрасно ладили между собой и к вечеру, как правило, напивались. Есенин произвел на меня жалкое впечатление. В юности он разрывался между городом и деревней, а теперь его тянули в разные стороны богема и революция. По его внешности было явно видно, что он страдал от алкоголя, от чрезмерного увлечения женщинами и от оргий, которым он предавался в

паузах между своими поэмами, остававшимися тем не менее шедеврами русской поэзии. Молодой и красивый гений стал горьким пьяницей. У него было бледное, опухшее лицо, усталые глаза и хриплый голос. Он производил впечатление совершенно деморализованного человека. Блюмкин, которого его солдатский характер всегда удерживал от эксцессов, решил „поставить Сергея на ноги“. Но этого сделать уже не мог никто!»

Впрочем, по другим данным, Есенин оказался на Кавказе все же немного позже Блюмкина и встретил своего знакомого уже в Баку. Эта поездка для него во многом была вынужденной. В Москве у Есенина дела не ладились. О нем не раз писали как о хулигане и пьянице, обвиняли в «буржуазных» наклонностях и даже завели несколько уголовных дел — якобы за организацию дебошей в общественных местах. Так что Есенин решил на время оставить опасную для него столицу. Сам он в стихотворении «Стансы» (1924) писал так:

> Я из Москвы надолго убежал:
> С милицией я ладить
> Не в сноровке,
> За всякий мой пивной скандал
> Они меня держали
> В тигулевке[49].

На Кавказе ему устроили торжественный прием. Как литераторы, так и местное партийное начальство. Первым секретарем ЦК компартии Азербайджана тогда был Сергей Киров, а вторым секретарем и главным редактором газеты «Бакинский рабочий» — хороший знакомый Есенина Петр Чагин.

Вообще-то, Есенин хотел поехать еще дальше — в Персию. Эта удивительная страна давно манила его, а Блюмкин наверняка еще больше подогрел воображение поэта, рассказав о своих приключениях в Гиляне. Однако в Персию его не пустили. Свои знаменитые «Персидские мотивы» Есенин написал на Кавказе. Он прочитал их на даче Кирова под Баку, и, как вспоминал Чагин, «Киров, человек большого эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной:

— Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии. В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, какие его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай! Чего не хватит

— довообразит. Он же поэт, да какой!».

Отношения Есенина и Блюмкина во время этой поездки окружены самыми разнообразными слухами. В некоторых мемуарах и устных преданиях их жизнь в Баку и Тифлисе выглядит примерно так же, как и в Москве в «кафейный период», — они ссорились, мирились, устраивали попойки и т. п. И якобы Блюмкин вместе с Есениным даже сочинял стихи, некоторые из них затем печатались в «Бакинском рабочем», другие — не печатались, так и оставшись загадками в литературном наследии Есенина. Например, такие:

Жизнь несет меня, угорелая,
Тают бесславно года,
Может, напрасно все делаю?
Может, забрел не туда?
Где-то по утренней влаге
Бегали мы босиком,
Но не хватило отваги
И я не стал босяком.
Так и не стал я свободным,
Рвался к свободе, и вот
В своре собак безродных
Я как заморский кот.

Разумеется, все вышесказанное о жизни Блюмкина и Есенина в Закавказье — не более чем слухи. Но кое-какие «свидетельские» описания их похождений до нас все-таки дошли.

Вместе с Блюмкиным в Баку и Тифлисе находилась и его жена Татьяна. Считается, что именно она стала причиной крупной ссоры Блюмкина и Есенина. Журналист тифлисской газеты «Заря Востока» Николай Вержбицкий, который довольно тесно общался с Есениным, рассказал в воспоминаниях о том, как это произошло:

«Будучи в Баку, Есенин в гостинице „Новая Европа“ встретил своего московского знакомого Ильина (один из псевдонимов Блюмкина. — *Е. М.),* назначенного военным инспектором в Закавказье.

Сперва их встречи протекали вполне миролюбиво, но вдруг инспектор начал бешено ревновать поэта к своей жене. Дошло до того, что он стал угрожать револьвером. Этот совершенно неуравновешенный человек легко мог выполнить свою угрозу.

Так оно и произошло. Ильин не стрелял, но однажды поднял на Есенина оружие, что и послужило поводом для первого кратковременного отъезда поэта в Тифлис в начале сентября 1924

года.

Об этом происшествии мне потом рассказывал художник К. Соколов. Сам Есенин молчал, может быть, не желая показаться трусом…

…Через несколько дней Есенин вернулся в Баку за своими товарищами, получив от них уведомление о том, что Ильин куда-то отбыл.

Вторично приехав в Тифлис и остановившись в гостинице „Ориант“, Есенин снова неожиданно столкнулся с Ильиным. Это сразу испортило ему настроение».

В общем, типичное поведение Блюмкина. Как помним, револьвер он выхватывал часто. Да и Есенин не отличался таким уж «благопристойным» поведением, разве что оружия у него не было. Их ссора из-за ревности Блюмкина тоже выглядит правдоподобно — вполне тривиальная ситуация. Сам «бесстрашный террорист» в отношении дам также был далеко не святым. Гражданская жена Есенина Надежда Вольпин рассказывала, что как-то после ужина в гостинице Блюмкин под каким-то предлогом пригласил ее к себе в номер и начал приставать. Она успела нажать кнопку звонка, и только появление горничной избавило ее от блюмкинских домогательств.

Есенин пробыл на Кавказе с небольшим перерывом до конца мая 1925 года. Блюмкин уехал в Москву тоже примерно в это же время. Как складывались их отношения после ссоры в отеле «Новая Европа» — сказать трудно. Может быть, они помирились, как помирились потом Блюмкин и Мандельштам, хотя, как вспоминала Надежда Мандельштам, «О. М. невольно шарахался, когда Блюмкин выхватывал револьвер». Закончилась эта игра, по ее словам, «в 26 году, когда О. М., уезжая от меня из Крыма, случайно очутился с Блюмкиным в одном купе. Блюмкин, увидев „врага“, демонстративно отстегнул кобуру, спрятал револьвер в чемодан и протянул руку. Всю дорогу они мирно разговаривали».

Возможно, что-то похожее было у Блюмкина и с Есениным. А может быть, они просто не придали значения той стычке в «Новой Европе» — ведь всякое бывает между друзьями. Может, наоборот — после этого они остались врагами на всю их оставшуюся короткую жизнь. Есенину оставалось жить несколько месяцев, а Блюмкину — четыре года. Но в глазах многочисленных расследователей истории трагической гибели Есенина, окутанной загадками, мифами и вымыслами, Блюмкин остался «черным человеком» — непосредственным убийцей великого русского поэта.

«Сын мой будет так же бессильно мало знать о своем отце, как я о своем…» Дела семейные

Вернувшись в Москву, Блюмкин с женой поселился в… Денежном переулке. Да, да, том самом. Более того, буквально в нескольких десятках метров от исторического особняка, в котором жил граф Мирбах и где Блюмкин с Андреевым его убили. Терзали ли Якова муки совести, когда он теперь чуть ли не ежедневно проходил мимо этого дома? Вставали ли в его воображении «кровавые Мирбахи»? Скорее всего, нет. Он по-прежнему гордился тем, что сделал.

Доходный пятиэтажный дом 9 по Денежному переулку (сейчас это дом 9/5) был построен в 1910 году по проекту архитектора Адольфа Зегигсона. После революции дом постепенно заселяли ответственные советские работники. В 1924 году туда переехал нарком просвещения Анатолий Луначарский. Он занял квартиру номер 1 на пятом этаже — в ней до сих пор располагается его мемориальный музей.

А в квартире номер 2 поселился Яков Блюмкин. Его окна выходили прямо на здание бывшего германского посольства. Как он умудрился получить четырехкомнатную жилплощадь рядом с квартирой наркома — ведомо было только ему. Кому-нибудь другому булгаковский председатель домкома Швондер наверняка сказал бы: «В общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную».

Правда, к тому времени Блюмкин тоже занимал весьма ответственный пост — заведующего отделом организации торговли Наркомата внешней и внутренней торговли СССР. Хотя есть основания полагать, что эта должность была для него очередной «крышей» для выполнения секретных заданий ОГПУ.

Бывший секретарь Сталина Борис Бажанов вспоминал, как однажды в 1925 году он и заведующий отделом печати ЦК ВЛКСМ Эммануил Зоркий (Лившиц) прогуливались в районе Арбата: «Поравнялись со старинным роскошным буржуазным домом. „Здесь, — говорит Мунька, — я тебя оставлю. В этом доме третий этаж (на самом деле пятый. — *Е. М.)* квартира, забронированная за ГПУ, и живет в ней Яков Блюмкин, о котором ты, конечно, слышал. Я с ним созвонился, и он меня ждет. А впрочем, знаешь, Бажанов, идем вместе. Не пожалеешь. Блюмкин — редкий дурак, особой, чистой воды. Когда мы придем, он, ожидая меня, будет сидеть в шелковом красном халате, курить

восточную трубку в аршин длины и перед ним будет раскрыт том сочинений Ленина (кстати, я нарочно посмотрел: он всегда раскрыт на той же странице). Пойдем, пойдем“».

По утверждению Бажанова, все было точно так, как обрисовал Зоркий — и халат, и трубка, и том Ленина. «Блюмкин был существо чванливое и самодовольное. Он был убежден, что он — исторический персонаж. Мы с Зорким потешались над его чванством: „Яков Григорьевич, мы были в музее истории революции; там вам и убийству Мирбаха посвящена целая стена“. — „А, очень приятно. И что на стене?“ — „Да всякие газетные вырезки, фотографии, документы, цитаты; а вверху через всю стену цитата из Ленина: ‘Нам нужны не истерические выходки мелкобуржуазных дегенератов, а мощная поступь железных батальонов пролетариата’“. Конечно, мы это выдумали; Блюмкин был очень огорчен, но пойти проверить нашу выдумку в музей революции не пошел».

Несмотря на карикатурное изображение Блюмкина, Бажанов вместе с тем приводит весьма любопытные подробности из его жизни. В своей огромной квартире Блюмкин жил не один, а с двоюродным братом, которого звали Аркадий Максимов (точнее говоря, это был его псевдоним, а настоящая фамилия — Биргер). Максимов, как объяснил Блюмкин, вел его хозяйство. Он хотел пристроить брата на какую-нибудь службу, но это было сложно из-за его не очень благополучного прошлого — раньше тот вроде бы служил завхозом кавалерийского полка, но попался, продавая овес «налево», и его исключили из партии.

Проблемы с законом были не только у двоюродного брата Блюмкина, но и у его родного старшего брата Льва.

Льву Блюмкину уже исполнилось 38 лет. В Одессе он был довольно известным журналистом — печатался в местных изданиях под псевдонимом «Лев Рудин» и занимал должность заведующего отделом рабочей жизни в газете «Одесские известия». Однако карьеру, да и вообще всю его жизнь, сгубило трагическое происшествие, которое случилось 1 декабря 1924 года прямо в редакции.

Самая распространенная версия этого события выглядит так. Лев Блюмкин-Рудин и секретарь редакции «Вечерних известий» Ю. Саховалер поспорили из-за сущей ерунды — кто из них первым имеет право воспользоваться пишущей машинкой. В пылу спора Саховалер обозвал Блюмкина-Рудина «провокатором» и потребовал убираться вон. Взбешенный Блюмкин-старший выскочил из редакции, помчался домой, взял из ящика письменного стола револьвер, вернулся и выстрелами в упор убил Саховалера. Его арестовали на следующий день.

Дело приняло непростой оборот. Местные чекисты решили проверить: а не было ли во всем этом политической подоплеки? Все-таки убийство произошло в редакции советского органа, к тому же Саховалер назвал Блюмкина-Рудина «провокатором». А вдруг это не просто эпитет? Вдруг Саховалер знал что-то о прошлом Рудина и тот его убил именно за это?

От Одесского ГПУ расследование курировал уполномоченный Секретного отдела Дмитрий Медведев, будущий Герой Советского Союза (во время Великой Отечественной войны он стал командиром партизанского отряда «Победители», при котором действовал знаменитый разведчик Николай Кузнецов). Изучив дело Льва Блюмкина, Медведев пришел к выводу, что никакой политики здесь нет. Так что виновного судили как уголовника и приговорили к шести годам тюрьмы со строгой изоляцией.

Рассказывали, что Яков Блюмкин по этому поводу ездил в Одессу, но выручить Льва ему так и не удалось. Хотя, возможно, эта история — тоже из разряда многочисленных слухов о «бесстрашном террористе».

* * *

В 1925 году семейные дела Блюмкина тоже не очень ладились. Брак с Татьяной Файнерман распался. Поэтому-то, когда к нему пришли Бажанов и Зоркий, он уже жил один в четырехкомнатной квартире. Что стало причиной их разрыва? Его или ее романы «на стороне»? Работа Блюмкина и связанная с ней постоянная нервотрепка? Да и была ли вообще эта «окончательная» причина? Трудно сказать. Мало ли людей расходятся потому, что просто надоедают друг другу или через много лет вдруг обнаруживают, что «не сошлись характерами». Так или иначе, но Яков и Татьяна разошлись в 1925 году, после шести лет совместной жизни. Если, конечно, так можно сказать, учитывая многочисленные командировки Блюмкина.

Был ли развод оформлен официально — тоже неизвестно. Зато известно, что в момент их расставания Татьяна была беременна. Во всяком случае, 23 апреля 1926 года у нее родился сын. Его назвали Мартином. Откуда взялось это довольно-таки необычное для России имя? По одной версии, Блюмкин дал его своему сыну потому, что очень любил Джека Лондона, а роман «Мартин Иден» — больше всех других его произведений. По другой — назван в честь мальчика из небольшой поэмы Есенина «Товарищ».

Любопытная, кстати, поэма. У Мартина, сына простого

рабочего, в товарищах были лишь Христос на иконе, сидящий на руках у матери, да кошка. Отца убивают враги, и тогда Мартин обращается к своему товарищу:

«Исус, Исус, ты слышишь?
Ты видишь? Я один.
Тебя зовет и кличет
Товарищ твой Мартин!

Отец лежит убитый,
Но он не пал, как трус.
Я слышу, он зовет нас,
О верный мой Исус.

Зовет он нас на помощь,
Где бьется русский люд,
Велит стоять за волю,
За равенство и труд!..»

И, ласково приемля
Речей невинных звук,
Сошел Исус на землю
С неколебимых рук.

Потом убивают и самого Христа:

Но вдруг огни сверкнули…
Залаял медный груз.
И пал, сраженный пулей,
Младенец Иисус.

Заканчивается поэма в духе «оптимистической трагедии»:

Ползает Мартин по полу:
«Соколы вы мои, соколы,
В плену вы,
В плену!»
Голос его все глуше, глуше,
Кто-то давит его, кто-то душит,
Палит огнем.

Но спокойно звенит
За окном,

То погаснув, то вспыхнув
Снова,
Железное
Слово:
«Рре-эс-пу-у-ублика!»

Есенин написал «Товарища» в марте 1917 года, когда всё еще только начиналось и восхищение Революцией и «Рре-эс-пу-у-убликой» охватывало все слои населения недавней Российской империи. Вряд ли он сочинил бы что-то подобное году этак в 1921-м…

Насколько можно судить, Блюмкин принимал посильное участие в судьбе сына, посылал Татьяне деньги и вообще помогал им по мере возможности. Позже, в сентябре 1928 года, он составит завещание, в котором попросит в случае его гибели назначить пенсию его бывшей жене и сыну. «Мне грустно думать, что сын мой будет также бессильно мало знать о своем отце, как я о своем», — напишет Блюмкин. И попросит, чтобы сыну дали воспитание, которое «должно быть обязательно коллективистское, трудовое, коммунистическое с пропорциональным физическим уклоном».

Не забыл Блюмкин в завещании и о других родственниках. «В том случае, если помощь, оказываемая Соввластью, будет составлять не ниже 50 % моего месячного заработка (225 р.), — писал он, — я надеюсь, что она будет больше, то ⅓ соответствующей суммы выдавать на содержание и воспитание племянниц моих Флоры и Шелли Блюмкиных, дочерей моей сестры Розалии Григорьевны и т. Исаака Рая, беззаветно преданного коммуниста, погибшего смертью на Украинском фронте в рядах 3-й армии (б. Румфронта) весной 1918 года».

Жизнь его жены — Татьяны Файнерман-Блюмкиной — будет горькой. После развода она поменяла фамилию — стала Исаковой. Как установил историк Ярослав Леонтьев, до начала войны Татьяна Исакова работала на скромной должности в библиографическом кабинете Союза советских писателей. На фронте была медсестрой в военно-санитарных поездах и на санитарных пароходах, которые курсировали по Волге. Награждена медалями «За оборону Сталинграда» и «За участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны Татьяна работала старшим корректором в типографии МГУ. В январе 1950 года была арестована. Обвинения против нее представляются абсурдными даже по тем временам — она была замужем за «врагом народа Я. Блюмкиным» и

контактировала с левыми эсерами. Как будто сам товарищ Сталин и многие другие из партийного руководства не контактировали!

«Ваш муж Блюмкин в 1918 году совершил убийство германского посла Мирбаха в Москве», — констатирует следователь на допросе. «Да, это мой муж», — отвечает Татьяна. «Блюмкин знал о том, что вы разделяете взгляды эсеров?» — интересуется следователь. «На эту тему у меня с ним разговоров не было», — следует ответ. На дворе был 1950 год, уже война закончилась, и эсеров всех повывели, но нет — тема прошлого по-прежнему волнует следователей.

Дело было явно тухлое, однако бывшую жену Блюмкина все равно приговорили к десяти годам лишения свободы, из которых она отсидела четыре. В 1955 году ее реабилитировали. Сохранился черновик ее заявления в райсобес (написанный уже после реабилитации), который разыскал Ярослав Леонтьев.

> «Заявление
>
> Настоятельно прошу поместить меня в один из Московских Инвалидных Домов.
>
> Я живу в Москве свыше 40 лет. Я была незаконно обвинена по 58 статье, 4 года провела в заключении и в 1955 году полностью реабилитирована.
>
> В настоящее время я проживаю совместно с сыном в комнате 9 м<етров>. Сын мой находится на учете психиатра по поводу шизофрении.
>
> Сын и его жена работают, и я в течение всего дня лишена всякого ухода.
>
> Между тем после всего перенесенного мною в тюремном заключении я по возвращении тяжело больна гипертонией III степени, а в последние годы — резко выраженным общим склерозом и являюсь тяжелым инвалидом.
>
> Прошу поместить меня в Московский инвалидный дом, т. к. в противном случае я буду лишена всякого общения с близкими.
>
> Т. Исакова».

Татьяна Файнерман-Блюмкина умерла в Москве в 1970-е годы. Она стала «жертвой века». Если ее муж выбирал свой путь сознательно и действовал решительно, то она оказалась заложницей принятых им решений…

О сыне Блюмкина Мартине известно еще меньше. По словам его матери, записанным в протоколе допроса, в 1950 году он служил офицером в армии. По некоторым данным, женат он был

дважды и от первого брака у него имелся сын — внук Блюмкина. Дожил Мартин Блюмкин как минимум до 70-х годов прошлого века.

Борис Бажанов пишет, что попросил Блюмкина поселить у него брата Якова Свердлова (умершего в 1919 году). Блюмкин сказал, что он «будет счастлив». Так Герман Свердлов поселился у Блюмкина. Эта история получила продолжение.

По утверждению Бажанова, вскоре Блюмкина вызвал к себе в кабинет заместитель председателя ОГПУ Ягода и поручил установить наблюдение за секретарем Сталина. «Бажанов ненавидит ГПУ, мы подозреваем, что он не наш, выведите его на чистую воду», — якобы сказал ему Ягода. Однако Блюмкин вскоре выдвинул свою идею — поскольку его двоюродный брат Аркадий Максимов общается с Германом Свердловым и они живут в одной квартире, то надо поручить Аркадию собирать информацию с помощью Свердлова о Бажанове. К тому же Герман Свердлов и Борис Бажанов — почти друзья.

Идея понравилась, и двоюродный брат Блюмкина Максимов якобы начал шпионить за Бажановым. Как утверждает Бажанов, перед своим отъездом в Среднюю Азию он (уже задумавший побег в Персию) решил «созорничать» и предложил Максимову поехать с ним. Тот согласился, а его кураторы в ОГПУ дали согласие на эту поездку, поскольку он мог информировать органы о поведении Бажанова. Ну а рано утром 1 января 1928 года Бажанов сбежал в Персию. Максимов бежал вместе с ним. «Меня же расстреляют за то, что я вас упустил», — сказал он.

В августе 1928 года бывший секретарь Сталина и двоюродный брат Блюмкина прибыли в Париж. По некоторым данным, Яков увиделся с Аркадием Максимовым через год. Там же, в Париже.

«Где я, что я, кто я такой?» Блюмкин-экономист

Пока Блюмкин подавлял восстание на Кавказе, ссорился с Есениным и обживал свою новую квартиру, в партии по-прежнему шли «дискуссии». В октябре 1924 года Троцкий — в качестве предисловия к третьему тому его собрания сочинений — опубликовал статью «Уроки Октября». В ней он описал историю разногласий в руководстве партии от февраля до октября 1917 года. И совершенно некстати для тогдашних партийных лидеров напоминал о том, что Зиновьев и Каменев выступали против восстания в Петрограде, о статьях Каменева и Сталина в «Правде» весной 1917 года, которые, по его мнению, были близки к позициям меньшевиков и противостояли ленинским позициям. Напомним, что Зиновьев и Каменев сомневались в успехе восстания и даже высказались об этом печатно в газете «Новая жизнь» буквально накануне выступления большевиков.

Приведенные факты били и по самой «тройке», и по ее ближайшему окружению. Правда, Троцкий специально оговаривался: «Разумеется, разногласия 1917 г. были очень глубоки и отнюдь не случайны. Но было бы слишком мизерно пытаться делать из них теперь, спустя несколько лет, орудие борьбы против тех, кто тогда ошибался. Еще недопустимее, однако, было бы из-за третьестепенных соображений персонального характера молчать о важнейших проблемах Октябрьского переворота, имеющих международное значение».

Ответный удар Троцкому нанесла редакционная статья «Правды» — «Как не нужно писать историю Октября (по поводу выхода книги т. Троцкого „1917“)», написанная на самом деле Бухариным. Затем в «Правде» были опубликованы текст доклада Каменева на собрании членов МК и московского партийного актива «Ленинизм или троцкизм?» (на следующий день он повторил его на совещании военных работников), речь Сталина на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС «Троцкизм или ленинизм?» и статья Зиновьева «Большевизм или троцкизм?». Затем появились сборники «За ленинизм» и «Ленин о Троцком и троцкизме. Из истории ВКП(б)».

Статья Троцкого была названа «грубым извращением истории большевизма и истории Октябрьской революции», «попыткой подменить ленинизм троцкизмом», который «является не чем иным, как одним из видов меньшевизма». 19 ноября 1924 года «Правда» отмечала, что «своим выступлением т. Троцкий вновь

ставит партию перед опасностью дискуссии». Троцкому припомнили его небольшевистское прошлое и переругивание с Лениным еще до революции.

Сталин в этой «дискуссии» заявил, что хотел бы заняться «разоблачением некоторых легенд, распространяемых Троцким и его единомышленниками» «об особой роли Троцкого в Октябрьском восстании». А те книги, в которых роль Троцкого все-таки отмечалась, назвал «арабскими сказками». Сегодня может показаться странным, что в число «сказок» были включены и знаменитые «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида. До XX съезда КПСС эта книга не переиздавалась.

Эта партийная «война компроматов» получила название «литературной дискуссии». Однако против Троцкого и его сторонников была развернута мощная и далеко не только литературная обличительная кампания. Почти два месяца газеты печатали резолюции парторганизаций со всех концов страны, клеймившие Троцкого.

К январю 1925 года его «проработка» достигла апогея. Были, конечно, и отдельные выступления в его поддержку — например, в Смоленске прошла небольшая демонстрация студентов под лозунгами «Да здравствует председатель Совнаркома тов. Троцкий!» — но они уже никак не влияли на события.

Сам «лев революции» опять вел себя пассивно и молчал. В конце 1924 года в беседе с рабочими одного из московских заводов он сказал, что если бы знал, что книгу так раздуют и разведут такую кампанию, то никогда бы ее и не выпустил. «Если бы со мной они переговорили, — добавил Троцкий, — то мы сговорились бы, может быть».

Семнадцатого — двадцатого января 1925 года проходил объединенный пленум ЦК и ЦКК. Троцкий в нем не участвовал из-за болезни. Незадолго до пленума он направил в ЦК заявление, в котором просил освободить его от обязанностей председателя Реввоенсовета. Он писал, что готов в будущем выполнять любую работу по поручению ЦК на любом посту и вне всякого поста в условиях партийного контроля.

Но вопрос о его снятии был предрешен заранее. На место Троцкого уже нашли другого человека — Михаила Фрунзе. Он занял посты наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета. Зиновьев и Каменев потребовали исключить Троцкого из партии, но Сталин проявил «умеренность» и не согласился с этим, предложив оставить его даже в ЦК и Политбюро. Однако резолюция пленума выносила Троцкому «самое категорическое предупреждение» и оставляла вопрос о его работе в ЦК до очередного съезда. В случае же «новой попытки» Троцкого

нарушить партийные решения «ЦК будет вынужден, не дожидаясь съезда, признать невозможным дальнейшее пребывание т. Троцкого в Политбюро» и поставить вопрос о его устранении из ЦК.

Впоследствии Троцкий так описывал «литературную дискуссию»: «Это было в своем роде величественное зрелище. Клевета получила видимость вулканического извержения. Широкая партийная масса была потрясена. Я лежал с температурой и молчал. Пресса и ораторы ничем другим не занимались, кроме разоблачения троцкизма».

Поражение в «литературной дискуссии» вынудило Троцкого на время уйти из большой политики. Он занимался хозяйственными вопросами, писал статьи, разрабатывая, в частности, теорию необходимости «сверхиндустриализации», и злорадно наблюдал за возникающими спорами и конфликтами в стане его противников.

Первые крупные расхождения между Сталиным и Зиновьевым — Каменевым обнаружились на XIV партийной конференции в апреле 1925 года. Конференция приняла выдвинутую Сталиным «теорию построения социализма в одной, отдельно взятой стране», с которой не соглашались ни троцкисты, ни сторонники Зиновьева и Каменева. Последние также считали, что нэп уже выполнил свои задачи и пора усилить давление на крестьянство, чтобы государство получило средства для индустриализации. Оба лагеря к тому же претендовали на роль единственно правильных толкователей Ленина. Зиновьев даже написал книгу «Ленинизм», которую члены Политбюро раскритиковали в «секретном режиме».

Решающее столкновение между сторонниками Сталина и «новой оппозицией», как начали называть фракцию во главе с Зиновьевым, Каменевым, Крупской, Сокольниковым и другими, произошло на XIV съезде партии в декабре 1925-го. Дискуссии к тому времени уже перешли от теоретических вопросов к личным.

«Я неоднократно говорил это т. Сталину лично… я повторяю это на съезде: я пришел к убеждению, что тов. Сталин не может выполнять роль объединителя большевистского штаба», — говорил Каменев (в этом месте стенограмма фиксирует «голоса с мест»: «Неверно!», «Чепуха!», «Вот оно в чем дело!», «Раскрыли карты!» Шум… Крики: «Мы не дадим вам командных высот», «Сталина!», «Сталина!» Делегаты встают и приветствуют тов. Сталина. Бурные аплодисменты…).

«Председательствующий: Товарищи, прошу успокоиться. Тов. Каменев сейчас закончит свою речь…

Каменев: Эту часть своей речи я начал словами: мы против

теории единоначалия, мы против того, чтобы создавать вождя! Этими словами я и кончаю речь свою».

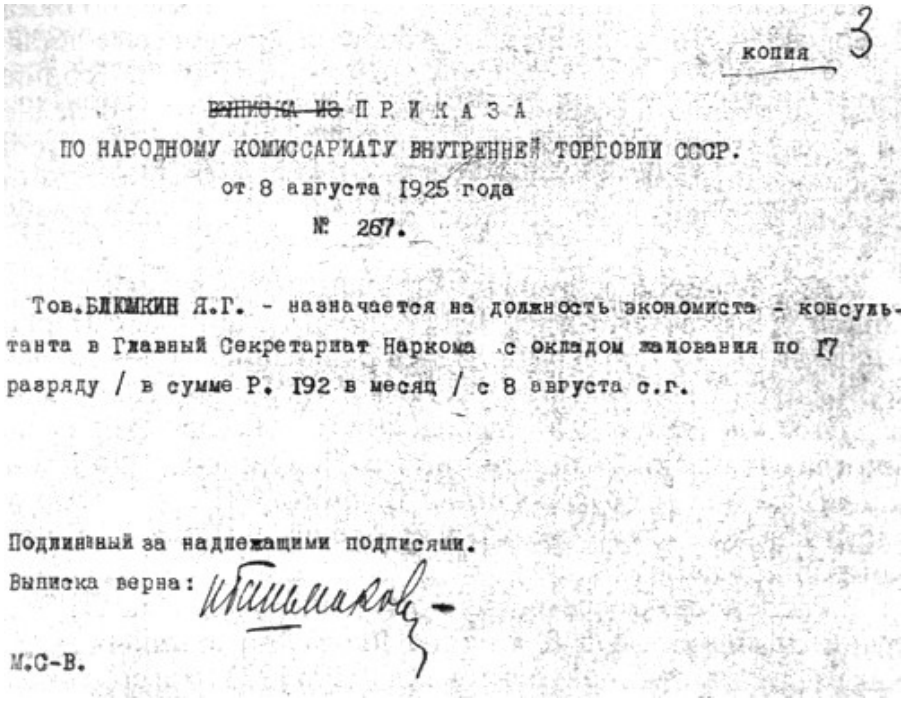
Съезд, переименовавший РКП(б) в ВКП(б) — Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), — закончился поражением «новой оппозиции». После съезда Зиновьева сняли с постов председателя Исполкома Ленинградского Совета и Исполкома Коминтерна, а Каменева — с постов заместителя председателя Совнаркома, председателя Совета труда и обороны и председателя Исполкома Моссовета. Кроме того, из члена Политбюро Каменев превратился в «кандидаты в члены Политбюро». И был назначен наркомом внешней и внутренней торговли. То есть стал непосредственным начальником Якова Блюмкина.

* * *

В автобиографии, написанной незадолго до расстрела, Блюмкин утверждал: «…за время моего пребывания в партии я в никаких оппозициях до 1927 г. не состоял». Это, похоже, так. Однако чувство симпатии и даже восторженности по отношению к Троцкому его не оставляло, что вскоре привело к тому, к чему привело.

Впрочем, Борис Бажанов рассказывает в мемуарах о таком эпизоде. По его словам, как раз в это время, в 1925 году, ОГПУ «приставило» Блюмкина к Троцкому. Находившийся уже в полуопале Троцкий занимался различными хозяйственными делами и, в частности, объезжал предприятия с инспекцией по обследованию качества продукции. В комиссию при Троцком ОГПУ, по утверждению Бажанова, пристроило и Блюмкина, и «как ни наивен был Троцкий, но функции Блюмкина в комиссии для него были совершенно ясны».

На одном из заседаний комиссии Блюмкин хотел взять слово, но Троцкий его неожиданно перебил. «Товарищ Блюмкис был там (с инспекцией на заводе. — *Е. М.)* оком партии по линии бдительности, — сказал он, — не сомневаемся, что он свою работу выполнил. Заслушаем сообщения специалистов, бывших в подкомиссии». Дальше Бажанов пишет: «Блюмкин надулся, как индюк: „Во-первых, не Блюмкис, а Блюмкин; вам бы следовало лучше знать историю партии, товарищ Троцкий; во-вторых…“ Троцкий стукнул кулаком по столу: „Я вам слова не давал!“ Из комиссии Блюмкин вышел ярым врагом Троцкого».



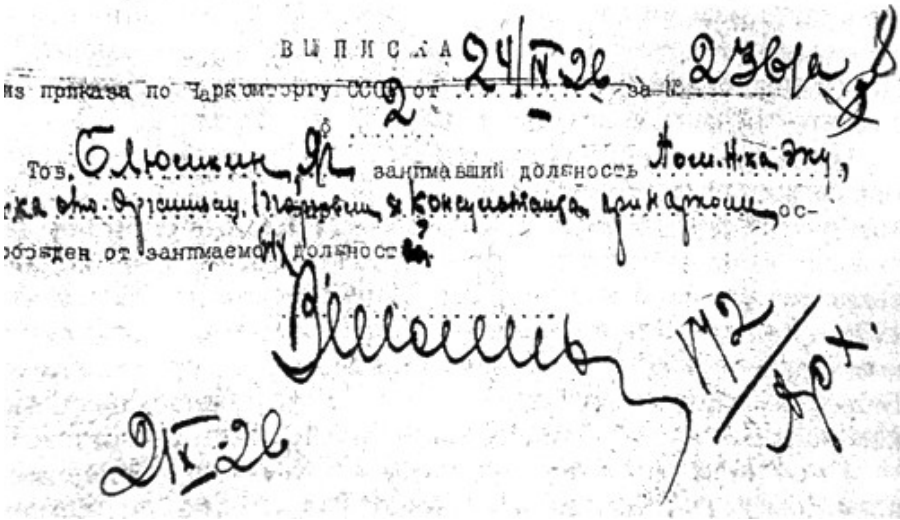
копия 3

~~ВЫПИСКА ИЗ~~ П Р И К А З А
ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СССР.
от 8 августа 1925 года
№ 267.

Тов.БЛЮМКИН Я.Г. - назначается на должность экономиста - консультанта в Главный Секретариат Наркома с окладом жалования по 17 разряду / в сумме Р. 192 в месяц / с 8 августа с.г.

Подлинный за надлежащими подписями.
Выписка верна:
М.С-В.

Приказ по Народному комиссариату внутренней торговли СССР от 8 августа 1925 года о назначении тов. Блюмкина Я. Г. на должность экономиста-консультанта в Главный секретариат наркома. РГАЭ. Публикуется впервые



ВЫПИСКА 24/IX 25 г. 2 экз.
из приказа по Наркомторгу СССР от ..... за № .....
Тов. Блюмкин Я. г. занимавший должность Экон.-Нка 2 ст.,
ка Отд. Фрахтов. Перевоз. и Консультации Наркомата, ос-
божден от занимаемой должности.
24/IX-25
№ 2 Арх.

Выписка из приказа по Наркомату внутренней торговли от 24

сентября 1926 года о том, что Блюмкин освобождается от занимаемых должностей в наркомате. РГАЭ. Публикуется впервые

Возможно, что-то подобное действительно было, но Бажанов в своем описании явно переборщил — некоторые детали кажутся малодостоверными. Трудно поверить, чтобы Троцкий забыл фамилию Блюмкина (это после года работы последнего в секретариате наркомвоенмора!). Маловероятно, чтобы Блюмкин позволил себе сказать Троцкому при всех: «вам бы следовало лучше знать историю партии». Это представляется невозможным.

Итак, Блюмкина назначили начальником отдела в Наркомате торговли. В ноябре 1925-го его объединили с Наркоматом внешней торговли в Наркомат внешней и внутренней торговли СССР. Сначала им руководил Александр Цюрупа, но недолго. А в январе 1926 года наркомом торговли был назначен опальный «новый оппозиционер» Лев Каменев. Но чем же занимался под его руководством Блюмкин? И почему это он вдруг пересел с «лихого коня» в кресло начальника отдела организации торговли?

В Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) хранится личное дело Блюмкина Якова Григорьевича № 80. Как следует из этих документов, 8 августа 1925 года его командировали в Наркомторг на должность экономиста. Это Блюмкина-то — в экономисты! Тем не менее он работал в наркомате аж до октября 1926 года.

Чем же занимался Блюмкин в Наркомторге, так сказать, официально? Сам он описывал свою работу следующим образом: «Год (1925–1926) я работал в Наркомторге (начальник отдела организации торговли, пом. нач. ЗКУ, председатель ряда комиссий, консультант при наркоме и т. д. — одновременно)». Другими словами, менял должности как перчатки. Он подсчитал, что занимал за этот год 12 различных постов.

Ну, двенадцать или не двенадцать, но его действительно бросали на разные участки работы. 8 августа 1925 года приказом по Наркомату внутренней торговли № 267 Блюмкин назначается на должность экономиста-консультанта в Главный секретариат наркома с окладом 192 рубля в месяц. 26 февраля 1926 года — консультантом при наркоме, 16 июня — начальником Отдела организации торговли, 10 августа — председателем Бюро стандартизации Наркомторга, 22 сентября — помощником начальника Экономического управления.

А все же если более конкретно? Документы, имеющиеся в личном деле Блюмкина, помогают ответить на этот вопрос лишь отчасти.

В сентябре 1925 года он ездил в Ленинград. Вероятно, для переговоров и закупки продукции ленинградского «Древтреста». По крайней мере, в его личном деле сохранилось удостоверение, в котором Административно-финансовый отдел Наркомвнуторга СССР рекомендует «т. Блюмкина Я. Г. как аккуратного плательщика и гарантирует со своей стороны своевременную выплату денег».

После возвращения из командировки он занимался квартирными делами. Получил от наркомата еще одну важную бумагу, которая тоже сохранилась в его личном деле. В ней сообщается, что Блюмкин, как ответственный работник, имеет право «на получение в занимаемой им квартире дополнительной жилой площади в размере 20 (двадцати) кв. аршин». А как уже говорилось, жилплощадь он получил в весьма престижном доме, на одной площадке с наркомом просвещения Луначарским.

Затем его ждала новая командировка — на Украину. 6 ноября 1925 года была образована Межведомственная комиссия из представителей Наркомвнуторга, ВСНХ, Наркомата РКИ и других ведомств для обследования «заводов Союзного значения, изготовляющих с.-х. машины, для выявления калькуляции себестоимости и качества продукции». Председателем этой комиссии был назначен Блюмкин. 8 ноября комиссия из трех человек выехала на Украину. Она должна была находиться там два месяца, но, судя по всему, ее работу продлили до февраля 1926 года.

Сохранился любопытный документ — справка о продлении этой командировки, выданная Блюмкину для предоставления в его домоуправление. Вероятно, для того, чтобы «жилец Блюмкин» смог подтвердить, что в означенное время он отсутствовал дома, а значит, не обязан платить за свет, воду и т. д. Да, поистине — главнее управдома не было в СССР человека.

Была ли в Наркомате торговли от Блюмкина какая-то реальная польза делу и стране? Думается, вряд ли, трудно было найти менее подходящую работу для его характера и темперамента, нежели должность министерского чиновника.

Блюмкин иногда просто не понимал, что происходит в окружавшей его «торговой реальности». Однажды, будучи уже «консультантом» при наркоме Каменеве, он направил ему докладную записку, которая начиналась так: «Товарищ Каменев! Я вас спрашиваю: где я, что я, кто я такой?» Чиновники-профессионалы из секретариата Каменева хохотали над запиской до упаду. Им трудно было понять Блюмкина, который еще не так давно участвовал в терактах, подавлял восстания и работал нелегалом за границей, а Блюмкину — их.

* * *

Но это, так сказать, лишь одна сторона его работы и жизни в 1925–1926 годах. Была и другая.

Блюмкин и сам не скрывал, что от чекистской работы он никогда не отдалялся, в том числе и во время работы в Наркомторге. В его автобиографии есть, к примеру, такая фраза: «О том, что мной было сделано по линии чекистской работы за это время, я упоминал в своем заявлении т. Агранову. Но лучше всего об этом могут сказать т. Менжинский и Трилиссер. Они знают, сколько раз я рисковал жизнью за интересы нашего дела, являющегося и моим делом».

Действительно, в следственном деле Блюмкина имеются его показания, собственноручно отредактированные им по просьбе заместителя начальника Секретного отдела ОГПУ Якова Агранова. Есть также его дополнительные показания тому же Агранову, которые он озаглавил «О поведении в кругу литературных друзей». Но о своей конкретной работе на ОГПУ и о выполняемых им специальных заданиях во время работы в Наркомторге он ничего не говорит.

Сохранилось также письмо Блюмкина начальнику ИНО Михаилу Трилиссеру, написанное на листах из тетради, вероятно, незадолго до его ареста. Но и в нем нет никаких подробностей об оперативной работе Блюмкина в 1925–1926 годах. Правда, письмо до нас дошло не в полном виде — сохранился кусочек 8-й страницы и страницы 9–26. Может быть, на пропавших страницах Блюмкин и описал то, чем он на самом деле занимался в Наркомторге? И, может, поэтому они и не «дожили» до нашего времени? Кто знает…

Как ни странно, но этот, чуть ли не самый «тихий» и «мирный» период в его жизни оставил множество загадок и в без того загадочной биографии Блюмкина. Вопрос о том, чем он на самом деле занимался в течение 1925–1926 годов, всегда давал простор для самых необычных версий и фантазий.

* * *

Те, кто не признаёт не подтвержденных документами рассказов (не будем в данном случае употреблять слово «факты»), могут спокойно пропустить следующую часть этой книги. Для тех же, кто все-таки собирается ее прочитать, автор хотел бы уточнить: никто на самом деле не знает, происходило ли все это на самом деле. А если происходило, то так или как-то по-

другому.

Лично автору кажется, что то, о чем речь пойдет ниже, в большинстве своем домыслы и выдумки. Они кочуют из одной публикации о Блюмкине в другую, особенно в Интернете, и порой бывает трудно понять, откуда именно взялись эти сведения и как они возникли. Однако практически они уже стали своеобразной частью биографии Блюмкина или представления о нем как о «черном человеке», сыгравшем поистине зловещую роль в жизни многих известных людей. Так что следующую часть можно было бы назвать и так: «Образ Якова Блюмкина в легендах, слухах и вымыслах». А что, неплохая тема для отдельного исследования.

«ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

«Этот человек плохо кончит!» Блюмкин как «убийца» родственницы наркома Луначарского

Итак, Блюмкин поселился рядом с наркомом просвещения Луначарским, который переехал в двухэтажную квартиру дома в Денежном переулке прямо из Кремля. Поговаривали, что «самый либеральный нарком» советского правительства сделал это не случайно, а как раз-таки из-за своего «либерализма». В Кремле к тому времени существовала строгая пропускная система, что якобы очень угнетало Анатолия Васильевича, поскольку к нему не могли попасть писатели, художники, певцы — словом, все те, кому он покровительствовал. Во всяком случае, такие разговоры ходили.

Была, впрочем, еще одна версия причины его переезда — женитьба. В 1922 году 47-летний Луначарский женился вторым браком на 22-летней актрисе Малого театра и кино, а также переводчице Наталье Розенель. Ради нее он, оставив сына и жену, с которой прожил 20 лет, и начал новую жизнь на новом месте.

В Денежном переулке Луначарские жили широко и хлебосольно. Молодая супруга наркома сыграла не последнюю роль в том, что их квартира превратилась в своего рода литературно-художественный салон, где бывала «вся Москва» — Маяковский, Пастернак, Алексей Толстой, Олеша, композитор Прокофьев, певцы Собинов и Козловский — этот список можно было бы продолжать и продолжать. Супруга наркома, понятно, блистала в этом салоне, да и вообще она была одной из «первых светских советских дам» в Москве.

О «слишком свободной» жизни Луначарского и Розенель ходило множество анекдотов и сплетен. «Пролетарский поэт» Демьян Бедный не раз злословил по их поводу. Однажды он напечатал эпиграмму:

> Законный брак — мещанство? Вот так на!
> А не мещанство — брак равнять с панелью?
> Нет! Своего рабочего окна
> Я не украшу… Розенелью!

Здесь смысл в том, что «розенель» — это одно из названий герани, а герань, как фикус и канарейка, в 1920-е годы считалась атрибутом мещанства.

В другой раз эпиграмма Бедного касалась спектакля «Бархат и лохмотья» по пьесе самого Луначарского, а играла в нем, естественно, его жена. Эпиграмма гласила:

Ценя в искусстве рублики,
Нарком наш видит цель:
Дарить лохмотья публике,
А бархат — Розенель.

Тут уж нарком не остался в долгу и ответил:

Демьян, ты мнишь себя уже
Почти советским Беранже.
Ты, правда, «б»,
Ты, правда, «ж».
Но все же ты — не Беранже.

Рассказывали также, что однажды, когда молодая жена приревновала наркома к какой-то из дам, (а это происходило довольно часто и не без оснований), тот ей серьезно ответил: «Извини, Наташа, но главный человек в моей жизни — Ильич». Правда, тут же поспешил добавить: «Но тебя я тоже люблю». Ленина Луначарский любил искренне и считал своим долгом написать о нем книгу. Наталья Розенель любила рассказывать, как Луначарский в одном из выступлений сослался на Ленина, а кто-то из присутствовавших возмутился: «Ленин этого не говорил!» Нарком выдержал паузу и мягко ответил: «Вам не говорил, а мне говорил».

Впрочем, Ильич относился к нему с некоторой иронией, критиковал за всякие разные «богоискательства», «богостроительства», «интеллигентскую мягкотелость» и называл его «миноносец „Легкомысленный“».

На дверях квартиры Луначарского до сих пор сохранилась табличка с надписью: «Народный комиссар просвещения дома по делам не принимает». Разумеется, к гостям его «салона» это не относилось. Не относилось это и к его соседу Блюмкину, который, по слухам, часто бывал у наркома.

Вполне возможно, что в «салон Луначарских» он попал благодаря своему давнему знакомству с Натальей Розенель. Во всяком случае, их пути могли пересекаться. В 1919 году она училась на юридическом факультете и в театральной студии в Киеве. В начале 1920-х часто бывала в московских литературных кафе, неплохо знала Есенина и Шершеневича. В 1924 году

Розенель и Луначарский проводили отпуск в Грузии. Словом, случаев познакомиться с Блюмкиным у нее имелось предостаточно.

Как бы там ни было, Блюмкин появлялся в квартире Луначарского. У него же он познакомился и с родственницами Натальи Розенель — ее племянницей, 22-летней Натальей Сац, и двоюродной сестрой — девятнадцатилетней балериной Большого театра Татьяной (Татой) Сац.

Они обе станут в будущем известными людьми. Наталья — первой в мире женщиной — оперным режиссером, Героем Социалистического Труда, народной артисткой СССР, лауреатом Государственной, Ленинской и других премий, создателем и руководителем первого в мире детского театра. А Татьяна — балетмейстером, режиссером-постановщиком цирковых шоу, хореографом, работавшим с известными советскими фигуристами. Но тогда, в 1925-м, обе они, похоже, заглядывались на «легендарного террориста».

О том, что Наталья Сац была знакома с «коллегами» и друзьями Блюмкина, она упоминает в своих мемуарах «Новеллы моей жизни», рассказывая, что бывала в знаменитом в 1920-е годы кафе «Стойло Пегаса» и водила дружбу с военными. «Я подружилась с выпускниками Академии Генерального штаба Брагинским, Бойцовым, Урицким[50], Петровским», — вспоминала она. Мемуары Наталья Сац писала в 1960-е, и упоминать среди своих знакомых Блюмкина она, конечно, не могла.

Ну а с Татьяной Сац у Блюмкина, похоже, был настоящий роман. Напомним, что именно в этом 1925 году он расстался с Татьяной Файнерман. Может быть, новая Татьяна и стала причиной этого разрыва. «В одном из московских частных архивов хранится пачка любовных посланий Якова, адресованных Тате, — сообщает историк Ярослав Леонтьев. — А. С. Велидов в устном разговоре сообщил, что при аресте Блюмкина у него были отобраны ответные письма Т. Сац». С 1955 по 1991 год Алексей Велидов работал преподавателем в Высшей школе КГБ, поэтому его свидетельство может заслуживать внимания. Вот только где сейчас эти письма?

* * *

Все, что говорилось выше, — более или менее правдоподобно. Перейдем теперь к легендам и прочим, мягко говоря, рассказам о роли Блюмкина в судьбах некоторых членов семьи Луначарского. В них «бесстрашный террорист» выглядит зловеще. А попросту

говоря, убийцей.

Луначарский, сначала благосклонно относившийся к визитам соседа, затем якобы резко охладел к нему и запрещал своим молодым родственницам пускать его даже на порог. «Этот человек плохо кончит! — вроде бы говорил он. — Это авантюрист и убийца!» И, как гласит эта версия, нарком не ошибся.

У Натальи Сац была младшая сестра Нина. Она писала стихи. Нина трагически погибла — она была убита на пляже в Евпатории. Сегодня достаточно вбить в любом интернет-поисковике слова «Блюмкин и Нина Сац» и через считаные минуты можно получить результат. Вот такой, к примеру:

«Нина, тихая, кроткая девочка, влюбилась в Блюмкина с безоглядностью и самоотречением. Все ее стихи того времени, впоследствии изданные Натальей Сац, полны признаний в собственной „незаметности“ и „ничтожности“ на фоне величия и могущества ее избранника.

Некоторое время спустя она поехала на юг для свидания с Блюмкиным и была убита при загадочных обстоятельствах. Ее обнаружили задушенной на берегу моря. Виновных не нашли. Или Блюмкин сам свел с ней счеты, проболтавшись о чем-то важном, или кто-то предупреждал таким страшным образом самого Блюмкина о том, что его ждет.

Во всяком случае, в своих мемуарах „Новеллы моей жизни“ Наталья Сац отзывается о Блюмкине как о прямом виновнике гибели своей сестры (хотя нигде не называет его, поскольку в 1970-е на Блюмкина предпочтительнее было лишь намекать). Словом, гибель преследовала его и всех, с кем пересекался его путь».

Этот рассказ с теми или иными вариациями бродит по многочисленным интернет-публикациям, журнальным и газетным статьям и даже книгам, в которых излагается биография Блюмкина. Где и когда рассказ об этой истории появился впервые — уже трудно сказать, да это, наверное, и не так важно. Удивительно другое — авторы этой версии почему-то не замечают многочисленных и очевидных ее нелепостей.

Начнем с мемуаров Натальи Сац. Она пишет, что у Нины был роман с неким Серафимом, «странным человеком со странной биографией. Прежде — монах, потом — офицер, после — артист… В то время… он полностью изолировал себя от женщин, углубился в сочинения Платона. Его зеленые глаза напоминали тряское болото». Якобы этот самый Серафим и ждал Нину в числе других знакомых в доме ее матери — в Евпатории, рядом с маяком.

«Она шла, почти танцуя, улыбаясь солнцу, морю,

встречным, — пишет Наталья Сац. — Ближе к маяку их становилось меньше и меньше. Вот подошел мужчина, предложил ей поднести чемоданчик. Вероятно, Нина ответила, что чемоданчик легкий, но мужчина сказал, что ему по пути, и некоторое время слушал Нинины рассказы о Москве, ее стихи, а потом толкнул в море и бросился бежать с ее чемоданчиком в руках. Нина выплыла, она плавала хорошо. Тогда страшный человек подумал, что Нина донесет на него, вернулся и задушил ее…

После того как бандит Петр Общих бросил тело Нины Сац на песке у моря, он пошел продавать ее вещи. Он открыл чемоданчик. Там оказалось: смена белья, маленькая подушка, умывальные принадлежности и тетрадь — черная, толстая, наполовину исписанная. Он швырнул тетрадь в сторону от дороги так же просто, как швырнул тело Нины в море. Несколько дней Нина лежала мертвая, никем не опознанная. Подруга думала, что она на маяке, на маяке считали, что она решила остаться в городе…»

В тетради были стихи, которые потом издала Наталья Сац, и несколько дневниковых записей, которые, впрочем, ключа к разгадке преступления не дали.

Сторонники версии «Блюмкин — убийца Нины» говорят, что под именем Серафима Наталья Сац как раз и вывела «бесстрашного террориста». Но даже если допустить это, то из книги не следует, что он имел отношение к убийству. Некий то ли бандит, то ли маньяк Петр Общих совершил это по явно криминальным соображениям. Обличители Блюмкина возражают, что рассказ о бандите — это художественный вымысел Натальи Сац, а на самом деле… Но никаких конкретных указаний на то, что «на самом деле» Блюмкин имел отношение к этому убийству, они привести не могут.

К тому же убийство Нины Сац произошло летом 1924 года. В это время Блюмкин то ли собирался, то ли уже был в Закавказье. В квартире Луначарского, где Блюмкин познакомился с его родственницами, он появился только год спустя. Теоретически, конечно, можно предположить, что это знакомство состоялось в 1924 году, после его возвращения из Палестины. Но тогда события должны были бы развиваться с небывалой скоростью.

У Блюмкина с Ниной должен был возникнуть роман, он должен был ей проболтаться о чем-то очень важном, испугаться, разработать план ее убийства, договориться с ней о встрече в Евпатории, свернуть туда по дороге на Кавказ (или приехать в Крым уже из Тифлиса), убить Нину и вернуться к месту службы либо в Москву, чтобы потом отправиться в Закавказье. Мягко

говоря, сложно и нелепо.

Самое же непонятное в этой истории — почему «разоблачители» Блюмкина вдруг решили, что он имеется отношение к этому делу? Блюмкин, конечно, террорист, авантюрист, убийца и вообще личность далеко не образцовая, но то, что он еще и «убийца девушек» в буквальном смысле — это уже явный перебор. К тому же ничем не подкрепленный.

«Вскочил Блюмкин… и наганом со всего маху рукояткой в лицо!» Блюмкин как «убийца» Есенина

Но все-таки версия «Блюмкин — убийца Нины Сац» не так популярна, как другая история, в которой он тоже фигурирует в роли убийцы и в буквальном смысле изображается черными красками. «Черный чекист», «черный человек», «черный ангел смерти», «черная тень светлого человека» — это всё из публикаций о том, как Яков Блюмкин участвовал в убийстве или даже лично убивал своего друга, поэта Сергея Есенина.

По официальной версии трагической смерти Есенина, он покончил жизнь самоубийством 28 декабря 1925 года в ленинградской гостинице «Интернационал» (бывшей «Англетер») в состоянии глубокой депрессии. Несмотря на смутные слухи и отдельные намеки в мемуарной литературе о Есенине, эта версия в течение почти полувека практически не пересматривалась и не подвергалась сомнению. И только с 70-х годов прошлого века стала набирать обороты другая версия — о том, что поэта убили, а самоубийство инсценировали. Причем следы убийц вели в ОГПУ, а приказ они якобы получили от самых высокопоставленных советских руководителей. Фамилия Блюмкина занимает в этой версии едва ли не центральное место.

Мы не будем здесь анализировать аргументы сторонников обеих версий. Для нас в данном случае важно другое — как те, кто считает, что поэта убили, обосновывают появление в этой истории Блюмкина.

* * *

Одним из первых, кто начал доказывать факт убийства Есенина, был следователь Московского уголовного розыска, полковник милиции, писатель и журналист Эдуард Хлысталов, чьи книги и статьи получили наибольшую известность в 90-е годы прошлого века. В одной из его книг убийство поэта описано так: «Есенин был оглушен ударом канделябра, после чего его стали избивать ногами, сломав при этом три ребра, отбили почки и печень, били в пах, затем перерезали ему вены и мускулы, выстрелили в голову и повесили на трубе парового отопления. Очнувшись, висящий в петле с разорванными шейными позвонками, истекающий кровью Есенин пытался освободиться от

нее, но силы оставили его».

В работах Хлысталова Блюмкин упоминается, но на его причастность к убийству Есенина автор скорее намекает. Его единомышленники пошли куда как дальше.

В конце 1990-х петербургский писатель Виктор Кузнецов издал книгу под названием «Тайна гибели Сергея Есенина», в которой Блюмкин уже открыто назван убийцей поэта. По версии Кузнецова, Есенин никогда не селился в «Интернационале» — «Англетере». Он утверждает, что в тот день, когда Есенин прибыл в Ленинград, Блюмкин, отлично знавший поэта, пригласил его в гостиницу, чтобы отпраздновать их встречу.

Есенин согласился, но по дороге был схвачен сотрудниками ОГПУ и помещен в подвал на проспекте Майорова, где его избивали четыре дня. Зачем? Чтобы завербовать. Допросы вел Блюмкин. По-видимому, утверждает Кузнецов, Есенин сопротивлялся и с силой толкнул Блюмкина, тот упал. Тогда другой чекист, Николай Леонтьев, выстрелил в поэта. А после этого Блюмкин ударил Есенина рукояткой револьвера в лоб. Затем тело перетащили по подвальному лабиринту в соседний «Англетер» и там повесили.

В качестве подтверждения своей версии Кузнецов выдвигает «кровавую» биографию Блюмкина и его сложные отношения с Есениным. Или вот такой еще аргумент:

«Выяснилось, Блюмкин был не только специалистом по „мокрым делам“, бичом врагов мировой революции, но и настоящим профессионалом по части подделки чужого почерка. В июле 1918 года, подготавливая покушение на германского посла Мирбаха, он искусно „изобразил“ в фальшивом мандате ВЧК подпись Ксенофонтова, секретаря Дзержинского. Лиха беда начало. Позже самодеятельный графолог и не такие „липы“ мастерил.

А. И. Солженицын, встречавшийся в лагере с зэком М. П. Якубовичем, в прошлом чекистом, передает в „Архипелаге ГУЛАГе“ его воспоминание: „…в конце 20-х годов под глубоким секретом рассказывал Якубовичу Блюмкин, что это он написал так называемое предсмертное письмо Савинкова, по заданию ГПУ. Оказывается, когда Савинков был в заключении, Блюмкин был постоянно допущенное к нему в камеру лицо — он ‘развлекал’ его вечерами. <…> Это и помогло Блюмкину войти в манеру речи и мысли Савинкова, в круг его последних мыслей“.

После суда Борис Савинков „послал“ за границу революционерам-эмигрантам открытые письма, в которых призывал их прекратить безнадежную борьбу с большевизмом. Многие адресаты, и даже „охотник за шпионами“ и разоблачитель

Азефа Владимир Бурцев, поверили в это раскаяние. Они не подозревали, что фальшивки сочинил и лично „нарисовал“ Блюмкин. В мае 1925 года гэпэушники выбросили Савинкова из не огражденного окна камеры во внутренний двор лубянской тюрьмы. Официально самоубийство объяснили пессимистическим настроением политического банкрота. Блюмкин на этот счет даже подделал прощальное письмо контрреволюционера — да так ловко, что в него опять-таки поверили.

Как знать, не рук ли Блюмкина опубликованное в „Красной газете“ стихотворение „До свиданья, друг мой, до свиданья…“, которое якобы написал Есенин, уйдя из жизни, как красиво выразится Троцкий „…без крикливой обиды, без позы протеста, — не хлопнув дверью, а тихо призакрыв ее рукою, из которой сочилась кровь“?..

Если Блюмкину было по силам овладеть буквой и духом савинковских писем, очевидно, ему не составляло большого труда начертать восемь „есенинских“ строк „до свиданья…“».

Вот эти всем известные стихи:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

От себя добавим — если это мог написать Блюмкин, то как минимум в его поэтических талантах сомневаться не приходится. Странно только, что при таких выдающихся способностях никакие другие его стихи до наших дней не дошли.

Сторонники версии об убийстве Есенина часто расходятся в том, как именно оно происходило. Профессор патологической физиологии Федор Морохов: «Он был удушен, скорее всего, подушкой». Поэт Иван Лысцов: «На голове пробоина треугольной формы, которая могла быть нанесена лишь тяжелым металлическим предметом». Автор романа «Есенин» Виталий Безруков (отец известного актера Сергея Безрукова) описывает сцену убийства так ярко, как будто сам ее видел:

«Дверь отворилась, не скрипнув, петли, видать, смазали заранее, и в номер вошел Блюмкин, за ним гэпэушник и тот подсадной „белый офицер“, что был с Есениным в камере на

Лубянке. Он запер дверь за собой. Увидал Блюмкина Есенин — сердце его зашлось в смертельной тоске. Крикнул он в отчаянье: „Черный человек! Черный человек!“ — и швырнул в морду его гармонь русскую. Упал на пол Блюмкин…

Двое других разом навалились на одного Есенина, усадили на стул, удавку на шею накинули. Хрипит Есенин, правой рукой вцепился в веревку. Вскочил Блюмкин… и наганом со всего маху рукояткой в лицо! Еще! Еще! Один бьет, двое держат! Глаз вытек! Переносица проломлена! Обмяк поэт, затих».

«Для меня неоспоримый факт, что Есенина убили», — заявил автор в одном из газетных интервью. В 2005 году, к восьмидесятилетию смерти Есенина, по телевидению был показан сериал «Есенин» по роману Безрукова. Есенина в нем сыграл Сергей Безруков, а Блюмкина — Гоша Куценко. Кстати, большинство рецензий на фильм были, мягко говоря, отрицательными.

Итак, допустим, что Есенина убил Блюмкин. Или, по крайней мере, участвовал в убийстве поэта. Естественно, возникает вопрос: зачем Блюмкину или чекистам надо было его убивать, а потом имитировать самоубийство? Послушаем сторонников этой версии.

Объяснения, в общем, похожие. Например, такое (голос из Интернета): «Он был убит… за проявление в те времена в своем творчестве патриотизма к России и своему народу… В условиях, когда Российская империя была захвачена осенью 1917 года двумя группами приезжих из-за рубежа профессиональных революционеров-политтехнологов (поезд из Европы во главе с Бланком-Лениным и корабль из Америки во главе с Бронштейном-Троцким), — проявление русским поэтом патриотизма, бесспорно, — очень раздражало новую власть».

Виктор Кузнецов называет две причины убийства Есенина: он воплощал дух русской нации, и он стал фактически контрреволюционером. В своей поэме «Страна негодяев» он очень зло изобразил Троцкого. А тут еще и политические дела у Льва Давидовича пошли из рук вон плохо. «И вот вчерашний вождь революции оказался близок к опале, — пишет Виктор Кузнецов. — Ну и ему нужно было на кого-то выплеснуть всю эту негативную энергию. Конечно, на Есенина».

Версия поэта и литератора Игоря Евсина — более развернутая. Надо, впрочем, отдать ему должное — он уточняет, что это его «авторская гипотеза»:

«Не стал Есенин трубадуром революции, к чему его лично призывали большевистские вожди — Троцкий, Дзержинский, Калинин. И здесь, касаясь темы разрыва Есенина с большевиками-

интернационалистами, необходимо отметить принадлежность некоторых тогдашних руководителей советской России к масонам. И, в частности, Льва Троцкого (Лейбу Бронштейна), который официально состоял в масонской организации и имел высокое посвящение…

Троцкий всячески обласкивал Есенина, пытаясь сделать его трубадуром революции и проводником масонской идеи о необходимости перевоспитания русского человека в духе марксистско-коммунистических идей. На что великий русский поэт неизменно отвечал отказом. „Я — Божья дудка“, — говорил он Троцкому…

Несомненно, что именно под большевистским влиянием были написаны кощунственные революционные поэмы Сергея Есенина, направленные против Бога.

Однако с детства воспитанный в православии, Есенин ПРЕОДОЛЕЛ это влияние и пришел к убеждению, что без Бога он ничто…

Перешагнув через свою гордыню, он встает на путь духовного обновления, преодолевая свои идейные заблуждения.

В разговорах, и особенно в стихотворении „Послание ‘Евангелисту’ Демьяну“, Есенин открыто исповедовал православную веру. Кроме того, он распустил масонский „Орден имажинистов“, а масона высокого посвящения Льва Троцкого в своей поэме „Страна негодяев“ описал как мерзкого красного комиссара, еврея, приехавшего в Россию, чтобы православные церкви превратить в „места отхожие“.

Всего этого троцкисты поэту не простили и убили его как защитника самобытной русской культуры…

Итак, есть некие основания полагать, что великий поэт был убит масонами за то, что воспевал православный русский народ и ненавидел интернационализм, насаждаемый в России».

Фактически ритуальное убийство русского поэта чекистами по приказу одного из вождей революции — это, конечно, сильное предположение. Однако его авторы игнорируют некоторые детали, в которых, как известно, и кроется дьявол. Ну, прежде всего Троцкий в конце 1925 года вряд ли мог что-то приказывать чекистам. Тогда он уже находился в глубокой опале и никакого влияния на тогдашних «силовиков» не имел.

Конечно, можно предположить, что группа чекистов-троцкистов во главе с Блюмкиным могла бы расправиться с Есениным неофициально, по просьбе своего «духовного вождя». Но это была бы крайне рискованная операция. В случае провала — все нити точно привели бы к Троцкому, что означало бы полный его крах как политика и революционера. Троцкий был

кем угодно, но только не дураком, и вряд ли пошел бы на такой риск в момент, когда приближался новый этап схватки за власть в партии.

Если бы ему нужно было «убрать» Есенина, он наверняка нашел бы повод его расстрелять или изолировать еще раньше и без лишних трудов. Сотни расстрелянных или оказавшихся в концлагерях при его непосредственном участии — тому пример. Зачем нужны были все эти сложности с имитацией самоубийства? Только потому, что Есенин — великий русский поэт? Но когда большевиков это останавливало?

Реальность состоит в том, что у Троцкого с Есениным были сложные, но в целом весьма неплохие отношения. Сторонники версии «Троцкий — заказчик убийства русского поэта» утверждают, что Есенина всячески обласкивали, но обласкать так и не смогли, и любят приводить слова Есенина, сказанные в Берлине: «Не поеду в Москву… пока Россией правит Лейба Бронштейн. Он не должен править».

Возможно, что-то подобное он действительно говорил. Но говорил и другое. Сохранилось немало свидетельств, когда Есенин отзывался о «демоне революции» более чем положительно. Его друг поэт Вольф Эрлих, которому Есенин по официальной версии передал свои предсмертные стихи, приводит такие есенинские слова: «Знаешь, есть один человек… Тот, если захочет высечь меня, так я сам штаны сниму и сам лягу! Ей-Богу, лягу! Знаешь — кто? — Он снижает голос до шепота: — Троцкий…»

Но даже если Эрлих неспроста приводит эти слова в воспоминаниях (он тоже под подозрением у сторонников версии убийства) или же сам Есенин с крестьянской лукавинкой и смёткой пытался так «отмазать» очередное свое «хулиганство», понимая, что его «покаянное высказывание» неизбежно дойдет до Троцкого, есть ведь еще и стихи. В 1924 году Есенин писал в поэме «Песнь о великом походе»:

Говорит Корнилов
Казакам поречным:
«Угостите партизанов
Вишеньем картечным.
С Красной Армией Деникин
Справится, я знаю.
Расстелились наши пики
С Дона до Дунаю».
Ой, ты, атамане!
Не вожак, а соцкий.

А на что ж у коммунаров
Есть товарищ Троцкий!
Он без слезной речи
И лихого звона
Обещал коней нам наших
Напоить из Дона.

«Непредвзятый анализ взаимоотношений Есенина и Троцкого ясно показывает: никаких мотивов для криминала нет, — считает литератор и историк Александр Говорков. — На „убийцу“ поэта Троцкий не только не „тянет“, но, мало того, именно он выглядит главным покровителем Сергея Есенина». Вполне вероятно, что Троцкого увлекала роль покровителя известного поэта (а вместе и льстила самолюбию) — он всегда искал публичной популярности, как мы уже видели в истории с музеем.

Сохранился любопытный документ. Буквально за два месяца до гибели Есенина, 25 октября 1925 года, один из ближайших сподвижников Троцкого, только что назначенный полпредом СССР во Франции Христиан Раковский написал записку Дзержинскому — с просьбой помочь «спасти жизнь известного поэта Есенина, несомненно, самого талантливого поэта в нашем Союзе». По словам Раковского, Есенин был болен туберкулезом, но «вследствие своего хулиганского характера и пьянства не поддается никакому врачебному воздействию». «Мы решили, что единственное еще остается средство заставить его лечиться — это Вы, — писал Раковский. — Пригласите его к себе и проберите хорошенько и отправьте вместе с ним в санаториум товарища из ГПУ, который бы не давал ему пьянствовать. Жаль парня, жаль его таланта, молодости». Дзержинский оставил на записке пометку для своего секретаря: «Т. Герсон. М. б., Вы могли бы заняться. Ф. Д.».

Впрочем, при желании эта записка тоже может служить «подтверждением» версии убийства Есенина чекистами — мол, решили заставить его уехать в санаториум «с товарищем из ГПУ», чтобы изолировать от общественности, Есенин сопротивлялся, и его случайно или намеренно убили. А кто уговаривал его «ехать в санаториум»? Ну, конечно же, Блюмкин.

На смерть поэта Троцкий откликнулся статьей в газете «Правда»:

> «Мы потеряли Есенина — такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего. И как трагически потеряли! Он ушел сам, кровью попрощавшись с необозначенным другом, — может быть, со всеми нами.

Поразительны по нежности и мягкости эти его последние строки! Он ушел из жизни без крикливой обиды, без ноты протеста, — не хлопнув дверью, а тихо прикрыв ее рукою, из которой сочилась кровь. В этом месте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом…

Есенин слагал острые песни „хулигана“ и придавал свою неповторимую, есенинскую напевность озорным звукам кабацкой Москвы. Он нередко кичился резким жестом, грубым словом. Но подо всем этим трепетала совсем особая нежность неогражденной, незащищенной души…

Наше время — суровое время, может быть, одно из суровейших в истории так называемого цивилизованного человечества. Революционер, рожденный для этих десятилетий, одержим неистовым патриотизмом своей эпохи, — своего отечества, своего времени. Есенин не был революционером. Автор „Пугачёва“ и „Баллады о двадцати шести“ был интимнейшим лириком. Эпоха же наша — не лирическая. В этом главная причина того, почему самовольно и так рано ушел от нас и от своей эпохи Сергей Есенин…

Нет, поэт не был чужд революции, — он был несроден ей. Есенин интимен, нежен, лиричен, — революция публична, эпична, катастрофична. Оттого-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой…

Его лирическая пружина могла бы развернуться до конца только в условиях гармонического, счастливого, с песней живущего общества, где не борьба царит, а дружба, любовь, нежное участие…

Пусть же в чествовании памяти поэта не будет ничего упадочного и расслабляющего. Пружина, заложенная в нашу эпоху, неизмеримо могущественнее личной пружины, заложенной в каждого из нас. Спираль истории развернется до конца. Не противиться ей должно, а помогать сознательными усилиями мысли и воли. Будем готовить будущее! Будем завоевывать для каждого и каждой право на хлеб и право на песню. Умер поэт. Да здравствует поэзия!

Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя. Да здравствует творческая жизнь, в которую до последней минуты вплетал драгоценные нити поэзии Сергей Есенин».

К Троцкому можно относиться как угодно, но в литературном чутье и слоге «демону революции» не откажешь.

Для сравнения любопытно привести оценку поэзии Есенина Николаем Бухариным. «С легкой руки Сергея Есенина, — писал Бухарин в „Правде“ 12 января 1927 года, — этой „последней моды“ дня, у нас расползлось по всей литературе, включая и пролетарскую, жирное пятно от этих самых „истинно русских“ блинов. Между тем есенинщина — это самое вредное, заслуживающее настоящего бичевания, явление нашего литературного дня».

* * *

Есть, конечно, и более «материалистические» объяснения «убийства поэта чекистами». Одно из них состоит в том, что Есенин случайно вмешался в «большую политику». Другими словами — в борьбу за власть в партии между Сталиным и его противниками: Троцким, Каменевым, Зиновьевым.

Сторонники этой версии выводят ее из эпизода, который вроде бы произошел 23 декабря 1925 года, то есть накануне рокового отъезда Есенина в Ленинград.

В этот день Есенин встретил в редакции Госиздата прозаика Александра Тарасова-Родионова. Вместе они пошли в пивную. И там, согласно воспоминаниям последнего, Есенин ему сказал: «Я очень люблю Троцкого… уверяю тебя, очень люблю. А вот Каменева… не люблю. Подумаешь, вождь. А ты знаешь, когда Михаил отрекся от престола, он ему благодарственную телеграмму закатил за это самое из Иркутска… Телеграмма-то эта, где он мелким бесом семенит перед Михаилом, она, друг милый, у меня».

Речь шла о приветственной телеграмме «первому гражданину свободной России», которую Лев Каменев вроде бы отправил в марте 1917 года из Ачинска, где находился в ссылке, великому князю Михаилу — после того, как тот отрекся от престола[51].

Далее, по мнению авторов этой версии, Тарасов-Родионов, будучи сторонником троцкистско-зиновьевской оппозиции, оперативно сообщил кому-то в окружении лидеров оппозиции о том, что у Есенина имеется серьезный компромат на Каменева. Так что в Ленинграде поэта ждала уже группа во главе с Блюмкиным. Они потребовали отдать телеграмму. Есенин отказался — у него ее, скорее всего, и не было. Завязалась драка, в ходе которой поэта убили (возможно, случайно). Чтобы замести следы, убийцы инсценировали самоубийство.

Забежим немного вперед. Сценка — из стенограммы — на VII расширенном пленуме Исполкома Коминтерна (22 ноября — 16 декабря 1926 года). Разногласия между Сталиным и Троцким, Зиновьевым и Каменевым уже в самом разгаре. И Сталин припоминает давние события (которые еще в 1917 году описывали буржуазные газеты и тогда же опровергала «Правда»):

«Дело происходило в городе Ачинске в 1917 году, после Февральской революции, где я был ссыльным вместе с тов. Каменевым. Был банкет или митинг, я не помню хорошо, и вот на этом собрании несколько граждан вместе с тов. Каменевым послали на имя Михаила Романова… *(Каменев с места:* „Признайся, что лжешь, признайся, что лжешь!“).

Молчите, Каменев. (*Каменев*: „Признаёшь, что лжешь?“). Каменев, молчите, а то будет хуже. *(Председательствующий Тельман призывает к порядку Каменева)*.

Телеграмма на имя Романова как первого гражданина России была послана несколькими купцами и тов. Каменевым. Я узнал на другой день об этом от самого т. Каменева, который зашел ко мне и сказал, что допустил глупость *(Каменев с места:* „Врешь, никогда тебе ничего подобного не говорил“).

Так как тов. Каменев здесь пытается уже слабее опровергать то, что является фактом, вы мне разрешите собрать подписи участников апрельской конференции, тех, кто настаивал на исключении тов. Каменева из ЦК из-за этой телеграммы (*Троцкий с места*: „Только не хватает подписи Ленина“). Тов. Троцкий, молчали бы вы! (*Троцкий*: „Не пугайте, не пугайте…“) Вы идете против правды, а правды вы должны бояться (*Троцкий*: „Это сталинская правда, это грубость и нелояльность“)».

Допустим, телеграмма в самом деле существовала. Как она могла оказаться у Есенина? В чем можно согласиться с авторами этой гипотезы, так это в том, что никакой телеграммы у него, конечно, не было. Скорее всего, — если действительно имел место его разговор с Тарасовым-Родионовым, — он просто сболтнул о ней «по пьяному делу». Слухи о телеграмме Каменева ходили давно, так что Есенин вполне мог слышать или читать в газетах об этой истории.

Вину за «убийство Есенина из-за телеграммы» сторонники этой гипотезы почему-то возлагают на Каменева, хотя, если уж на то пошло, с еще большей вероятностью это могли бы сделать и люди Сталина — чтобы заполучить компромат на одного из лидеров оппозиции. К тому же ОГПУ подчинялось именно Сталину, а не Каменеву. Есть, правда, и другая разновидность этой гипотезы — операцию устроил все тот же «демон» — союзник Каменева по оппозиции Троцкий (понятно — кто же

пойдет обыскивать и убивать Есенина ради какого-то безвольного интеллигента Каменева?).

Однако дело в том, что в конце 1925 года Троцкий и Зиновьев с Каменевым еще не были союзниками. Троцкий довольно злорадно наблюдал, как его недавних противников теперь громят на XIV съезде партии в Москве. Есенин погиб как раз во время съезда, когда, думается, ни Сталину, ни Каменеву было совсем не до того, чтобы организовывать какие-то спецоперации и направлять боевиков к Есенину. Имелись у них дела и поважнее.

Следует заметить, что сценка с телеграммой на пленуме в 1926 году стала лишь крохотным эпизодом в борьбе за власть, о котором вскоре просто забыли. Сталин разгромил троцкистско-зиновьевскую оппозицию и без такого «убойного» компромата, как телеграмма.

Что же касается Блюмкина, то, называя вещи своими именами, к версиям об убийстве Есенина он просто притянут за уши. Нет никаких весомых свидетельств того, что он вообще находился в это время в Ленинграде.

Вероятно, авторы ввели его в свои гипотезы по двум причинам. Во-первых, он работал с Троцким и восхищался им, а значит, по их логике, мог выполнить и любую щекотливую просьбу своего кумира. Во-вторых, фигура Блюмкина давно уже превратилась в этакую раскрученную торговую марку «абсолютного зла», и если уж нужен кто-то на роль злодея-убийцы, то кого же взять, как не Блюмкина. Версия сразу приобретает некую убедительность. Ведь ему что посла Мирбаха грохнуть, что бывшего друга поэта Есенина «наганом со всего маху рукояткой в лицо!».

«Контакт с Шамбалой способен вывести человечество из кровавого тупика…» Блюмкин как «искатель Шамбалы»

Легенды о деятельности Блюмкина в 1925–1926 годах весьма разносторонни. Согласно им он не только убивал поэтов и девушек, но участвовал в довольно экзотических чекистских операциях.

Одна из них уже упоминалась. По утверждению Александра Солженицына, Блюмкин участвовал в «разработке» Бориса Савинкова, а когда того якобы убили сотрудники ОГПУ — 7 мая 1925 года выбросили из окна, — то подделал его предсмертное письмо. Оно было использовано для подтверждения версии о самоубийстве Савинкова, который будто бы разочаровался в своей жизни и в своей борьбе.

В некоторых публикациях в Интернете можно встретить утверждение, что Блюмкин был подсажен в качестве «наседки» в камеру британского разведчика Сиднея Рейли. Его, как и Савинкова, чекисты смогли заманить в Россию для встречи с членами подпольной монархической организации в ходе операции «Трест»[52]. Рейли был арестован, а в тот день, когда он должен был возвращаться через границу в Финляндию, чекисты устроили на границе перестрелку и сымитировали гибель разведчика. По другую сторону кордона всё это видели и поверили в то, что Рейли убит, тогда как он сидел на Лубянке.

Сидней Рейли (он же Шломо, или Георгий Розенблюм) родился в Одессе. И хотя он был на 27 лет старше Блюмкина, у них наверняка нашлись бы общие темы для разговоров. Кроме того, что оба жили в одном городе, они были в некотором смысле коллегами. Легенда гласит, что Блюмкин постепенно подводил Рейли к мысли о сотрудничестве с советской разведкой, тем более что положение английского шпиона было тяжелым — для всего мира он был убит на границе, и советские газеты сообщили об этом.

По официальной версии, Рейли согласился на сотрудничество, дал нужные показания, но это его не спасло. 5 ноября 1925 года чекисты вывезли его будто бы на прогулку в Сокольники. По дороге у них якобы сломалась машина, они предложили Рейли пройтись и тут же пристрелили его. Труп закопали во дворике для прогулок внутренней тюрьмы ОГПУ на Лубянке.

Участие Блюмкина в этой операции, разумеется, тоже не

подтверждено никакими документами. Во всяком случае, известными историкам.

* * *

Одной из самых распространенных легенд об операциях, в которых участвовал Яков Блюмкин, стали рассказы о его таинственной поездке в Тибет, где вместе с экспедицией известного русского художника, философа и общественного деятеля Николая Рериха он якобы искал страну всеобщего счастья, высшей мудрости и абсолютной справедливости — легендарную Шамбалу, чтобы установить контакт с ней советского правительства.

У этой версии есть конкретный автор — писатель Олег Шишкин. Осенью 1994 года он опубликовал несколько статей, в которых утверждал, что Николай Рерих был агентом ОГПУ и его экспедиция в Тибет носила разведывательный характер. Позже Олег Шишкин выпустил книгу «Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж». В работах Шишкина фигура Блюмкина занимает важное место — он, по данным автора, находился в составе экспедиция Рериха под видом монгольского ламы и должен был выполнить задание особой важности.

Версия Шишкина весьма любопытна и заслуживает того, чтобы рассказать о ней подробнее, сопроводив ее некоторыми дополнительными фактами.

Итак, осенью 1918 года Блюмкин, который скрывался в Петрограде под именем Константина Владимирова, познакомился с мистиком, оккультистом, биологом, писателем и философом Александром Барченко. Барченко еще до революции занимался хиромантией, спиритизмом, астрологией, а вместе с тем — исследованиями функционирования человеческого мозга, гипнозом и т. д.

Прошло шесть лет, и Владимиров (он же Блюмкин), уже имевший определенное влияние в ОГПУ, сообщил Барченко, что его работа представляет огромный интерес для «органов», и предложил написать о своих исследованиях самому Дзержинскому. Барченко написал, и его письмо передал адресату тот же Блюмкин. Дзержинский одобрил идею привлечения Барченко к работе «органов», и вскоре с ним встретился заместитель начальника Секретного отдела ОГПУ Агранов, а затем и начальник Спецотдела Глеб Бокий.

Глеб Бокий был человеком весьма интересным — старый партиец, большевик, из старинной интеллигентной семьи,

большой любитель и знаток музыки. Зять Бокия, писатель Лев Разгон (сам три года прослуживший в Спецотделе, а затем долгие годы просидевший в сталинских лагерях) в воспоминаниях «Плен в своем отечестве» изобразил его человеком со странностями, но в целом довольно положительно: «…он никогда никому не пожимал руки, отказывался от всех привилегий своего положения: дачи, курортов и проч. <…> Жил с женой и старшей дочерью в крошечной трехкомнатной квартире, родные и знакомые даже не могли подумать о том, чтобы воспользоваться для своих надобностей его казенной машиной. Зимой и летом ходил в плаще и мятой фуражке…»

При всем этом Глеб Бокий был одним из руководителей «красного террора» в Петрограде в 1918 году, именно по его инициативе были созданы первые концлагеря в Советской России. Пароход, доставлявший в Соловецкий лагерь новых заключенных, тоже был назван «Глеб Бокий». Однажды на этом пароходе на Соловки прибыл сам чекист. По этому случаю театральная группа зэков, выступавшая перед высоким начальством, исполнила такую песенку:

Шептали все… Но кто мог верить?
Казался всем тот слух нелеп:
Нас разгружать сюда приедет
На «Глебе Боком» — Бокий Глеб.
Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим: приезжайте сюда сами,
Проживите здесь годочка три иль пять, —
Будете с восторгом вспоминать!

Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» писал, что в этом месте начальство смеялось и аплодировало. Знал бы Бокий, что для него все кончится куда как хуже…

Бокий пользовался доверием Ленина, который лично утвердил его руководителем Спецотдела. Отдел занимался секретными и необычными по тем временам делами — радиотехнической разведкой, выявлением вражеских передатчиков, криптографией.

Чекист Георгий Агабеков, сбежавший позже на Запад, рассказал в мемуарах об одном курьезном случае. Однажды были перехвачены сообщения с неизвестным шифром. Как только этот код попал в криптографическое отделение, он был мгновенно прочтен — составить такой шифр мог учащийся 8-го класса. Один из двух источников сигналов был передвижным, и в первые же минуты стало ясно, кто посылал многочисленные сообщения:

«Пришлите, пожалуйста, еще ящик водки». Отправителем шифровок был один из руководителей ОГПУ Генрих Ягода, «развлекавшийся на теплоходе с женой сына Максима Горького». Бокий решил пошутить и поступил в соответствии с инструкцией: информация была передана в Особый отдел, начальником которого являлся сам Ягода, и без промедления из ворот здания на Лубянке выехала пеленгационная машина, а за ней «воронок» с вооруженной группой захвата. Вскоре особисты уже ломились в дверь «базы», откуда уходили спиртные напитки на теплоход, плывший по Москве-реке. Обитатели «базы» отвечали на угрозы группы захвата резким тоном, и дело едва не кончилось перестрелкой между сотрудниками.

О другом курьезном случае поведал сам Бокий. Как-то он сказал заместителю наркома иностранных дел Литвинову, что у того плохо охраняется комната, где находится сейф с секретными документами. «Литвинов расхохотался, — рассказывал Бокий, — и тогда я предложил ему пари на бутылку французского коньяка, что я у него документы из сейфа выкраду. Ударили по рукам. После этого он поставил у дверей комнаты, которая раньше не охранялась, часового. Ну, все равно, конечно, мои люди залезли в комнату, вскрыли сейф и забрали документы. Я посылаю документы Литвинову и пишу ему, чтобы прислал проигранный коньяк. И представьте себе: на другой день мне звонит Ленин и говорит, что к нему поступила жалоба Литвинова, что я взломал его сейф…»

В отделе Бокия было и секретное отделение, которое занималось изучением различных «непознанных явлений». Александра Барченко привлекли к работе в качестве эксперта по психологии и парапсихологии. Под эгидой Спецотдела работала и секретная нейроэнергетическая лаборатория Барченко, расположившаяся в здании Политехнического музея.

В конце 1924 года Барченко предложил Бокию установить контакт с Шамбалой — страной высшей мудрости. Он был убежден, что такой контакт «способен вывести человечество из кровавого тупика безумия, той ожесточенной борьбы, в котором оно безнадежно тонет… Ключ к решению проблем находится в Шамбале-Агарти… где сохраняются остатки знаний и опыта того общества, которое находилось на более высокой стадии социального и материально-технического развития, чем общество современное».

Контакт с Шамбалой, по мнению Барченко, могут устанавливать люди, достигшие нравственного совершенства, которые смогут заглушить свои временные социальные противоречия. Таких людей должна была «воспитывать»

созданная по инициативе Барченко тайная мистическая организация «Единое Трудовое Братство». В нее вступили Бокий, замнаркома иностранных дел Борис Стомоняков, кандидат, а потом член ЦК ВКП(б) Иван Москвин, несколько влиятельных чекистов и др.

Летом 1925 года началась подготовка экспедиции в Шамбалу. Эту идею одобрило руководство ОГПУ. Начальником экспедиции должен был стать Барченко, а комиссаром — Владимиров (Блюмкин). Помимо главной цели перед экспедицией ставились и разведывательные задачи.

Подготовка шла в условиях строжайшей конспирации — особенно по отношению к англичанам и китайцам, через районы влияния которых должна была пройти экспедиция. По утверждению Олега Шишкина, именно по этой причине Блюмкина официально перевели в Наркомат торговли и посылали от этого ведомства в командировки по стране. Однако это было лишь прикрытием.

Дзержинский тоже был сторонником экспедиции. По его распоряжению на ее нужды выделялась огромная сумма — 100 тысяч золотых рублей (600 тысяч долларов по тогдашнему курсу). Но в самый последний момент экспедиция сорвалась.

Причина этого крылась якобы в бюрократических склоках между руководителями ОГПУ и Наркомата иностранных дел. Вроде бы Чичерин, нарком иностранных дел, решил посоветоваться по этому вопросу с начальником ИНО ОГПУ Трилиссером, и оказалось, что тот ничего не знал о том, что экспедиция вот-вот отправится в путь. Трилиссер разозлился и рассказал обо всем сопернику Бокия — Ягоде. Вместе они убедили Чичерина в ее нежелательности и даже опасности для страны. 1 августа 1925 года Чичерин «наложил вето» на проект экспедиции в Шамбалу.

Однако история на этом не закончилась. Бокий и Барченко решили все-таки отправить в Шамбалу хотя бы одного человека. Им был Яков Блюмкин.

* * *

С 1923 года по Центральной Азии продвигалась экспедиция художника и философа Николая Рериха. Она так и называлась — «Центрально-Азиатская», и продолжалась, с перерывами, до 1928 года.

До сих пор ведутся ожесточенные споры о ее целях. Официально экспедиция была заявлена как «научно-

художественная», но существуют и другие версии. То ли Рерих и его спутники искали место для основания «Новой страны», в которой возможно было бы объединить буддизм и коммунизм и на этой основе построить государство всеобщей справедливости. То ли Рерих собирался предложить Далай-ламе создать «орден Западных буддистов» и сам хотел стать Далай-ламой Запада.

Есть версия, что экспедиция искала Шамбалу. И, наконец, существуют предположения о том, что экспедиция была связана с ОГПУ и выполняла политические и разведывательные задачи. Один из первых авторов этой версии — все тот же Олег Шишкин.

Во время Октябрьской революции Рерих находился на лечении в Финляндии. В Россию он не вернулся. Однако позже его отношение к большевикам начало меняться в лучшую сторону. Согласно версии о связи Рериха и ОГПУ он был завербован советской разведкой и его экспедицию снарядили и подготовили на советские деньги. Но для чего это было нужно Москве?

На это тоже есть ответ — якобы цель экспедиции состояла в свержении в Тибете Далай-ламы XIII. Он добился независимости Тибета и пригласил для модернизации армии англичан, что, естественно, не устраивало советское руководство. Был разработан план — организовать в Тибете беспорядки, сместить Далай-ламу и нанести удар по английскому влиянию в Центральной Азии.

По утверждению Олега Шишкина, Блюмкин присоединился к экспедиции Рериха 17 сентября 1925 года под видом монгольского ламы. Он то ехал верхом вместе с караваном, то исчезал на несколько дней. Однажды Рерих обнаружил, что лама прекрасно говорит по-русски, и сделал об этом запись в своем дневнике. «Лама Блюмкин» прошел с экспедицией часть Британской Индии и Западный Китай. В городе Урумчи местный губернатор выдал экспедиции паспорт до Пекина с фотографиями участников. Шишкин утверждает, что один из них — Блюмкин.

В июне 1926 года Рерих и его жена Елена прибыли в Москву. Они привезли с собой и передали советскому правительству так называемое «Послание Махатм»[53] и ларец с гималайской землей — для возложения ее «на могилу брата нашего, Махатмы Ленина». Текст послания гласил:

«На Гималаях мы знаем совершаемое Вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверия. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили Землю от предателей денежных.

Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов Общего Блага! Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, также мы признали своевременность Вашего движения и посылаем Вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии! Знаем, многие построения свершатся в годах 28–31–36. Привет всем, ищущим общего блага!»

Рерих предлагал Советам свою программу переустройства Азии на основе соединения коммунизма с буддизмом. «Европа, — считал он, — будет потрясена союзом буддизма с ленинизмом». По данным Олега Шишкина, встречу Рериха с наркомом Луначарским устраивал именно Блюмкин. Однако к экспедиции Рериха и возможной роли Блюмкина в ней мы вернемся чуть позже.

* * *

Так выглядит версия о причастности Блюмкина к поискам Шамбалы, которыми занималось ОГПУ в 20-е годы прошлого века. Что можно сказать о ней? По нашему мнению — это довольно любопытная смесь правды, полуправды, легенд и откровенных фантазий автора.

Все, что касается Спецотдела, Бокия, Барченко, «Единого Трудового Братства» и интереса чекистов к Шамбале, исследованиям мозга и другим подобным вещам, — очень похоже на правду. Александр Барченко был арестован в мае 1937 года и приговорен к расстрелу в апреле 1938-го по обвинению в создании «масонской контрреволюционной террористической организации „Единое трудовое братство“ и шпионаже в пользу Англии». Во время репрессий конца 1930-х были расстреляны и другие члены «Единого Трудового Братства». Глеб Бокий — 15 ноября 1937 года.

История создания «Трудового Братства», отношений с Бокием и другими сотрудниками ОГПУ рассказана самим Александром Барченко на допросах. Конечно, нельзя исключать, что в его рассказах есть какая-то доля вымысла, внесенного, возможно, под давлением чекистов — чтобы «раскрасить» показания арестованного оккультиста. Тем не менее протоколы допросов Барченко являются историческим документом (они, кстати, уже

не раз публиковались).

Подготовка экспедиции в Шамбалу тоже, судя по всему, имела место. Почему она была отменена — действительно ли из-за склок внутри советской бюрократии или по каким-то другим причинам — вопрос уже другой.

Но какое отношение к этой истории имеет Блюмкин?

В протоколах его фамилия ни разу не упоминается. Как уже говорилось, Олег Шишкин считает, что Блюмкин — это некто Владимиров, о котором Барченко действительно говорит. Но почему Шишкин так решил?

Владимиров вместе с другими чекистами, Отто, Риксом и Шварцем, познакомился с Барченко в Петрограде в 1918 году. Знакомство произошло так: Барченко вызвали в ЧК на допрос, а там вышеозначенные чекисты вдруг заинтересовались его исследованиями и попросили разрешения посещать его лекции. Скорее всего, это было сделано исходя из «оперативных целей».

Как писал сам Блюмкин, он в это самое время скрывался в Гатчине, рядом с Петроградом. Шишкин же прозрачно намекает на то, что Блюмкин совершил покушение на Мирбаха по указанию Дзержинского (а возможно, и Ленина) и что на самом деле после этого он вовсе не скрывался, а был направлен Дзержинским на работу в Петроградскую ЧК под фамилией Владимиров. Отсюда вывод — именно Блюмкин установил связь с Барченко.

В общем, получается довольно интригующая история. Если бы не одно «но». Константин Константинович Владимиров — это реально существовавший человек, который никакого отношения к Якову Блюмкину никогда не имел. Хотя не менее загадочная и любопытная личность, чем наш герой. Его биография стоит того, чтобы сказать о ней несколько слов. А заодно и показать, что Блюмкин — это не Владимиров.

Константин Владимиров родился в 1883 году в Пернове (современный эстонский город Пярну). В 17 лет уехал в Петербург. Хотел изучать медицину, но по каким-то причинам это ему не удалось, и он служил в конторах различных предприятий и обществ. Пробовал заниматься живописью и писать стихи. Но известности достиг совсем в другой области — в графологии.

Владимиров утверждал, что по почерку он определял не только характер его обладателя, но и мог предсказывать его будущее. Он также увлекался астрологией, йогой, магизмом и прочими модными в начале XX века вещами. Затем пришла очередь телепатии, гипноза, ясновидения. В определенных кругах он приобрел немалую известность.

Владимиров собрал большую коллекцию автографов. Как

отмечает историк Александр Андреев в книге «Время Шамбалы», круг его петербургских знакомых был необычайно широк и включал в себя немало представителей литературно-художественного мира. Начинающий поэт Сергей Есенин, например, в письме благодарил Владимирова за верную характеристику его творчества — «в период моего духовного преломления». А вот записка от художника Александра Бенуа:

«Дорогой Константин Константинович. Простите, что так задержал Ваши книги — уж очень тяжело расставаться с ними. И примите мою самую глубокую душевную благодарность за предоставленную мне возможность — почерпать из таких источников! Очень хотел бы повидать Вас — и боюсь отнять у Вас драгоценное время.

Искренне уважающий Вас, А. Бенуа».

В 1916 году в заметке «Что такое графология?», опубликованной в журнале «Дамский мир», Владимиров писал:

«Почерк — это фотография душевных волнений, это кинематографическая лента всех переживаний в известный срок.

Изучив почерки всех национальностей, я впервые являюсь пионером в области исследования индивидуальных и интеллектуальных особенностей почерка. <…> Для моей графологии нет тайны. Только по одному почерку я могу констатировать, в каком состоянии субъект писал письмо, его темперамент, температуру, болезни и физиологические страдания… я могу описать его национальность, пол, характер, талант, способности, нравственные устои и облик, недостатки, привычки, аномалии и дефекты физической натуры, рост, походку, лета, цвет волос, глаз, кожи и т. п. <…>».

Революция круто изменила его жизнь. Холод, голод, а может быть, и страх за себя и свою семью заставили его устроиться на работу следователем в Петроградскую ЧК, на Гороховую улицу, 2.

Он, в частности, вел дело двух английских офицеров — Гарольда Рейнера и Джефри Гарри Тернера, обвинявшихся «в заговоре и в покушении» на Урицкого, председателя Петроградской ЧК, между мартом и августом 1918 года. Оба были приговорены к расстрелу, хотя Тернер «успел» до этого умереть от тифа в тюремной больнице.

Тогда с Владимировым произошел случай, сыгравший в его жизни поистине роковую роль. Однажды к нему в ЧК пришла супруга Тернера, эстонка Фрида Лесман, чтобы узнать о судьбе мужа. Позднее еще раз встретились на улице. В общем, получилось так, что у них возник роман. Он продолжался до тех пор, пока в апреле 1919 года Лесман не сбежала в Финляндию. Этот роман ему еще припомнят…

Позже Владимиров рассказывал следователю ОГПУ: «Работал на Гороховой, 2, до февраля 1919-го. С Гороховой, 2, меня уволили. Точно причин моего увольнения я не знаю… В сентябре 1919-го я вновь поступил в ЧК на Гороховую, 2, где занимал должность полит, уполномоченного. Прослужил там до конца 1920 г. и был уволен из-за личной неприязни тов. Комарова, тогдашнего председателя ЧК».

Владимиров и Барченко познакомились в 1918 году. Идея экспедиции в Тибет, видимо, вдохновила графолога. По предположению Александра Андреева, в мае 1920 года он, возможно, возил проект Барченко в Москву — в ВЧК. Но если так, то тогда этой идеей не особо заинтересовались «наверху».

О втором появлении Владимирова у Барченко известно из показаний последнего — это произошло в конце 1924 года. Ученый рассказал ему и его друзьям-чекистам Риксу, Отто и Шварцу о том, что хотел бы посвятить в свою идею советское руководство. Тогда в разговоре и возникла кандидатура Глеба Бокия. Владимиров повез письмо Барченко к Дзержинскому, а заодно встретился с Бокием. Тем временем в Ленинград по личному указанию «железного Феликса» для встречи с Барченко прибыл Яков Агранов.

Вскоре из Москвы вернулся Владимиров и сообщил Барченко, что ему нужно поехать в Москву для доклада своего проекта руководству ОГПУ. Владимиров и Барченко затем отправились в столицу вместе.

Далее история с подготовкой экспедиции развивалась примерно так же, как это описано у Олега Шишкина. Возглавлять ее должен был Барченко, с ним собирался поехать и Владимиров. Александр Андреев в книге «Время Шамбалы», впрочем, сообщает, что в экспедицию еще назначили политкомиссара, и это действительно был Блюмкин. «Одиозная личность бывшего левого эсера-террориста — убийцы германского посла графа В. Мирбаха, однако, встретила решительный отпор со стороны А. В. Барченко, — пишет Андреев. — Такому человеку, как Блюмкин, не могло быть места среди участников его отряда, отправлявшегося в святую землю Шамбалы».

Книга доктора исторических наук Андреева написана весьма фундаментально и содержит ссылки на многочисленные источники. Однако в данном случае ссылку на источник о назначении Блюмкина в экспедицию Барченко автор, к сожалению, не привел. Но если даже и назначили, то назначение осталось лишь на бумаге. Как известно, проект Барченко вскоре потерпел крах.

О том, что Блюмкин фактически не имел никакого отношения

к планам Барченко-Бокия, может свидетельствовать еще один косвенный факт. Его фамилия не упоминается в допросах членов «Единого Трудового Братства» на Лубянке в 1937-м. Надо думать, следователи не упустили бы возможность поговорить о связях обвиняемых с «расстрелянным изменником Блюмкиным». А такое случалось даже позднее.

В мае 1944 года за «антисоветскую агитацию» арестовали, например, популярного тогда писателя Семена Гехта. На допросах от него требовали рассказать о разговорах с другими писателями и знакомыми. 19 июня 1944 года Гехт показал:

«Случайно в 1926 году столкнулся на улице с Яковом Блюмкиным — бывшим секретарем Троцкого.

— Что, — спрашивает, — пишет сейчас Бабель?

— Рассказы, — говорю, — о чекистах…

— А-а, — засмеялся, — „Вечера на хуторе близ Лубянки“… Побасенки стороннего наблюдателя…»

В обвинительном заключении по делу Гехта говорилось: «Установлено, что антисоветские взгляды появились у него в 1922 году через писателей Бабеля, Ивана Катаева, Мих. Кольцова, через Я. Г. Блюмкина — бывшего секретаря Троцкого…» Гехт получил восемь лет лагерей.

Что же касается Константина Владимирова, то для него все сложилось гораздо печальнее.

На допросе Барченко говорил: «В 1929 году мне стало известно от Бокия, что Владимиров расстрелян за шпионаж в пользу Англии». Действительно: ОГПУ арестовало Владимирова еще в июне 1927 года. Его обвиняли в том, что он разглашал своим знакомым секретные сведения о службе в ВЧК. На следствии, кстати, выяснилось, что он тайно сотрудничал с «органами» до самого ареста — в частности, писал «донесения» и на Барченко.

Поскольку речь шла о «секретном сотруднике», его дело передали в Особое совещание коллегии ОГПУ в Москву. Владимирова решили «выслать через ОГПУ в Сибирь сроком на три года». Но это было еще не всё.

В июне 1928 года ему предъявили новые обвинения. На этот раз и вправду — в шпионаже в пользу Англии. По версии следствия, он состоял в «шпионской связи» с той самой Фридой Лесман (с которой у него когда-то был короткий роман). Мало того, у Владимирова еще оказались сообщники — Загуляев, флагманский артиллерист бригады траления и заграждения Балмора, его жена и командир башенной лодки «Сунь Ятсен» Дальневосточной военной флотилии Евсюков. Якобы Владимиров занимался сбором военных сведений, затем передавал их

Загуляеву, а тот — в Англию, Фриде Лесман.

Виновным Владимиров себя не признал и потребовал представить ему «конкретные обвинения», а не «пустые слова». Но 5 ноября 1928 года Особое совещание коллегии ОГПУ приговорило его и Загуляева к расстрелу, а Загуляеву и Евсюкова — к заключению в концлагере сроком на пять лет.

Вот так трагически оборвалась жизнь человека, который свел Барченко с руководством ОГПУ. В чем-то судьбы Владимирова и Блюмкина оказались похожими. Но все-таки это были совершенно разные люди. Хотя, конечно, причастность Блюмкина к планам поиска Шамбалы сделала бы эту историю еще более таинственной, увлекательной и подходящей для исторического детектива.

* * *

«Вторая серия» детектива «Яков Блюмкин и поиски Шамбалы» касается его участия в экспедиции Николая Рериха — под видом монгольского ламы.

Версия о том, что Рерих был связан с ОГПУ, встречается в многочисленных статьях, книгах и других работах, вызывая при этом яростную критику со стороны современных исследователей наследия художника, которые называют версию «клеветнической». Один из «отцов-основателей» этой версии, уже упоминавшийся писатель Олег Шишкин, на это отвечает:

«Честно говоря, мы с рериховцами — две разные вселенные. Они люди, сугубо верящие в святость своего апостола, в махатм, которые сидят в какой-то очень глубокой гималайской пещере, во многие другие вещи, перекочевавшие из теософии в рерихианство. Я же исследователь, поисковик. Их темы меня мало интересуют… В полемику с рериховцами более не вступаю, так же как и врач не спорит с больным, а предлагает ему чудодейственные пилюли. На связь темы „Рерих“ и темы „Блюмкин“ я указал в своей книге „Битва за Гималаи“. Их пути пересекались не раз, и не только конспиративно. Блюмкин был провожатым Рериха не только на Гималайских кручах и в пустынях Монголии, но и в квартиру своего московского соседа Анатолия Васильевича Луначарского».

Впрочем, связь Николая Рериха с советскими спецслужбами (или отсутствие таковой) не является главной темой данной книги. Что же касается присутствия в его экспедиции Якова Блюмкина, то, на наш взгляд, этот факт нельзя считать подтвержденным.

Во-первых, эта то ли реальная, то ли мифическая разведывательная операция Блюмкина — одна из немногих, которую прокомментировали официальные представители Службы внешней разведки России. Правда, было это уже давно — 20 лет назад. Тогда руководитель пресс-бюро Службы Юрий Кобаладзе заявил в интервью газете «Московский комсомолец»: «По сведениям Службы внешней разведки и по документам Блюмкин не был в экспедиции Рериха. Автор (О. Шишкин. — *Е. М.)* путает даты и экспедиции…»

Конечно, верить официальным источникам можно не всегда. Но совершенно непонятно, на основе каких источников строит свою версию Олег Шишкин. В книге «Битва за Гималаи» он, в частности, отмечает: «О путешествиях Блюмкина в обличье ламы в 1925–1926 гг. упоминает начальник Разведывательного управления РККА в одном деликатном документе (РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 126. Л. 48)». На самом деле, отнюдь не упоминает. Под этим шифром в Российском государственном военном архиве действительно хранится документ, касающийся Блюмкина, но никаких данных о «путешествиях Блюмкина в обличье ламы» в нем нет. Речь в нем идет совсем о другом[54]. Но об этом документе немного ниже.

Шишкин также утверждает, что работа Блюмкина в Наркомате торговли и сохранившиеся в его личном деле документы, свидетельствующие об этом, — всего лишь целенаправленная фальсификация, чтобы скрыть то, чем он в это время занимался на самом деле. То есть готовился к миссии в Тибете, а потом и участвовал в экспедиции Рериха. Но это очень странно — почему-то во время других, не менее ответственных и секретных миссий Блюмкина за границей никаких документов прикрытия «для внутреннего пользования» не готовилось. Да и непонятно, зачем они были нужны ОГПУ и кого именно чекисты собирались таким образом пускать по ложному следу Якова. Разве что историков из будущего.

Есть еще история с фотографией. Той самой, на общем паспорте экспедиции, — который выдал путешественникам губернатор в Урумчи. На фотографии — пять человек: в верхнем ряду Николай Рерих, его жена Елена и их сын Юрий, в нижнем, по словам Олега Шишкина, — лама Рамзана Кошаль и некий молодой человек. Этот человек, утверждает Шишкин, — Блюмкин. Сотрудник Музея им. Н. К. Рериха Александр Стеценко считает, что молодой человек — ладакец Рамзана Кошаль и он вовсе не лама, а один из сопровождавших художника помощников.

Стеценко приводит следующие аргументы: в Музее Рериха

находятся документы, свидетельствующие о том, кто именно из членов экспедиции Рериха получил разрешение на пребывание в Москве: «Гр. Рериху с семьей едущему в Америку по транзитной визе разрешено временное пребывание в гор. Москве на срок 14 дней до 29 июня 1926 г. без права выезда в другие города и местности Союза ССР. 15 июня 1926 г. № 6-р. г. Москва». В тот же день такое разрешение получили и Рамзана Кошаль, и лама Лобзанг. Следовательно, пять человек, получивших временное разрешение на пребывание в Москве, должны соответствовать тем членам экспедиции, которые сфотографированы на паспорте.

Осталось только определить, кто на фотографии в нижнем ряду Рамзана, а кто — лама Лобзанг. В дневнике Николай Рерих отмечает, что Рамзане всего 18 лет. А человек на фотографии слева выглядит значительно моложе своего «соседа». Другими словами, по мнению Стеценко, слева на фотографии не Блюмкин, а восемнадцатилетний Рамзана. Справа же — лама Лобзанг.

Наконец, Александр Стеценко приводит еще один довод — фрагменты из дневника генерального консула СССР в Урумчи Быстрова, которые касаются Рерихов и хранятся в Архиве внешней политики России. Среди этих документов есть запись Быстрова о том, кто из членов экспедиции Рериха въехал на территорию СССР и собирался ехать дальше: «Выехал в Москву художник Рерих с женой, сыном, тибетским ламой и мальчиком тибетцем».

Таким образом, резюмируя всё вышеприведенное, можно сказать, что ответ на вопрос о том, был ли Блюмкин в экспедиции Рериха, на сегодняшний день звучит так: «Скорее нет, чем да». Это, однако, не означает, что картина не сможет измениться, если когда-нибудь будут обнаружены или рассекречены архивные документы, касающиеся деятельности Блюмкина в Монголии, где он оказался в 1926 году. Ему поручалось руководство работой советских агентов не только в этой стране, но также в Северном Китае и на Тибете.

И если появятся новые сведения об этой странице жизни Блюмкина, тогда, возможно, станет известно и о каких-то его связях с экспедицией Николая Рериха, которая продолжалась до 1928 года и о которой сейчас столько спорят.

«ДИКТАТОР» МОНГОЛИИ

«Охранка всё, а всё остальное ничто…» По образцу ГПУ

«Биография Блюмкина — невероятная эскапада, возможная только в переломные моменты истории, когда наступает новая историческая реальность», — пишет Олег Шишкин. И в этом он совершенно прав. Судьба швыряла Блюмкина как легкий кораблик, который во время сильного шторма швыряют морские волны во все стороны.

Персия, Военная академия, Поволжье и Сибирь, Троцкий, Палестина, Грузия, Наркомат торговли, теперь вот Монголия. Но, конечно, это не было хаотическим, «броуновским движением». За каждой, казалось бы, неожиданной командировкой Блюмкина стояли конкретные задачи.

В октябре 1926 года Наркомторг отвечает на запрос организационно-распределительному отделу ЦК ВКП(б): «2 октября 1926 г. ЦК ВКП(б) Орган, распред. Согласно Вашего запроса Наркомторг откомандировывает тов. Блюмкина в распоряжение ЦК». Эта телеграмма хранится в личном деле Блюмкина в Российском государственном архиве экономики. На самом деле перевод был инициирован ОГПУ. Оргбюро ЦК приняло решение эту просьбу удовлетворить, хотя в Наркомторге почему-то возражали. Странно: неужели Блюмкин был таким уж ценным работником в сфере торговли?

Блюмкин снова понадобился чекистам для закордонной работы, когда возникала необходимость выполнить ряд деликатных задач. Наверное, сам Блюмкин был доволен. В этой сфере деятельности он чувствовал себя как рыба в воде. Это ведь не должность экономиста, на которой он не понимал, «где я, что я, кто я такой?».

Теперь «полигоном» для применения оперативных талантов Якова Григорьевича должна была стать Монголия.

* * *

Имена советских, как и дореволюционных русских людей, оставивших в истории Монголии заметный след, хорошо знают в этой стране и сегодня. Помимо Ленина и Сталина это и странный белый генерал Роман Унгерн фон Штернберг, освободивший в 1921 году столицу Монголии Ургу от китайских войск. И Анастасия Филатова — жена коммунистического руководителя

страны Цеденбала, правившего Монголией 26 лет — с 1958 по 1984 год. Ее даже называли «королевой Монголии». В этом списке находится и Яков Блюмкин.

В середине 1920-х Монголия была весьма необычной страной. В результате «народной революции» 1921 года Монголия, как тогда говорили, «встала на путь строительства социализма, минуя стадию капитализма». Но путь к социализму, признавали сами новые монгольские руководители, предстоял долгий.

Еще совсем недавно Монголия находилась в зависимости от Китая, потом была теократическим государством во главе с буддистским правителем Богдо-ханом, а ее столица Урга считалась даже «столицей северного буддизма». Затем Ургу снова оккупировали китайцы, их выбили пришедшие из России белогвардейские части барона-буддиста Романа Унгерна. Затем Азиатскую дивизию Унгерна, которая отправилась из Монголии в рейд по территории России, разбили советские войска, взявшие барона в плен, а вооруженные красными части революционных монгольских войск во главе с Сухэ-Батором и вместе с частями Красной армии заняли Ургу.

Власть перешла к Народному правительству, в котором Сухэ-Батор занимал пост военного министра и главкома революционных войск. Но что интересно — номинальным главой государства по-прежнему оставался Богдо-хан. Фактически же вся власть в Монголии вскоре сосредоточилась в руках советских советников.

При поддержке Москвы Сухэ-Батор быстро расправился со своими противниками и конкурентами в борьбе за власть. В 1922 году были объявлены «врагами народа» и казнены недавние премьер-министры Народного правительства Бодоо и Чагдаржав, арестованы другие политические деятели.

Зимой 1923 года Сухэ-Батор ввел в Урге военное положение. Он регулярно объезжал столицу, проверяя караулы, и во время одной из таких поездок простудился и умер 20 февраля 1923 года.

Ходили слухи, что главкома отравили его политические враги. Впрочем, в народе существовала другая версия. Поговаривали, что смерть Сухэ-Батора стала результатом проклятия, которое наслали ламы на «монгольского Ленина» — за то, что его подчиненные закрывали и разоряли храмы.

Еще в начале 2000-х годов сотрудники музея истории монгольской разведки и контрразведки в Улан-Баторе показывали автору этой книги «контрреволюционные листовки» с изложением этой версии, а также живописные полотна в духе «социалистического реализма», изображающие арест лам,

распространяющих о «проклятии» слухи, или же, напротив, как ламы пытают захваченных коммунистов.

В 1924 году Ургу переименовали в Улан-Батор («Красный Богатырь»). 20 мая 1924 года от рака горла умер Богдо-хан. После его смерти монархия в стране была ликвидирована. Монголия окончательно свернула на советский путь. В 1930-е годы по стране, так же как и в СССР, прокатилась волна репрессий. В историю Монголии они вошли как «Великие репрессии» — общее число погибших в их ходе оценивается от 22 до 35 тысяч человек, то есть примерно 4 процента тогдашнего населения страны.

Блюмкин прибыл в Монголию в конце 1926 года. Он был назначен главным инструктором монгольской Государственной внутренней охраны (ГВО) — местной службы государственной безопасности. Она была создана по образцу ГПУ. И поскольку ГВО обладала в Монголии огромным влиянием, а Блюмкин должен был направлять ее на «правильный путь работы», то в какой-то мере его можно было считать «диктатором Монголии». В этом «звании», конечно, есть изрядная доля преувеличения, но и немалая доля правды.

Что же представляла собой ГВО, которая появилась на свет в июле 1922 года? В архивах ФСБ сохранилась докладная записка, написанная в марте 1926 года предшественником Блюмкина на посту главного инструктора Н. Балдаевым и адресованная руководству ОГПУ.

«Госвнуохрана, созданная в процессе развития национально-революционного строительства Независимой Монголии и существующая на правах Отдела Правительства имеет перед собой те же задачи… что и ОГПУ СССР и построена она по тому же принципу», — писал Балдаев.

Штаты Центрального управления ГВО на 1926 год были утверждены правительством в количестве 53–60 человек. При руководстве ГВО работали пять ответственных советских инструкторов, а также рядовые и технические работники из СССР. В списках всего значатся 11 человек. Но известен и такой факт — комендант ГВО, отвечавший за исполнение смертных приговоров, был советским чекистом.

Несмотря на относительную малочисленность «монгольских чекистов», в Монголии их боялись и, понятно, не очень-то любили. Агенты ГВО работали главным образом за деньги, а русские (в Урге находилась довольно большая русская колония, состоявшая из дореволюционных переселенцев и послереволюционных эмигрантов) в большинстве случаев за страх, с надеждой реабилитироваться в своем белогвардейском эмигрантском прошлом.

«Аппарат ГВО в отношении своей авторитетности среди населения, особенно иностранцев, довольно, пожалуй, солиден, — писал предшественник Блюмкина Балдаев. — Для коренного населения „хама алха“ и для иностранцев „охранка“ — обозначает нечто грозное, страшное, чего нужно на каждом шагу остерегаться и постараться туда не попасть. Из этого можно судить о том, что этот авторитет ГВО себе сумела создать своей работой, достижениями. В настоящее время ГВО в Монголии является таким органом, куда почти каждый гражданин обязательно попадает…

Приезжающие, уезжающие, берущие документы и т. д., все прежде всего должны получить „благословление“ охранки, без ее разрешения нельзя выехать из Урги даже на две версты и все это в населении создает впечатление, что „охранка всё, а всё остальное ничто…“».

«У меня были резидентские задания на ряд стран — Тибет, Внутреннюю Монголию, некоторые пункты Китая»

О подробностях разведывательной работы, которую вел Блюмкин в Монголии, известно довольно мало — как и вообще о деталях его деятельности в разведке. «У меня были резидентские задания на ряд соприлегающих стран — Тибет, Внутреннюю Монголию, некоторые пункты Китая», — писал он в автобиографии, но и эта информация носит самый что ни на есть общий характер. Однако кое о чем сказать все-таки можно.

В Монголии Блюмкин действительно мог иметь какие-то контакты с экспедицией Рериха. Во всяком случае, они находились в Улан-Баторе примерно в одно и то же время. Экспедиция въехала в Монголию с территории СССР 10 сентября 1926 года и находилась в Улан-Баторе до 13 апреля 1927 года, после чего двинулась в направлении Тибета. Блюмкин же, как уже говорилось, прибыл в Монголию в конце 1926 года.

Во время визита Рериха в Москву летом 1926 года советские власти не могли не заинтересоваться его планами. 11 июня нарком иностранных дел Чичерин писал после встречи с Рерихом секретарю ЦК ВКП(б) В. М. Молотову:

> «Тов. МОЛОТОВУ. Копии Членам Политбюро…
>
> Уважаемый товарищ.
>
> Приехавший в Москву художник Рерих, большой знаток буддизма, только что объехал значительную часть Тибета и Китайского Туркестана. Он проник также в некоторые области северной Индии. Там имеются буддийские общины, отвергающие официальный ламаизм и стоящие на точке зрения первоначального учения Будды с его примитивным потребительским коммунизмом. Это способствует их симпатии к коммунистической программе и к СССР. Это обстоятельство связывается с их борьбой против поддерживающих ламаизм официальных верхов буддийских государств.
>
> Эти буддийские общины поручили Рериху возложить на гробницу Владимира Ильича небольшой ящик с землей того места, откуда происходил Будда. Рерих привез этот ящик и спрашивает, что с ним делать. Он предполагает передать его в Институт Ленина. Кроме

того, эти буддийские общины прислали письмо с приветствиями Советскому государству. В этих приветствиях они выдвигают мысль о всемирном союзе между буддизмом и коммунизмом. Рерих предлагает передать эти письма точно так же в Институт Ленина.

Прилагаю переводы этих двух писем. Если бы с Вашей точки зрения было признано допустимым опубликование этих писем, то нужно будет еще выяснить у Рериха, возможно ли это с конспиративной точки зрения, ввиду крайне деспотических методов английских властей в этих местах. С коммунистическим приветом. Г. В. Чичерин».

Вот именно — «ввиду крайне деспотических методов английских властей в этих местах». Не исключено, что в Москве решили использовать связи и влияние Рериха для борьбы против англичан в Центральной Азии. Ведь в посланиях, которые привез художник, индийские Махатмы не только рассуждали о коммунизме. Шла речь и о конкретных политических проблемах. Махатмы сообщали, что готовы к переговорам с Советским Союзом об освобождении оккупированной Англией Индии и обсуждении проблем Тибета, где в это время сложилась непростая политическая ситуация.

Тибет получил независимость от Китая в 1913 году. Человек со стороны, попавший туда в то время, мог бы подумать, что он перенесся лет на 500 назад — в этой закрытой от всего мира стране по-прежнему жили как в XV–XVI веках. Но правитель страны Далай-лама XIII предпринимал шаги по модернизации, пригласив для этого в Тибет англичан. Англичане обещали провести телеграфные линии, начать разведку полезных ископаемых, предоставить новейшее по тем временам вооружение для тибетской армии и обучить местных офицеров. В Тибете появились первая светская школа, где детей обучали по английскому образцу, Государственный банк, Институт тибетской медицины и т. д. Но, разумеется, все эти процессы сопровождались усилением политического влияния Англии в Тибете, а в столице страны Лхасе жили английские советники и специалисты.

Особенность Тибета состояла в том, что по древним традициям пребывание иностранцев на его территории было запрещено. Политика Далай-ламы вызвала недовольство многих представителей тибетской аристократии и духовенства — все эти новшества либо затрагивали их интересы, либо просто не соответствовали традиционным представлениям и реалиям

прошлого. Высшее духовенство опасалось введения новых налогов на содержание армии и рекрутских повинностей, которые скажутся на численности монашеской общины.

Модернизация Тибета с участием англичан углубила существовавшие раньше противоречия между Далай-ламой и вторым по рангу человеком в стране — Панчен-ламой IX. К зиме 1923 года напряжение в их отношениях достигло такого накала, что Панчен-лама бежал в Монголию, а оттуда — в Восточный Китай.

Советское руководство вполне могло увидеть в этой интриге выгодный для себя аспект: а если сыграть на том, что Панчен-лама стал жертвой «английских колонизаторов»? В конце концов, именно под лозунгами борьбы против «британского империализма» в Азии проходил съезд народов Востока в Баку, на котором присутствовал и Блюмкин. В съезде участвовали люди самых разных политических взглядов. Почему же не сделать ставку и на буддистов? Идея приобрести новых союзников в Азии, пусть даже таких экзотических, не могла не казаться в Москве полезной.

Осталось только понять, как использовать в этом раскладе сил Николая Рериха. В Москве ему оказывали очень теплый прием. Он побывал у Чичерина, Луначарского, Каменева, Крупской, не говоря уже о встречах с художниками и другими деятелями искусства.

«Да, Рерих обращался к советским властям, в частности, в МИД, с просьбой оказать помощь в проведении экспедиции, — признал в январе 1995 года в интервью корреспонденту газеты „Московский комсомолец“ Наталье Дардыкиной тогдашний руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Юрий Кобаладзе. — Более того, его принимал начальник разведки Трилиссер… Трилиссер поручил нашему резиденту в Монголии Блюмкину оказать всяческую помощь ученому.

— Мог помочь Блюмкин экспедиции деньгами или чем-то материальным? — поинтересовалась я.

— Нет, — сказал Юрий Георгиевич».

А чем же тогда?

Вероятно, что Рериху могли предложить роль посредника между Москвой, Панчен-ламой и Далай-ламой в Тибете. Эта миссия вполне отвечала бы и интересам Рериха. Если так произошло, то эта задача экспедиции сохранялась в глубокой тайне, и даже советский полпред в Монголии о ней не знал, хотя что-то интуитивно чувствовал.

«В Монголии, в настоящее время в Улан-Баторе, появился известный художник, путешественник Николай Константинович

Рерих, который в августе направляется в Тибет, — сообщал полпред СССР в Монголии Петр Никифоров в Москву. — Этот Рерих настойчиво ставит вопрос о необходимости возвращения Богдо <Панчен-ламы> в Тибет, приводя теологические обоснования. Я полагаю, что Рерих на кого-то работает, а может быть, даже хочет установить наше отношение к этому вопросу».

Сохранять эту задачу в тайне нужно было еще и по другой причине — если бы о ней узнали англичане, то путь Рериха в Тибет был бы закрыт.

Но какую роль во всей этой истории мог сыграть Блюмкин? Опять же, можно предположить, что он или скорее по его указанию ГВО Монголии делилась с Рерихом разведывательной информацией о районах, по которым будет проходить его маршрут.

С другой стороны, не исключено, что в его экспедицию стремились внедрить людей, работающих на монгольскую (читай — на советскую) разведку. У Рерихов на этот счет были подозрения. «Кто-то распустил в городе и его окрестностях слух, что американской экспедиции[55] требуется 900 человек, — вспоминал Юрий Рерих. — Они шли валом — безработные рабочие, сибирские казаки, бывшие монгольские солдаты и китайские кули. Все они уверяли нас, что им нечего терять, нечего оставлять, что жизни большинства из них полностью разбиты и что они желают принять участие в научном приключении. Мы отослали назад большую часть наших посетителей и наняли лишь шестнадцать стойких монголов, чье прошлое и настоящее мы смогли установить у местных жителей».

Наконец, очевидно, что на сотрудников ОГПУ и их союзников из ГВО было возложено наблюдение за членами экспедиции, пока они находились в Монголии. По данным Александра Стеценко, в Музее им. Н. К. Рериха на некоторых документах из Монголии имеется следующая надпись: «Копия. Оригинал у Я. Г. Б.», что, безусловно, означает «Яков Григорьевич Блюмкин». Другими словами, выполняя свои «резидентские задания» по Тибету, он собирал о нем всю возможную информацию и передавал ее в Москву.

Тринадцатого апреля 1927 года экспедиция Рериха выехала из Улан-Батора. 24 сентября она встретилась с пограничным отрядом тибетцев. Проверив документы экспедиции, тибетцы заявили, что они «неправильные», и отказались пропустить ее дальше. Рерих пытался добиться разрешения на въезд в Тибет. До весны 1928-го путешественники надеялись на это, ожидая разрешения в нечеловеческих условиях, на продуваемом всеми ветрами заснеженном горном плато, но затем им все же пришлось

повернуть обратно в Индию.

По одной из версий, тибетцы не пропустили экспедицию из-за интриг англичан, которые все-таки что-то узнали и сообщили в тибетскую столицу Лхасу, что Рерих — агент «красных русских». Так что идее слияния буддизма с ленинизмом не суждено было сбыться.

Однако лично для Блюмкина наблюдение за экспедицией Рериха не являлось работой особой важности. Судя по всему, он переложил ее на своих подчиненных. Дело в том, что большую часть времени, пока Рерихи оставались в Монголии, его самого там не было. Еще в начале 1927 года он отправился с секретной миссией в Китай и вернулся в Монголию только в апреле, когда Рерих то ли собирался двигаться дальше, то ли уже выехал из Улан-Батора.

* * *

В январе 1927 года Блюмкин отправился в длительную секретную поездку в Китай. Как он писал в автобиографии, в «добровольную поездку… совершенную с боями и исключительными трудностями, когда я случайно остался жив». Поездка действительно была рискованной — почти 800 километров, через пустыню Гоби.

Однако по другим данным, он выполнял задание Центра. Оно состояло в том, чтобы добраться до штаба армии китайского генерала Фэн Юйсяня. После того как в 1911–1913 годах в Китае произошла революция и была свергнута императорская династия Цин, в стране, почти не прекращаясь, шла гражданская война. Захватившие власть в провинциях генералы из различных клик боролись друг с другом за эту самую власть.

К 1925 году положение в Китае выглядело примерно так: на юге — прогрессивные силы во главе со знаменитым революционером Сунь Ятсеном и его Национальной партией (Гоминьдан), с которой объединились коммунисты, на севере — «реакционные китайские милитаристы». Осенью 1924 года на Севере восстал генерал Фэн Юйсянь. Он занял Пекин, попросил помощи у СССР, установил контакты с «революционным Югом» и пригласил в Пекин Сунь Ятсена. Тот поехал, но по дороге серьезно заболел и в марте 1925 года умер в Пекине. Фактическим лидером Гоминьдана после его смерти стал Чан Кайши.

В 1926–1927 годах генерал Фэн Юйсянь вместе с южанами боролся против «милитаристов». В СССР его считали человеком

прогрессивным и помогали ему — на вооружение его армии Москва тратила около миллиона долларов в год. Советское руководство надеялось, что война в Китае сможет перерасти в социалистическую революцию — сначала в этой стране, а потом во всей Азии.

Что делал Блюмкин у генерала Фэна — точно не установлено. Сам он как-то сказал, что был у него советником. Не исключено, что он помогал генералу в организации службы разведки и контрразведки.

Блюмкин прибыл в Китай в феврале 1927 года и в штабе у генерала Фэна находился, по некоторым данным, до апреля. В апреле он уже получил новое задание из Центра. Трилиссер, ставший к тому времени заместителем председателя ОГПУ, отдал указание Блюмкину провести операцию по регистрации и последующей высылке из Монголии в СССР «активных белых элементов». Большое количество белоэмигрантов в Монголии сильно беспокоило советские спецслужбы.

Как именно участвовал Блюмкин в этой «чистке» — точно неизвестно, но ОГПУ, а потом и НКВД, совместно с ГВО, не раз проводили их среди русского населения Монголии. Эти «чистки», похоже, настолько врезались в генетическую память потомков русских эмигрантов, что даже в начале XXI века живущие в Улан-Баторе пожилые русские очень неохотно и с видимой опаской рассказывали автору этой книги, что русской эмиграции пришлось пережить более семи десятков лет назад.

Летом того же года монгольское руководство предложило Блюмкину поехать в район Самбейса — помочь подавить вспыхнувшее там антиправительственное восстание. Блюмкин согласился, но с условием: ему предоставят почти неограниченные полномочия и, в частности, право расстреливать на месте любого контрреволюционера по своему усмотрению. Монголы решили, что это уж слишком, и условия Блюмкина не приняли. В свою очередь и Блюмкин отказался ехать «в командировку» и остался в Улан-Баторе.

Уже тогда его отношения с монголами да и с советскими коллегами были, мягко говоря, напряженными. Это как в известной новой поговорке — он-то, конечно, хотел как лучше, а получалось — как всегда.

«В гнилой обстановке монгольской работы». «Напился, обнимался со всеми, кричал безобразно…»

В Улан-Баторе Блюмкин с первых дней пребывания энергично принялся за работу. Ему сразу же бросилось в глаза, что монгольские разведчики и контрразведчики не имеют большого опыта и часто действуют довольно примитивно и медленно. Вскоре он организовал общемонгольское совещание сотрудников ГВО с целью обмена опытом и сам рассказывал о некоторых оперативных тонкостях, которые в своей работе применяло ОГПУ. Блюмкин помогал монголам создавать новые резидентуры в провинциях и в соседних районах Китая, прикладывал усилия для улучшения координации между ГВО и ОГПУ. Кроме того, он поставил перед правительством Монголии вопрос об увеличении числа советских инструкторов (этого ему удалось добиться).

Надо сказать, что положение советских инструкторов в Монголии официально никак не регулировалось и было одной из причин, по которой между Москвой и Ургой (Улан-Батором) возникали трения, а иногда и настоящие скандалы. Это случалось еще до появления Блюмкина. Например, 16 августа 1924 года на заседании ЦК Монгольской народно-революционной партии открыто говорилось, что «ГВО эксплуатировали исключительно буряты и русские для их собственных целей» и что «ГВО под руководством иностранцев исключительно преследует цель гонения на желтую религию, которую они как последователи буддизма должны защищать…».

В монгольском руководстве шла борьба за власть между различными группировками, и советские инструкторы принимали в ней активное, хотя и закулисное участие: сообщали в Москву о недостаточной революционности тех или иных лидеров страны, участвовали, по некоторым данным, и в фабрикации «контрреволюционного заговора», в результате «раскрытия» которого были расстреляны Бодоо, Данзан и другие «умеренные» руководители новой Монголии.

В 1925 году произошел громкий скандал — советский инструктор по фамилии Нетупский по заданию начальника ИНО ОГПУ Трилиссера попытался завербовать в осведомители самих руководителей ГВО Баторуна и Насонбато. Монголы возмутились. В докладной записке в Москву главный советский инструктор при ГВО Балдаев так описывал их реакцию: «В связи с этим монголы поставили вопрос так, что „несмотря, мол, на Ваши

дружественные отношения, на предоставление нами инструкторских мест в своем аппарате, — СССР посылает своих шпионов смотреть за ЦК и Правительством“, почему через некоторое время со стороны правых групп ЦК была сделана попытка сократить инструкторский состав ГВО до минимума». Злосчастного инструктора Нетупского пришлось отзывать.

Направляя в Монголию молодого, энергичного и, несмотря на возраст, уже опытного чекиста Блюмкина, руководство ОГПУ, вероятно, надеялось на то, что он сможет сделать работу «монгольских товарищей» более эффективной и что ему удастся ликвидировать трения в отношениях с ними. Несомненно, и сам Блюмкин хотел проявить себя на новом посту с самой лучшей стороны и выполнить поставленные перед ним задачи.

* * *

Условия, в которые попадали советские инструкторы и советники в Монголии, были не из легких. Отсталая страна, совершенно другой уклад, иные культура и образ жизни, часто отсутствие элементарных удобств даже по сравнению с разрушенной Гражданской войной Россией, к тому же свой замкнутый коллектив, в котором возникали неизбежные склоки, интриги, пьянки-гулянки.

Не исключено, что руководство ОГПУ поставило перед Блюмкиным не только чисто профессиональные задачи, но и обязало его навести порядок в «советской колонии» в Улан-Баторе. Блюмкин энергично принялся за дело.

Он считал, что имеет полное право «командовать парадом». Тем более в разговоре с ним советский полпред в Монголии, революционер с большим стажем, бывший председатель Совета министров Дальневосточной республики Петр Никифоров так и сказал ему: «Вы слишком большой человек здесь».

26-летний Блюмкин, похоже, и сам в это верил. Он ведь недаром чувствовал себя вершителем живой истории революции. А кто такие окружающие его в Монголии люди? Так, мелкие служащие, за редким исключением.

Блюмкин почти сразу принялся воспитывать советских специалистов — распекал за недостатки в работе, за поведение, устраивал публичные разносы, даже на глазах жен сотрудников, и вообще вел себя крайне высокомерно. Возможно, и правильные по сути замечания Блюмкина облекались в оскорбительную для окружающих форму. Он, правда, не выхватывал при каждом конфликтном случае пистолет, как это бывало во время его

«кафейной жизни» в Москве, но запросто мог пригрозить расстрелом, трибуналом, стучать кулаками по столу, со злостью сбросить со стола часы своего подчиненного.

В общем, сам он не был примером в том, к чему призывал советских инструкторов. Отрицательные стороны его характера, столь выразительно описанные его друзьями-литераторами, проявились в Монголии в полной мере. Неудивительно, что на него вскоре начали жаловаться в Москву.

Разумеется, в Центр из Улан-Батора поступала информация не только по линии ОГПУ. Донесения шли и от резидента военной разведки, полпреда и т. д. А у них появился на Блюмкина «большой зуб».

Начальником штаба Монгольской Народно-Революционной армии в 1925–1928 годах служил советский военачальник, однокашник Блюмкина по Военной академии (он окончил ее в 1921-м), бывший помощник начальника Разведуправления РККА Валерий Кангелари. В Монголии с Блюмкиным отношения у них не сложились. В самом начале марта 1927 года Кангелари отослал на него в Москву обширную «телегу», а уже 2 марта начальник IV (Разведывательного) Управления Штаба РККА Ян Берзин изложил поступивший компромат в рапорте на имя председателя Реввоенсовета Ворошилова. Берзин, в частности, писал:

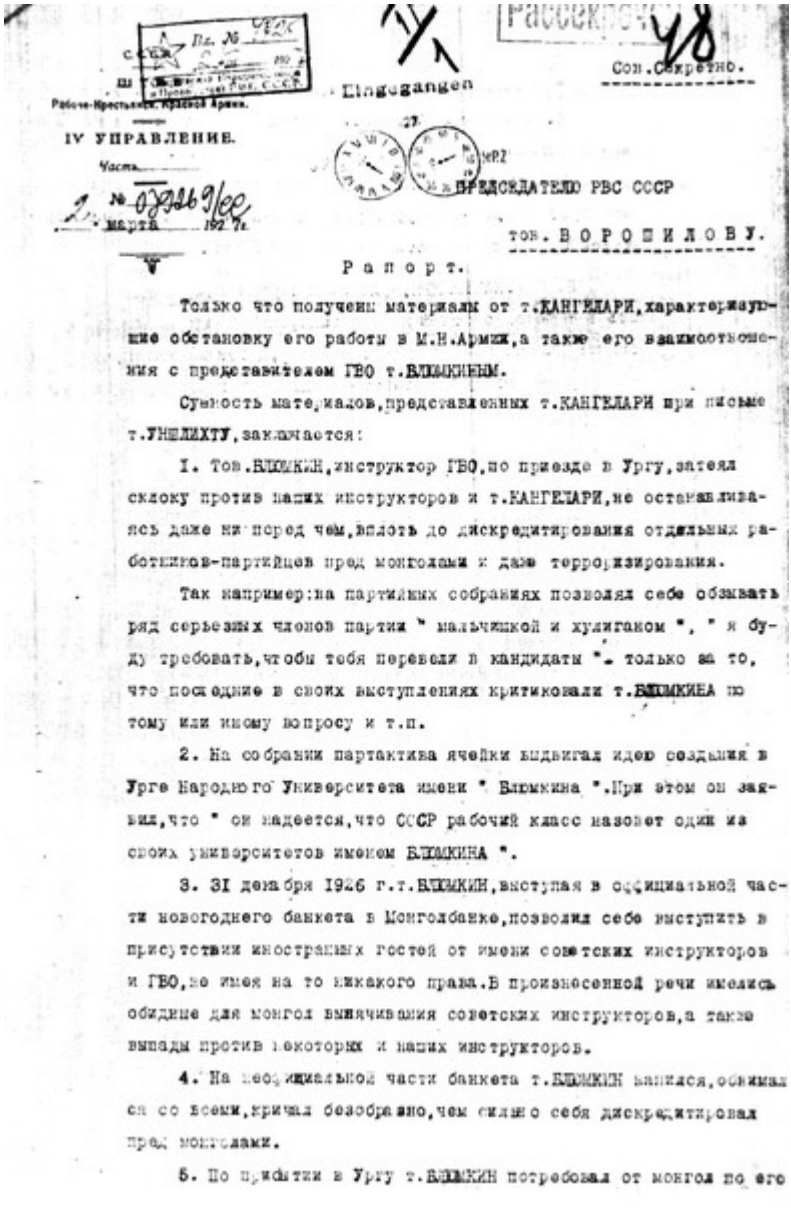
«Тов. Блюмкин, инструктор ГВО, по приезду в Ургу затеял склоку против наших инструкторов и т. Кангелари, не останавливаясь даже ни перед чем, вплоть до дискредитирования отдельных работников — партийцев перед монголами и даже терроризирования.

Так, например: на партийных собраниях позволял себе обзывать ряд серьезных членов партии „мальчишкой и хулиганом“, „я будут требовать, чтобы тебя перевели в кандидаты“, только за то, что последние в своих выступлениях критиковали т. Блюмкина по тому или иному вопросу и т. п. <…>

По прибытии в Ургу т. Блюмкин потребовал от монгол по его „чину“ материальные удобства (квартиру, автомобиль)… <…>

Поведение т. Блюмкина весьма разлагающим образом действует на всех инструкторов и в дальнейшем может отразиться на боеспособности Монгольской Армии…»

Этот рапорт Берзина хранится в Российском государственном военном архиве под шифром «Ф. 33987. Оп. 3. Д. 126. Л. 48». То есть это тот самый документ, в котором, как утверждал писатель Олег Шишкин, говорится о «путешествиях Блюмкина в обличье ламы». Но, как видим, речь в нем идет совсем о другом.



Сов.Секретно.

Eingegangen

IV УПРАВЛЕНИЕ.

Часть

№ 03886/сс

2 марта 192 7г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РВС СССР

тов. В О Р О Ш И Л О В У.

Р а п о р т.

Только что получены материалы от т.КАНГЕЛАРИ, характеризующие обстановку его работы в М.Н.Армии, а также его взаимоотношения с представителем ГВО т.БЛЮМКИНЫМ.

Сущность материалов, представленных т.КАНГЕЛАРИ при письме т.УШЕЛИХУ, заключается:

1. Тов.БЛЮМКИН, инструктор ГВО, по приезде в Ургу, затеял склоку против наших инструкторов и т.КАНГЕЛАРИ, не останавливаясь даже ни перед чем, вплоть до дискредитирования отдельных работников-партийцев пред монголами и даже терроризирования.

Так например: на партийных собраниях позволял себе обзывать ряд серьезных членов партии " мальчишкой и хулиганом ", " я буду требовать, чтобы тебя перевели в кандидаты " - только за то, что последние в своих выступлениях критиковали т.БЛЮМКИНА по тому или иному вопросу и т.п.

2. На собрании партактива ячейки выдвигал идею создания в Урге Народного Университета имени " Блюмкина ". При этом он заявил, что " он надеется, что СССР рабочий класс назовет один из своих университетов именем БЛЮМКИНА ".

3. 31 декабря 1926 г. т.БЛЮМКИН, выступая в официальной части новогоднего банкета в Монголбанке, позволил себе выступить в присутствии иностранных гостей от имени советских инструкторов и ГВО, не имея на то никакого права. В произнесенной речи имелись обидные для монгол вынячивания советских инструкторов, а также выпады против некоторых из наших инструкторов.

4. На неофициальной части банкета т.БЛЮМКИН напился, обнимался со всеми, кричал безобразно, чем сильно себя дискредитировал пред монголами.

5. По приезде в Ургу т.БЛЮМКИН потребовал от монгол по его

Рапорт начальника IV (Разведывательного) Управления Штаба РККА Яна Берзина председателю Реввоенсовета СССР Клименту Ворошилову от 2 марта 1927 года о недостойном поведении советского инструктора Государственной внутренней охраны Монголии т. Блюмкина. РГВА. Публикуется впервые

Особенно «отличился» Блюмкин на новогоднем банкете 31

декабря 1926 года. Сначала, как сообщается в рапорте Берзина, он выступил в присутствии иностранных гостей «от имени советских инструкторов и ГВО, не имея на то никакого права. В произнесенной речи имелись обидные для монгол выпячивания советских инструкторов, а также выпады против некоторых и наших инструкторов».

Дальше — больше. «На неофициальной части банкета т. Блюмкин напился, обнимался со всеми, кричал безобразно, чем сильно дискредитировал себя перед монголами». В рапорт Берзина не вошли, однако, самые «живописные» детали поведения Блюмкина на этом празднике (известные по другим источникам, о чем — ниже). Он несколько раз подходил к портрету Ленина, смотрел на него, как на икону, а затем отдавал портрету пионерский салют. В конце концов у него открылась рвота прямо перед изображением вождя. Растерявшиеся монголы и советские гости пытались как-то облегчить его положение, а тем временем Блюмкин, между приступами тошноты, обращался к Ленину: «Ильич, гениальный вождь, прости меня! Я же не виноват! Виновата обстановка! Я же провожу твои идеи в жизнь!»

Известен и такой случай. Однажды на собрании партячейки Блюмкин предложил создать университет для повышения образовательного уровня советских сотрудников в Монголии и членов их семей. Кто-то из присутствовавших иронически заметил: «И присвоим ему имя товарища Блюмкина!» На это Блюмкин ответил: «Я надеюсь и убежден, что если я еще лет двадцать так успешно поработаю на пользу рабочего класса, Республики Советов, то она один из университетов назовет и моим именем!»

В рапорт Берзина эта история попала в несколько иной трактовке. «На собрании партячейки актива, — сообщал он, — <Блюмкин> выдвигал идею создания в Урге Народного Университета имени „Блюмкина“. При этом он заявил, что „он надеется, что в СССР рабочий класс назовет один из своих университетов именем Блюмкина“».

Здесь необходимо заметить, что о неблаговидных поступках Блюмкина в Монголии мы знаем в основном по дошедшим до нашего времени сообщениям (а говоря прямо — доносам) о его поведении. В этих документах проступки Блюмкина расписаны весьма пристрастно. Как все было на самом деле — неизвестно. Верно сказано: «дьявол — в деталях», и даже интонация подчас имеет значение. Мы же, к примеру, не знаем, как Блюмкин говорил об университете имени самого себя — серьезно, с пафосом или, наоборот, иронично.

Сам Блюмкин, конечно, совсем по-другому оценивал свою

работу, утверждая, что делал все возможное, чтобы «оздоровить» атмосферу в Монголии. В своих показаниях, уже на Лубянке в октябре 1929 года, он отмечал: «…Я ко всему этому подвергался совершенно дикой травле, совершенно разнузданной дискредитации меня со стороны наиболее гнилых элементов организации в Монголии, находящихся в руководящей партийной и советской верхушке. Все мои самые искренние и товарищеские попытки добиться со стороны этих элементов большевистского отношения к вопросам и людям ни к чему не привели. Мои предупреждающие информации в центр не вызывали соответствующего отклика».

«Ведя себя безупречно в сложной и гнилой обстановке монгольской работы, — утверждал Блюмкин, — отстаивая подлинную, оправданную жизнью советскую линию, проводил большую чекистскую и партийную работу, не раз сознательно физически рискуя собою».

Блюмкин и «клад барона Унгерна»

Склоки и непростые отношения с коллегами осложняли его работу. А ее было много. Блюмкину приходилось видеть всякое и не раз действительно рисковать жизнью. В том числе и в Монголии. Но была в его биографии не только опасная, но и по-настоящему романтическая и таинственная история, из которой сегодня, пожалуй, мог бы получиться увлекательный телесериал. О том, как Блюмкин и чекисты искали в Монголии клад барона-белогвардейца-буддиста Унгерна.

Появившись в Монголии, Унгерн оставил о себе в этой стране противоречивую память. Жестокий до безумия полунищий русский военачальник, мечтавший о восстановлении монархии под сенью «желтой веры» — буддизма, освободивший в феврале 1921 года Ургу от китайцев, получивший благословение самого Богдо-хана, устроивший в столице Монголии жуткую резню среди русского населения… Монголы запомнили его со странной смесью ужаса, уважения и непонимания. Но запомнили.

Блюмкин как-то рассказывал (если не врал, конечно), что однажды в Улан-Баторе почувствовал внезапную дурноту на улице и… очнулся в юрте какого-то буддийского ламы. Тот сказал ему: «Вы пришли в себя и немедля уносите ноги. В отличие от вас мы, буддисты, не добиваем, а излечиваем больных и раненых врагов. Но вам, здоровому, здесь не место. Мы все — сторонники барона Унгерна и ваши враги».

Американский корреспондент Александр Грайнер, встречавшийся с Унгерном, спустя несколько лет после его расстрела побывавший в Монголии, писал: «Кто путешествовал по Центральной Азии, тот мог слышать заунывную песню, которую поют у костра проводники и пастухи. Она о том, как один храбрый воин освободил монголов, был предан русскими и взят в плен, и увезен в Россию, но когда-нибудь он еще вернется и все сделает для восстановления великой империи Чингисхана».

Это правда — разнообразные легенды об Унгерне ходят в Монголии уже без малого 100 лет. Самая распространенная из них — легенда о несметных сокровищах барона, зарытых им незадолго до того, как он попал в плен. В вопросе, что это за сокровища, версии расходятся. То ли казна дивизии, то ли награбленные Унгерном богатства. Но факт, что он сокровища где-то зарыл, считается непреложным.

Поначалу слухи гласили: барон закопал в разных местах четыре ящика с золотом. Затем число ящиков возросло до двадцати четырех, и в каждом якобы только золотых монет на три

с половиной пуда, а еще — другие драгоценности и лично принадлежавший Унгерну сундук в семь пудов. Уже в феврале 1924 года выходившая в Харбине русская эмигрантская газета «Свет» напечатала приключенческую повесть Михаила Ейзенштадта «Клады Унгерна», будто бы основанную на реальных событиях. Повесть рассказывала о том, как смелые русские эмигранты пробрались в Монголию и искали клад Унгерна, попутно то и дело вступая в борьбу с вездесущим ГПУ.

Бывшие унгерновцы тоже рассказывали о кладах различные истории, даже рисовали и продавали наивным кладоискателям-иностранцам карты с указаниями мест, где якобы зарыты сокровища. Несколько американских экспедиций на этом деле просто прогорело. А в сентябре 1924 года в поиски клада включилась и резидентура ОГПУ.

* * *

Подробности этой удивительной истории раскопал доктор исторических наук Леонид Курас. Оказалось, что в архивах УФСБ по Бурятии хранится дело, в котором детально рассказывается о том, как чекисты пытались отыскать клад Унгерна и какую роль в этих поисках сыграл Блюмкин. Автор этой книги на всякий случай связался с Леонидом Курасом — профессором Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, и тот подтвердил: да, всё так и было. По крайней мере судя по архивным документам.

Итак, в 1924 году сотрудникам резидентуры ОГПУ в Монголии, казалось бы, повезло. В местности Тологой-Дахту им удалось отыскать несколько деревянных ящиков с царскими кредитками и ценными бумагами. Однако они уже превратились в липкую червивую массу, а золота в ящиках не было.

В 1924–1925 годах чекисты искали золото Унгерна и в окрестностях Верхнеудинска (ныне — Улан-Удэ). Тогда они вели наблюдение за вестовым барона Михаилом Супарыкиным. Считалось, что он-то уж точно знает, где зарыт клад. Вскоре Супарыкин был арестован. Его привлекали к ответственности за участие в карательных операциях, однако 3 июня 1925 года Забайкальский отдел ОГПУ дело против Супарыкина прекратил. Клад тоже тогда не нашли. Два года спустя у чекистов появились сведения, что клад был вырыт в 1924 году, но где он теперь — непонятно.

В 1926 году бывший скотопромышленник Бер Закстельский, работавший когда-то в Монголии, рассказал своему приятелю,

агенту Красноярского отделения Госбанка СССР Моисею Прейсу, о кладе в семь пудов золота, зарытом в Монголии в окрестностях Урги. Прейс проинформировал об этом сотрудников ОГПУ и предложил организовать экспедицию.

Десятого января 1927 года из областного отдела ОГПУ Верхнеудинска в Сибирское краевое управление ОГПУ Новосибирска и в окружной отдел ОГПУ Красноярска была отправлена аналитическая записка, в которой обосновывалась необходимость проведения операции по изъятию клада при соблюдении строжайшей конспирации. При этом предлагалось действовать в контакте с Яковом Блюмкиным, возглавлявшим в то время резидентуру ОГПУ в Монголии.

Красноярский окружной отдел дал добро. Тем более что Закстельский и Прейс все расходы взяли на себя. Поддержала местную инициативу и Москва, обратив, впрочем, внимание на препятствия, которые могут возникнуть из-за вмешательства монгольских властей. Однако в конце января 1927 года полномочное представительство ОГПУ по Сибкраю дало облотделу ОГПУ Бурят-Монгольской АССР[56] разрешение на проведение операции по изъятию ценностей и их вывоз, особо подчеркнув, что операция должна быть проведена без вмешательства монгольских властей.

Правда, Закстельский у чекистов особого доверия не вызывал — из-за его сомнительного прошлого. Непонятно, откуда он знал о точном месте, где зарыт клад. То ли сам участвовал в его «захоронении», то ли от кого-то слышал об этом. Но тогда от кого? В общем — странный человек. Мало ли, вдруг решит присвоить себе часть найденных сокровищ или вообще всё? В экспедицию делегировали и сотрудника ОГПУ Бурят-Монгольской АССР Якова Косиненко.

Изъятые ценности планировалось передать в распоряжение Красноярского отделения Госбанка СССР. О том, как чекисты собирались договариваться с монгольской стороной о вывозе сокровищ в Советский Союз, свидетельствует письмо начальника областного отдела ОГПУ Бурят-Монгольской АССР Ермилова Якову Блюмкину (письмо тоже сохранилось в архиве УФСБ по Бурятии).

> «Уважаемый тов. Яков!
>
> Согласно телеграмме т. Заковского, с Закстельским и Прейсом командируется наш сотрудник Косиненко. По приезде в Ургу необходимо наблюдение за Закстельским и Прейсом, особенно за первым, так как он понимает монгольский язык и имеет в Монголии большие личные

связи.

Т. Косиненко поручается ведение переговоров с Монгол-банком и другими заинтересованными организациями, согласовав предварительно все вопросы с Вами.

Судя по телеграмме т. Заковского, для нас желательно возможно больший вывоз золота к нам. Поэтому просим настоять перед монгольскими властями и дать такие же инструкции тов. Косиненко».

В конце мая 1927 года Косиненко, Закстельский и Прейс выехали из Москвы в Монголию. Они выдавали себя за мелких коммерсантов и старались не привлекать к себе внимания. Впрочем, уже в Монголии Косиненко начал беспокоиться. У Закстельского там оказалось много знакомых, и всех интересовала цель его поездки.

Пятого июня Косиненко встретился с Яковом Блюмкиным, и они обсудили план предстоящей операции. На следующий день к чекистам присоединился председатель правления Монголбанка Дейчман (как легко понять, тоже далеко не монгол), который несколько охладил энтузиазм кладоискателей. Дейчман сказал, что Монголия не даст вывезти золото, так как проводит серию мероприятий по укреплению собственной валюты. Он предложил… продать это золото монголам за твердую валюту. Этот план одобрили — в том числе и полпред СССР в Монголии.

Шестого июня монгольским властям было подано заявление с просьбой разрешить проведение раскопок. Монголы разрешили, но поручили Министерству народного хозяйства курировать поиск и изъятие клада.

Монгольская сторона запросила 25 процентов стоимости клада в свою пользу. Остальную часть клада монголы соглашались купить, но только за тугрики. Переговоры продолжались несколько дней. В итоге был достигнут компромисс — предоставлялось право вести раскопки в присутствии комиссии из четырех человек (по два с каждой стороны).

Министерство народного хозяйства Монголии соглашалось покупать каждый золотник (4,266 грамма) золота по 5 тугриков 75 мунгу (по курсу 9 тугриков 50 мунгу за каждые 10 рублей). При расчете министерство удерживало из причитавшейся ему суммы 10 процентов в доход Монголии на оплату пошлин. Золотые изделия, имеющие художественную ценность, разрешено было вывезти на общих основаниях согласно таможенным установкам.

Четырнадцатого июня в три часа утра приступили к раскопкам. Их вели во дворе текстильной мастерской Министерства народного хозяйства. Вначале выкопали большую канаву вдоль здания, затем такую же — от ворот вдоль соседнего здания. Работа шла с большим трудом — грунт был твердым, как камень, и еле-еле поддавался лопате. Только рядом с воротами, на участке в три-четыре аршина наткнулись на рыхлый грунт. Возможно, там уже когда-то копали.

Этот участок земли экспедиция обследовала очень тщательно. Но ни клада, ни его каких-то следов так и не обнаружила.

Однако монголы, видимо, посчитали, что клад все-таки нашли и сокрыли от властей. В течение трех дней после завершения работ они не давали членам экспедиции разрешения на выезд из страны, даже установили за ними наружное наблюдение и, как сообщали чекисты в Москву, «склоняли кладоискателей к выпивке». По возвращении из Монголии Косиненко подал руководству докладную записку, в которой высказал предположение, что они занимались поисками клада, который был выкопан еще в 1924 году. Но кем — установить так и не удалось.

Больше всех был удручен неудачей Закстельский. По слухам, его арестовали и даже собирались расстрелять за то, что он якобы показал ложное место и хотел ввести чекистов в заблуждение. Только хлопоты друзей и знакомых помогли ему избежать расстрела. Говорили, что потом его не раз видели плачущим…

А что же Блюмкин? Во всяком случае, неудача с поисками клада Унгерна не расстроила его так, как Закстельского. Помимо поисков сокровищ, что, конечно, представлялось увлекательным занятием, у него было множество других более прозаических дел. Некоторые из них грозили ему серьезными неприятностями.

«Я стал психологически активизироваться как оппозиционер…» Блюмкин как причина дипломатического скандала

В апреле 1927 года Блюмкина вызвали в Москву. Там он застал один из последних всплесков оппозиционной активности. Шла бурная дискуссия о китайской революции. Как раз в это время в ходе революции обозначился неожиданный поворот: Чан Кайши успешно объединял страну, но начал резню своих недавних союзников — коммунистов. Только в Шанхае были убиты более четырех тысяч человек. А вскоре были разорваны и дипломатические отношения с Москвой.

Большинство коммунистов во главе со Сталиным и Бухариным считали, что китайская революция носила буржуазно-демократический характер и что курс на поддержку союза китайских коммунистов с Гоминьданом был правильным. Такой же, умеренной, позиции официально придерживался и Коминтерн.

«Левые» во главе с Троцким, Зиновьевым и Радеком, напротив, считали, что нужно было «ускорять темп» революции, создавать в Китае Советы, с тем чтобы в ближайшем будущем установить там советскую власть.

В Москве Блюмкин встретился с Радеком. Он пришел к Радеку в гости, они поговорили о сложившейся ситуации, попили чаю, и Блюмкин признался ему, что разделяет точку зрения оппозиции по китайской революции. Разделял он взгляды оппозиции и на внутриполитические проблемы. Особенно по вопросам внутрипартийной демократии, которая подавляется, и перерождения партийного аппарата в бюрократический. Неудивительно — Блюмкин достаточно нагляделся на это в Монголии. Ко всему прочему добавлялись и его личные обиды. Все это перемешалось у него в причудливый винегрет, который все больше и больше приобретал вкус оппозиционности. Но, как он уверял позже, его оппозиционные взгляды никак не сказывались на его работе.

В середине мая 1927 года Блюмкин вернулся в Монголию. Здесь его ожидали новые «сюрпризы». Он очень хотел, чтобы его выбрали в местное партбюро. Не только по карьерным соображениям. Блюмкин полагал, что дополнительная власть позволит ему легче перестроить работу советских специалистов в Улан-Баторе. Для этого он развернул целую интригу.

Одним из инструкторов ГВО в Монголии работал известный

советский военачальник Петр Щетинкин — полный георгиевский кавалер Первой мировой войны, кавалер орденов Святого Станислава 2-й и 3-й степени, Святой Анны 3-й степени, штабс-капитан русской армии, ставший одним из организаторов красного партизанского движения в Сибири и Забайкалье. Затем в составе экспедиционного корпуса Красной армии Щетинкин воевал в Монголии против войск барона Унгерна, а в августе 1921-го взбунтовавшиеся монгольские князья передали его отряду захваченного ими барона[57]. Существует фотография, на которой Унгерн и Щетинкин уже после ареста барона запечатлены вместе. Они откуда-то выходят и, похоже, о чем-то оживленно разговаривают.

Отношения между Блюмкиным и Щетинкиным были сложными. В Монголии Щетинкин находился в формальном подчинении у бывшего «неустрашимого террориста». Хотя известный военачальник вполне мог считать себя не менее легендарным человеком, чем Блюмкин, да и боевого опыта у него было гораздо больше. Однако теперь ему приходилось терпеть руководство Блюмкина и его выходки. Вряд ли все это нравилось Щетинкину.

Перед отъездом в Китай Блюмкин тет-а-тет попросил Щетинкина как секретаря партийной ячейки поговорить с несколькими советскими специалистами, чтобы на предстоящем партсобрании они выдвинули его кандидатуру в партбюро. Но план не сработал. Полпред Никифоров возразил против кандидатуры Блюмкина, заявив, что тот слишком мало занимается общественной работой и не всегда выполняет свои обещания.

Узнав об этом, Блюмкин разозлился, посчитав, что его кандидатуру продвигали недостаточно активно. Он винил в этом Щетинкина и других советских инструкторов, на которых обрушился с новыми придирками. В ответ получил чуть ли не бойкот со стороны соотечественников. Существует версия, что Щетинкину он этот случай так и не простил.

Изоляция, в которой Блюмкин оказался в Улан-Баторе, во многом была следствием его собственного поведения. Но самолюбивый Блюмкин переживал и из-за невозможности что-либо изменить своими силами. В своих показаниях позже он не зря признавался, что именно в Монголии у него начали появляться мысли о бюрократическом перерождении советского режима.

«Подогретый» разговорами с Радеком, общим положением в партии, где снова активизировалась оппозиция, и своими неудачами, Блюмкин пришел к выводу, что «внутрипартийный

режим не дает необходимой гарантии для критических и инициативных товарищей и что необходимо решительно пересмотреть внутрипартийный режим». В знак протеста он решил выйти из партии.

Это, конечно, был смелый и крайне необычный шаг для человека с таким положением, которое занимал Блюмкин. Выход из партии наверняка означал бы не только отзыв в Москву, но и крах его карьеры в ОГПУ, к тому же пятно на биографии — возможно, на всю жизнь. Вряд ли он этого не понимал. Однако его эмоциональное состояние было, видимо, таково, что он написал заявление о выходе из партии и 11 августа отнес его в партийную организацию. Вот этот документ:

> «Заявление Я. Г. Блюмкина о выходе из ВКП(б)
>
> Отв. Секретарю Бюро ячеек ВКП Монголии т. И. И. Орлову
>
> От члена ВКП с 1919 г. (старый п<артийный> б<илет>
>
> № 123654) Я. Г. Блюмкина
>
> ЗАЯВЛЕНИЕ
>
> Настоящим заявляю о своем выходе из ВКП.
>
> Членом партии состою с 1919 г., никаким партвзысканиям не подвергался.
>
> В партию принят постановлением Оргбюро ЦК ВКП при поддержке покойного т. Дзержинского.
>
> Одновременно с настоящим заявлением ставлю о своем выходе из ВКП телеграфно в известность ОГПУ, представителем которого, как Вам известно, я являюсь.
>
> Ввиду политической недопустимости доведения факта моего выхода из ВКП до сведения монголов — это по своим политическим последствиям будет не в интересах СССР — прошу настоящее заявление держать в секрете. Думаю, что единственно кому можно о нем сообщить — это т. Амагаеву (уполномоченный Коминтерна), и разве еще поверенному в делах СССР т. Берлину.
>
> До получения указаний ОГПУ буду нормально продолжать свою работу в ГВО.
>
> Если сочтете нужным установление над ней контроля — не возражаю.
>
> Яков Григорьевич Блюмкин
>
> 10 августа 24 ч. 25 мин.».

Написав заявление, Блюмкин послал в Москву телеграмму: «Ввиду подачи мной заявления о выходе из ВКП(б) прошу не

сомневаться в моей абсолютной преданности СССР».

«Я в состоянии очень большой усталости и глубокой совершенно незаслуженной нравственной обиды наивно полагал, что можно быть коммунистом, не будучи членом партии, и вместо того, чтобы сделать из положения партийной организации в Урге общепартийный вывод, я сделал вывод личный и при том не политический», — писал он в своих показаниях на Лубянке.

Демарш Блюмкина вызвал в ОГПУ настоящий переполох. В Улан-Батор улетела срочная телеграмма, в которой от него потребовали взять свое заявление обратно. Блюмкин тут же подчинился, пробыв, как он указывал, «вне партии три дня».

Вскоре в Монголию приехала целая делегация Центральной контрольной комиссии — высшего контрольного органа партии. Она должна была проверить его «сигналы». Возглавлял делегацию старый большевик Александр Шотман. Результат ее работы оказался для Блюмкина положительным: «Изучив на месте работу полпреда, парторганизации, совинструкторов, комиссия признала деятельность т. Блюмкина вполне удовлетворительной». Сам Блюмкин несколько «усилил» ее выводы — разумеется, в свою пользу. «Изучивши местную обстановку, даже не опросив как следует меня, <комиссия> пришла к выводу относительно моей политической и личной правоты, предложила меня немедленно ввести в бюро организации, оставила меня на работе в Монголии и выразила мне полное доверие», — отмечал он в показаниях.

В любом случае он все-таки добился того, чего хотел. Даже такими рискованными и «экзотическими» для партийца способами. Чем руководствовался Блюмкин, когда затевал все это? Только личными интересами? Вряд ли. Прибывший в сентябре 1927 года в Монголию новый советский полпред Андрей Юров-Охтин сообщал в ОГПУ о Блюмкине:

«Ваш аппарат все же на ходу, и надо отдать справедливость тов. Блюмкину, плохо или хорошо, но все же держал его в своих руках. Присматриваясь ближе, в частности к личности самого тов. Блюмкина, я убедился, что он действительно единственный из всех прочих работников не потратил время, сидя в Монголии, зря. Он изучал Монголию и довольно хорошо знает ее. Я не буду касаться тех выводов, к которым он приходит, но знания у него несомненно есть, и поэтому я имел намерение создать обстановку для его дальнейшей работы, использовать максимум его опыта и знаний».

Похоже, Блюмкину действительно хотелось делать свою работу как можно лучше. Но так, чтобы его фигура оставалась в этом деле на первом плане. Это вряд ли нравилось многим советским специалистам в Монголии. Да и кому это понравится

— приезжает какой-то молодой выскочка, убежденный в собственной исторической значимости, и начинает грубо и бесцеремонно баламутить теплое и уютное болото.

После отъезда комиссии Блюмкина избрали в партийное бюро. «Но сильная трещина в моем сознании от всей этой истории была толчком к тому, что я стал психологически активизироваться как оппозиционер», — признавался он в показаниях, уточнив тем не менее, что в Урге он никакой оппозиционной работы не вел.

Между тем с ним продолжали происходить различные неприятные истории.

Тридцатого сентября 1927 года при невыясненных обстоятельствах в Улан-Баторе умер или погиб Петр Щетинкин.

Советский полпред сообщил в Москву о том, что Щетинкин умер от «воспаления мозга и паралича сердца». Из монгольской столицы гроб с телом Щетинкина доставили в Новосибирск и торжественно похоронили в центре города. Однако среди родственников знаменитого «красного партизана» долгие годы жила легенда о том, что Щетинкина убили.

Его дочь в 1957 году рассказала, что Петр Щетинкин в Монголии дважды подвергался нападениям, а потом был арестован неизвестными у себя в квартире, вывезен на берег реки Тола, расстрелян и сброшен в воду. Кем были эти неизвестные — осталось загадкой. Сначала говорили о «японских агентах». Но позже тень подозрения пала и на Блюмкина. «Хвост» этой версии тянется за его репутацией до сих пор.

Отношения между Блюмкиным и Щетинкиным действительно не складывались. К тому же, как помним, являясь секретарем партийной ячейки, Щетинкин не содействовал избранию Блюмкина в партбюро. По слухам, даже возражал против этого. А Блюмкин был способен на быстрые и решительные действия. Буквально через две недели после загадочной смерти Щетинкина он в очередной раз это доказал.

Неизвестно на каких основаниях, но Блюмкин давно уже подозревал секретаря издательского отдела Реввоенсовета Монголии, беспартийного советского инструктора Нестерова в том, что он является «скрытым белогвардейцем» и «агентом японофильской правой части Монголии». И требовал убрать его из Улан-Батора, а еще лучше арестовать.

Блюмкин в итоге добился своего — 15 октября 1927 года ОГПУ прислало санкцию на арест Нестерова и его отправку в СССР. Арест нужно было согласовать с монгольской стороной. Ночью вместе с назначенным в марте 1927 года начальником штаба Монгольской Народно-Революционной армии Яковом Шеко

Блюмкин отправился на квартиру к главкому армии Чойбалсану и рассказал ему о полученных из Москвы инструкциях.

Но Чойбалсан заявил, что единолично он не может решить такой деликатный вопрос, и предложил подождать до понедельника (дело происходило в ночь с субботы на воскресенье). Тогда, мол, нужно будет поставить в известность председателя Реввоенсовета, в подчинении которого находился Нестеров, и только он может санкционировать арест. После этого Блюмкин и Шеко распрощались с Чойбалсаном и… пошли арестовывать Нестерова. К понедельнику его уже не было в Улан-Баторе — он был отправлен самолетом в СССР.

Возмущенный Чойбалсан жаловался в рапорте на имя председателя ЦК Монгольской Народно-Революционной партии (МНРП) Дамбе-Дорчжи:

«В понедельник утром в 9 часов 30 минут в военном министерстве мне доложили, что инструктор Нестеров арестован и увезен в СССР… Выяснилось, что, несмотря на мои указания о том, что на арест инструктора Нестерова следует получить разрешение у предреввоенсовета, они насильно произвели арест и отправили <Нестерова> на самолете утром и лишь после того поставили предреввоенсовета в известность…»

Этот инцидент монголы расценили как покушение на свой суверенитет. 18 октября поступком Блюмкина и Шеко бурно возмущались на специально созванном заседании ЦК МНРП. Было принято постановление о снятии их со своих постов и выдворении из страны. Затем Блюмкина и Шеко пригласили на заседание правительства. Однако, выслушав аргументы виновников происшествия, министры не успокоились, напротив, распалялись все больше и больше. Раздавались возгласы: «Долой советский инструктаж! Пригласим китайцев!», «Вы скоро и нас всех арестуете и вышлете в Москву!», «Требуем обыска на квартире Блюмкина! Он создал свою внутреннюю охрану!».

Дело приняло весьма серьезный оборот. В отношениях между Москвой и Улан-Батором возник крупный дипломатический скандал. Блюмкина отстранили от дел и запретили даже входить в здание ГВО. Монголы арестовали двух советских инструкторов, которые принимали участие в проведении операции по вывозу Нестерова в СССР. Под угрозой оказалось пребывание в Монголии вообще всех советских инструкторов.

Советский полпред Андрей Юров-Охтин сообщал в секретной шифровке начальнику Иностранного отдела ОГПУ Трилиссеру о поведении Блюмкина:

«Его поведение в связи с арестом усугубило неблагоприятность обстановки настолько, что я не был в

состоянии спасти его. Свое самолюбие он ставит выше, чем ликвидацию конфликта в пользу его и Вашего ведомства. Вызванный на допрос к монголам, он вместо спокойствия, выдержки и признания своей ошибки вступил с ними в дипломатические переговоры. Затем я предложил ему подать 24-го числа рапорт монгольскому правительству, имея в виду определить и значительно смягчить предстоящее решение правительства и тем самым твердо сохранить должность главного инструктора. Он этого предложения не выполнил, ссылаясь на то, что ему для этого нужно получить специальные директивы Москвы… Таким образом, вопрос о дальнейшей работе тов. Блюмкина в Монголии приходится считать окончательно отпавшим, и на эту тему дальше беседовать не стоит».

В конце октября 1927 года монгольская делегация прибыла в Москву на празднование десятилетия Октябрьской революции. Однако с собой делегация везла не только подарки и поздравления, но и официальное постановление ЦК МНРП по делу Блюмкина и Шеко. Документ был передан в Исполком Коминтерна, а 1 ноября его получили Сталин, Бухарин и Трилиссер.

В ноябре Блюмкина отозвали из Монголии.

«ПЕРСИДСКИЙ КУПЕЦ» И ДРЕВНИЕ КНИГИ

«Психологические раны были очень свежи». Между ОГПУ и оппозицией

В Москву Блюмкин ехал в скверном настроении. «Мне было жалко, что большая работа, проделанная мною в Монголии и за ее пределами в течение года и являющаяся частью огромной работы, рассчитанной на три года, что она была сорвана, поставлена под удар из-за ареста Нестерова», — писал он. Но не только это было причиной переживаний. Блюмкин понимал — вряд ли его на Лубянке ждет торжественная встреча. И еще — до Монголии доходили печальные известия о судьбе московской оппозиции. Она была практически разгромлена.

В 1926–1927 годах оппозиционеры попробовали объединить свои силы и совместно дать бой Сталину и Бухарину. «Правым», как они говорили. Так называемая «Объединенная оппозиция» состояла из сторонников Троцкого, Зиновьева и Каменева, осколков еще раньше разгромленной «Рабочей оппозиции» Александра Шляпникова, а также, недолго, вдовы Ленина Крупской[58]. К этому времени лидеры оппозиции — Троцкий, Зиновьев и Каменев — лишились почти всех руководящих государственных постов, хотя пока оставались членами ЦК и даже Политбюро.

Но на июльском и октябрьском пленумах ЦК компартии в 1926 году Троцкого, Зиновьева и Каменева вывели из состава Политбюро. Троцкий с возмущением говорил, что против оппозиции применяют «черносотенные» методы работы и в президиумы собраний с мест подают записки такого рода: «Троцкий отвергает возможность построения социализма в одной стране, потому что из-за своей национальности не верит в силу русского народа». В ответ на это Сталин заметил: «Мы боремся против Троцкого, Зиновьева и Каменева не потому, что они евреи, а потому, что они оппозиционеры».

Интересная деталь — в архивах сохранилась записка поэта Демьяна Бедного, направленная Сталину 8 октября 1926 года:

«Иосиф Виссарионович!

Посылаю — для дальнейшего направления — эпиграмму, которая так или иначе должна стать партийным достоянием. Мне эта х…ня с чувствительными запевами — „зачем ты Троцкого?!..“ надоела. Равноправие так равноправие! Демократия так демократия!

Но именно те, кто визжит (и не из оппозиции только!), выявляют свою семитическую чувствительность.

Демьян Бедный».
Дальше следовала сама эпиграмма.

В ЧЕМ ДЕЛО?!
Эпиграмма
Скажу — (Куда я правду дену?) —
Язык мой мне врагов плодит.
А коль я Троцкого задену,
Вся оппозиция галдит.

В чем дело, пламенная клака?
Уж растолкуй ты мне добром:
Ударю Шляпникова — драка!
Заеду Троцкому — погром!

С начала 1927 года борьба в партии неуклонно нарастала. Кульминацией стала попытка оппозиции провести 7 ноября, в день десятилетия Октября, «параллельные» демонстрации в Москве и Ленинграде. По случаю юбилея Красная площадь была празднично украшена. В номере от 30 октября «Правда» сообщала:

«На Красной площади по обе стороны мавзолея будут протянуты два огромных стяга со светящимися цифрами: „1917–1927“. В воздухе на тросах, протянутых от Спасской башни до Лобного места и Здания ВЦИК, будет вывешен лозунг, ночью освещаемый прожекторами. На площадке Лобного места будет установлен макет броневика с надписями, характеризующими боевую работу Красной Армии…»

Но и оппозиционеры тоже готовились. 7 ноября, когда колонны демонстрантов проходили по Тверской к Красной площади, на балкон дома на углу Тверской и Охотного Ряда (бывшая гостиница «Париж») вышли лидеры оппозиции и вывесили на балконе портрет Ленина и красное полотнище с лозунгом «Назад к Ленину!».

Группы оппозиционеров несли в общей процессии свои плакаты: «За подлинную рабочую демократию», «Повернем огонь направо — против нэпмана, кулака и бюрократа», «Против оппортунизма, против раскола — за единство ленинской партии» и т. д.

Один из организаторов оппозиционной акции Иван Смилга отмечал, что демонстранты дружно отвечали на приветствия с балкона, но потом распорядители демонстрации «стали отделять из проходивших колонн небольшие отряды вооруженных свистками, пищалками, огурцами, помидорами, камнями,

палками и пр. <…> Скопившиеся под балконом, под руководством съехавшихся властей, стали свистать, кричать „Долой!“, „Бей оппозицию!“ и бросать в стоявших на балконе товарищей Смилгу, Преображенского и др. камнями, палками, щепками, огурцами, помидорами и пр.».

Через некоторое время группа людей ворвалась в здание и попыталась вытащить с балкона оппозиционеров, избив некоторых из них.

В то же время у Александровского вокзала, где собирались колонны демонстрантов и куда приехали на автомобиле Троцкий, Каменев и Муралов, несколько человек набросились на них. При этом раздалось несколько выстрелов. «При отъезде машины с вождями всемирной революции эти фашисты забрасывали их яблоками, булками, грязью и всем, что у них было», — сообщал один из оппозиционеров.

В районе Красной площади и других местах происходили столкновения — агенты ГПУ, красноармейцы и сторонники большинства вырывали лозунги и плакаты у оппозиционеров.

Наиболее горячие головы среди сторонников Сталина даже посчитали эти события «попыткой переворота». Как бы там ни было, но объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) исключил Троцкого и Зиновьева из партии, а Каменева и Раковского — из ЦК. На XV съезде партии, проходившем со 2 по 19 декабря, из партии были исключены еще 75 активных оппозиционеров, включая тех же Каменева и Раковского. Председатель Совнаркома Алексей Рыков на съезде заявил: «Нельзя ручаться за то, что население тюрем не придется в ближайшее время несколько увеличить». Из Сталинграда (как в 1925-м стал называться Царицын) делегатам съезда в качестве подарка прислали метлу. Рыков вручил ее Сталину со словами: «Я передаю метлу товарищу Сталину, пусть он выметает ею наших врагов». Самого Рыкова спустя десять лет тоже «вымели» — его расстреляли в 1938-м.

* * *

Все эти бурные события конца 1927 года Блюмкин застал лишь частично. «Это было уже после демонстраций оппозиции, — вспоминал он. — Самый же факт апелляции оппозиции к беспартийным массам я усваивал с большим трудом и не разделял ее». Но теперь ему предстояло думать: что делать? Как совместить службу в ОГПУ с его оппозиционными настроениями? Скрывать ли их от руководства? Или, наоборот, сделать демонстративный шаг и уйти из «органов»?

Впрочем, позже в своих показаниях Блюмкин утверждал, что руководство ОГПУ было информировано о его оппозиционных настроениях еще в то время, когда он находился в Монголии. «ГПУ знало мои шатания», — утверждал он.

Здесь, скорее всего, Блюмкин не врал. Действительно, сразу после возвращения в Москву он встречался с новым главой ОГПУ, сменившим на этом посту умершего в 1926 году Дзержинского, Вячеславом Менжинским, а также с Трилиссером и Ягодой. Что касается его службы в Монголии — то всё обошлось. Ему попеняли на недостатки в поведении и попросили написать отчет о работе. С его оппозиционной деятельностью всё оказалось сложнее. Блюмкин заверил начальство в своей «чекистской лояльности», но полностью от оппозиции не отмежевался. Он признавался, что для него самого такая терпимость оказалась «неожиданной».

Его судьба решилась довольно быстро — Блюмкина решили оставить в закордонной разведке. Все-таки в делах оппозиции к тому времени он еще активно поучаствовать не успел, и как разведчика его, вероятно, ценили высоко. Да и времена в 1927 году были еще относительно лояльные.

Блюмкину предложили отдохнуть и подлечиться в санатории. Это было кстати — он и сам чувствовал себя не очень хорошо. Сказывались последствия петлюровских побоев, кочевого образа жизни, да и алкоголь сыграл свою роль. Медицинская комиссия рекомендовала ему двух-трехмесячный отпуск с лечением.

До того как отправиться на отдых, он установил связь с оппозицией (Блюмкин утверждал, что об этом он тоже проинформировал своих руководителей по ОГПУ). Он встречался с видными троцкистами Львом Сосновским (бывшим редактором «Красной газеты», «Гудка» и «Бедноты») и Михаилом Богуславским, которые рассказали о его «смене курса» самому Троцкому. Оппозиция думала, как ей лучше всего использовать Блюмкина. Большинство склонялось к тому, что он мог бы стать полезен в будущем для нелегальной работы, если дело дойдет до нее, а пока ему рекомендовали особо не распространяться о своих взглядах.

Блюмкин оценивал ситуацию в лагере оппозиции как «полнейшую сумятицу по части организационных перспектив». Одни думали о нелегальной работе, другие готовились к арестам, третьи считали, что нужно подчиниться решениям партии. Такая неопределенность, утверждал Блюмкин, «меня, человека, привыкшего к организационной четкости, расхолаживала».

Сосновский предложил Блюмкину информировать оппозицию о том, что происходит в ОГПУ. Он не то чтобы прямо отказался от

этого, но особо ничего ценного не сообщил.

Позже, уже на Лубянке, он напирал на то, что и при всем желании не мог бы сообщить оппозиции ничего ценного. Ведь у него практически не было контактов с сотрудниками из тех отделов, которые занимались троцкистами, зиновьевцами и прочими «отщепенцами». «Как работник закордонной части ИНО я никакого отношения к материалам других отделов не имел, никогда не получал и не видел общеинформационных сводок ОГПУ», — писал Блюмкин. Да и вообще — «общая чекистская сдержанность и скрытность сама по себе достаточное препятствие для информирования».

Но кое о чем он все-таки информировал оппозицию. Как признавался сам Блюмкин, на квартире у Сосновских он, например, «рассказывал вещи полусплетнического характера». Однажды он узнал, что руководителям ОГПУ «известны какие-то мероприятия оппозиционеров… по подысканию квартиры для Зиновьева». Об этом Блюмкин сообщил Сосновскому в «шутливой форме». В другой раз он слышал на работе разговоры о том, что в одной из иностранных миссий расценивают внутрипартийную борьбу как «симптом падения советского режима», и рассказал об этом Сосновскому. Когда Блюмкина собирались направить в Якутию, для подавления антиправительственного восстания, он тоже сообщил об этом оппозиционерам, хотя в Якутию он так и не поехал. «Величайшая невинность, мизерность и случайность этой „информации“ сама по себе достаточно очевидна», — считал он.

К тому времени Сосновский и его жена Ольга, как и многие другие оппозиционеры, были фактически лишены средств к существованию. По словам Блюмкина, они интересовались, не может ли он дать им денег, и сожалели, что «не позаботились припасти денег на черный оппозиционный день». Он пообещал «распродать некоторые личные вещи и соответственно дать».

Между тем в январе 1928 года лидеров оппозиции начали высылать из Москвы. Троцкого выслали в Алма-Ату (он отказался идти на вокзал добровольно, и агентам ОГПУ пришлось выносить его из квартиры на руках), Каменева — в Калугу, Зиновьева — в Казань, Раковского — в Астрахань, Радека — в Тобольск, Преображенского — в Уральск, Ивана Смирнова — в Новобаязет в Армении, Сосновского — в Барнаул и т. д. Блюмкин с Сосновским попрощался по телефону. После его высылки он несколько раз встречался с его женой, и на этих встречах она якобы опять просила его дать денег.

Может быть, так оно и было, а может быть, Блюмкин преувеличил свое участие в делах Сосновских, а заодно выставил семью оппозиционеров в не очень выгодном для них свете.

Сделать это он вполне мог — свою «исповедь», как помним, он писал в тюрьме на Лубянке, «разоружаясь» перед партией и ОГПУ. Зная к тому же характер Якова Григорьевича и его склонность выпячивать роль своей персоны в тех или иных событиях, не так уж трудно в это поверить.

* * *

Положение Блюмкина в это время казалось весьма двусмысленным. На Лубянке знали о его контактах с оппозиционерами, оппозиционеры знали, что он служит в ОГПУ. И тем и другим он говорил о своей лояльности. Что стояло за таким поведением? Выполнял ли он задание своих руководителей с Лубянки, в чем его заподозрили некоторые сторонники Троцкого? Или же задание Троцкого? Либо действительно, как Блюмкин пытался уверить следователей, он искренне «запутался» и колебался между долгом и симпатиями по отношению к оппозиции, пытаясь остаться честным перед всеми? Наверное, точного ответа на этот вопрос уже не получить никогда…

Впрочем, не он один, наверное, испытывал подобные чувства. Многих «сталинцев» и оппозиционеров объединяли годы совместной революционной борьбы, знакомства и даже дружбы, так что разорваться между приверженностью партии и старыми друзьями было не так уж легко. Характерный пример. В 1929 году в Липецк из Москвы выслали сторонника Троцкого, известного критика и литератора, первого главного редактора первого советского «толстого» журнала «Красная новь» Александра Воронского. За несколько часов до отъезда ему позвонил Орджоникидзе и попросил приехать к нему домой — в Кремль, поговорить. Они долго сидели за столом, вспоминая минувшие годы дружбы, и, уже прощаясь, Орджоникидзе сказал Воронскому: «Хотя мы с тобой и политические враги, но давай крепко расцелуемся». Оба погибнут в 1937-м: Орджоникидзе по официальной версии — от сердечного приступа (по неофициальной — застрелился), ну а Воронского расстреляют.

В марте 1928 года, выполняя предписание врачей, Блюмкин уехал лечиться в Кисловодск. Почти полтора месяца он восстанавливал здоровье в санатории «имени 10-летия Октября». Затем перебрался на Черное море, в Гагры. Но и на отдыхе, как он уверял, его мучили мысли о том, как жить дальше.

В 1928 году некоторые из оппозиционеров начали раскаиваться и признавать «свои заблуждения». Их положение облегчали — Зиновьева, к примеру, назначили ректором

Казанского университета, Каменева восстановили в партии и назначили начальником Научно-технического управления Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР. Вернулся из ссылки в Семипалатинске и видный сторонник Троцкого Леонид Серебряков. С Блюмкиным они были знакомы еще по 1919 году. Тогда Серебряков был секретарем Президиума ВЦИКа и членом Реввоенсовета Южного фронта. Именно от него Блюмкин получал задание по организации теракта в Сибири — предположительно, против Колчака.

Они встретились в Гаграх, куда Серебряков приехал после ссылки. Блюмкин уважал своего бывшего начальника по Гражданской и с интересом говорил с ним. Эти беседы заставили его задуматься: раз уж такие люди из оппозиции, как Серебряков, могли находить точки соприкосновения с «линией партии», значит, и он может сделать то же самое? Тем более что курс Сталина начал постепенно меняться — сворачивался нэп, начиналось наступление на кулака, на чем еще раньше настаивала «левая оппозиция». «Все это в очень большой степени смягчало мое оппозиционное настроение», — писал Блюмкин. Правда, «психологические раны были очень свежи», а особенно остро стоял вопрос об отношении к Троцкому, который и не думал каяться.

Вернувшись в Москву, Блюмкин снова оказался в положении «и нашим и вашим». О своих разговорах с Серебряковым и его настроении он сообщил председателю ОГПУ Менжинскому. Правда, по уверениям Блюмкина, его об этом просил сам Серебряков. Затем произошла еще одна встреча, которая явно оставила у него неприятный осадок.

Однажды на Большой Никитской улице он встретил жену Сосновского Ольгу Даниловну. Она как раз собиралась уезжать к мужу в Барнаул. Блюмкин, видимо, попытался через нее повлиять на позицию Сосновского, который каяться не собирался и продолжал критиковать Сталина, за что и получил в 1929 году три года тюрьмы. Блюмкин привел ей в пример Серебрякова и рассказал о беседах с ним.

Однако от жены Сосновского Блюмкин неожиданно получил резкую отповедь. Он рассказывал, что она упрекала его в том, что он так и не дал ей денег. (Опять эти деньги! Но разве он не собирался распродавать свои личные вещи, чтобы помочь им?) Думается, что главный упрек в его адрес все-таки заключался совсем в другом. «После политической части нашей беседы, — признавался Блюмкин в показаниях, — <она> заподозрила, что я агент ГПУ. Помню, как сейчас, она заявила мне „что же, в Гагры ездили разлагать, откалывать?“. Мы расстались враждебно». Кто

знает, возможно, Ольга Даниловна была не так уж далека от истины.

Сам же он, разумеется, объяснял свое поведение по-другому: «Очень тяжело переживая, что при этом курсе партийной линии ее кровные сыны находятся в ссылках и тюрьмах, я утешал себя тем, что в конце концов радиус расхождения между ними и партией на политической почве сузится и через год самое большое эти люди вернутся в партию…»

Неизвестно, к чему бы привели тогда все его сомнения и размышления, если бы не ответственное задание руководства ОГПУ — отправиться за границу, чтобы организовать резидентуру советской разведки на Ближнем Востоке.

Древние книги для разведки. Блюмкин придумывает «крышу»

«Я нашел для себя лично выход в том, что с радостью принял новое предложение о заграничной работе», — писал Блюмкин. А предложение было серьезное. В течение года ему предлагалось создать резидентуру советской разведки в Константинополе, Палестине и Сирии. В ее задачи должны были входить сбор информации о политике англичан и французов в этом регионе, помощь национально-освободительному движению и, наконец, проникновение в Индию. Индия рассматривалась как главная цель работы Блюмкина.

Несмотря на свои оппозиционные «шатания», в ОГПУ Блюмкина по-прежнему ценили высоко. Рядовые сотрудники центрального аппарата Иностранного отдела его почти не видели и почти с ним не общались — даже когда он находился в Москве. О своей работе он говорил только с заместителями председателя ОГПУ или с самим Менжинским. Одетый в прекрасно сшитый заграничный костюм, он приезжал на Лубянку в автомобиле и важно проходил в приемные руководителей своего ведомства.

Будущий перебежчик Георгий Агабеков, как раз в 1928 году приехавший из командировки в Персию и ставший начальником восточного сектора Иностранного отдела ОГПУ, писал в мемуарах:

«Даже посторонний зритель, если он попадет в иностранный отдел, заметит две категории различно одетых людей. Одни ходят в защитного цвета казенных гимнастерках и кепках, а другие — в прекрасно сшитых из английского или немецкого сукна костюмах, дорогих шляпах и франтоватых галстуках. Первые — это сотрудники, еще не побывавшие за границей, а вторые — это вернувшиеся из-за границы, где они по приезде в первую очередь понашили себе достаточный запас костюмов. Вот почему первые, еще не побывавшие за границей, мечтают, „рискуя жизнью“, поехать в капиталистические страны. И в самом деле, почему не рискнуть поехать на шпионскую работу за границу с советским дипломатическим паспортом в кармане?»

«Легальный» резидент получал оклад примерно в 250 долларов в месяц — довольно солидные по тем временам деньги. Он обладал большой властью. Иногда даже судьба полпреда (посла) Советского Союза зависела от его донесений в Центр. Так что неудивительно, что для многих сотрудников ОГПУ эта работа была главной целью их жизни. Ехать же на нелегальную работу за

границу желающих, по понятным причинам, находилось гораздо меньше. Но Блюмкин был именно среди них. Более того, он чуть ли не рвался в эту командировку.

«Я завертелся в делах, — рассказывал он. — Подготовка людей, прикрытия, все это требовало всей энергии, и внимания, и разъездов по России (Ленинград, Ростов и другие пункты)». Что же это было за «прикрытие»?

Задание Блюмкина предполагало регулярное передвижение по «подотчетной ему территории» и поездки в Европу. Но как это сделать, чтобы не вызывать подозрений и не привлекать к себе лишнего внимания?

После некоторых раздумий Блюмкин разработал целый план. Он узнал, что венский торговец антиквариатом и старинными книгами Якоб Эрлих ищет делового партнера для организации торговли древнееврейскими книгами. Ну а почему тогда не организовать где-нибудь на Востоке фирму по продаже якобы вывезенных из России древнееврейских рукописей и фолиантов? Изучив этот вопрос, Блюмкин решил, что лучшей «крыши» для нелегального резидента советской разведки не найти. Свои соображения он изложил в докладной записке на имя Трилиссера:

«В настоящее время за границей приняла довольно большие размеры торговля старинными еврейскими книгами. Главными приобретателями этих книг являются не музеи, а отдельные личности, индивидуальные коллекционеры. В большинстве своем это крупные богачи (обычно американские евреи, реже — английские), разбогатевшие за время войны и считающие, что антикварии, в частности, старинные книги являются лучшим доказательством их „культурности“, то стремление обзавестись старинными вещами вызвало соревнование между этими парвеню коллекционизма, вследствие чего и наблюдается невероятная взвинченность цен…

В связи с этим целый отряд посредников рыщет в поисках старинных книг. Они уже „опустошили“ Галицию и Польшу, сейчас они бродят по Турции, Сирии и северному побережью Африки (Марокко, Тунис, Алжир).

Единственный рынок, где имеется огромное количество таких книг (ищут старинные, на пергаменте сочинения Раши, Рамбам, старинные Торы и книги испанского периода, даже старинные молитвенники и Талмуд), — это СССР. Помимо большого количества таких книг, перешедших в государственные книгохранилища из частных собраний, по различным еврейским местечкам (Проскуров, Белая Церковь, Дорожна, Меджибож и др.), где были старинные иешиботы[59], несомненно, валяются на

чердаках и в подвалах, а также у частных евреев — ценнейшие экземпляры…

Видимая торговля и скупка еврейских книг являются со всех точек зрения весьма удобным прикрытием для нашей работы на Ближнем Востоке. Она дает и связи, и возможность объяснить органичность своего пребывания в любом пункте Востока, а равно и передвижение по нему».

Блюмкин предлагал также изъять для проведения операции соответствующие книги из Румянцевской библиотеки (Государственная библиотека им. В. И. Ленина). Он просил у руководства ОГПУ две недели для поездки по городах и местечкам, где могут находиться старинные еврейские фолианты. Что касается появления всех этих книг на международном рынке, то, по мнению Блюмкина, это можно было бы объяснить якобы контрабандным вывозом из Советского Союза.

Блюмкин считал, что наличие у него таких книг позволит ему быстро установить связи с крупными банкирами, антикварами, бизнесменами и перекупщиками древностей. Он предлагал хранить их в одном из банков Константинополя и демонстрировать перекупщикам. Как доказательство того, что он действительно обладает возможностью торговать этими уникальными экземплярами.

Блюмкин, безусловно, разбирался в том, о чем писал. Обучение в Талмуд-торе все-таки не прошло зря. Он досконально изучил вопрос о том, где могут находиться старинные книги. Немало времени провел в Румянцевской (Ленинской) библиотеке, где обнаружил коллекцию древнееврейских рукописей, конфискованных после революции у барона Гинзбурга. Блюмкин составил список городов и местечек, которые ему предстояло посетить. В своей «исповеди» он указал только Ленинград и Ростов, но городов было гораздо больше — в том числе и его Одесса.

Разумеется, вопрос об изъятии древних книг и вывозе их из Советского Союза мог решаться только на самом высоком, политическом, уровне. В ОГПУ план Блюмкина одобрили, но наверняка он согласовывался с кем-то из руководителей страны.

Двадцатого июля 1928 года директор Ленинской библиотеки Владимир Невский выдал чекисту Юрию Томчину несколько редчайших книг, напечатанных в XVI–XVII веках, в том числе Библию на еврейском языке, «Иудейскую историю» Иосифа Флавия и др. Томчин заверил Невского, что все книги будут храниться в сейфе и через три месяца будут возвращены.

Тогда же на таможне у американского букиниста Израиля Перельштейна изъяли несколько десятков старинных еврейских

книг. Перельштейн был возмущен и растерян — он уже не первый раз вывозил за границу купленные в СССР библиографические редкости, и никогда проблем не возникало. И вдруг — такое!

Букинист, конечно, не знал, что его деятельность попала в поле зрения Блюмкина. Когда чекистам стало известно об очередной сделке Перельштейна, Блюмкин направил к полпреду ОГПУ по Ленинградскому военному округу срочную телеграмму с указанием конфисковать у букиниста все купленные книги. Что и было выполнено.

Чтобы изъять книги из Ленинградского университета и Публичной библиотеки, Блюмкин решил обратиться за помощью к своему соседу — наркому просвещения Луначарскому. Как-то вечером он зашел к нему в гости и рассказал в общих чертах о предстоящей операции ОГПУ (перед этим Блюмкин получил разрешение на этот разговор у своего начальства). Луначарский согласился помочь. Этот факт, кстати, не подтверждает версию о том, что нарком велел не «пускать Блюмкина на порог».

Луначарский написал записку в Публичную библиотеку:

«В Ленинградскую государственную публичную библиотеку. Народный комиссариат просвещения РСФСР, ввиду встретившейся надобности, просит по получении сего выделить из Ленинградской публичной библиотеки все древнееврейские книги 16 века и направить их через фельдъегерскую связь Ленинградской ГПУ в пользование Наркомпроса.

Книги прошу направить в мой личный адрес.

А. Луначарский».

Такую же записку нарком написал и ректору Ленинградского университета. По просьбе Блюмкина чекисты обследовали в Ленинграде все крупные библиотеки, антикварные и букинистические магазины, отобрали и отправили в Москву больше ста древнееврейских книг. Среди них были и редчайшие экземпляры, изданные в XV–XVI веках. Сам Блюмкин тоже выезжал в Ленинград, Ростов, Одессу и другие города. На Украине, по некоторым данным, было найдено более трехсот книг и рукописей, интересующих его.

«Последующие аналогичные операции должны производиться не советскими органами непосредственно, а замаскированно, через подставную организацию, хорошо юридически законспирированную… — писал Блюмкин в докладной записке руководству ОГПУ. — Решающую роль будет играть также и то обстоятельство, что книги из коллекции Гинцбурга и Персица нами будут продаваться по частям. Таким образом, установить сразу, что мы располагаем всей коллекцией Гинцбурга, будет трудно».

* * *

Читая все эти записки, невольно задаешься вопросом: неужели та разведывательная операция на Ближнем Востоке, в которой готовился участвовать Блюмкин, стоила того, чтобы рисковать таким бесценным национальным достоянием, как древние манускрипты и инкунабулы? Представители ОГПУ, конечно, обещали вернуть книги, и, к примеру, в Ленинскую библиотеку их действительно вернули, но сам факт их вывоза за границу мог иметь совершенно непредсказуемые последствия.

Но все дело в том, что план Блюмкина в целом совпадал с общей политикой советского правительства по отношению к художественным и историческим ценностям, проводившейся в 1920-е годы. Советской России, а потом и Советскому Союзу нужна была валюта для закупки продовольствия, промышленного оборудования, оплаты труда иностранных специалистов и т. д. Тем более что книг в госхранилищах появилось много — часть из них была национализирована, часть просто брошена владельцами. Начальник Торгового сектора Госиздата Николай Накоряков вспоминал:

«Мы получили склады так называемой национализированной литературы. Почти единственный тогда капитал… Для обозрения этих книжных „араратов“ мы ходили по Пушкину и Гоголю, по науке, прозе и поэзии…

В такую обстановочку попадали иногда драгоценнейшие издания прошлого, шедевры художественного, полиграфического творчества. Нужно было мусор превратить в ценности, хаос в порядок, груды обломков… — в торговое предприятие социалистического государства».

В 1921–1922 годах было вывезено за рубеж 100 тысяч томов книг. В 1923 году в СССР приехала делегация Нью-Йоркской публичной библиотеки. На книжном складе в Петрограде ее ждали три миллиона томов. Делегация приобрела девять тысяч экземпляров, причем средняя цена приобретенных книг составляла от одного до двух долларов за том.

Но все это были мелочи. Примерно в то время, когда Блюмкин проводил подготовку к операции и разыскивал древние книги, советское руководство утвердило планы продажи за границу художественных ценностей из Эрмитажа, Русского музея, других музеев и библиотек страны. Но речь об этом позже.

Похождения «купца Султанова». Блюмкин как «великий комбинатор»

Во второй половине сентября 1928 года Блюмкин выехал в Одессу. В виде аванса ему, по некоторым данным, выдали 25 тысяч долларов.

В родном городе он находился около месяца — оформлял въездную визу в Турцию. Когда виза уже стояла в его паспорте, он дал условленную заранее телеграмму в Москву, в ОГПУ: «Письмо получила. Здорова. Целуй маму. Лиза». В общем, всё, как в классических описаниях шпионских операций.

Кстати, о «маме». Осталось неизвестным, виделся ли Блюмкин со своими родственниками в Одессе. И если виделся, то о чем с ними говорил и как объяснял свою предстоящую поездку в Турцию? Судя по всему, на душе у него было тревожно, и он считал командировку опасной. Об этом свидетельствуют несколько писем-завещаний, которые он оставил перед отъездом за границу.

О первом уже говорилось. Блюмкин ходатайствовал, чтобы пенсию за него и другую помощь получали его бывшая жена, его сын и племянницы. Оставшиеся после его смерти личные вещи, писал он, следует продать, а вырученную за них сумму разделить между его бывшей женой и сестрой. Личные бумаги он завещал сыну, считая, что они могут дать ему представление «о духовной сущности отца». Ему же он завещал свою фотографию, сделанную в 1919 году. Когда-то такую же фотографию он подарил с дарственной надписью Ольге Каменевой.

Еще одно письмо Блюмкин оставил Трилиссеру. На конверте он написал:

«Т. Михаилу Абрамовичу Трилиссеру.

Только в собственные руки, никому другому не вскрывать.

Вскрыть только в случае моей гибели на работе».

«Я неоднократно готов был отдать нашей партии свою жизнь… — писал Блюмкин. — Таким образом, если бы вопреки всем волевым усилиям к тому, чтобы не быть побежденным, я не вернулся из моей последней поездки — мою смерть за наше дело нельзя считать случайной. Повторяю: при моем внутреннем отношении к долгу перед партией — это вполне законно».

В письме Трилиссеру он тоже просил помочь его сыну и племянницам.

Нет оснований сомневаться в том, что Блюмкин писал все это искренне — о готовности отдать жизнь за партию и прочем. Но

при этом создается впечатление, что он прямо-таки упивался теми драматическими моментами в его жизни, которые он переживал. Самолюбование и позерство — этот постоянный антураж Блюмкина — и здесь бросаются в глаза. Он даже и о будущем своем некрологе беспокоился.

«Вопрос о появлении известия о моей смерти в газетах, принимая во внимание характер моей работы, будет, конечно, решаться руководящими тт. из ОГПУ, — писал он. — Но, так или иначе, мне хотелось бы, чтобы было указано, что я погиб на боевом посту за интересы революционного Востока, что, согласитесь, абсолютная правда». В этом был весь Яков Блюмкин. Для него всегда имело значение, как выглядит его образ. Ну а поскольку он давно уже считал себя исторической личностью, то и некролог должен быть соответствующим.

По легенде, он и перед расстрелом будет интересоваться, напишут ли о нем советские газеты на следующий день после казни.

Вскоре Блюмкин с паспортом на имя персидского купца Якуба Султанова выехал на пароходе из Одессы в Константинополь. 8 октября 1928 года в ОГПУ получили от него новую телеграмму: «Беспокоюсь отсутствием писем. Надя». Это означало, что «купец Якуб Султанов» прибыл в Константинополь и приступает к выполнению задания.

* * *

Еще в Москве Блюмкин разработал план работы своей резидентуры. Она состояла из пяти человек. Он сам получил оперативный псевдоним «Живой». Лев Штивельман — «Прыгун», его жена Нехама, она же курьер — «Двойка». Тесть Штивельмана Марк (Манус) Альтерман — «Старец». Место пятого члена группы пока было вакантным. Супругам Штивельман предстояло выехать в Палестину, Альтерману — временно остаться в Москве для закупки, изъятия книг и организации их отправки в Турцию.

Первое время в Константинополе Блюмкин посвятил различным хозяйственным и организационным хлопотам. Он должен был превратиться в солидного, уважаемого и знающего себе цену предпринимателя, обрасти необходимыми связями. Он снял помещение, купил мебель, заказал для своей конторы печати, бланки и т. д. Вскоре из СССР прибыла и первая партия книг. Блюмкин поместил самые ценные из них в Немецкий Восточный банк, а другие — в Оттоманский банк. Теперь можно было начинать.

Блюмкин разослал письма в крупнейшие английские, французские, германские фирмы, которые занимались торговлей антиквариатом. Он сообщал, что готов продать редкие экземпляры древнееврейских книг и рукописей. Кроме того, предложил фирмам стать их представителем на Ближнем Востоке и в СССР. Затем наступил второй акт спектакля.

О продаже книг сообщили в Вену, очень известным специалистам в этой области — перекупщику Якобу Эрлиху и эксперту по древнееврейской литературе раввину Давиду Френкелю. Они клюнули и немедленно приехали в Константинополь. Блюмкин показал им свою коллекцию, и те сразу же поняли, какую ценность она представляет. Однако Эрлих и Френкель на таких делах собаку съели и решили «прощупать» компетентность внезапно появившегося нового продавца. Они предложили Блюмкину за всю коллекцию 800 долларов. Смехотворная сумма.

Но не на того напали. Торговаться Блюмкин и сам умел. Недаром же он родился и вырос в Одессе. Начались переговоры, которые сам Блюмкин в донесении в Москву назвал «сложными еврейско-рваческими». Можно себе представить, как эти переговоры проходили! Эрлих и Френкель подняли цену до 2500 долларов, затем до 3000 и, наконец, до 4000 долларов. Блюмкин согласился, но с продажей тянул — он ждал, какую цену ему предложат другие антиквары, которым отправил письма.

Его расчеты оправдались. Вскоре он получил предложение из Франкфурта-на-Майне, от компании «Кауфман Ферлаг Антиквариат». Это была одна из самых известных и старинных контор на международном антикварном рынке. Она была согласна на сделку.

Блюмкин ответил, что готов продать коллекцию за 9000 долларов. Его пригласили для переговоров во Франкфурт. Блюмкин попросил Центр ускорить доставку новой партии книг и предложил несколько конкретных вариантов, где их можно было бы найти, — в частности, в Одессе, в нескольких библиотеках и различных еврейских обществах, и в Бобруйске, у торговца Гинзбурга (в своих служебных записках Блюмкин называл его Гинцбургом). Правда, Гинзбург просил за свои книги 5000 долларов, но уже съевший на этом деле собаку Блюмкин предупреждал Центр, чтобы больше пятисот ему не давали. Хотя вообще-то могли бы и просто так отобрать.

Пока шла эта переписка, он получил визы для поездок в Вену, Франкфурт и Амстердам. Кроме того, персидское посольство признало его паспорт на имя «купца Султанова». Это было большим успехом в деле легализации Блюмкина. Чистый паспорт,

без виз и пограничных отметок, всегда вызывает большее подозрение у спецслужб.

Блюмкин выехал в Вену. Там он должен был встретиться с курьером из Москвы, но встреча почему-то не состоялась. Тогда «купец Султанов» решил действовать самостоятельно, на свой страх и риск. Не получив из Центра разрешения на поездку во Франкфурт, он все равно отправился туда и начал переговоры с фирмой «Кауфман» о продаже книг.

В этих переговорах таланты Блюмкина как торговца и как «комбинатора» раскрылись вовсю. Комбинация, которую ему удалось разыграть, была на редкость изящной. Как для коммерции, так и для разведки.

* * *

Блюмкин предложил «Кауфману» три книги XV–XVI веков, в том числе и Библию, изданную в Неаполе в 1488–1491 годах. После некоторых дискуссий ударили по рукам — 6000 долларов за всё. Фирма была готова за свой счет перевезти фолианты из Константинополя. Однако главный смысл сделки заключался в другом. По ее условиям, книги переходили в собственность «Кауфмана» только с того момента, когда «Султанов» и главный эксперт фирмы доктор Гольдринг… выезжают в Советский Союз.

Дело здесь вот в чем. На переговорах «купец Султанов» дал понять, что с его помощью можно получить доступ к еще нетронутым собраниям книг, находящимся в СССР. Партнеры Блюмкина очень заинтересовались этими радужными перспективами. Судя по всему, они были готовы на любые договоренности, но с тем условием, чтобы только их фирма была допущена к «советским коллекциям». Блюмкин согласился, но тоже выдвинул условия: оформлением советских виз занимается сама фирма, и в определенный срок. Особо оговаривалось условие, по которому в период с 3 января по 3 февраля 1929 года доктор Гольдринг обязан оформить въездную визу в советском посольстве в Германии. Если же этого не происходит, то «Кауфман» возвращает Блюмкину книги в оговоренные соглашением сроки. Если же не происходит и этого, то она выплачивает ему 8000 долларов.

Разумеется, перед тем как пойти на такую рискованную для себя сделку, представители «Кауфмана» навели справки о «Якубе Султанове» в Константинополе. И получили о нем самые лестные характеристики — как о солидном коммерсанте. После этого руководители «Кауфмана» даже предложили ему стать их

представителем на Ближнем Востоке. Нужно ли объяснять, что это предложение более чем соответствовало целям разведывательной операции, за которую отвечал Блюмкин?

Оставалась только одна деталь. Требовалось предупредить советских дипломатов, чтобы они ни в коем случае не давали визу доктору Гольдрингу или же всячески затягивали ее оформление. Блюмкин снова пошел на риск. Опять-таки без санкции Центра он поехал в Берлин. Он ехал наудачу. Блюмкин не знал, кто в то время был резидентом советской разведки в столице Германии. Прямо в советское полпредство он пойти тоже не мог. Он довольно легкомысленно рассчитывал, что встретит в Берлине кого-нибудь из старых знакомых.

И Блюмкину повезло. В Берлине он действительно встретил знакомого дипломата Григория Беседовского. Тогда Беседовский был советником полпредства во Франции[60] и в Германии оказался по каким-то служебным делам. С его помощью Блюмкин встретился с резидентом и рассказал о сложившейся ситуации. Поездку представителя «Кауфмана» в СССР удалось сорвать.

Что оказалось в сухом остатке? В соответствии с соглашением «Кауфман» заплатил Блюмкину 8000 долларов. А «Султанов» вместе с представителями фирмы в один голос ругали советских большевиков, которые сорвали им такое выгодное предприятие. Блюмкин был как бы ни при чем. Он-то как раз сделал все возможное для того, чтобы показать своим новым партнерам богатые коллекции древнееврейских книг и манускриптов… И если бы не эти проклятые коммунисты, какой гешефт можно было бы сделать! Как ни странно, но после этой истории антиквары начали доверять «Султанову» еще больше.

Вот, правда, книгами пришлось пожертвовать. Они навсегда ушли из России.

«…Проникнуть в любую среду и привиться там». Будни разведки

Может показаться, что коммерческая деятельность, в которой Блюмкин проявил такие способности, захватила его с головой, а разведка осталась на втором плане. Но это не совсем так, хотя торговая активность «Живого» насторожила Центр. Однако очевидно, что операции с книгами нужны были ему для того, чтобы создать себе соответствующее положение «в обществе». Да и почему бы не соединить полезное с приятным? Блюмкину наверняка нравилась жизнь преуспевающего торговца, а проявившиеся у него таланты предпринимателя многое обещали. Если бы он не стал революционером, вполне бы мог стать хорошим коммерсантом.

После Берлина Блюмкин отправился в Париж. Там его ждали сотрудники резидентуры «Прыгун» и «Двойка», они же — супруги Штивельман. Задача состояла в том, чтобы оформить их представителями различных фирм на Ближнем Востоке с правом беспрепятственного проезда по странам этого региона. Вскоре удалось сделать и это. «Прыгун» стал представителем сразу трех фирм — одна продавала в Сирии и Палестине аккумуляторы, другая — автомобильные шины, третья — различные украшения из псевдодрагоценных камней. И к тому же — представителем концертного бюро, которое устраивало гастроли артистов на Востоке.

Вскоре в Париже были получены английские визы, дающие право въезда в Палестину для «Прыгуна» и «Двойки», а также для самого «Султанова». Штивельманы уехали в Иерусалим.

* * *

Каждое новое проникновение в Палестину считалось немалым успехом в советской разведке. Преемник Блюмкина на посту резидента в Константинополе, а позже — невозвращенец Георгий Агабеков вспоминал, что англичане очень внимательно отслеживали всех прибывающих в их ближневосточные владения. Между тем работе в Палестине Москва придавала очень большое значение. «Эта страна, — писал Агабеков, — представлялась нам пунктом, откуда можно вести разведывательную и революционную работу во всех странах…»

По словам Агабекова, до Блюмкина у ОГПУ были четыре

агента в Палестине (в основном в Яффе), и каждый месяц каждому из них посылали тысячу долларов в качестве жалованья и на оперативные расходы. Фамилий этих агентов Агабеков не знал — они проходили под номерами и условными кличками.

Как утверждает Агабеков, одной из задач Блюмкина в Палестине было выяснение вопроса об отношении палестинских евреев к англичанам и внутренние арабо-еврейские отношения. Агенты Блюмкина пересылали свои донесения резиденту советской разведки в Бейруте, и тот уже направлял их самому Блюмкину в Константинополь.

В Париже Блюмкин решил организовать себе еще одну «крышу» и договорился с палестинско-американским транспортным агентством Ллойда о том, что станет его представителем в Константинополе, Бомбее и Калькутте. Он обязался доставлять антикварные товары из Индии в Турцию, а обратно везти различные ритуальные еврейские одежды и другие предметы культа, которые будет ему поставлять фирма «Кауфман». Докладывая об этом «коммерческом проекте» в Москву, Блюмкин отмечал, что под флагом этого агентства «можно установить связи с индийским еврейством, общинами, раввинами и здесь найти элементы для будущей сети». Никаких денежных вложений, писал Блюмкин, не потребуется.

Впрочем, агентство Ллойда повело себя осторожно. Предварительно оно согласилось иметь дело с «купцом Султановым», но взяло паузу для сбора информации о нем.

О пребывании Блюмкина в Париже до сих пор ходят различные легенды. Бывший помощник Сталина Борис Бажанов в своих мемуарах утверждал, например, что Блюмкин приехал во Францию для того, чтобы убрать его — как «изменника и перебежчика». В ночь на 1 января 1928 года Бажанов и двоюродный брат Блюмкина Аркадий Максимов (Биргер), якобы приставленный для того, чтобы шпионить за Бажановым, сбежали в Персию. Оттуда, через Индию, они попали в Европу.

Как уверяет Бажанов, приехавший в Париж Блюмкин сначала нашел своего брата и завербовал его. Используя полученную от него информацию, чекисты будто бы организовали покушение на бывшего помощника Сталина, но у них вышла промашка, о которой они узнали далеко не сразу.

«Когда сам Блюмкин вернулся из Парижа в Москву и доложил, что организованное им на меня покушение удалось, — писал Бажанов, — (на самом деле, кажется, чекисты выбросили из поезда на ходу вместо меня по ошибке кого-то другого), Сталин широко распустил слух, что меня ликвидировали. Сделал это он из целей педагогических, чтобы другим неповадно было бежать:

мы никогда не забываем, рука у нас длинная, и рано или поздно бежавшего она настигнет».

Что же касается Максимова, то, по его словам, в 1935 году он узнал из газет, что русский беженец Аркадий Максимов «то ли упал, то ли прыгнул с первой площадки Эйфелевой башни. Газета выражала предположение, что он покончил жизнь самоубийством. Это возможно, но все же тут для меня осталась некоторая загадка».

Вероятно, что в 1929 году в Париже чекисты действительно совершили попытку покушения на Бажанова. Знал он много, и, понятно, ни Сталину, ни другим советских лидерам не хотелось бы увидеть в западных газетах его рассказы о деятельности руководства СССР. Однако привлекать для устранения Бажанова Блюмкина было бы совершенно не логично и не практично. Зачем рисковать тщательно подготовленной легализацией советского резидента, имеющего совсем другие задачи? Для того чтобы «убрать» Бажанова, в распоряжении ОГПУ имелось достаточно подготовленных боевиков — как из числа советских, так и иностранных граждан.

Вместе с тем в Париже Блюмкин действительно занимался вербовкой. По крайней мере об одном таком случае известно, и это был вовсе не его двоюродный брат. Как писал сам Блюмкин, завербовал он «т. Шина, бывшего члена французской компартии, друга моего детства и юности». Николай Шин к тому времени имел уже французский паспорт и был профессором музыки. Блюмкин сообщал о нем в Москву:

«В лице Н. Хина (так в тексте. — *Е. М.)*… мы имеем человека, которого можем послать в пункты конечной цели хоть сейчас. Его данные: профессор музыки, французский подданный, знает в совершенстве французский язык, отлично — английский. Имеет паспорт на Сирию, Палестину, может беспрепятственно получить визу в страну „конечной цели“ и там осесть. В СССР — отец, сестра, брат. Образование — незаконченное высшее, политически достаточно квалифицирован. Технические данные — прекрасно знаком почти со всем миром, в особенности же с Африкой, где пробыл 5 лет, легко завязывает связи, очень общительный человек, может проникнуть в любую среду и привиться там».

В январе 1929 года Блюмкин с Шином отправились в Константинополь. Там Блюмкину предстояла встреча с курьером из Центра — помощником начальника Иностранного отдела ОГПУ Сергеем Вележевым. Блюмкин должен был отчитаться о проделанной работе и запросить согласие Москвы на зачисление Шина в состав резидентуры.

Вележев (он же «Жан») работу Блюмкина одобрил. Идея

Блюмкина ввести в состав резидентуры Николая Шина также была одобрена. Впрочем, Вележев передал Блюмкину некоторые замечания «Старика», то есть Трилиссера. Он считал, что Блюмкин все-таки слишком увлекся коммерцией. По мнению Трилиссера, ему не следовало бы слишком выделяться — нужно изображать «торговца-середняка». И, наконец, он категорически запретил Блюмкину в будущем вступать в какие-либо контакты с советскими представителями за рубежом без специального разрешения, предупредив его через «Жана», что поиски резидента в Берлине были серьезной ошибкой «Живого».

Блюмкин свои ошибки признал. Он также просил передать Трилиссеру, что отношения с его подчиненными у него теперь нормальные и что монгольская история не прошла для него бесследно. «Жан» еще раз попросил Блюмкина быть осторожнее. В Константинополе, по его словам, множество эмигрантов и немало советских работников, так что кто-нибудь может узнать его на улице. А это будет равносильно провалу.

Позже, в личном письме Трилиссеру, Блюмкин писал, что уже в то время он подумывал об уходе из ОГПУ и просил о возвращении в Москву. Он утверждал, что ставил этот вопрос в письмах и телеграммах в Центр и «выражал недовольство многим». «Наконец, т. Шин может подтвердить, что еще в январе месяце, когда он встретился со мной в Константинополе, я ставил вопрос об уходе, — замечал Блюмкин. — …Искреннее рвение в работе совершенно уживалось во мне с многими неясными для меня самого оппозиционными брожениями. В этом психологическом состоянии нет ничего не возможного именно психологически».

Но все это он напишет позже. На встрече с курьером «Жаном» этот вопрос, по-видимому, не поднимался. После встречи с Вележевым Блюмкин снова совершил вояж по Европе — Вена, Франкфурт, Берлин. Снова встречался с представителями «Кауфмана» и восстановил свои отношения с Якобом Эрлихом, пообещав, что доставит для него новую партию редких книг из Советского Союза.

Короче говоря, Блюмкин вернулся к «трудовым будням» коммерсанта-разведчика. Его успехи на этом поприще были очевидны и, скорее всего, стали бы в будущем еще более внушительными, но вскоре случилось событие, которое фактически перечеркнуло его карьеру разведчика. Да и всю его жизнь.

ОШИБКА РЕЗИДЕНТА

«Высылка Троцкого меня потрясла». Блюмкин и «изгнанный вождь»

Весь 1928 год Лев Троцкий провел в ссылке в Алма-Ате. Он не собирался раскаиваться, как это сделали, в частности, Зиновьев и Каменев, напротив, вел активную переписку со своими сторонниками, писал протесты, статьи и заявления, чем сильно раздражал советское руководство. В декабре ему поставили ультиматум — или он прекращает свою «контрреволюционную деятельность», или же будет «полностью изолирован от политической жизни» и «принужден изменить местожительство». В ответ Троцкий послал гневное письмо на имя руководителей партии и Коминтерна.

«Требовать от меня, чтобы я отказался от политической деятельности, значит требовать, чтобы я отказался от борьбы, которую я вел в интересах международного рабочего класса, борьбы, в которой я непрерывно участвовал на протяжении 32 лет… — заявлял он. — Только в корне прогнившая бюрократия может требовать такого отказа. Только презренные ренегаты могут дать такое обещание. Мне нечего добавить к этим словам!»

Седьмого января 1929 года Политбюро постановило: выслать Троцкого из СССР за «антисоветскую работу». 20 января ему было предъявлено решение коллегии ОГПУ почти с той же формулировкой. От Троцкого потребовали расписку, и он написал: «Преступное по существу и беззаконное по форме постановление ГПУ мне объявлено 20 января 1929 года».

Двадцать второго января Троцкого с семьей вывезли из Алма-Аты и привезли во Фрунзе (нынешний Бишкек). Там их посадили на поезд. Уже в пути они узнали, что их высылают в Константинополь. (С 1930 года — Стамбул.) В ночь на 10 февраля поезд прибыл в Одессу. Троцкого и его семью должны были отправить в Турцию на пароходе «Калинин», но выяснилось, что он безнадежно застрял во льдах. Тогда их посадили на пароход «Ильич». Была, конечно, в этом какая-то мрачная для Троцкого символика — отправляться в изгнание на пароходе, носящем имя Ленина!

Когда уже «Ильич» входил в Босфор, один из сотрудников ОГПУ вручил Троцкому последний дар советского правительства — 1500 долларов, чтобы «дать ему возможность поселиться за границей». Троцкий почувствовал себя оскорбленным — в этом жесте он увидел издевательство со стороны Сталина, — но деньги взял. Средств у него почти не было, а жить как-то надо было.

Около месяца Троцкий с семьей прожил в здании Генерального консульства СССР в Константинополе. В начале марта от него потребовали, чтобы он «покинул советскую территорию». Подыскивать жилье в Константинополе, где осело немало белоэмигрантов, было опасно, и он снял небольшую виллу неподалеку — на острове Принкипо, главном острове архипелага Принцевы острова в Мраморном море. Начиналась его новая жизнь. И вскоре изгнанный «демон революции» встретился с бывшим сотрудником своего секретариата и сторонником, а ныне резидентом советской разведки Яковом Блюмкиным.

* * *

О высылке Троцкого Блюмкин узнал в Германии, где находился по своим «коммерческо-книжным» делам. В последние месяцы он практически не следил за событиями в Советском Союзе. Во-первых, у него на это почти не оставалось времени, а во-вторых, он не покупал ни советских, ни эмигрантских газет, поскольку скрывал знание русского языка. Что же касается иностранной прессы, то из нее что-то понять было довольно трудно.

Уезжая за границу, Блюмкин в душе надеялся, что «Троцкий будет постепенно возвращаться в партию» и что время сотрет разногласия между руководством партии и оппозицией. Тем большим ударом после нескольких месяцев информационного вакуума для него стали сенсационные сообщения о том, что Троцкий выслан в Константинополь.

«Высылка Троцкого меня потрясла, — признавался он в письме Трилиссеру. — В продолжении двух дней я находился прямо в болезненном состоянии… Самая высылка его за границу рассматривалась мной прежде всего как незаслуженная угроза его существованию. Моей первой реакцией было ехать из Германии, где я находился, назад в Константинополь. Однако, преданный делу, я довел до конца свою работу… и вернулся в Константинополь 10 апреля».

Дальше начались странности.

Блюмкин утверждал, что 12 апреля, то есть через два дня после своего возвращения в Константинополь, проходя по улице Пера, он случайно встретил сына Троцкого Льва Седова[61], с которым хорошо был знаком и раньше: «Поздоровавшись с ним, я уверил его в моей лояльности — и попросил информацию».

С самим Троцким Блюмкин встретился 16 апреля. Обстоятельства этой встречи во многом остаются загадочными.

По одним данным, она проходила на вилле Троцкого на острове Принкипо, по другим — на улице И-сет-паша в Константинополе, где у «изгнанника» тоже была квартира. По версии Блюмкина, встреча продолжалась «свыше 4-х часов». Троцкий же в своих мемуарах отмечал, что они беседовали почти двое суток. Блюмкин утверждал, что это была единственная встреча, но так ли это на самом деле?

Единственное, что можно сказать точно, — они встретились по инициативе Блюмкина. И с формальной точки зрения он, конечно, совершил серьезный служебный проступок. Более серьезный, нежели самостоятельный поиск резидента в Берлине, не говоря уже о его поведении в Монголии.

* * *

О чем говорили Троцкий и Блюмкин? Последний утверждал, что не посвящал бывшего «вождя» в подробности своей работы, но тот знал, что Блюмкин живет в Турции нелегально, а то, что он работает в ОГПУ, — знал и раньше. «Ему при этом трудно было догадаться, каков общий характер моих заданий», — подчеркивал Блюмкин в показаниях. Тут он, конечно, заблуждался (если не лукавил) — это-то как раз не составляло для Троцкого никакого труда.

Первая часть беседы свелась к тому, что Троцкий рассказал Блюмкину о том, как он жил последний год, как его высылали из СССР и как он устроился в Турции. Блюмкин, в свою очередь, рассказал о своей жизни, разумеется, помня о «конспиративности». После личной части беседы Троцкий, как выразился Блюмкин, «направил ее на политические рельсы».

Троцкий заявил о возможности падения советского режима в течение нескольких ближайших месяцев. «Раньше волна шла вверх, а теперь она идет вниз, стремительно вниз», — образно выразился он. Он был уверен, что и его высылка — один из признаков близкого краха сталинской диктатуры и что не пройдет трех-четырех месяцев, как его пригласят в СССР с докладом на тему «Что делать?». В этой обстановке задача оппозиции, по словам Троцкого, заключалась в том, чтобы готовить кадры, которые понадобятся при смене власти. Что ж, Лев Давидович, похоже, так и остался идеалистом.

Далее Троцкий поделился с Блюмкиным своими литературными планами. Он вывез с собой огромный архив и очень удивлялся, что в Москве позволили ему это сделать. Троцкий сказал, что готовит к печати автобиографию, и

поскольку Блюмкин несколько лет назад собирал материалы о его поезде наркомвоенмора, попросил написать ему подробную справку по этой теме. Блюмкин согласился. Еще Троцкий заметил, что хотел бы выпускать журнал для распространения в России[62], и предложил собеседнику в нем сотрудничать. Блюмкин дал согласие и на это. Похоже, действительно обаяние личности Троцкого «подавило» в нем «дисциплинарные соображения», как говорил Блюмкин в показаниях.

Затем они перешли к более практическим делам. Троцкий интересовался способами конспиративной связи с его сторонниками в СССР и вспоминал свой дореволюционный опыт, когда в Россию нелегально доставлялась издаваемая им в Вене газета «Правда» (не путать с другой, всем известной «Правдой», она появилась позже). Он спросил, нельзя ли установить связь через команды советских торговых судов, но Блюмкин ответил, что это «гнилая» публика, состоящая из «развращенных полуконтрабандистских элементов». Он предложил другой вариант.

«Я высказал предположение, что нужно использовать какую-нибудь турецкую фелюгу, совершающую мелкие грузовые перевозки между турецкими портами, например, Трапезундом и нашими портами, Батумом или Сухумом, что вообще он должен порыться среди полуконтрабандистского, полуфлотского греко-турецкого человеческого материала из Галаты (район в Константинополе. — *Е. М.*), что там можно нащупать. Необходимо еще иметь своих постоянных людей в соответствующих советских пунктах, в Батуме, Сухуме или в Крыму», — рассказывал Блюмкин.

Троцкий поделился с Блюмкиным еще одной проблемой — нужно было где-то достать деньги. Не менее пяти миллионов рублей для начала. Не только для подполья, но и для того, чтобы работать в первое время после падения советского режима. Можно постараться добыть их через надежных людей в заграничных советских организациях, сказал он. Блюмкин обещал подумать.

«Само собой разумеется, что из всех этих планов партия и ОГПУ сделают соответствующие выводы, — оправдывался Блюмкин позже, — но один вывод, социально-политический, впоследствии для меня стал ясен. База возможностей, на которых он (Троцкий. — *Е. М.)* думал построить свою работу из-за границы в СССР, катастрофически ограничена и связана с методами полуавантюристского, вредительского характера».

В свою очередь, он спросил Троцкого: совместима ли его, Блюмкина, оппозиционность с работой в ОГПУ? Троцкий уверил,

что никакого противоречия здесь нет — его служба в ОГПУ «в конечном счете в интересах революции и советской власти». Однако посоветовал, чтобы Блюмкин не афишировал свою близость к оппозиционерам.

Был в беседе один очень любопытный момент. Лев Давидович сказал, что хорошо бы, если бы Блюмкину Москва поручила освещать деятельность Троцкого в Турции. Но тот начал уверять, что это невозможно, так как о его оппозиционных настроениях знают многие, да и он сам не согласился бы на такую работу. Но так ли это?

По утверждениям Блюмкина, об их встрече знал только сын Троцкого Лев Седов. Они договорились поддерживать связь через него. Как писал Блюмкин, «наши свидания должны быть организованы с научной конспиративностью». Троцкий боялся быть дискредитированным, если вдруг обнаружится, что он связан с нелегальным сотрудником ОГПУ. На всякий случай они договорились: если кто-нибудь спросит о встрече с Блюмкиным, Троцкий должен сказать, что приходил издатель с предложением опубликовать на еврейском языке автобиографию и другие его работы.

«Мое общее впечатление от нашего свидания было очень противоречиво, — сообщал в показаниях Блюмкин. — Помню, меня особенно поразила его мысль относительно возможности падения советского режима, но его личное обаяние и драматическая обстановка его жизни, полная незащищенности, отдельные ловко подсунутые политические опасения — все это меня в моем тогдашнем состоянии взбудоражило».

На этом их встреча закончилась. Но вопросы о ней, конечно, остались.

«Поддался известного рода отраве личного впечатления от Троцкого». «Двойная игра» или «тройная жизнь»?

Подробности встречи с Троцким известны по показаниям Блюмкина, которые он давал уже в камере внутренней тюрьмы ОГПУ на Лубянке. Но так ли всё происходило на самом деле? Или, может быть, показания Блюмкина — результат его договоренности с Трилиссером и Аграновым? Ведь если вдруг предположить, что Блюмкин появился у Троцкого не случайно, а по их заданию, то и плачевный результат этой операции ОГПУ бросал бы тень на его руководителей. И, конечно, для них было выгоднее, чтобы Блюмкин объяснил провал операции только своими собственными душевными терзаниями и колебаниями.

Но по порядку.

Рассказу Блюмкина о том, как он «случайно» встретился в центре Константинополя с сыном Троцкого, поверить трудно. 10 апреля он только вернулся в город, а через два дня уже встретил Седова. Маловероятно. Как маловероятен и сам факт этой встречи прямо на улице Пера.

Наверняка за Троцким и членами его семьи в Константинополе следила не одна пара глаз, и контакт сына Троцкого с неким персидским торговцем старинными книгами, с которым к тому же он разговаривал по-русски (пусть даже и на другом языке), уж точно был бы зафиксирован, и о нем узнала бы турецкая контрразведка. Соответственно, и «Якуб Султанов» оказался бы в поле ее зрения. Чем это могло грозить советской резидентуре и самому резиденту ОГПУ Блюмкину — можно и не объяснять.

Другими словами, вряд ли Блюмкин находился в таком уж «болезненном состоянии», чтобы пойти на вопиющее нарушение самых элементарных норм конспирации. «Не верю!» — как говаривал когда-то режиссер Станиславский.

Скорее всего, Блюмкин имел другие, более надежные в смысле конспирации возможности выйти на Троцкого или его сына. Но если даже он в самом деле случайно встретил Седова на улице Пера, действительно ли бросился к нему «по велению души»? Или же это «веление» удачно совпало с заданием Москвы?

Существует версия, что Блюмкин встретился с Троцким по указанию руководства ОГПУ с целью выяснить его дальнейшие планы и возможные каналы связи с его сторонниками в СССР. Почему бы и нет? Троцкий хорошо знал Блюмкина. Знал и о его

оппозиционных взглядах, и о том, что он является сотрудником Иностранного отдела ОГПУ. Знал, конечно, и о симпатии Блюмкина к нему. Учитывая все это, вряд ли его появление вызвало бы подозрения у Троцкого.

Интересно, что в легальной резидентуре в Константинополе в начале 1929 года произошли изменения — вместо Якова Минского, отозванного в Москву из-за болезни, ее возглавил Наум Эйтингон, работавший под псевдонимом «Наумов». Была ли его главная задача в том, чтобы установить наблюдение за Троцким, — неясно, но то, что такая задача ему была поставлена, — это очевидно. Вполне возможно, что Блюмкин имел контакты и с ним.

Через 11 лет именно Эйтингон станет непосредственным организатором операции «Утка», в результате которой Троцкой будет убит в Мексике.

Допустим, Блюмкин действительно имел задание внедриться в доверие к Троцкому. Но что же тогда произошло дальше? Очевидно, «что-то пошло не так».

Возможно и другое — Блюмкин просто решил начать двойную игру.

На встрече с Троцким он мог рассказать ему о полученном им задании. Что его побудило сделать это — обаяние бывшего «вождя», идейные соображения или что-то еще, — в данном случае не важно. Важно другое — встречи с Троцким якобы по заданию ОГПУ позволяли бы Блюмкину поддерживать со своим кумиром постоянный контакт, а для Троцкого появлялся надежный канал связи с его сторонниками в СССР. Ведь при таком варианте часть литературы, средств или инструкций всегда можно было бы провезти через границу «демонстративно» для чекистов, а часть — для того, кому это на самом деле предназначалось. И курьер, доставлявший это якобы по заданию ОГПУ, оставался бы вне подозрений.

В общем, открывалось бы солидное поле возможностей.

Потом Блюмкин, конечно, писал в показаниях, будто ответил Троцкому, что вряд ли ему могут поручить «освещать» его деятельность в Турции, но кто знает, о чем шел разговор на самом деле? Свидетелей не было.

* * *

В любом случае, если даже эта версия не найдет документального подтверждения (а вдруг когда-нибудь все-таки будут рассекречены соответствующие документы из архивов СВР

и ФСБ?), очевидно, что после встречи с Троцким Блюмкин начал вести если не «двойную игру», то «тройную жизнь». К его работе коммерсанта и разведчика добавились еще обязанности нелегального «агента Троцкого». Что, конечно, не облегчало его положения.

Вскоре после встречи с Троцким Блюмкин передал его сыну составленную им справку о «поезде Председателя Реввоенсовета», а Седов ему — несколько статей Троцкого, напечатанных уже за границей. Потом он принес Блюмкину еще ряд работ своего отца.

«При одной из встреч, — показывал Блюмкин, — Седов сообщил мне, что в Тобольском изоляторе умер от голодовки протеста Ефим Дрейцер. Эта весть меня потрясла. Дрейцер был моим товарищем по армии, по 27-й дивизии, в которой он был военкомом, а я — начальником штаба и врид (временно исполняющим должность. — *Е. М.)* командира 79-й бригады. Я очень любил Дрейцера и по предложению Троцкого написал о нем, и не столько о нем, сколько о поколении Дрейцера, статью за подписью „Свой“, которая должна была быть переведена на немецкий и французский языки и напечатана в каких-то оппозиционных органах. Это было второе и последнее мое литературное содействие».

Известие о смерти Дрейцера оказалась ложным. В том же 1929 году он был освобожден и даже восстановлен в партии. Расстреляли его позже — в 1936-м.

В другой раз Седов рассказал Блюмкину о том, что на острове Липари находится в заключении известный итальянский «левый коммунист» Амадео Бордига. По поручению отца он поинтересовался — не возьмется ли Блюмкин за операцию по его освобождению? «Я ответил, — замечает Блюмкин в показаниях, — что освобождение революционера из фашистской тюрьмы есть дело хорошее, что, конечно, я бы принял участие в таком деле, но практически сделать этого не могу, так как связан с работой, да и, кроме того, сомневаюсь, чтобы можно было подобную операцию произвести. На это мне было отвечено, что дело это может быть поставлено солидно, при участии итальянских товарищей; при этом Седов интересовался, нет ли у меня каких-либо связей в Италии, на что я, конечно, ответил отрицательно».

Седова волновал вопрос безопасности Троцкого. Он опасался покушения на отца и к тому же считал, что прислуга, которая работает у них дома, завербована ОГПУ. Седов попросил Блюмкина посоветовать, как устроить систему охраны. «Я это сделал, — признавался Блюмкин. — Сказал, что для охраны нужно иметь не менее восьми человек. Проконсультировал его насчет несения ночных и дневных дежурств, насчет

фильтрирования посетителей, насчет выходов Троцкого в город, квартирного расположения и т. д».

О встречах с Троцким и Седовым он рассказал только Николаю Шину.

«Я должен сказать, — писал Блюмкин в показаниях, — что тов. Шин представляет из себя великолепный революционный материал и героически предан нашему делу, он с очень большим трудом поддавался оппозиционной обработке; он выдвигал чисто логические соображения, что, не будучи в СССР, не зная всей партийной аргументации и практики, он не может встать сразу на одностороннюю точку зрения оппозиции. Ему, разумеется, импонировали чисто внешняя революционная импозантность троцкистской критики и лично сложная фигура Троцкого.

При некоторых моих последних встречах с Львом Седовым присутствовал т. Шин. По моему предложению ему было устроено свидание с Троцким. Само собой разумеется, что он тоже поддался известного рода отраве личного впечатления от Троцкого.

Когда я уехал на Восток, то, не имея еще в себе сил рвать, я поручил Шину встречаться со Львом Седовым, но самое ограниченное количество раз, ни в коем случае не раскрывая себя. В этой области я дал ему очень жесткие и угрожающие директивы. За два с половиной месяца они встречались, как я об этом узнал по моем приезде, три раза. Я несу всецело ответственность за троцкизм тов. Шина и не сомневаюсь в том, что его отход от чисто эмоциональных ощущений троцкизма не встретит больших трудностей; все это базируется на непрочной пленке личных чувств».

«Весь этот период я ни на минуту не оставлял интересы дела… — уверял Блюмкин, имея в виду свою работу разведчика. — Вообще, во мне совершенно параллельно уживались чисто деловая преданность тому делу, которое мне было поручено, с моими личными колебаниями между троцкистской оппозицией и партией. Мне кажется, что психологически это вполне допустимо, и это является объективным залогом моей искренности, когда я это говорю».

«Интересы дела» вскоре заставили его прервать встречи с Седовым. Ему предстояла новая поездка на Ближний Восток.

* * *

Тридцатого мая 1929 года Блюмкин уехал из Константинополя. Теперь у него были другие документы. Он

изменил фамилию «Султанов» на «Султан-заде» — генеральное консульство Персии выдало ему соответствующее свидетельство.

На итальянском корабле «Умбрия» Блюмкин добрался до Палестины. 14 июня он сошел на берег в порту Хайфа. Оттуда выехал в Тель-Авив, потом — в Иерусалим.

В Иерусалиме Блюмкин подписал соглашение с палестинской фирмой по продаже ковров — он стал ее агентом в Константинополе. Что же, еще одна «крыша» сотруднику разведки никогда не мешает.

Блюмкин совершал поездку по Ближнему Востоку почти два месяца. Дважды посетил Тель-Авив, три раза Иерусалим, был в Александрии, Каире, Бейруте и Дамаске. Он проинспектировал работу своих подчиненных по резидентуре «Прыгуна» и «Двойки», то есть супругов Штивельман, и познакомился с некоторыми из их агентов. Об этих людях, естественно, почти ничего не известно — персональные данные агентуры все разведки мира стараются не раскрывать как можно дольше.

Георгий Агабеков, впрочем, упоминал об одном из агентов Блюмкина в Палестине — это некий бухарский еврей по фамилии Исхаков. Он содержал в городе Яффа пекарню, которая служила прикрытием его разведывательной работы. Возможно, Блюмкин оценил его предприимчивость и сообразительность — ведь несколько лет назад он сам содержал в Яффе прачечную. По информации того же Агабекова, на контакт с местными коммунистами Блюмкин все же не пошел и попросил своих подчиненных собрать о них дополнительную информацию.

В августе 1929 года в Палестине начались серьезные волнения и столкновения между арабами и евреями. Причина была в доступе к священной для иудеев Стене Плача в Иерусалиме. Они устанавливали там стулья для молящихся и перегородки между мужским и женским отделениями. Арабы, в свою очередь, посчитали, что это нарушение существовавших со времени Османской империи законов, которые запрещали евреям какое-либо строительство в этом районе.

Конфликты между арабами и евреями переросли в массовые демонстрации, а затем — в вооруженные столкновения. В ходе волнений погибли 133 еврея и 116 арабов. Британская администрация в Палестине к таким событиям оказалась не готова, и поначалу полиция практически в них не вмешивалась.

События в Палестине застали советское руководство врасплох. Агентура Блюмкина сработала плохо, и в Москве слабо представляли себе их суть и главное — на кого ставить в борьбе против «британского империализма» — на евреев или на арабов? В Коминтерне тем временем пытались объединить еврейских и

арабских коммунистов, чтобы заменить национальные противоречия классовыми и направить их общую борьбу против местной и колониальной буржуазии, но из этого мало что вышло.

Сам Блюмкин в это время уже был в Москве. Неэффективная работа возглавляемой им агентуры в Палестине отчасти подорвала его имидж героя-разведчика. (В октябре 1929 года, когда на должности резидента в Константинополе Блюмкина сменит Агабеков, ему поручат разобраться в причинах этих просчетов и проанализировать классовые и национальные противоречия в Палестине, чтобы все-таки понимать, кого поддерживать в случае новых восстаний и беспорядков.)

В начале августа 1929 года Блюмкин возвратился в Турцию.

«Я вернулся в Константинополь 5 августа, — показывал он, — и сейчас же послал в Москву телеграмму о необходимости, по целому ряду организационных вопросов, моей работы и на основе свежего материала моей восточной поездки непосредственного совещания с тов. Трилиссером.

Я утверждаю со всей искренностью и со всей категоричностью, что я не подгонял необходимость моего приезда в СССР под потребность оппозиционной работы».

Получив одобрение Москвы на просьбу приехать в СССР, Блюмкин начал собираться в дорогу. Он и не подозревал, что собирается на эшафот.

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

«Этот товарищ, разложившийся в заграничной обстановке…» Болтливый пассажир

О том, что он собирается в Москву, Блюмкин через Седова сразу же сообщил Троцкому. В условленное место Лев Седов принес две книги, которые Блюмкин должен был передать в Москве его жене или сводной сестре. Секрет этих книг заключался в том, что в каждой на одной из страниц между строчек Троцкий написал специальным химическим раствором письмо своим сторонникам в Советском Союзе.

Кроме того, Блюмкин захватил с собой в Москву книгу Троцкого «Что и как произошло?»[63], которая, как отмечал он, продавалась во всех книжных магазинах Константинополя, и экземпляр вышедшего в Париже «Бюллетеня оппозиции».

Через два с половиной месяца Блюмкин каялся: «Ложный стыд отказаться от своих первоначальных заявлений Л. Троцкому — и остатки оппозиционных настроений содействовали тому, что я принял от Троцкого через Льва Седова поручение по связи в СССР, я взял два письма, написанных химически на страницах 103 и 329 прилагаемых при сем книг. Химически проявитель мне неизвестен, на основании растворов знаю, что примитивный».

«Я должен был передать эти письма кому-либо из следующих четырех лиц: Анне Самойловне Седовой (жене Льва Седова), которую я должен был разыскать в ГУМе, в одном из институтов НКПС, где она работает, или дочери Троцкого[64], или ее мужу Волкову, которого должен был разыскать через некую Дудель, проживающую в доме Моссовета на Гнездниковском пер. в № 912… — уточнял Блюмкин в показаниях. — В подтверждение получения Анна Самойловна должна была послать телеграмму с условной подписью. В доказательство, что я человек, заслуживающий доверия, я никакого пароля не получил, а должен был напомнить ей, что она провозила из Алма-Аты почту в подушке. В случае моего возвращения в Константинополь я должен был привезти информацию, которую мне дала бы Анна Самойловна. По своему усмотрению я должен был встретиться с теми лицами, которых бы мне указала в Москве Анна Самойловна. К этому сводилось все поручение: оно было чисто информационное и почтовое и не содержало в себе никаких активных или организационных заданий».

Десятого августа, в день отъезда, Блюмкин еще раз встретился с Седовым, который передал ему настоятельное

пожелание Троцкого: «Главная задача — связь и еще раз связь». Необходимо было любыми способами наладить связь между троцкистами в СССР и их лидером — через Ригу, Европу с Константинополем. Всем «настоящим революционерам», говорил Троцкий, нужно как можно скорее объединиться.

Простившись с Седовым, Блюмкин отправился в порт. Там ему предстояло пройти еще одно, последнее испытание в Турции.

* * *

Между прочим, пароход «Ильич», на котором Троцкий прибыл в Турцию, совершал регулярные рейсы по маршруту Одесса — Константинополь — Одесса. Построенный по русскому заказу в Англии, он когда-то носил название «Император Николай II». После отречения Николая его переименовали в «Вече», а к лету 1922 года, отремонтировав, снова переименовали, на этот раз — в «Ильича».

В декабре 1931-го «Ильич» чуть не утонул во время шторма, наскочив на камни у острова Сагиб. Пассажиров удалось переправить на берег, а сам пароход пытались стянуть со скал аж до 3 января 1932 года, когда это удалось, наконец, сделать. Кстати, моряки окрестили его «роковым судном»: в 1908 году он потерпел аварию в Средиземном море, в 1918-м — опрокинулся в Одесском порту, в 1931-м — наскочил, как сказано, на камни, в 1934-м — при выходе из Одессы столкнулся с Воронцовским маяком.

Всем участникам спасения парохода в декабре 1931-го — январе 1932-го вручили специальный нагрудный знак — «За спасение п/х „Ильич“», на котором изображен сам пароход с дымящейся трубой и развевающимся красным флагом с серпом и молотом.

В 1920–1930-е годы на «Ильиче» между Одессой и Константинополем курсировал курьер константинопольской резидентуры советской разведки. Он перевозил сфотографированные на пленку различные документы. Идея с фотопленкой считалась очень эффективной — в случае опасности стоило открыть коробку с катушками, как пленка сразу же засвечивалась.

Возможно, Блюмкин тоже плыл в Одессу на «Ильиче». Название парохода в показаниях он не упоминает. Однако его проникновение на пароход было похоже на эпизод из какого-нибудь шпионского детектива. Впрочем, вся жизнь Блюмкина походила на детектив.

Итак, Блюмкин прибыл в порт. На пароход он должен был попасть незаметно. Разработали целую операцию. Персидский купец, торговец древними книгами и резидент разведки превратился в больного советского матроса с парохода. На носилках его доставили на борт и поместили в отдельную каюту. Пока судно стояло в порту, в каюту никого не пускали, а рядом с «больным матросом» постоянно находился «врач».

Наконец пароход снялся с якоря и взял курс на Одессу. Когда берега исчезли с горизонта, Блюмкин вышел на палубу. Он пребывал в радостном возбуждении. После нескольких месяцев колоссального напряжения, постоянной опасности провала и опасения слежки Блюмкин снова оказался среди советских людей, мог говорить по-русски. Он расслабился и его «понесло» — почти как Остапа Бендера на легендарном учредительном заседании «Союза меча и орала».

Блюмкин важно намекал членам экипажа, что им выпала честь перевозить очень важную персону — его то есть. Своей фамилии он, правда, не назвал, но сообщил, что выполняет важнейшее секретное задание. Если пограничники в порту начнут придираться к морякам, хвастливо заявлял Блюмкин, он сразу же вызовет пограничного начальника и все будет в порядке.

Матросы слушали его, раскрыв от изумления рты. Уж очень складно и гладко вещал Блюмкин. К тому же теперь ему не надо было сдерживать себя в выпивке, и чем больше он «потреблял», тем больше расходился и тем красочнее становились его рассказы. Он, например, сообщил, что собирается вскоре начать переброску оружия в Сирию «для друзей» и что в его распоряжении — подводная лодка, которая делает 40 миль в час. «Не знаю только, как лучше переправить оружие на базу, — на пароходе или подводной лодке, — говорил Блюмкин. — В Москве предстоит решать этот вопрос». Потом объявил, что подбирает в свою группу надежных людей и может взять одного из них — председателя судового комитета матроса Билярова. Чем-то он ему очень понравился.

В разговорах с этим Биляровым Блюмкин провел большую часть времени по пути в Одессу. Часто к ним присоединялись капитан и другие члены экипажа. Однако постепенно разглагольствования этого странного пассажира начали настораживать Билярова. Он болтал о таких вещах, о которых явно должны были знать далеко не все. Однажды, когда они остались наедине, Биляров недоуменно спросил Блюмкина: «Как вы можете говорить на эти темы с людьми, которых впервые видите? А если вам нужны для работы подходящие люди, я мог бы порекомендовать компетентных товарищей». Блюмкин тогда

ничего не ответил.

Чуть позже возник спор о положении в Китае. Блюмкина снова «понесло». Он стал вспоминать, как во время командировки в Монголию ездил с секретной миссией к генералу Фэн Юйсяню. Затем начали спорить о недавних событиях — конфликте на Китайско-Восточной железной дороге, которая проходила по территории Маньчжурии, но оставалась под управлением и обслуживанием советской стороны.

Надо сказать, с начала 1929 года ситуация вокруг дороги становилась все более и более напряженной. Чан Кайши требовал передать дорогу Китаю и обвинял советскую сторону в пропаганде коммунизма и подрывной деятельности. Назревал военный конфликт, который и начался чуть позже, в октябре 1929 года, и продолжался до конца ноября. Китайцы были разбиты. Тогда в Красной армии пели:

Показала свою прыть
Наша кавалерия.
Чан Кайши ночей не спит —
Стала дизентерия.

Метко бьют винтовки наши,
Хорошо свистят клинки,
Эх, и всыпали мы каши
Вам, буржуйские сынки.

Но в августе 1929 года боевые действия еще не начались. Однако Блюмкин резко критиковал советскую позицию по этому вопросу. «Наша политика в Китае империалистическая, — говорил он. — Чан Кайши правильно сделает, если выгонит нас, так как все наши организации, работающие на КВЖД, занимаются коммунистической агитацией, а это недопустимо. Если вспыхнет война, то эта война будет с нашей стороны несправедливой. Я абсолютно не согласен с такой политикой. Коли такое случится, то в знак протеста я сдам свой партбилет».

Начало конфликта на КВЖД Блюмкин застал, а вот до его конца не дожил.

Четырнадцатого августа он был уже в Москве. Его встречали как героя. Но в эти первые счастливые дни пребывания в СССР Блюмкин и помыслить не мог, что матросу Билярову, председателю судового комитета парохода, на котором он плыл, все еще не дает покоя тот странный пассажир, который всю дорогу выбалтывал вещи, подозрительно похожие на государственные тайны.

Прошло десять дней после этого рейса, когда Биляров наконец решился. Он сел за стол и на четырех страницах написал донесение о поведении этого странного человека, рассказав всё, о чем тот разглагольствовал на пароходе.

«У меня глубокое убеждение, — сообщал Биляров, — что этот товарищ, разложившийся в заграничной обстановке… воспринявший меньшевистское глядище на нашу политику, скатившийся совершенно ко II Интернационалу… именно теперь в эти тяжелые минуты, которые наша страна переживает по дальневосточному вопросу, когда больше всего нужна сплоченность всей партии, военный с тремя ромбами[65], член партии, заявляет, что сдаст партбилет. Это позор для партийца, это дезертирство. На мой взгляд, таким людям не место в партии, раз они собираются в критический момент покинуть ее, дезертировать. С коммунистическим приветом, гр. Биляров (Чочов)».

Свое донесение Биляров адресовал «товарищу Наумову», то есть атташе советского консульства в Константинополе и руководителю ОГПУ в Турции Науму Эйтингону. Вскоре это заявление уже лежало на столе у Трилиссера. Но Блюмкин пока ничего о нем не знал.

«Вот делают из меня международного авантюриста». Новые планы и новые агенты

Это был далеко не первый «сигнал» на Блюмкина. Агабеков утверждал, что еще руководитель константинопольской резидентуры Яков Минский (которого потом сменил Эйтингон) докладывал Трилиссеру, что Блюмкин разъезжает на советских пароходах и агитирует их команды «за Троцкого».

В том, что доклады о поведении Блюмкина приходили на Лубянку еще раньше, нет никаких сомнений. Вопрос, однако, в том, как на них реагировало руководство ОГПУ. С одной стороны, по словам Агабекова, из-за этого компромата Трилиссер якобы сомневался в Блюмкине даже тогда, когда тот еще разъезжал по Ближнему Востоку. Но, с другой стороны, против Блюмкина не предпринимали никаких мер, и этот факт создает простор для различных версий. Ведь если допустить, что Блюмкин внедрялся в доверие к Троцкому, то он так и должен был себя вести. Значит, и «сигналы» на него были своеобразным знаком качества его работы, и Трилиссер с удовлетворением читал их.

Как бы то ни было, в Москве «Блюмкина встретили с большим почетом», — вспоминал Георгий Агабеков. В его распоряжение выделили автомобиль, его принял глава ОГПУ Менжинский, затем пригласил на обед. Блюмкин даже сделал доклад о положении на Ближнем Востоке в ЦК, особенно его работой интересовался член Политбюро и секретарь ЦК Молотов.

Появившись в восточном секторе Иностранного отдела ОГПУ, Блюмкин много рассказывал о своих поездках и показывал свои фотографии у пирамид в Египте, верхом на верблюде, в Яффе, Бейруте и других местах. Правда, его рассказы носили общий характер. О том, чем именно он занимался и какие задачи выполнял, Блюмкин не говорил. Когда же его спрашивали об этом, отвечал: «Это попробуйте узнать у Михаила Абрамовича. Я ему докладывал».

В восточном секторе, по уверениям Агабекова, Блюмкин пользовался сомнительной репутацией. Хотя сотрудники признавали за ним ум и энергию, но считали его большим хвастуном, краснобаем и любителем приврать. Его самого это, похоже, мало волновало. У него были поистине наполеоновские замыслы.

Планы Блюмкина заключались в усилении советской разведки на Ближнем Востоке. Он считал, что в каждой из стран

должен работать резидент, а в Константинополе и Каире — старшие резиденты, которые являлись бы его, Блюмкина, заместителями. Сам же он планировал руководить их работой из Москвы, время от времени инспектируя работу резидентов на местах. Блюмкин предлагал включить в его «зону ответственности» также Ирак, Персию и Индию.

Ему нужны были дополнительные сотрудники. Трилиссер разрешил подбирать новых людей. Одним из них был некий инженер по фамилии Рабинович — он должен был открыть автомастерскую в Палестине. Для работы в Египте выделили чекиста восточного сектора ИНО по фамилии Аксельрод. Еще одного человека для своей резидентуры Блюмкин нашел сам.

Весной 1928 года, отдыхая в санатории в Гаграх, Блюмкин познакомился там с художницей Ириной Великановой, бывшей женой одного из министров так называемой «Дальневосточной республики», существовавшей на территории Забайкалья и Дальнего Востока в 1920–1922 годах. Между ними возник роман, хотя и не долгосрочный. Перед отъездом в Турцию Блюмкин предлагал ей перейти на службу в ОГПУ, но тогда они так и не договорились.

Из Турции он писал Трилиссеру, что его «конторе» нужна секретарша со знанием французского языка (сам Блюмкин его практически не знал), а кроме того, «внешняя жена». Считается, что женатый человек всегда вызывает меньше подозрений. Тогда вопрос так и не решился, но теперь Блюмкин снова решил привлечь Великанову к работе.

Она обрадовалась встрече, но ехать за границу в качестве «внешней жены» нелегала ОГПУ сначала категорически отказалась. Блюмкину пришлось потратить немало времени, чтобы ее уговорить. Наконец Великанова согласилась, и он начал обучать ее основам работы разведчика. 4 октября 1928 года она выехала в Константинополь.

Уже упоминавшийся историк Алексей Велидов, получивший в 90-х годах прошлого века доступ к архивным документам, связанным с работой Блюмкина, отмечал, что перед отъездом тот выдал Ирине Великановой 150 долларов зарплаты, 150 долларов подъемных и 60 долларов на организационные расходы. Блюмкин пообещал, что вскоре тоже приедет в Константинополь. Но ее работа в Турции началась неудачно — Великанова то ли потеряла, то ли у нее украли все выданные Блюмкиным деньги. В отчаянии она прислала телеграмму на французском языке в Москву: «Потеряны все деньги. Перечислите. Целую. Рита». Пришлось Блюмкину перечислять ей деньги. Больше они не увидятся уже никогда.

«У меня было… желание уйти из ГПУ, но я понимал, что при моем деловом положении это трудно будет мотивировать, — сообщал Блюмкин в письме Трилиссеру, написанном уже в тюрьме. — Отсюда и возникла моя просьба к Вам не посылать меня за границу больше, чем на 2–3 месяца и не без товарища, которому в течение этого времени я передам дела».

* * *

Блюмкину нужен был хороший «старший резидент» в Константинополе. «В конце концов, — писал он, — я принял решение выехать за границу в сопровождении зама (как вы помните, того же Агабекова или Аксельрода). Сдать ему дела, рассадить новых людей, довести до конца задачу, составить отчет и, вернувшись, доложить Вам о происшедшем». То есть о своих связях с Троцким.

Тогдашнего руководителя восточного сектора ИНО Георгия Агабекова Блюмкин действительно рассматривал в качестве своего потенциального заместителя. Насколько можно судить, Трилиссер был не против, и Блюмкин предложил Агабекову поехать в Турцию.

Сам Агабеков излагает в мемуарах другую версию их отношений, которая, на наш взгляд, слишком пристрастна по отношению к Блюмкину. Тем не менее она существует.

«Заметив, что я не особенно доверяю его рассказам, Блюмкин решил, что называется, подкупить меня, — утверждает Агабеков. — Он сказал, что Трилиссер поручил ему выбрать лучших сотрудников, если я согласен работать с ним, то он с удовольствием возьмет меня в Константинополь на должность своего заместителя. Я ответил, что никогда никуда не прошусь и что мое назначение зависит от Трилиссера».

Через несколько дней Трилиссер повторил это предложение в присутствии Блюмкина. Агабеков заметил, что ему, как армянину, вряд ли удобно ехать в Турцию. Трилиссер сказал, что подумает. На следующий день он опять вызвал Агабекова и уже наедине сказал ему, что, ознакомившись детально с докладами Блюмкина и не особенно им доверяя, он просит его поехать, «чтобы прибрать к рукам всю работу, сделанную Блюмкиным на Востоке», а затем он Блюмкина отзовет и руководителем там останется Агабеков. Тот согласился.

Этот эпизод, если он происходил именно так, вызывает много вопросов. Следовательно, Трилиссер уже тогда сомневался в Блюмкине? Но из-за чего? Был ли он недоволен им как

разведчиком-профессионалом? Тогда почему в Москве Блюмкина встречали с почетом, о чем упоминают даже его недоброжелатели? Или недовольство Блюмкиным возникло уже во время его пребывания в Москве, когда в Центре начали анализировать его отчеты о проделанной работе? А может, у Трилиссера скопилось столько информации о политической неблагонадежности Блюмкина, что он начал с подозрением относиться и к его работе в целом?

И другой поворот. Знал ли Трилиссер тогда о связи Блюмкина с Троцким? И не только о связи «по службе», которая, возможно, была санкционирована ОГПУ, но о связи «по убеждениям»? Что-то он наверняка знал, потому что вскоре назначение Агабекова в Турцию сорвалось. Из-за споров об отношении к Троцкому.

Агабеков описывает это происшествие так:

«В течение этого времени я часто бывал у Блюмкина, жившего в Денежном переулке на квартире у народного комиссара просвещения Луначарского (на самом деле, как мы помним, по соседству. — *Е. М.).* Заводя со мной беседы на политические темы, он старался выявить мое отношение к троцкизму. На этой почве мы однажды рассорились. Я в резкой форме осуждал троцкистов. На следующий день после ссоры Блюмкин пошел к Трилиссеру и заявил, что отказывается от моего сотрудничества, так как полагает, что я к нему приставлен в качестве политического комиссара. Разговор происходил при мне. Так как я со своей стороны тоже отказался сотрудничать с Блюмкиным, отставка моя была принята, и Трилиссер предложил мне ехать самостоятельно в Индию для организации резидентуры ОГПУ».

Здесь Агабеков не пишет прямо, рассказал ли он своему шефу о том, на какой почве они поссорились с Блюмкиным. Но, безусловно, он должен был изложить все причины, по которым отказывается работать с Блюмкиным, и, думается, вряд ли упустил случай рассказать о его «троцкизме».

Сам Блюмкин и не думал скрывать своих симпатий к Троцкому. По крайней мере гордился сотрудничеством с ним в прошлом. 1 ноября 1929 года в тюремной камере ОГПУ он написал на имя начальника Секретного отдела Агранова (Агранов был назначен начальником отдела 26 октября 1929 года) «дополнительные показания», которые озаглавил «О поведении в кругу литературных друзей».

Однажды вечером, недели через две после возвращения в Москву, он зашел в кружок «Друзей искусства и культуры» в Пименовском переулке, где были его старые знакомые, среди них Маяковский и Михаил Кольцов. Разумеется, завязались всякие

споры и дискуссии. Блюмкин пишет об одной из этих перепалок:

«У меня в этот вечер была перебранка полу-принципиального (по вопросам литературного поведения Маяковского), полу-личного характера с Маяковским — моим старым приятелем.

В ходе этой пикировки Маяковский бросил мне фразу: „Не задирайтесь! Я помню, Блюмочка, когда вы секретарем были“, намекая этим на то, что когда-то я работал у Троцкого, желая меня этим поддеть. На это я ответил буквально следующее: „Секретарем я не был, я состоял для особо важных поручений при человеке, которого сидящий здесь Кольцов называл одним из самых аналитических и острых умов Октябрьской революции“, и что я „надеюсь, что он еще будет с нами и мы еще будем вместе“.

Далее, сидя рядом с Михаилом Кольцовым и полушепотом беседуя с ним, на его вопрос — что я теперь делаю, я сказал в шутливой, иронической форме: „Вот делают из меня международного авантюриста“».

Блюмкин признавал, что «может быть, и не следовало говорить Кольцову упоминаемой мной фразы», но при этом недоумевал: «Неужели же шутливое самоиронизирование между двумя членами партии есть вещь столь значительная?» «Мы бываем в своей среде более циничны», — справедливо замечал он.

Конфликт с Агабековым сам Блюмкин объяснял тем, что это именно он дал «отвод» своему потенциальному заместителю и что это было связано «только и только со специальной работой». Но после этого конфликта ему стало ясно, что пока он вряд ли получит заместителя. Пришлось ему готовиться к отъезду в Константинополь самому. Тем временем в ОГПУ началась процедура «партийной чистки». В первую очередь «чистке» подлежали коммунисты, уезжавшие в заграничную командировку. Некоторые из сотрудников ИНО считали необходимым выступить против Блюмкина и потребовать его исключения из партии «как человека чуждого рабочей психологии».

«Очень хорошо помню этот день, — писал Георгий Агабеков. — В клуб ОГПУ явились на чистку почти все сотрудники иностранного отдела и многие сотрудники других отделов.

В президиуме сидят члены Центральной контрольной комиссии Сольц, Караваев и Филлер. К ним подсаживается Трилиссер. Вызывают Блюмкина. Блюмкин выходит на трибуну и рассказывает свою биографию. Несмотря на всегдашнюю самоуверенность, он явно смущен и часто запинается в речи. После него немедленно выступает Трилиссер и характеризует Блюмкина как одного из преданнейших партии и революции работников. Слушатели, растерянные выступлением Трилиссера,

молчат. Комиссия выносит постановление: считать Блюмкина „проверенным“».

Никто тогда не мог предположить, что менее чем через месяц «проверенный Блюмкин» будет расстрелян.

«…Через надежную подставную организацию…» Блюмкин советует продавать ценности за границу

Осенью 1929 года, в свою последнюю осень в жизни, Блюмкин не только разрабатывал новые планы работы резидентуры на Ближнем Востоке. За то время, пока он пребывал в роли торговца ценными древностями, у него появилось немало соображений о том, как можно было бы организовать это дело в государственном масштабе. Соображения Блюмкина по этому вопросу оказались весьма актуальными. Советское руководство как раз начинало грандиозную операцию по продаже художественных ценностей из музеев и хранилищ страны за границу. СССР нужна была валюта для проведения индустриализации.

В ноябре 1928 года в Берлине и Вене на аукционах были проданы несколько шедевров из Эрмитажа, а также из бывших царских и княжеских дворцов. Это были картины XVI–XVII веков, фарфор, мебель и т. д. Эмигрантская пресса подняла шум — она обвиняла большевиков в расхищении национального достояния России. Бывшие владельцы проданного на аукционах имущества даже начали предъявлять судебные иски к правительству СССР.

Все это, конечно, совсем не радовало Москву. Планы по продаже ценностей разрабатывались солидные — Советский Союз рассчитывал получить за них в ближайшие пять лет 30 миллионов золотых рублей. Но лишний шум вокруг этого государству был совсем ни к чему.

Блюмкин, конечно же, слышал о скандале вокруг продаж на аукционах Берлина и Вены. Имея личный опыт торговли старинными книгами, он решил предложить собственную схему, как организовать продажу ценностей без лишнего шума. Несколько дней он сочинял специальную докладную записку по этому вопросу.

«Основной вывод из этого опыта, — писал Блюмкин, — приводит к тому, что последующие аналогичные операции должны производиться не советскими органами непосредственно, а замаскированно, через надежную подставную организацию, хорошо юридически законспирированную…» Второе условие для успешного проведения операции, по Блюмкину, заключалось в том, чтобы изъятое имущество «не было бы ущербом для нашей науки и одновременно само по себе дало значительные валютные средства». Наконец, еще один урок: «на данное имущество не

может быть предъявлено иска бывшими владельцами ввиду перехода этого имущества в казну до революции».

Выполнение этих трех условий, по мнению Блюмкина, создало бы идеальные условия для продажи художественных ценностей за границу. В качестве примера он предлагал организацию работы по продаже древнееврейских книг. Дело должно происходить так: Госторг передает книги конторе Якуба Султан-заде в Константинополе, Султан-заде собирает экспертов, те оценивают товар, и затем книги вывозятся на европейский рынок. Благодаря длинной цепочке из нескольких посредников, скупщиков и продавцов книг практически невозможно будет определить, что инициатором продажи является Советское государство.

«Что же касается нас (то есть конторы Султан-заде. — *Е. М.),* — отмечал Блюмкин, — то в самом худшем случае в нас будут подозревать коммерческую агентуру Госторга. Это нисколько не дискредитирует нашего прикрытия. В коммерческих взаимоотношениях с нашими торговыми органами находятся сотни фирм, и никто их в том, что они советская политическая агентура, не подозревает». А заграничные фирмы, уверял Блюмкин, не скрывают своей готовности работать с большевиками — главное, чтобы было выгодно: «Кауфман, например, не раз высказывал мысль о том, что хорошо было бы уговорить большевиков разрешить покупать в России старые древнееврейские книги и скупать книги у правительства».

Практически же, писал он, от реализации «этих ненужных СССР ценностей Союз может получить сотни тысяч долларов».

План Блюмкина в части продажи древних книг через его контору полностью реализован не был, но его предложения, похоже, не остались незамеченными.

В том же 1929 году началась продажа за границу предметов искусства из Эрмитажа, Русского музея и других хранилищ. Продажами — почти по рецепту Блюмкина! — должна была заниматься специально созданная «подставная организация, хорошо юридически законспирированная» с названием «Антиквариат» — под эгидой Наркомпроса.

Это была операция, одобренная на самом верху, но вскоре в Кремль пошли письма и телеграммы с протестами. Протестовали не только ученые, искусствоведы, музейщики, но также советские и партийные работники. Директор Ленинской библиотеки Владимир Невский писал, к примеру, своему начальнику — наркому Луначарскому:

«Раз став на путь распродажи, остановиться нельзя: сегодня продали Рафаэля, завтра продали Корреджио, затем начнем

продавать рукописи Толстого и Достоевского.

Раз продавать, так продавать. Разделить рукописи Толстого по клочкам и продавать американцам по частям, а за рукописями Толстого рисунки Иванова, автографы Достоевского и т. д. Как директор Ленинской библиотеки, человек близко стоящий к науке и искусству, и как коммунист, я обращаюсь к Вам, уважаемый Анатолий Васильевич, и прошу Вас войти с ходатайством в ЦК ВКП(б) о приостановке этого губительного разрушения рассадников культуры и просвещения». Невский не так давно разрешил чекистам взять из библиотеки старинные книги, но все-таки получил в обмен гарантию их возвращения. А здесь…

Луначарский откликнулся: «Я с очень тяжелым сердцем согласился на эту операцию и указывал тогда же т. Микояну и т. Рыкову — к сожалению, я не был на политбюро тогда, когда обсуждался этот вопрос, — на те причины, по которым я являюсь в значительной мере противником этой операции». Но в сущности нарком вел себя довольно пассивно. Больше он не протестовал, в ЦК не обращался и вообще в последние годы своей жизни старался не вмешиваться в рискованные дела. Его лояльность оценили. В 1933 году Луначарского назначили полпредом в Испании, но он умер во Франции, не доехав до нового места назначения.

В результате операции по продаже художественных ценностей за границей навсегда остались 1450 произведений живописи, в том числе 48 шедевров — Ван Дейка, Тициана, Рафаэля, Рембрандта. В конце 1933 года СССР продал Британскому музею за 100 тысяч фунтов стерлингов (миллион золотых рублей) «Синайский кодекс» — самый древний на то время список Нового Завета, сделанный в IV веке. Никогда еще ни одна рукопись не продавалась за такую огромную сумму. За все проданные предметы искусства СССР получил примерно 25 миллионов золотых рублей. Активные продажи ценностей прекратились только в 1934 году.

Наверное, если бы Блюмкин прожил еще несколько лет, он с гордостью похвалялся бы в своей манере, что его советы не пропали даром и он внес свой вклад в индустриализацию страны.

Но прожить эти несколько лет ему уже было не суждено.

«Чтобы доказать… как-нибудь свои симпатии ко мне». Тайные встречи и роковой роман

С самого приезда в Москву Блюмкина не покидала навязчивая мысль: как быть с поручением Троцкого? Он, разумеется, не собирался отказываться от поручения — передать письма «вождя оппозиции» его сторонникам в СССР, — но решил сначала осмотреться и понять, что вообще происходит в стране. А то, что происходило, Блюмкину нравилось. По крайней мере, по его словам.

Во-первых, он увидел, что Сталин повел борьбу против «правых» — Бухарина, Рыкова и Томского, своих недавних союзников в войне против «левой оппозиции». Блюмкин поддерживал всей душой этот новый поворот в «линии партии». «Правых» он не любил куда больше, чем Сталина. Тем более что советское руководство, как ему казалось, фактически взяло на вооружение основные идеи Троцкого: «Самокритика все больше поднимается снизу к верху, совхозное и колхозное строительство есть основной момент линии партии в деревне, индустриализация производится с той максимальностью, какая возможна, оппозиция поэтому потеряла почву под ногами и разваливается…» Как самокритично отмечал Блюмкин, в таких условиях бороться теми методами, с какими выступает Троцкий, «есть авантюризм еще более худший, чем „объективный“ левоэсеровский авантюризм моей юности».

«Я понял, что совершил ошибку и перед ГПУ, и не знал, как ее исправить… — каялся Блюмкин в письме Трилиссеру. — Не раз я порывался открыть Вам или Вячеславу Рудольфовичу (Менжинскому. — *Е. М.),* но каждый раз боязнь, что Вы отнесетесь ко мне формально, боязнь причинить Вам неприятности и прочие малодушные соображения удерживали меня».

Отчеты о работе, новые планы, подбор новых сотрудников — все это давало ему повод оттягивать выполнение поручения Троцкого. К тому же у него завязывался новый и весьма увлекательный роман. Бывшую жену и сына Мартина он не забывал, и запечатанное завещание с просьбой в случае его смерти позаботиться о них лежало у руководства ОГПУ. Но случая завести новую связь он никогда не упускал. Осенью 1929 года начался его последний и, в полном смысле этого слова, роковой роман.

Ее звали Лиза, и она была его коллегой — работала в

Иностранном отделе ОГПУ. Лиза Розенцвейг родилась 31 декабря 1900 года в Северной Буковине, которая тогда являлась частью Австро-Венгрии, позже отходила к Румынии, а ныне входит в состав Украины. Сегодня Елизавету Зарубину-Горскую-Розенцвейг называют «легендой» или даже «королевой» советской разведки. На ее счету десятки успешных операций, и самая известная из них — участие в добывании секретов американской атомной бомбы. В этой операции она участвовала вместе с мужем, не менее знаменитым советским разведчиком — Василием Зарубиным. Многие сведения о работе Елизаветы Зарубиной, впрочем, до сих пор остаются засекреченными.

После гимназии Лиза поступила на историко-филологический факультет Черновицкого университета, потом училась в парижской Сорбонне, а затем — в Венском университете, который окончила в 1924 году с дипломом переводчика французского, немецкого и английского языков.

Дальнейший поворот ее судьбы можно представить по официальным данным Службы внешней разведки России: «В 1925 году она становится сотрудницей органов безопасности и первые три года (1925–1928) работает в Венской резидентуре. В этот период привлекла к сотрудничеству с внешней разведкой ряд важных источников информации. С отдельными из них работала в последующих командировках за рубежом. Для выполнения специальных заданий Центра из Вены выезжала в Турцию». Что касается Турции, то для нас это — самое интересное.

Опять же, по информации СВР, в 1927 году Елизавета и ее муж Василий Зарубин были направлены в Данию и Германию на нелегальную работу, а в 1929-м — во Францию, где они находились до 1933 года. Затем была Германия, где Зарубины завербовали сотрудника гестапо Вилли Лемана, как говорят, одного из прототипов Штирлица. Потом — длительная командировка в США.

Работа Лизы Зарубиной в разведке складывалась не всегда гладко. Три раза ее увольняли со службы — в 1938, 1946 и 1953 годах, но дважды возвращали, когда к руководству разведкой приходили новые люди. Не вернули ее на службу только после «чистки» спецслужб от «бериевцев», под которую попала и она[66].

Однако в 1929 году она еще не была «королевой» разведки, хотя уже подавала определенные надежды. В ее официальной биографии не говорится о том, что в 1929-м она находилась в Москве и что там же, в ОГПУ, ей дали фамилию Горская. Нет никакой информации и о ее отношениях с Яковом Блюмкиным. Это и понятно: ее роль в судьбе Блюмкина оказалась, мягко говоря, неоднозначной.

Когда Блюмкин познакомился с Лизой — точно неизвестно. По одним версиям, это произошло в Турции, куда она выезжала «для выполнения специальных заданий Центра». По другим — в Москве, когда Блюмкин возвратился из Константинополя. Опять же, нет пока и точного ответа на вопрос, как и почему произошло это знакомство. По одним данным — просто потому, что они понравились друг другу. По другим — Лиза выполняла задание руководства ОГПУ и должна была «присматривать» за Блюмкиным и получить сведения о его связях с Троцким и его сторонниками.

Точно известно лишь то, что к 5 октября 1929 года они уже были знакомы и их роман успешно развивался. В этот день (5 октября, в субботу) Лиза возвращалась в Москву из отпуска и очень удивилась и обрадовалась, когда увидела на вокзале встречающего ее Блюмкина с огромным букетом цветов. Он сказал ей, что вскоре уезжает, и предложил сходить в театр. Она с удовольствием согласилась. Потом Блюмкин как-то позвонил ей и сказал, что прошел «чистку». Очень сожалел, что Лизы не было на этом мероприятии (она болела), — тогда бы она убедилась, какой он хороший партиец.

Откуда же известны эти подробности? А из рапорта Елизаветы Горской руководству ОГПУ, в котором она в деталях описала свои встречи с Блюмкиным. «Во время первых же двух встреч со мной Блюмкин стал меня уверять, что питает ко мне какие-то особые чувства, — сообщала она, — что он, к сожалению, должен уехать, но с удовольствием остался бы здесь, с тем чтобы доказать мне как-нибудь свои симпатии ко мне».

Судя по ее рапорту, с Блюмкиным в это время творилось что-то неладное. Он как будто в чем-то колебался. Говорил, что вскоре уедет, а потом вдруг заявил, что не собирается уезжать, пока не сведет с собой «некоторые политические счеты». Что это за счеты, Лиза, по ее словам, понятия не имела. Она думала, что Блюмкин не хочет уезжать из-за нее или же потому, что ему «надоела заграница», и постепенно подводила его к тому, чтобы он рассказал ей о своих сомнениях и колебаниях.

Блюмкин спрашивал ее, как она относится к людям, которые совершают ошибки. Надо ли их потом прощать? Лиза поинтересовалась, о ком идет речь. Блюмкин ответил, что это «секрет» — «касается дело его одного товарища». На следующий день он опять завел разговор на эту тему, и тогда Лиза уже решительно потребовала, чтобы он рассказал ей, в чем дело. Тут-то Блюмкин и «поплыл» — он поведал ей о встречах с Троцким, о том, что взял у него два письма и привез их в Москву, но потом понял, что совершил большую ошибку, и теперь хочет прямо и

честно заявить об этом партии. Блюмкин сказал, что пойдет в Центральную контрольную комиссию (ЦКК). Лиза посоветовала ему пойти к Трилиссеру, но Блюмкин ответил: «Пусть меня судит вся партия».

Она спросила, знает ли еще кто-нибудь о его связи с Троцким, и тогда он рассказал ей о своей «двойной жизни» и своих тайных встречах с оппозиционером в Москве…

* * *

Почему так переживал Блюмкин, что его терзало? Можно только предполагать. Возможно, он действительно опасался, что руководство узнает о его встречах с Троцким. Может быть, дело было совсем в другом — установив связь с Троцким по заданию ОГПУ, он скрыл от руководства, что фактически был перевербован «львом революции», не устояв перед обаянием того, и взялся выполнить его поручение. А это было куда хуже, нежели просто встречи с опальным «вождем революции».

Блюмкин колебался — служебный долг и «преданность революции», как он ее понимал, боролись в нем с симпатиями к Троцкому и необходимостью исполнить данное ему обещание. Сначала ему показалось, что он нашел выход: передать материалы Троцкого его родственникам не самому, а через третье лицо. Таким человеком стал бывший директор Еврейского государственного театра Арон Пломпер. Его исключили из партии за оппозиционную деятельность, и он находился на нелегальном положении. Несколько раз он ночевал у Блюмкина, который помогал ему и деньгами — давал по два-три рубля на обед. Еще он пытался выяснить у Пломпера, есть ли в Москве какой-то подпольный центр оппозиции, но тот уходил от ответа.

Блюмкин дал почитать ему книги Троцкого и номера журнала «Бюллетень оппозиции», привезенные из Турции. Пломпер сказал, что их можно напечатать и в Москве, но нужно рублей 200–250. Блюмкин обещал достать. Дальше разговор перешел на финансирование оппозиции вообще. Блюмкин предложил раздобыть деньги с помощью «экса», то есть «экспроприации» — ведь при царском режиме революционеры прибегали к этому, а почему же сейчас нельзя? Когда в декабре 1929 года Пломпера арестуют, он расскажет на допросе: «Блюмкин выдвигал такую мысль: хорошо бы иметь среди других единомышленников кассира какой-нибудь организации, который мог бы для получения средств на нужды организации совершить растрату…» Впрочем, из этого разговора Блюмкина с Пломпером ничего не

вышло.

Именно Пломпера Блюмкин попросил передать книги Троцкого с тайным посланием его сторонникам, написанным между строчками. Но тот этого не сделал — то ли он так и не смог найти родственников Троцкого, то ли просто испугался. Книги Блюмкину он возвратил — потом их нашли при обыске сотрудники ОГПУ.

Параллельно Блюмкин пытался установить связь с Карлом Радеком. Он, конечно, знал, что Радек «разоружился» и «покаялся», но надеялся, что тот сделал это вынужденно, под давлением обстоятельств. Однако Радек был в отпуске и вернулся в Москву только в начале октября.

Встреча с Радеком должна была состояться 9 октября, но как раз в этот день Блюмкин проходил «чистку», и встречу перенесли на следующий день. Сначала разговор шел очень осторожно. Радек интересовался, как живет Троцкий, и рассказывал, что многие из его сторонников решили порвать с оппозицией. «Я имел основание считать Радека старым и хорошим товарищем, — признавался Блюмкин в показаниях. — <…> Будучи чрезвычайно угнетен и измотан моими переживаниями, я не сумел удержаться при беседе с Радеком в рамках чисто информационного сообщения и раскрыл ему, что называется, всю свою наболевшую душу».

Блюмкин рассказал Радеку о поручении Троцкого и о своих попытках передать его письма сторонникам в Москве. Он почти что исповедовался Радеку. Ведь если в ОГПУ узнают о его контактах с Троцким, то ему грозит расстрел. Еще в 1923 году на Лубянке получили право самим рассматривать преступления, совершенные сотрудниками ОГПУ. Так что же ему делать? Все рассказать руководству и в ЦКК или уехать в командировку за границу?

Выслушав Блюмкина, Радек посоветовал ему… признаться. И чем быстрее, тем лучше. И еще порекомендовал поговорить с другим видным троцкистом — Иваром Смилгой. Смилга тоже признал свои ошибки и был восстановлен в ВКП(б).

На следующий день Блюмкин говорил со Смилгой, а потом снова с Радеком. Результаты этих бесед его ошеломили. Они оба однозначно высказались за то, чтобы Блюмкин рассказал о встрече с Троцким в ЦКК. Более того, они проинформировали о деле Блюмкина еще одного своего товарища — Евгения Преображенского. И он тоже поддержал их. Радек обещал, что, когда Блюмкин пойдет признаваться, они втроем обещают ему поддержку и защиту.

Блюмкин ушел от Радека окончательно подавленным. О его

тайне знали уже несколько человек, и он не сомневался, что о ней быстро узнают и «наверху». А если это произойдет раньше, чем он успеет прийти с повинной, то будет еще хуже. Так что же делать?

Тогда он снова пошел за советом к Лизе, своей последней любви.

* * *

Блюмкин, конечно, представлял, как работает «система оповещения ОГПУ», и догадывался, что о многих его поступках на Лубянке уже известно. Так оно и было. Он совсем не удивился, когда уже в тюрьме ему, например, дали прочитать запись его пикировки с Маяковским, когда поэт советовал «Блюмочке» «не задираться». Почти дословное изложение их разговора! Но работой секретного сотрудника — сексота — Блюмкин остался недоволен. «Если же добавить к этому, что в тот вечер шпильки от меня за поддержку Маяковского получили многие мои собеседники, то, очевидно, и сексот был среди них, — уточнял Блюмкин. — Так, образ-характер его сводни ясен. В данном случае имеет место вульгарная недобросовестность сексота. Если мои объяснения не внушают доверия, — я могу просить очной ставки с Маяковским и Кольцовым».

Хотя Радек пообещал ему, что их разговоры останутся тайной, Блюмкин не очень-то обольщался на этот счет. Уже после его расстрела Троцкий так реконструировал в своем «Бюллетене оппозиции» события, связанные со встречами Блюмкина и Радека:

«Блюмкин хотел информироваться и разобраться, в частности понять причины капитуляции Радека. Ему, конечно, и в голову не могло прийти, что в лице Радека оппозиция имеет уже ожесточенного врага, который, потеряв последние остатки нравственного равновесия, не останавливается ни перед какой гнусностью. Тут надо еще принять во внимание как характерную для Блюмкина склонность к нравственной идеализации людей, так и его близкие отношения с Радеком в прошлом…

Радек… потребовал, по его собственным словам, от Блюмкина немедленно отправиться в ГПУ и обо всем рассказать. Некоторые товарищи говорят, что Радек пригрозил Блюмкину в противном случае немедленно донести на него. Это очень вероятно при нынешних настроениях этого опустошенного истерика. Мы не сомневаемся, что дело было именно так».

Другими словами, Троцкий подозревал, что Радек мог «заложить» Блюмкина, а скорее всего, и сделал это. Вероятно, и у Блюмкина были те же опасения. Версия о том, что Радек «сдал»

Блюмкина, до сих пор жива, хотя документальных подтверждений этого не обнаружено. В отличие от других. При всем своем опыте работы в ВЧК — ГПУ — ОГПУ Блюмкин, наверное, и подумать не мог, что почти все люди, с которыми он будет встречаться в тот роковой для себя октябрь 1929 года, сообщат об этом «куда надо». Включая и Лизу Горскую, к которой он приходил уже в полном отчаянии.

В субботу, 12 октября, Блюмкин, по сообщению Горской, выглядел подавленным и мрачным. В воскресенье вечером, 13 октября, он показался ей «фразером, напыщенным человеком» и произвел «в общем какое-то неприятное впечатление». В понедельник, 14-го, она заметила, что «от его решимости и бодрости осталось мало, что настроение у него упало».

Во время этой, последней, встречи Блюмкин взволнованно говорил ей, что если он позвонит в ЦКК, то оттуда сразу сообщат о нем на Лубянку и он будет арестован, а потом и расстрелян. «Мне тяжело идти на все это, но другого выхода нет, — рассуждал он. — Ведь Радек или Смилга сами могут в любую минуту позвонить на Лубянку».

Вероятно, под нажимом Лизы Блюмкин все же позвонил в ЦКК. Он говорил в ее присутствии с членом ЦКК Ароном Сольцем и просил того вместе с Орджоникидзе, председателем ЦКК, его принять. Но Сольц, сославшись на занятость, отказался.

Блюмкин потерял контроль над собой. Он заметался. То он собирался все же написать заявление в ЦКК, то говорил, что все бесполезно и его все равно арестуют, то говорил, что уедет за границу, то начинал собирать бумаги, чтобы идти в ЦКК или на Лубянку. В конце концов Лиза ушла.

«Все время не покидала меня мысль о том, что, собственно говоря, раньше всех обо всем должен узнать т. Трилиссер, что я, его сотрудница, обязана ему рассказать еще до того, как Блюмкин пойдет в ЦКК», — сообщала Горская в своем рапорте. В тот же день она пошла к Трилиссеру, но на месте оказался только его заместитель Матвей Горб. Он внимательно выслушал Горскую и обещал все передать своему начальнику.

На следующий день ее принял и сам Трилиссер. «Я ждал в приемной Трилиссера, — вспоминал Агабеков, — когда вдруг вошла сотрудница иностранного отдела Лиза Горская и обратилась с просьбой пропустить ее вне очереди. У нее небольшое, но важное и срочное дело. У Трилиссера она задержалась около часу».

Трилиссер, однако, повел себя странно. Он посоветовал Лизе не встречаться с Блюмкиным и сказал, что сам его вызовет. Объяснений такому решению может быть несколько. Возможно,

ОГПУ хотело проследить за действиями и связями Блюмкина и опасалось, что на этой стадии Лиза может его спугнуть. А возможно, Трилиссер хотел поговорить с глазу на глаз с человеком, которому он покровительствовал, и подсказать ему выход из сложившейся ситуации. Кто знает — если бы Блюмкин пришел сам, как все сложилось бы…

На следующий день его действительно вызвали, но Блюмкин на Лубянку не явился. «Тут уже я окончательно убедилась в том, что он трус и позер и не способен на большую решительность», — возмущалась Горская.

Но факт оставался фактом — Блюмкин исчез. Игра подходила к концу.

СУДЬБА РЕЗИДЕНТА

«Жить хочу! Хоть кошкой, но жить!» Побег, доллары и яд

Блюмкин все-таки решил скрыться. Правда, накануне он обдумывал еще один вариант — покончить с собой. Но как именно это сделать? Он пришел к знакомому врачу Григорию Иссерсону и попросил у него яду. Пока изумленный доктор соображал, что к чему, Блюмкин пустился в рассуждения, как лучше всего совершить самоубийство. «У тебя же револьвер есть», — наконец съехидничал Иссерсон. «Конечно, — ответил Блюмкин, — можно пустить пулю в лоб, но я не хотел бы стреляться из своего револьвера, которым поубивал многих контрреволюционеров».

Иссерсон яда Блюмкину не дал и постарался его поскорее выпроводить. А вскоре рассказал своим знакомым о столь странном случае. Те рассказали своему знакомому. А тот написал донесение в ОГПУ.

Не получив яд, Блюмкин решился окончательно — бежать.

В три часа ночи 15 октября 1929 года в квартире сотрудника юмористического журнала «Чудак» Бориса Левина раздался телефонный звонок. Сонный Левин поднял трубку и услышал взволнованный голос своей хорошей знакомой — Раисы Идельсон, жены известного художника Роберта Фалька. Она просила Левина приехать к ним как можно скорее. Он приехал. Выслушав сбивчивый рассказ Идельсон и ее двух подруг, Левин вернулся домой, вырвал из тетради лист и торопливо начал писать… заявление в ОГПУ. Оно сохранилось в деле Блюмкина.

«Я узнал следующее, что Я. М. Блюмкин (ошибка Левина, правильно Я. Г. Блюмкин. — *Е. М.)* приходил к моим знакомым, хвастался о своей связи с оппозицией… говорил, что его преследует ОГПУ, просил у них приюта и ночевал в ночь на 15-е. Просил разменять доллары, причем, открывая портфель, видно было, что у него куча долларов… У моих знакомых создалось впечатление: либо он душевнобольной, либо все, что он говорит, действительно правда».

Еще один источник информации о тех событиях — воспоминания сына Раисы Идельсон и художника Александра Лабаса (она вышла за него замуж после развода с Фальком в 1931 году), биолога и писателя Юлия Лабаса. В них со слов матери он добавляет к сохранившимся документам очень живописные подробности. Хотя не исключено, что и весьма беллетризированные.

Фальк в то время был в Париже. В гигантской квартире-мастерской Фалька, по адресу Мясницкая, 21, «мама поселилась не одна: вселила подруг — Еву Розенгольц, Лену Прибыловскую и уж не помню, кого еще», — пишет Юлий Лабас. Интересна и другая деталь — Борис Левин, по словам Лабаса, был мужем Евы Розенгольц. И приходил он в их квартиру якобы тогда, когда там еще находился Блюмкин. «Узнав, что в квартире Блюмкин, он, пару раз сбегав в туалет („медвежья болезнь“), в ужасе сбежал», — замечает Лабас, и Блюмкин присутствия Левина даже не заметил.

На следующий день, видимо, получив указание с Лубянки написать обо всем подробнее, Левин направил в ОГПУ описание разговора с Раисой Идельсон и ее знакомыми художницами (еще студентками, по воспоминаниям Юлия Лабаса) Рабинович, Розенгольц и Назаревской уже в деталях.

Дело, по его словам, было так.

Четырнадцатого октября к Раисе Идельсон пришел Блюмкин. Он находился в крайне возбужденном состоянии и просил ее «спасти» его от ОГПУ.

Юлий Лабас описывает этот момент куда как более красочно: «Раздался звонок. Мать подбежала к двери: „Кто там?“ — „Откройте! Это я — Яша Блюмкин. За мной гонятся!“ Его впустили с растерянностью и испугом. Кто гонится? Почему? Ведь Блюмкина все побаивались, зная, что он — важный чекист…»

Борис Левин сообщает: Блюмкин говорил Идельсон, что его преследуют, что «кольцо суживается». Что он сам — сторонник оппозиции, недавно вернулся из-за границы, там встречался с Троцким, а сейчас просит его спрятать.

Затем он попросил поменять на рубли 100 долларов и достать ему документ.

Идельсон согласилась и чуть позже вручила ему 200 рублей. При этом Блюмкин поинтересовался «почему так мало». Ей пришлось объяснять, где она меняла доллары. Документ ему она доставать отказалась.

Потом Блюмкин ушел, а когда вернулся, то Идельсон и ее подруги заметили, что он сильно изменился. Блюмкин обрил голову и сбрил усы. Он снова начал жаловаться, что его, как оппозиционера, могут расстрелять. Наивные женщины объясняли ему, что оппозиционеров сейчас не расстреливают, на что Блюмкин резонно возразил: «Вы не знаете, тех, которые работают в ОГПУ, расстреливают».

«Затем, — пишет Левин, — он часто звонил по телефону, вызывал Михаила Абрамовича и какую-то Лизу».

Это, наверное, была самая последняя попытка Блюмкина встретиться с Михаилом Абрамовичем Трилиссером и что-то ему

объяснить.

Около девяти часов вечера Блюмкин начал умолять «съездить куда-то в чайную за Казанским вокзалом, где, по его словам, его прислуга должна передать ему чемодан». Поехали Назаревская и Розенгольц. Там действительно их ждала какая-то девушка с чемоданом.

Когда чемодан доставили Блюмкину, он сразу же открыл его и женщины ахнули от изумления. Он был буквально набит долларами. Потом они еще говорили о каком-то портфеле, в котором тоже были доллары. Блюмкин начал рассовывать доллары по карманам, часть из них оставив в портфеле. В портфеле находилась и крупная сумма советских денег.

Воспоминания Юлия Лабаса: «Блюмкин как пойманный зверь заметался по квартире: „Жить! Жить хочу! Хоть кошкой, но жить!“ Потом обратился к студенткам: „Девочки, не хотите посмотреть, что у меня в чемодане?“ Кто-то из студенток потянулся к чемоданчику, но мама наотрез запретила: „Мы, девчонки, дуры, начнут пытать, все выболтаем, а если ничего не знаем, то и спрос с нас невелик“. — „Рая, у тебя не осталось документов Фалька?“ — „Ты что, конечно, нет, да и непохож он на тебя на фотокарточке“. — „Жить! Жить! Хоть кошкой, но жить!“…»

Тут либо Лабас что-то присочинил, либо Блюмкина и правда так «накрыло», что бросало, как щепку в шторм, из стороны в сторону — ведь еще совсем недавно он требовал яду.

Но продолжим читать Лабаса: «Под утро после бессонной ночи Блюмкин позвонил некой Лизе… „Лиза, приходи на Мясницкую и принеси мою шинель с Арбата — на улице холодно (на Арбате была квартира Блюмкина. Вот наивность!). Надеюсь, придешь ОДНА?“ Собеседница, видно, запротестовала, мол, конечно же, приду одна. Вскоре Блюмкин ушел, предупредив: „Никому, кроме меня, не открывайте, скоро вернусь“».

Согласно донесению Бориса Левина в ОГПУ все это время Блюмкин то заряжал, то разряжал свой револьвер и говорил о самоубийстве. Женщины струхнули не на шутку — доллары, револьвер, разговоры о слежке и расстреле… В общем, они облегченно вздохнули, когда вечером 15-го Блюмкин ушел. Чемодан и портфель он оставил. Часа в два ночи к Идельсон явился какой-то человек по фамилии Варьян с запиской от Блюмкина. Он забрал чемодан и портфель, написав расписку, и удалился.

История с чемоданом и долларами — наверное, самая загадочная страница жизни Блюмкина в последние его дни на свободе. Что это были за деньги? Для чего они предназначались? Откуда Блюмкин взял такую сумму? Кем был этот загадочный

Варьян, который забрал чемодан и портфель с долларами и рублями? Точных ответов на эти вопросы до сих пор нет. Во всяком случае, в тех документах, которые доступны для исследователей. Можно только версии строить, что мы и сделаем чуть позже. Увы, в биографии Блюмкина это приходится делать часто.

Юлий Лабас утверждает, что позже в квартиру его матери пришли люди из ОГПУ. «Вошли: „Где здесь вещи Блюмкина?“ Студентки молча показали. Кто-то промямлил: „Он — больной. С головой непорядки“. — „А мы и пришли лечить! Показать, что у него в чемодане?“ Студентки хором запротестовали. Тем не менее чекисты открыли чемодан и показали… пачку долларов. Назавтра всех студенток вызвали в ОГПУ к Мееру (в обиходе Михаил. — *Е. М.)* Абрамовичу Трилиссеру. Взяли подписку о невыезде. Между прочим, уходя „за шинелью“, Блюмкин оставил в фальковской мастерской свое шикарное кожаное пальто „чекистского“ покроя… Через много-много лет мама с тетей подарили его бывшему директору ГОСЕТа Арону Яковлевичу Пломперу, вернувшемуся из лагерной отсидки». То есть тому самому Пломперу, который должен был доставить тайные послания Троцкого его родственникам, но так и не доставил.

А еще через неделю Идельсон и ее подругам по секрету сообщили, что Блюмкин на допросе рассказал, будто ворвался к ним в квартиру, угрожая оружием, и ни с кем из них не общался. А значит, к ним никаких претензий не будет. Если так, то в некоем благородстве Блюмкину не откажешь. Ну а что? Ему тоже были свойственны «души прекрасные порывы».

«Я ведь знаю, что ты меня предала». Арест

Что касается времени телефонного звонка Блюмкина из квартиры Фалька Лизе Горской, то здесь Юлий Лабас не точен — он звонил ей не под утро, а накануне, поздно вечером.

Лиза указала в рапорте на имя Трилиссера, что Блюмкин звонил ей «вечером, часов в 11». Об этом звонке она сразу же доложила начальству. Блюмкин просил ее с ним встретиться, говорил, что ему тяжело погибать от своих же товарищей и что он решил на время исчезнуть, чтобы всё обдумать. Она согласилась.

Все же Блюмкина до последнего момента мучили сомнения. Судя по сохранившимся документам, он переживал не только из-за себя, но и за то дело, в которое вложил столько труда и нервов. Что будет с его резидентурой на Ближнем Востоке? Как сложатся после его побега судьбы ее сотрудников? Например, Ирины Великановой, которая под его личным влиянием решила попробовать себя на нелегальной работе? Не случайно несколько дней подряд Блюмкин писал большое письмо-исповедь на имя Трилиссера. Это 26-страничное послание на тетрадных листах в клеточку было приложено к его делу. Правда, как уже говорилось, сохранилось оно, начиная с девятой страницы.

В письме Блюмкин в оптимистических тонах обрисовал положение своей резидентуры на Ближнем Востоке. Если же Центр вдруг решит прикрыть «константинопольскую крышу», советовал сделать это с помощью Николая Шина, «героически преданного делу человека». Затем он перешел к финансовым делам, так как не успел представить Трилиссеру отчета о своих расходах. «Это обстоятельство, — писал Блюмкин, — может привести к чисто умозрительному заключению, почти неизбежному в обстановке подозрений, которые против меня вспыхнут, нет ли каких грехов по части денег… Если бы я был так чист и безупречен политически, *как я был в деньгах* (выделено Блюмкиным. — *Е. М.),* то совесть моя была бы спокойной».

Далее Блюмкин подробно описал, на что уходили деньги. Затем перешел к истории своей измены и связей с оппозицией. Фрагменты этой части письма не раз цитировались выше.

Он положил письмо в конверт, конверт — в пакет. Туда же — свой персидский паспорт, удостоверение сотрудника ОГПУ, другие документы. Все это он хотел оставить для чекистов, которые станут искать его после побега. Затем он отправился на встречу с Лизой.

Когда Блюмкин договаривался о встрече с Лизой Горской, он, похоже, был уже настолько растерян и подавлен, что забыл

элементарные правила конспирации. Они встретились во дворе дома, где жил Фальк и в квартире которого находился чемодан с долларами. А может быть, Блюмкин действительно не мог представить, что Лиза его предаст?

Она начала снова его убеждать, чтобы он пошел к Трилиссеру. Это продолжалось минут двадцать. Блюмкин колебался, возражал. Говорил, что лучше всего для него сейчас — это скрыться на пару лет. «Уеду на юг, — возбужденно делился он с ней соображениями. — У меня созрел замечательный план». И решил немедленно ехать на вокзал. Лиза согласилась проводить его.

Блюмкин предложил ей вместе с ним зайти в квартиру Фалька «за вещами». Надо понимать, за чемоданом с деньгами, вряд ли его беспокоило в тот момент оставленное там кожаное пальто. «В квартиру я, по указанию т. Трилиссера, отказалась пойти», — сообщала в донесении Горская. К тому времени она уже знала, что за Блюмкиным вот-вот приедут чекисты. Тогда он, явно заподозрив неладное, решил ехать на вокзал без вещей. «Мы вышли на улицу, мне пришлось сесть с ним в машину, — докладывала Лиза, — (т. Трилиссер дал мне указание не делать этого, но наши товарищи опоздали, и я уже остановить его не могла). Приехали на какой-то вокзал, где я надеялась арестовать его с помощью агента ТО[67] ОГПУ или милиционера».

«Какой-то вокзал» был Казанским. Блюмкин хотел сесть на поезд до Ростова, но поезд отправлялся только утром. Даже в этом ему перестало везти! «Кончено, — сказал он. — Раз я не уехал сейчас, то катастрофа неизбежна. От расстрела мне, видно, не уйти». И ведь как в воду глядел.

А чекисты запаздывали. Георгий Агабеков утверждал, что решение об аресте Блюмкина принималось так срочно, что не могли даже найти людей для операции. «Дело было ночью, часа в два, — писал он в воспоминаниях. — Искали кого-нибудь из начальников секторов для назначения на операцию, но никого не нашли, за исключением Вани Ключарева. Его и послали с несколькими комиссарами». Этот самый Ключарев был, по словам Агабекова, кассиром Иностранного отдела ОГПУ и находился с ним в приятельских отношениях. Он обычно сидел в своей крохотной комнате, уставленной несгораемыми кассами, и что-то заносил в ведомость «размером с хорошую московскую жилплощадь».

Пока чекисты ехали, Горская уговаривала Блюмкина отправиться к ней домой и там подождать до утра. Только ли стремление дисциплинированного оперативного сотрудника задержать Блюмкина, чтобы он не скрылся, руководило ею? Или

вдруг желание еще несколько часов побыть с близким человеком, который ей доверился в самые тяжелые минуты своей жизни? Все-таки, думается, первое.

Блюмкин согласился поехать к ней домой. Они снова сели в машину. Он попросил все же заехать на Мясницкую за вещами. «На обратном пути с вокзала — на Мясницкую — наши товарищи встретили нас и задержали», — буднично описала Горская момент ареста Блюмкина.

В своем рапорте она опустила — безусловно, сознательно — кое-какие подробности. Они дошли до нас в устных рассказах об обстоятельствах ареста. Когда автомобиль с ними обогнала и заставила остановиться машина ОГПУ, Блюмкин якобы повернулся к ней и сказал: «Эх, Лиза, Лиза… Я ведь знаю, что ты меня предала. Ну, прощай!» По другой версии, его последние слова на свободе были совсем не такими литературными. «Лиза, ну ты и с…! — закричал Блюмкин, презрительно глядя на нее. — Ты же предала меня!»

Георгий Агабеков передал в своих воспоминаниях рассказ чекиста Ключарева, руководившего арестом: «Мы подъехали к квартире Блюмкина (наверное, все же к квартире Фалька на Мясницкой. — *Е. М.)* в час ночи. Я поднялся наверх один, но его не оказалось дома. Только я спустился вниз и вышел на улицу, смотрю, подъезжает такси, в котором сидели Блюмкин и Лиза Горская. Увидев нас, Блюмкин сразу догадался, в чем дело, ибо не успели мы подойти к его машине, как она уже повернула и умчалась. Мы вскочили в нашу машину и за ними. Такси неслось по пустынным улицам, как дьявол, но ты же знаешь наши машины. У Петровского парка мы их нагнали. Видя, что им не уйти, Блюмкин остановил машину, вышел и кричит нам: „Товарищи, не стреляйте, сдаюсь! Ваня, отвези меня к Трилиссеру…“ Потом Блюмкин повернулся к такси, где продолжала сидеть Горская, и сказал: „Ну, прощай, Лиза, я ведь знаю, что это ты меня предала“. Это все, что сказал он… Да, хороший был парень Яша, а пропал ни за что».

По другой версии, чекистам вообще не пришлось работать. Когда подъехала их машина, Блюмкин сразу все понял, сел в нее и скомандовал водителю: «В ОГПУ!» Почти всю дорогу он курил и молчал. Может быть, вспоминал посвященные ему стихи Шершеневича. Как ведь точно он сказал:

> А мне бы только любви немножечко,
> Да десятка два папирос.

Когда уже подъезжали к Лубянке, Блюмкин произнес: «Как же

я устал».

* * *

На следующее утро по зданию на Лубянке поползли невероятные слухи. «У меня от изумления отнялся язык, — вспоминал Агабеков. — Арестован Блюмкин, любимец самого Феликса Дзержинского. Убийца германского посла в Москве графа Мирбаха. Ведь еще два месяца тому назад, когда Блюмкин вернулся из своей нелегальной поездки по Ближнему Востоку, он был приглашен на обед самим Менжинским. А теперь он сидит в подвале ГПУ. Еще недавно его имя было помещено в новой советской Энциклопедии, — да что там, всего пару дней тому назад во время чистки партии Трилиссер его рекомендовал как преданного и лучшего чекиста. Его мнением о положении на Востоке интересовались Молотов, тогда бывший главой Коминтерна, и Мануильский… А теперь он в тюрьме. Казалось невероятным».

Но формально Блюмкин еще не был арестован. В это время он сидел не в подвале и не в тюрьме, а в комендатуре ОГПУ, на положении задержанного. Арестовали его только 31 октября. В его деле № 86441 хранится ордер № 744, «выданный сотруднику Оперативного отдела ОГПУ тов. Соловьеву на производство ареста т. Блюмкина Якова Григорьевича, находящегося в комендатуре ОГПУ». Ордер подписал заместитель председателя ОГПУ Ягода. В тот же день Блюмкина перевели во внутреннюю тюрьму ОГПУ. Там он первым делом заполнил анкету арестованного, сообщив о себе основные биографические данные.

Однако допросы Блюмкина начались гораздо раньше его формального ареста. Уже 19 октября его допрашивал Яков Агранов — тогда еще заместитель начальника Секретного отдела ОГПУ, ставший через неделю его руководителем. Агранов был известен тем, что при первой же встрече предлагал подследственному самому написать свои показания в свободной форме. Что-то вроде «исповеди на заданную тему». Это был его «фирменный метод». Часто он срабатывал гораздо эффективнее, чем допросы и угрозы. Человек начинал в письменных показаниях осмысливать свое прошлое, анализировать поступки и ошибки и тем самым давал чекистам богатейший материал, который можно было интерпретировать как угодно. А потом и предъявить подследственному собственноручно написанное следователем «признание».

С Блюмкиным Агранов поступил так же. Но Блюмкин сам

охотно пошел навстречу. Он, вероятно, считал, что зафиксированный на бумаге его путь терзаний, колебаний и сомнений позволит руководителям ОГПУ лучше понять, что творилось в его душе. И, возможно, даже простить. Ведь при всех своих прегрешениях Блюмкин — а он в это горячо верил сам — всегда сражался за революцию, за коммунизм.

Агранов беседовал с Блюмкиным шесть дней. Его показания составили 35 страниц машинописного текста. Агранов передал их в камеру Блюмкина с запиской: «Прошу В<ас> проредактировать стенограмму и вернуть мне в конверте сегодня к вечеру. Я. Агранов». И Блюмкин усердно вычитывал стенограмму, делал правки, замечания. Он даже составил список поправок с указанием страниц и строк и попросил указаний, что ему делать с двумя последними страницами, которые показались ему не очень важными. Похоже, он еще на что-то действительно надеялся.

«Я прошу партию и ОГПУ оказать мне… доверие». Последние надежды

Блюмкин полностью капитулировал в первые же дни своего пребывания за решеткой. К тому времени, когда его арестовали формально, он уже был готов на всё. И порвать с оппозицией, и бороться с ней. Троцкий потом будет писать, что признание Блюмкиным своей вины сфальсифицировано Сталиным, но вряд ли это так. Он действительно был раздавлен и просил только об одном — поверить ему.

«Я прошу партию и ОГПУ оказать мне… доверие, — писал Блюмкин в заявлении, адресованном ЦК и ЦКК ВКП(б). — Единственная гарантия, которую я могу дать при этом, состоит в том, что я постараюсь это доверие оправдать на деле, в еще большей степени, чем это делал, идя от левых эсеров к большевизму… Я убежденно заявляю, что теперь принадлежу партии с головы до ног и что в той борьбе, которая ей предстоит, в дьявольски сложных и трудных условиях, в борьбе за генеральную линию, которую придется с кровью вырывать у капиталистических элементов города и деревни, за подготовку, организацию и развитие международной революции, за защиту СССР, партия может мною располагать без остатка как дисциплинированным членом партии. Я не только полностью, по всем пунктам, разрываю с оппозицией, но готов по первому приказанию партии в той форме, в какой она сочтет это нужным, по мере сил своих вести активную борьбу против этой оппозиции».

Он тесно сотрудничал со следствием и по профессиональным вопросам. Руководство ОГПУ теперь опасалось, что резидентура в Константинополе «заражена троцкизмом» и решило ликвидировать ее. Агранов попросил Блюмкина написать письмо Николаю Шину с указанием «ликвидировать контору» и выехать в Москву. Но так, чтобы он не догадался о том, что Блюмкин арестован.

Блюмкин энергично взялся за письмо. Написал он его 22 октября.

«Здравствуй, Колюшка!

Ты, вероятно, недоумеваешь (а заодно поругиваешь меня) по поводу того, что, рассчитывая пробыть в Москве одну-две недели, я задержался здесь на целых два месяца. Для меня самого это явилось неожиданностью. Но такова сложная природа нашей работы. В одном из западных пунктов, на котором, в частности,

базировалась наша константинопольская лавочка, у нас произошло неожиданное осложнение, и понадобилось ждать выяснения этого столько времени… Первый вывод, к которому после долгих обсуждений… с моим высоким начальством мы, наконец, пришли, — это свернуть нашу лавочку в Константинополе, как базу нашей работы, и перенести ее в другой пункт.

Короче говоря, Колюшка, немедленно с получением сего приступай к ликвидации. Сделай это очень спокойно и выдержанно — никакой, решительно никакой опасности нет.

Распусти слух, увязанный, разумеется, со всем, что ты говорил ранее по поводу моего отсутствия или отъезда, что ввиду явной невыгодности предприятия именно в Константинополе, патрон, занятый другими операциями, распорядился ликвидировать контору…»

Далее Блюмкин предписывал Шину выезжать в Одессу нелегально, «чтобы не пачкать паспорт советской визой». Он уверял, что с большим трудом убедил свое начальство разрешить Шину приехать в СССР. Якобы сначала его хотели перебросить на другое место работы прямо из Константинополя, но он, Блюмкин, чуть ли не поругался с руководством и «выбил» разрешение на его приезд в Советский Союз. «Стоишь ты этого?» — с пафосом спрашивал он. «Если я смогу, то приеду в Одессу тебя встретить, хотя очень занят подготовкой нашей работы в другом пункте, — обещал Блюмкин. — Мне очень хочется, чтобы мы встретились именно в Одессе, городе нашего детства».

В постскриптуме Блюмкин просил Шина привезти ему пару замшевых перчаток, так как свои он потерял, писал, что мечтает сразиться с «маэстро Шином» в шахматы.

Это письмо — чистейший обман — написано так, что комар носа не подточит. Письмо отправили в Константинополь, где резидент ОГПУ Эйтингон (Наумов) передал его Шину. Соответствующее послание Блюмкин сочинил также Ирине Великановой. Он предписал ей срочно выехать в Москву якобы для замены паспорта.

Место Блюмкина в Константинополе занял Георгий Агабеков. Вообще-то он должен был ехать в Индию, но вскоре после ареста Блюмкина его вызвал к себе Трилиссер. В мемуарах Агабеков описал их разговор:

«Вот что, тов. Агабеков, — встретил меня Трилиссер, который на этот раз был в явно удрученном состоянии. — Вам придется отказаться от поездки в Индию. Вы, наверно, знаете уже, что случилось с Блюмкиным. Созданная им на Ближнем Востоке организация осталась теперь без руководства. Вам нужно

немедленно выехать в Константинополь и принять нелегальную резидентуру. Посмотрите, кого из тамошних работников нужно снять и кого оставить…

О задачах ваших я много говорить не буду, — продолжал он, — вы их должны знать, руководя сектором. В данный момент нас очень интересуют палестинские события. Столкновения между евреями и арабами должны дать интересные для нас результаты, ибо английское правительство должно будет принять чью-либо сторону, благодаря чему будет иметься в наличии обиженная сторона, которую легко будет нам использовать против Англии. Палестина же важна как стратегический пункт, так как в случае столкновения с Англией дезорганизация морского движения через Красное море значительно поможет нам. Но в своей работе помните, что основная задача вашей работы должна заключаться в таком ее построении, чтобы аппарат мог действовать во время войны. Ну вот, я думаю, что это все. А с Индией подождем, пока не наладится работа в этих странах. Это со временем облегчит проникновение в Индию. Наконец, помните, что я возлагаю на вас большие надежды и будьте осторожны в работе.

В это время вошел в кабинет секретарь Трилиссера и доложил, что из внутренней тюрьмы передают о просьбе Блюмкина, желающего поговорить с ним.

— О чем мы еще можем говорить? Передайте, что мне сейчас некогда, — ответил Трилиссер.

— Да, кстати, вот записка Блюмкина о положении нашей агентуры. Ознакомьтесь и верните мне, — обратился опять ко мне Трилиссер. — Итак, постарайтесь на будущей неделе выехать, — протянул он мне руку, и я оставил кабинет».

Агабеков сообщает также в мемуарах, что переданная ему докладная записка Блюмкина начиналась с 27-й страницы и с таких слов: «Теперь, закончив с политической стороной дела, перехожу к работе ГПУ, которую я, несмотря на мои сомнения, выполнял честно и добросовестно. (Ах, если бы мое партийное лицо было так же чисто, как моя работа по линии ГПУ)». Дата, проставленная на записке, — 8 октября, то есть за неделю до ареста Блюмкина. «Меня, так же как и всех остальных товарищей, очень интересовало, что писал Блюмкин в первых 27 страницах, — пишет Агабеков. — Мы видели из остального текста, что там было признание, раскаяние, но в чем, в какой форме, мы так и не узнали, несмотря на то, что были пущены в ход все связи. Никто из нас в ГПУ не видел этих страниц. Они, вероятно, были сразу переданы в Политбюро Сталину, где в это время решалась судьба Блюмкина».

Парадокс в том, что в деле Блюмкина, как уже говорилось, осталась, судя по всему, именно первая часть его докладной — с 9-й по 26-ю страницу. В ней бывший «бесстрашный террорист» признавался и каялся. А вот где та часть, которая начиналась с 27-й страницы и которую читал Агабеков (если он ничего не перепутал), — неизвестно. Так же неизвестно, куда делись первые восемь страниц этой «исповеди».

* * *

Блюмкин так и не узнал, что Агабеков сменил его в Константинополе. Также не узнал он и того, что случилось с людьми из его резидентуры. В камере тюрьмы на Лубянке время для него уже остановилось. Но сам он, кажется, не осознавал этого до самых последних минут.

Он, конечно, понимал, что окончательное решение о его судьбе будут принимать не на Лубянке, а в ЦК, Политбюро или, возможно, и сам Сталин. От этих людей, руководителей партии и государства, будет зависеть, останется он жить или нет. Главное — чтобы они поняли все те причины, которые заставили его связаться с оппозицией, и то, что в ходе своих метаний и сомнений он окончательно переродился и теперь «полностью предан партии».

Он не ошибался. 21 октября Ягода и Агранов действительно направили Сталину отредактированную самим Блюмкиным (!) стенограмму его же показаний. Сталин внимательно прочитал их, судя по оставленным пометкам. На экземпляре стенограммы, хранящемся в Архиве Президента Российской Федерации, многие места подчеркнуты карандашом. Особое внимание Сталин обратил на блюмкинский пассаж, который уже упоминался выше:

«Вообще во мне совершенно параллельно уживались чисто деловая преданность к тому делу, которое мне было поручено, с моими личными колебаниями между троцкистской оппозицией и партией. Мне кажется, что психологически допустимо, и это является объективным залогом моей искренности, когда я это говорю».

Сталин отчеркнул его двумя чертами на полях и оставил рядом комментарий: «Ха-ха-ха!»

Двадцать четвертого октября Сталин распорядился переслать копии стенограммы показаний Блюмкина членам и кандидатам в члены Политбюро.

А 28 октября 1929 года Блюмкин составил заявление в ЦК и ЦКК ВКП(б). «Я хочу, чтобы партия и ОГПУ, когда они будут

решать вопрос о моей партийной судьбе, чтобы они видели мой путь, — среди прочего писал он, — чтобы они видели, что я могу быть полезен, что я не должен быть потерян как работник для партии и Советской власти, и чтобы решали вопрос обо мне по совокупности… Даже и с этой моей ошибкой, я сейчас более надежен как революционер, чем многие и многие члены партии. Вся моя жизнь — тому доказательство».

Копии этого заявления он просил передать Ягоде, Трилиссеру и Агранову. Однако оригинал заявления остался в следственном деле Блюмкина. Возможно, что оно так и не попало в ЦК.

Допросы Блюмкина продолжались до ноября. 31 октября Агранов просил его дать дополнительные показания о встречах с Радеком и Смилгой. В тот же день Блюмкин написал Агранову записку: «Меня очень волнует, Яков Саулович, решение обо мне как члене партии». Как будто это было самое страшное, что его могло ожидать.

«„Живой“ — помер»

Первого ноября Блюмкину предъявили официальное обвинение в «оказании содействия антисоветской организации, организационных связях с руководителями ее, высланными за пределы СССР, в измене Советской власти и пролетарской революции».

Обвинение было тяжелым. Согласно Уголовному кодексу РСФСР в редакции 1926 года оно квалифицировалось по статье 58, пункт 4:

«Оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической системе, стремится к ее свержению, а равно находящимся под влиянием или непосредственно организованным этой буржуазией общественным группам и организациям в осуществлении враждебной против СССР деятельности, влечет за собой лишение свободы не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела или объявления врагом трудящихся, с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства СССР и изгнанием из пределов СССР навсегда, с конфискацией имущества».

И по статье 58, пункт 10:

«Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву, ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений… а равно распространение, изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собою лишение свободы не ниже шести месяцев…»

В тот же день Блюмкин написал показания «О поведении в кругу литературных друзей». А на следующий изложил на десяти страницах последнюю в жизни автобиографию. Зачем и для кого — непонятно. Может быть, это была его последняя надежда. Вдруг «там» прочитают ее и все-таки осознают, какого человека им приходится судить.

«Мои колебания всегда шли справа налево, всегда в пределах советского максимализма, — уверял он. — Они никогда не шли направо. На фоне моей жизни это показательно.

Имею 4 огнестрельных и два холодных ранения.

Имею три боевые награды[68]. Состою почетным курсантом Тифлисской Окружной Пограничной школы ОГПУ и почетным

красноармейцем 8-го полка Войск ОГПУ (в Тифлисе)».

Он вздохнул и отложил перо. Автобиография была закончена. Впрочем, нет. Он снова обмакнул перо в чернила и дописал внизу: «2 ноября 1929 года». Вот теперь всё.

Третьего ноября дело по обвинению Якова Блюмкина рассматривалось на судебном заседании коллегии ОГПУ. К обычному судебному процессу оно, конечно, не имело никакого отношения. Неизвестно даже, присутствовал ли на этом заседании сам обвиняемый. Во всяком случае, никаких следов этого в его деле нет. А есть только выписка из протокола заседания.

«Слушали: дело № 86441 по обвинению гр. Блюмкина Якова Григорьевича по 58/10 и 58/4 ст. УК. Дело рассматривалось в порядке постановления През. ЦИК СССР от 9/6 27 г.

Постановили: за повторную измену делу Пролетарской революции и Советской Власти и за измену революц. чекистской армии Блюмкина Якова Григорьевича РАССТРЕЛЯТЬ. Дело сдать в архив…»

Впрочем, при голосовании мнения членов коллегии ОГПУ разделились. За расстрел высказались Ягода, Агранов, Паукер, Молчанов и др. Против — Трилиссер, Артузов, Берзин. Многое, наверное, мог бы определить голос председателя ОГПУ Менжинского, но он на заседании отсутствовал. Официальная причина — был болен. Возможно, что и так.

Приговор коллегии ОГПУ не был окончательным. Его предстояло утвердить еще в Политбюро. 5 ноября Политбюро приняло соответствующее постановление. Оно так и называлось — «О Блюмкине». В нем — три пункта.

«а) Поставить на вид ОГПУ, что оно не сумело в свое время открыть и ликвидировать изменческую антисоветскую работу Блюмкина.

б) Блюмкина расстрелять.

в) Поручить ОГПУ установить точно характер поведения Горской».

С Горской, впрочем, всё обошлось благополучно. А Блюмкина расстреляли.

* * *

В февральско-мартовском номере «Бюллетеня оппозиции» Троцкого за 1930 год было напечатано письмо из СССР под заголовком «Как и за что Сталин расстрелял Блюмкина?». Автор — сторонник Троцкого — подписался анонимно: «Ваш Н.». Он

рассказал, что по официальной версии «Блюмкин „покаялся“, явился в ГПУ и сдал привезенное письмо т. Троцкого. Мало того: он сам будто бы требовал, чтоб его расстреляли (буквально!). После этого Сталин решил „уважить“ его просьбу и приказал Менжинскому и Ягоде расстрелять Блюмкина».

Анонимный корреспондент «Бюллетеня…» отмечал, что «лживость» этой версии «бьет в глаза»: «Если б т. Блюмкин „покаялся“, то ГПУ, конечно, не торопилось бы удовлетворить „просьбу“ Блюмкина о расстреле его, а использовало бы его самого для совсем других целей: ведь случай был совсем исключительный. Нет никакого сомнения, что такая попытка была действительно сделана со стороны ГПУ и натолкнулась на сопротивление Блюмкина. Тогда Сталин приказал расстрелять его». А когда «по партии пошел тревожный шепот», была запущена версия о его «покаянии».

На первый взгляд автор письма рассуждает логично, хотя, как мы знаем из показаний самого Блюмкина, он действительно во многом покаялся. Однако Блюмкина и правда расстреляли подозрительно поспешно — прямо накануне октябрьских праздников. Еще тогда, в 1929 году, среди рядовых коммунистов ходили «разговоры вполголоса»: а за что же все-таки его расстреляли? Только за то, что он встретился с Троцким?.. Что-то здесь не так.

Слухи о том, что якобы на самом деле было причиной казни Блюмкина, стали появляться уже через несколько месяцев после нее. Некоторые вопросы остаются и сегодня.

Самый странный момент в эпизоде ареста Блюмкина — это его чемодан, набитый долларами и рублями. В доступных нам материалах дела не разъясняется, откуда он взялся и куда потом делся. О чемодане вообще говорится только в доносе Левина, а Блюмкин в своей «исповеди» о нем почему-то не упомянул. По идее, чекисты должны были составить протокол обыска Блюмкина и опись обнаруженных у него вещей и уж точно пересчитать найденные в чемодане деньги. Но в известных нам документах ничего этого нет.

Может быть, об этих таинственных деньгах «письменно» не упоминалось по обоюдной договоренности Блюмкина и Агранова?

Финансовая тема то и дело всплывала в разговорах Троцкого, Блюмкина и других оппозиционеров летом — осенью 1929 года. Троцкий, как помним, говорил, что ему нужно как минимум пять миллионов рублей для организации сети своих сторонников в СССР, а Блюмкин Пломперу предлагал устроить «экс» какого-нибудь банка или организовать растрату с помощью «советского

служащего», близкого оппозиции. Судя по всему, все эти разговоры потом расценили как ничего не значащий, хотя и опасный «треп» Блюмкина.

А если все это было не так? Если Блюмкин сумел осуществить свою идею и кто-то из симпатизирующих оппозиции «советских служащих» действительно организовал растрату в пользу Троцкого?

Вполне вероятно, что «чемодан денег» Блюмкин мог получить на своей работе — в ОГПУ. Для чего? Хотя бы для дальнейшей работы своей резидентуры и ее «крыши» — коммерческой конторы в Константинополе. Но выдать деньги ему могли лишь с согласия руководства Лубянки. Получалась несколько двусмысленная ситуация: Блюмкин уже под подозрением, а с разрешения начальства (Менжинского, Ягоды и Трилиссера) ему выдают большую сумму денег.

Если бы эта история всплыла, то у товарища Сталина наверняка возник бы вопрос: а знали ли товарищи чекисты, что провокатор Блюмкин собирается бежать к Троцкому с деньгами, которые они же ему и выдали? А если не знали, то почему не предусмотрели? А может быть, как раз потому и выдали, чтобы наладить тайную связь с Троцким?

Оправдываться за деньги перед Сталиным пришлось бы всему руководству ОГПУ. И вполне возможно, что Агранов или Трилиссер могли уговорить Блюмкина не упоминать об этой истории в показаниях, а взамен обещали «похлопотать» за него. Блюмкин на это купился.

Правда, это все равно не спасло ни Трилиссера, ни Ягоду. Менжинскому повезло больше — он умер сам в мае 1934 года.

Существует и еще одна, более эксцентричная версия «истинных причин расстрела Блюмкина». Юлий Лабас, со ссылкой на мать, Раису Идельсон, пересказывает разговоры Блюмкина на квартире у Фалька накануне ареста:

«Войдя, Блюмкин сбивчиво рассказал о том, что привез какие-то троцкистские инструкции: обращение к оппозиции и что некий майор Штейн, подчиненный командарма Тухачевского, роясь в архивах царской охранки, наткнулся на очень странную бумагу. Некто из членов ЦК большевистской партии настрочил в полицию донос на другого члена ЦК, депутата Думы и в то же время провокатора Малиновского. Что-де тот фактически занимается антигосударственной деятельностью и плохо справляется со своими прямыми (провокаторскими?!) обязанностями. Автором доноса в охранку (подпись, если не ошибаюсь, „Фикус“), по всем признакам, был не кто иной, как сам Коба, он же Иосиф Виссарионович Джугашвили!

Блюмкин все сгоряча выболтал дружку — Карлу Радеку (поляки его звали Карл Крадек, по-польски „Карл-вор“) и собрался было по своим бумагам разведчика тотчас улететь на аэроплане обратно в Турцию, чтобы там передать фотокопию находки Льву Давидовичу Троцкому, пребывавшему тогда то ли в Стамбуле, то ли на Принцевых островах. „Если доверенные мне документы попадут к Троцкому, здесь власть перевернется!“ Радек, однако, немедленно заложил Блюмкина, и теперь все пропало…»

Версии о существовавших папках с компроматом на Сталина ходят уже давно. Американский журналист Роман Бракман, к примеру, считает, что эту папку Блюмкину передал один из сотрудников Дзержинского, нашедший ее в кабинете «железного Феликса» после его смерти. А к Дзержинскому она якобы попала после разбора царских архивов. В своей книге «Секретная папка Иосифа Сталина. Скрытая жизнь» (М., 2004) Бракман пытается обосновать гипотезу, будто репрессии в СССР были связаны с этой папкой — Сталин якобы стремился скрыть следы своего предательства, уничтожая документы и людей, которые могли знать о компромате на него, и Блюмкин был среди них.

Такая вот история. Серьезно анализировать ее не имеет смысла. На тему предполагаемого сотрудничества Сталина с охранкой написано немало работ, но большинство историков сходятся во мнении, что никаких серьезных подтверждений этой версии нет.

* * *

Говорят, что когда Блюмкину объявили о приговоре, он лишь спросил: «А о том, что меня сегодня расстреляют, будет завтра опубликовано в „Правде“ или в „Известиях“?»

Если бы попавшие на «тот свет» люди могли видеть, что происходит после них на Земле, Блюмкин наверняка был бы недоволен. О его расстреле советская печать не сказала ни слова. Зато 7 ноября 1929 года, в день двенадцатилетия Октябрьской революции, в «Правде» появилась статья товарища Сталина «Год великого перелома: к XII годовщине Октября». Сталин провозгласил окончательный отказ от политики нэпа и обозначил «новый курс» — ускоренной индустриализации в промышленности и коллективизации в сельском хозяйстве.

Впрочем, Надежда Мандельштам вспоминала, что они с Осипом узнали о расстреле Блюмкина в Армении — «на всех столбах и стенах расклеили эту весть… Вернулись в гостиницу

потрясенные, убитые, больные… Этого… вынести не могли». Но это — единственное свидетельство того, что о казни Блюмкина сообщили публично — хотя бы в виде листовок. В Москве эту новость сообщили только сотрудникам ОГПУ.

Пятого ноября ОГПУ издало приказ, в котором говорилось, что в сложное для Советской республики время Блюмкин «позорно изменил пролетарской революции, ленинской партии и всей революционно-пролетарской чекистской армии, причем изменил повторно». В первый раз его измена заключалась в том, что он участвовал в убийстве Мирбаха «с целью втянуть Республику Советов в новую войну с германским империализмом».

В приказе говорилось, что ОГПУ «никогда еще не имело в рядах стальной чекистской когорты такого неслыханного предательства и измены, тем более подлой, что она носит повторный характер». Далее отмечалось, что Блюмкин приговорен к расстрелу и приговор приведен в исполнение.

Троцкий в своем «Бюллетене оппозиции» писал, что «только узкие партийные круги знают о расправе Сталина над Блюмкиным» и что «из этих кругов систематически распространяются слухи о том, будто Блюмкин покончил жизнь самоубийством. Таким образом, Сталин не смеет до сих пор признать открыто, что расстрелял „контрреволюционера“ Блюмкина…».

Троцкий преувеличивал — особых слухов о «самоубийстве» Блюмкина не было, а вот слухи о его расстреле по Москве распространились быстро:

«В Константинополе я получил извещение, что Блюмкин расстрелян… Весть пришла в таком виде: „‘Живой’ — помер“, а вслед за тем пришли и подробности», — писал Георгий Агабеков. Это произошло уже в декабре.

«Казус Блюмкина» привел к заметным перестановкам в руководстве ОГПУ. Люди, которые работали с «провокатором» или, тем более, поддерживали его, были переведены на другие места службы. Трилиссер стал заместителем наркома Рабоче-крестьянской инспекции, куратор Блюмкина Сергей Вележев, он же «Жан» — начальником Главного управления пограничной охраны и войск ОГПУ. Специальная комиссия долго работала в Иностранном отделе.

После того как Блюмкин написал письма сотрудникам своей резидентуры с указаниями поскорее выехать в Москву, и Николай Шин, и Ирина Великанова были нелегально переправлены в СССР. Ирина оказалась в Москве, когда Блюмкина уже не было в живых. 14 ноября 1929 года ее допросил следователь ОГПУ, и ей

пришлось рассказывать о том, как она познакомилась с Блюмкиным и как с его помощью поступила на службу в Иностранный отдел.

После ареста Блюмкина под подозрением оказались также супруги Штивельман («Прыгун» и «Двойка»), которые находились на нелегальной работе в Бейруте. Они держали комиссионную контору на улице Арембо и осуществляли связь между палестинской агентурой и советской разведкой в Константинополе. На всякий случай их тоже отозвали в Москву. Этим занимался Агабеков, который признавался, что сделано это «ради осторожности».

Таким образом, арест Блюмкина привел к тому, что все усилия, затраченные на создание советской разведывательной сети на Ближнем Востоке, пропали зря. Резидентура «Живого» (Блюмкина) перестала существовать, следы Шина, Великановой и супругов Штивельман теряются.

Георгий Агабеков проработал резидентом в Константинополе недолго. В 1930 году он бежал во Францию и потом, говорят, всегда опасался, что его постигнет судьба Блюмкина. В конце концов это и произошло. По одной из версий, Агабекова «ликвидировали» где-то в районе франко-испанской границы, а его тело так и не обнаружили.

Расстрел Блюмкина произвел на рядовых чекистов и коммунистов тягостное впечатление. Это был, наверное, один из самых первых случаев, когда члена партии, разведчика, чекиста и, в общем-то, несмотря на его ошибки, заслуженного перед революцией человека расстреляли. Многим этот расстрел тогда показался предвестником наступающих суровых времен. Когда, как сказал перед казнью Дантон, «революция начнет пожирать своих детей».

Троцкий узнал о расстреле Блюмкина в начале 1930 года из сообщения выходящей в Париже русской эмигрантской газеты «Последние новости». Свои соображения об этом он высказал в «Бюллетене оппозиции»: «Такой факт мог иметь место только потому, что ГПУ *стало чисто личным органом Сталина* (выделено Троцким. — *Е. М.)* — <…> Помимо исключения из партии, лишения работы, обречения семьи на голод, заключения в тюрьму, высылок и ссылок Сталин пытается запугать оппозицию последним остающимся в его руках средством — расстрелом».

В 1936 году, анализируя первые показательные процессы в Москве, на которых к смертной казни были приговорены Зиновьев, Каменев и другие, Троцкий писал: «Не будем себе поэтому делать никаких иллюзий: самые острые блюда еще впереди!» И ведь угадал. Погибли и Петерс, и Лацис, и Трилиссер,

и Ягода, и Агранов, и Бокий, и многие другие чекисты. Погибли и дожившие до этого времени товарищи Блюмкина по партии левых эсеров, и лидеры бывших оппозиций в партии — и те, кто покаялся, и те, кто нет.

Но одним из первых среди энтузиастов революции «беспощадная машина большого террора» сожрала Блюмкина. Его личная трагедия, как и трагедия других, погибших в ее недрах «пламенных революционеров» заключалась в том, что они сами искренне и сознательно создавали эту «машину» и ничего не имели против, когда она пожирала их «политических врагов», и, разумеется, никто из них не ожидал, что сам когда-нибудь окажется в ее жерновах…

Что же, «Welcome To The Machine!» — «Добро пожаловать в машину!» — как споет через сорок с лишним лет группа *Pink Floyd.*

* * *

На обложке личного дела № 46 сотрудника ОГПУ Блюмкина Я. Г. имеется надпись: «Провокатор. Расстрелян 3 ноября 1929 г. на основании постановления коллегии ОГПУ». И здесь загадка — вряд ли приговор могли привести в исполнение до его утверждения в Политбюро, а это, как помним, произошло 5 ноября. Или же его расстрел провели задним числом? Вполне возможно.

К примеру, весьма информированный знакомый «неустрашимого террориста» — коминтерновец Виктор Серж утверждал, что после вынесения приговора Блюмкин потребовал и сумел добиться двухнедельной отсрочки исполнения приговора — в это время он писал мемуары.

Похоже, Серж все-таки заблуждался. «Мемуары», то есть свои пространные показания и автобиографию, Блюмкин, как видно из его дела, написал до приговора. Возможно, конечно, что потом он написал еще что-то. Но что и где это находится сейчас?

О последних минутах Якова Блюмкина сохранились рассказы, правдивость которых уже не установить.

Вскоре после того, как Блюмкину объявили смертный приговор, в камеру вошли надзиратели и повели его в подвал. Перед тем как прозвучал залп, он успел прокричать: «Да здравствует революция!», по другим рассказам: «Стреляйте, ребята, в мировую революцию! Да здравствует Троцкий!» А затем хриплым голосом запел:

Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов!

Яков Агранов потом рассказывал Анатолию Мариенгофу, что «бесстрашный террорист» и умер «под пение, вернее, хрипение „Интернационала“».

Он даже первый куплет допеть не успел.

* * *

За прошедшие девяносто с лишним лет Денежный переулок в Москве сильно изменился. Сначала его переименовали в улицу Веснина, потом, уже в 1990-х, вернули прежнее название. У особняка бывшей германской миссии, ныне — посольства Италии, теперь стоят дорогие автомобили, в доме, где жили Блюмкин и Луначарский, — фитнес-клуб, тут же рестораны, кафе… Но вечером, когда Денежный затихает, кажется, будто тени обитателей этих мест и героев того времени по-прежнему бродят где-то поблизости.

Говорят, что писатель Валентин Катаев в 1920-е годы тоже встречался с Блюмкиным где-то в этих местах. И Блюмкин, питавший слабость к литературе, человек весьма тщеславный, якобы попросил Катаева когда-нибудь написать и о нем — если получится, конечно. У Катаева получилось.

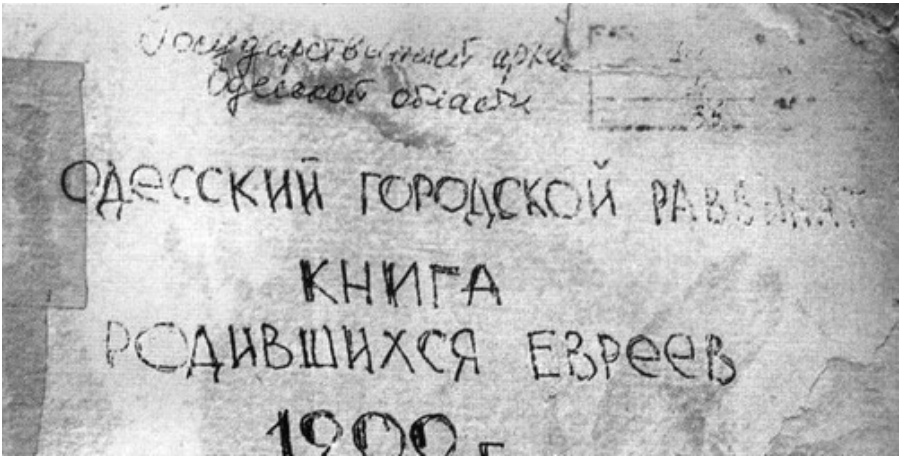
В 1979 году, ровно через 50 лет после расстрела Блюмкина, в журнале «Новый мир» вышла катаевская повесть «Уже написан Вертер», в которой Яков Блюмкин был выведен в образе чекиста Наума Бесстрашного, утверждавшего с другими комиссарами в кожанках и с маузерами на боку царство всеобщей справедливости на чужой и своей крови.

Катаев назвал повесть словами из стихотворения Бориса Пастернака и завершил ее строками того же поэта:

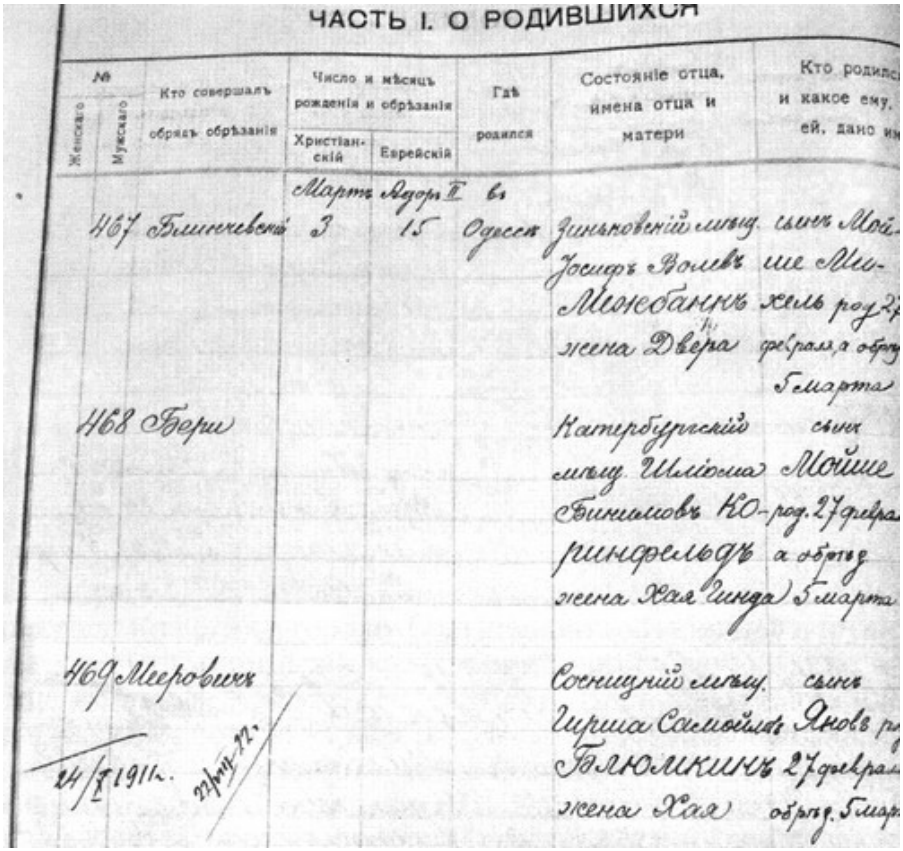
Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.

Возможно, это самый точный эпиграф ко всей короткой жизни Якова Григорьевича Блюмкина с его захватывающими и трагическими «приключениями», да и ко всей той эпохе.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Обложка «Книги родившихся евреев 1900 г.» Одесского городского раввината. Государственный архив Одесской области. Публикуется впервые



ЧАСТЬ I. О РОДИВШИХСЯ

№ Женского	№ Мужского	Кто совершалъ обрядъ обрѣзанія	Число и мѣсяцъ рожденія и обрѣзанія: Христіанскій	Число и мѣсяцъ рожденія и обрѣзанія: Еврейскій	Гдѣ родился	Состояніе отца, имена отца и матери	Кто родился и какое ему, ей, дано им
			Марта	Адара II	6		
	467	Блинчевскій	3	15	Одесса	Зиньковскій мѣщ. сынъ Мойш Іосифъ Волфъ ше Мин- Мюсбанкъ хель род 27 жена Двера февраля, а обр 5 марта
	468	Бери				Катербургскій сынъ мѣщ. Шліома Мойше Биналовъ КО- род. 27 февра риндфельдъ а обрѣз жена Хая Гинда) 5 марта
	469	Меерович				Сосницкій мѣщ. сынъ Гирша Самойлъ Яковъ р Блюмкинъ 27 февра жена Хая обрѣз. 5 мар

24/II 1911г. 22 Нис 72.

Выписка из «Книги родившихся евреев…» о рождении 27 февраля 1900 года сына Якова у Гирша Самойловича и Хаи Блюмкиных. Государственный архив Одесской области. Публикуется впервые

Вид Александровского проспекта с птичьего полета. Одесса. Начало XX в. Открытка

Один из первых трамваев в Одессе. Вид на Строгановский мост. Одесса. Начало XX в. Открытка

Здание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) в 1918 году. Москва, Большая Лубянка, 11

Такой «Кольт-Браунинг М1911» (США) был выдан сотруднику ВЧК Якову Блюмкину 1 июня 1918 года

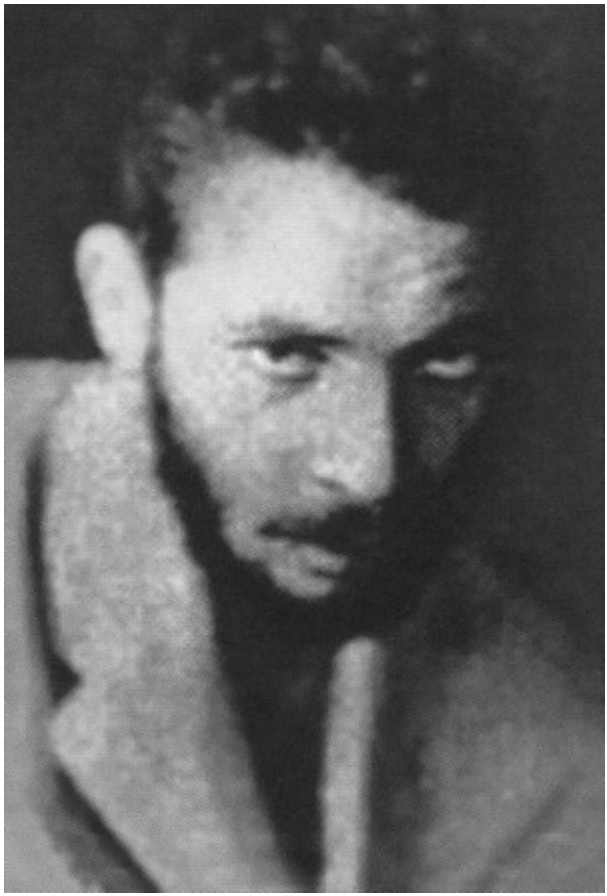
Левые эсеры — участники событий 6 июля 1918 года в Москве

Мария Спиридонова

Прош Прошьян

Борис Камков — член ЦК партии левых эсеров

Дмитрий Попов — командир Боевого отряда ВЧК



Яков Блюмкин. Около 1918 г.

Николай Андреев — участник убийства Вильгельма фон Мирбаха 6 июля 1918 года

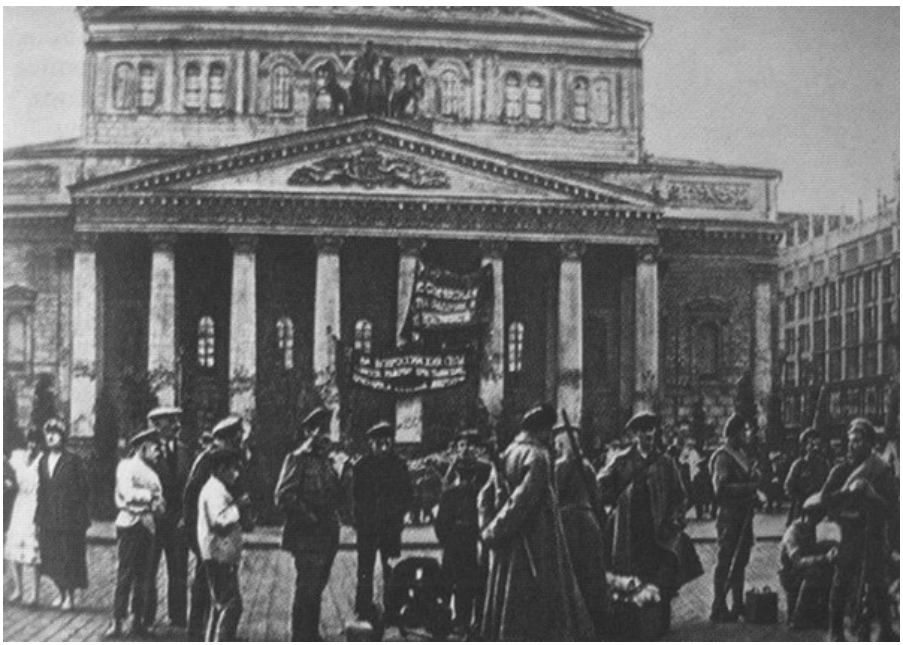
Посол Германии в Советской России Вильгельм фон Мирбах

Здание, где в 1918 году располагалось посольство Германии. Москва, Денежный переулок, 5. В настоящее время —

посольство Италии

Открытие V Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Москва, Большой театр. 4 июля 1918 г.

Владимир Ленин и его сестра Мария Ульянова спешат на заседание V Всероссийского съезда Советов. Москва. Июль 1918 г.

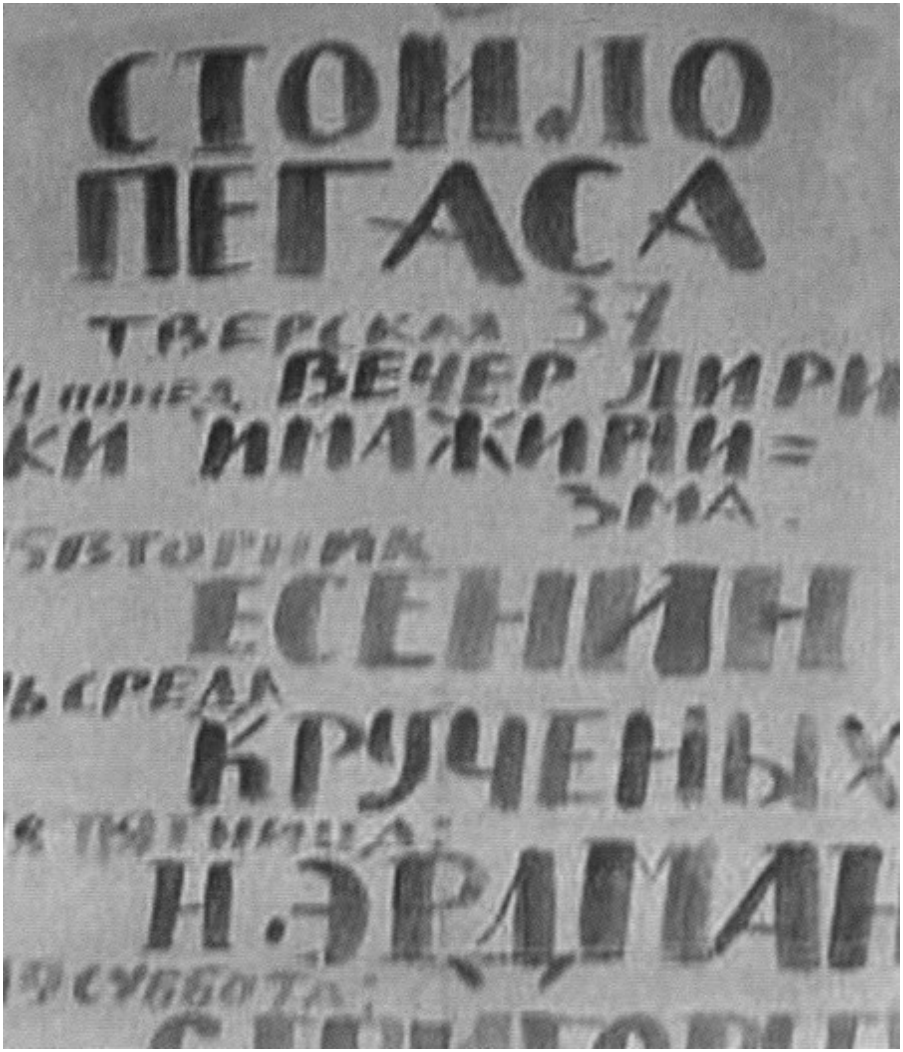


Латышские стрелки вокруг Большого театра, где идет V Всероссийский съезд Советов. Москва. 6–7 июля 1918 г.

Феликс Дзержинский и Иосиф Сталин. 1920-е гг.

Поэты-имажинисты, с кем приятельствовал Яков Блюмкин. Сидят: Вадим Шершеневич и Сергей Есенин; стоят: Фанни Шерешевская (знакомая Есенина), Анатолий Мариенгоф, Иван Грузинов. 1919 г.

Поэт Александр (Сандро) Кусиков, друг Я. Блюмкина

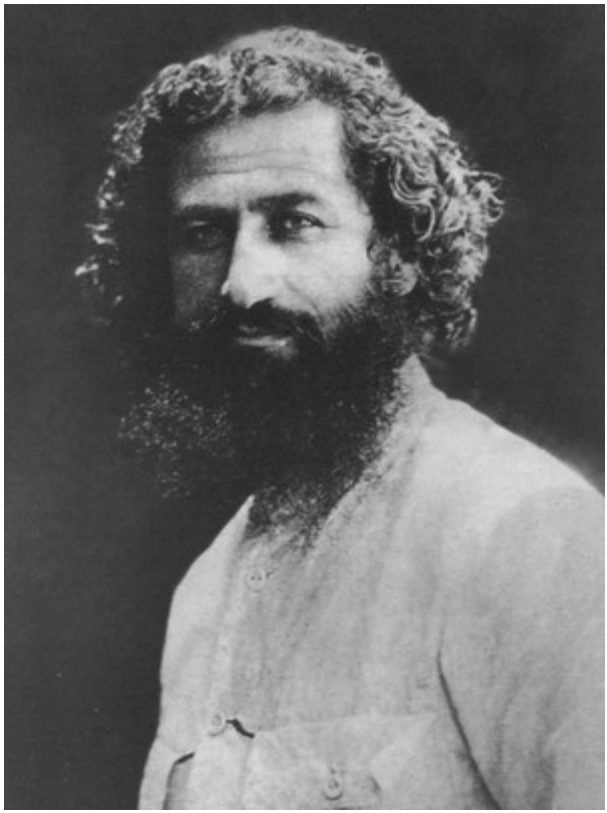


Афиша «Вечера лирики имажинизма» в кафе «Стойло Пегаса». Москва. 1920 г.

Павло Скоропадский, гетман Украины (29 апреля — 14 декабря 1918 года), принимает генерал-фельдмаршала Германа фон Эйхгорна, главнокомандующего германскими войсками на Украине. Киев. 1918 г.

Немецкие войска в Киеве. 1918 г.

Бойцы и командиры «Персидской Красной Армии». Персия. 1920 г.



Мирза Кучек-хан — персидский революционер, лидер антишахского восстания, первый руководитель «Гилянской Советской Республики». Персия

Григорий Зиновьев (в центре), председатель Исполкома Коминтерна, выступает в Баку во время работы Первого съезда народов Востока. Сентябрь 1920 г.

Лев Троцкий (на переднем плане), нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета Республики,

принимает парад частей Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Москва, Красная площадь. Начало 1920-х гг.

Лев Давидович среди сотрудников своего секретариата.

Наркомвоенмор Троцкий (сидит в центре) среди сотрудников своего секретариата; первый слева во втором ряду Яков Блюмкин (предположительно). Фото в тексте статьи «День Троцкого» Я. Сущевского (псевдоним Блюмкина). Журнал «Огонек», 1 апреля 1923 г.

«Лев Троцкий». Портрет работы Ю. Анненкова. 1923 г.

Яков Блюмкин. Около 1925 г.

Яков Блюмкин — сотрудник Иностранного отдела ОГПУ. Вторая половина 1920-х гг.

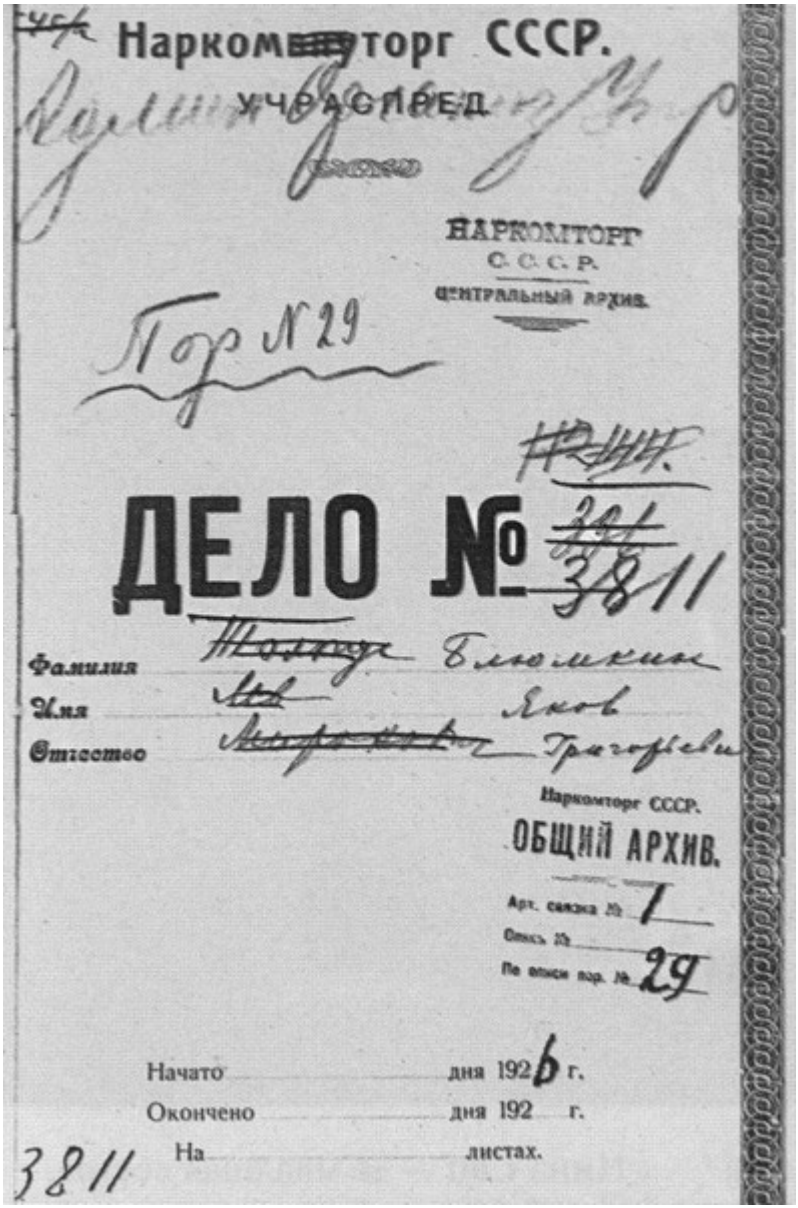
Татьяна Файнерман, жена Я. Блюмкина. Предположительно, вместе с ней был снят Блюмкин, позже вырезанный из фото. Начало 1920-х гг. РГАЛИ

Дом, в котором поселился Яков Блюмкин в 1925 году. Москва, Денежный переулок, 9/5

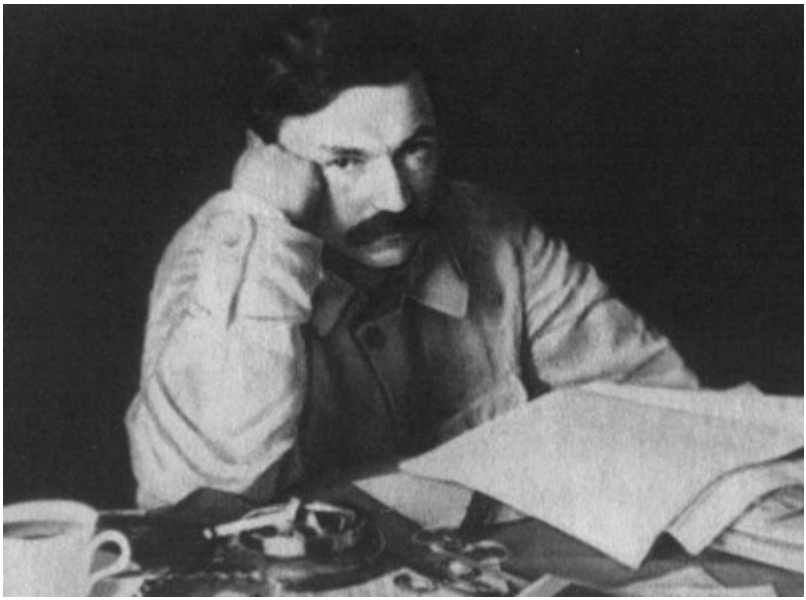
Нарком просвещения Анатолий Луначарский и его жена актриса Наталья Розенель, соседи Я. Блюмкина по дому в Денежном переулке

Наталья Сац, племянница жены А. Луначарского, в будущем народная артистка СССР. 1920-е гг.

Нина Сац — ее младшая сестра, погибшая якобы от руки Я. Блюмкина. 1920-е гг.


Наркомторг СССР.
УЧРАСПРЕД
НАРКОМТОРГ
С.С.С.Р.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ
Пор № 29
ДЕЛО №
Фамилия Блюмкин
Имя Яков
Отчество Григорьевич
Наркомторг СССР.
ОБЩИЙ АРХИВ.
Арт. связка № 1
Опись №
По описи под. № 29
Начато дня 192 г.
Окончено дня 192 г.
На листах.
3811

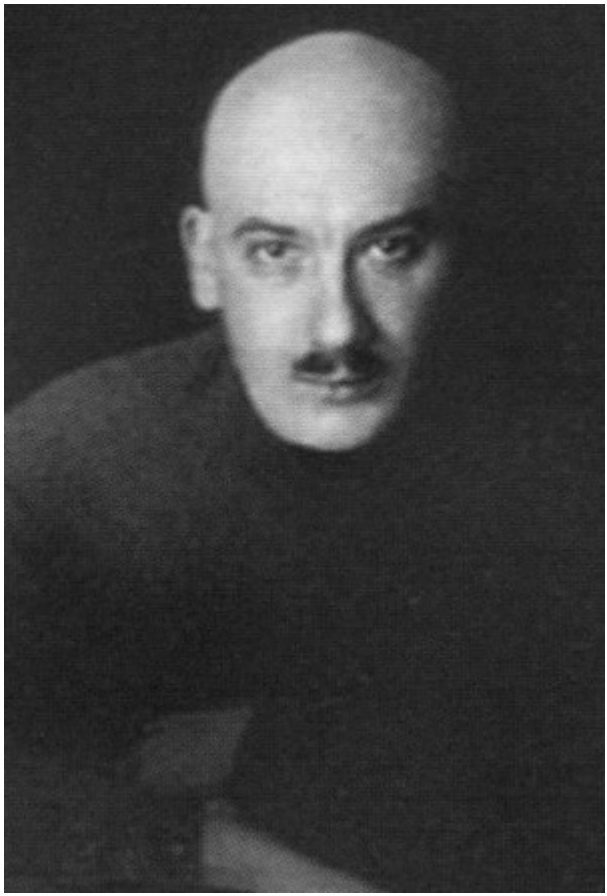
Личное дело сотрудника Наркомторга СССР Якова Блюмкина. РГАЭ. Публикуется впервые



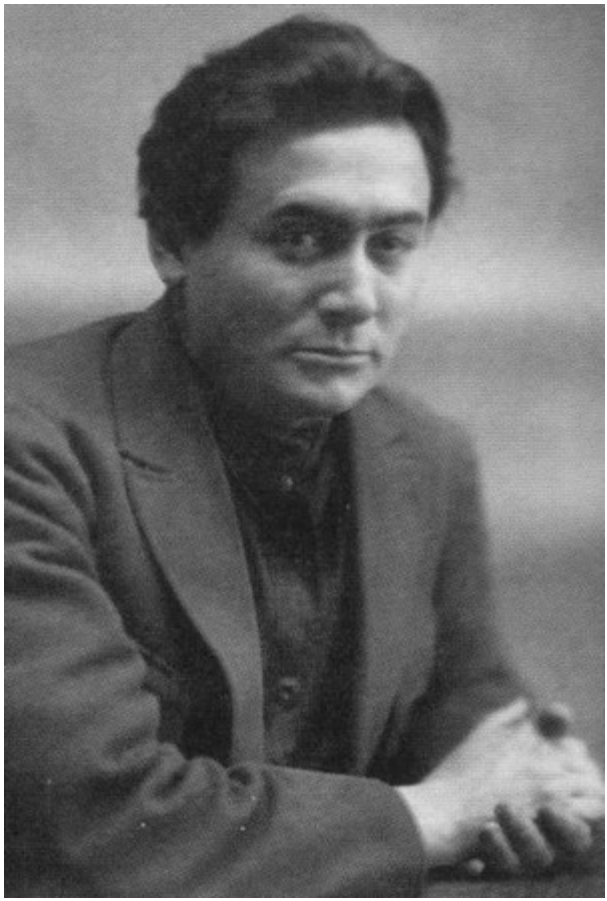
Вячеслав Менжинский, председатель ОГПУ с 1926 года

Глеб Бокий, начальник Специального отдела ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД

Михаил Трилиссер, начальник Иностранного отдела ОГПУ, с 1926 года — заместитель председателя ОГПУ

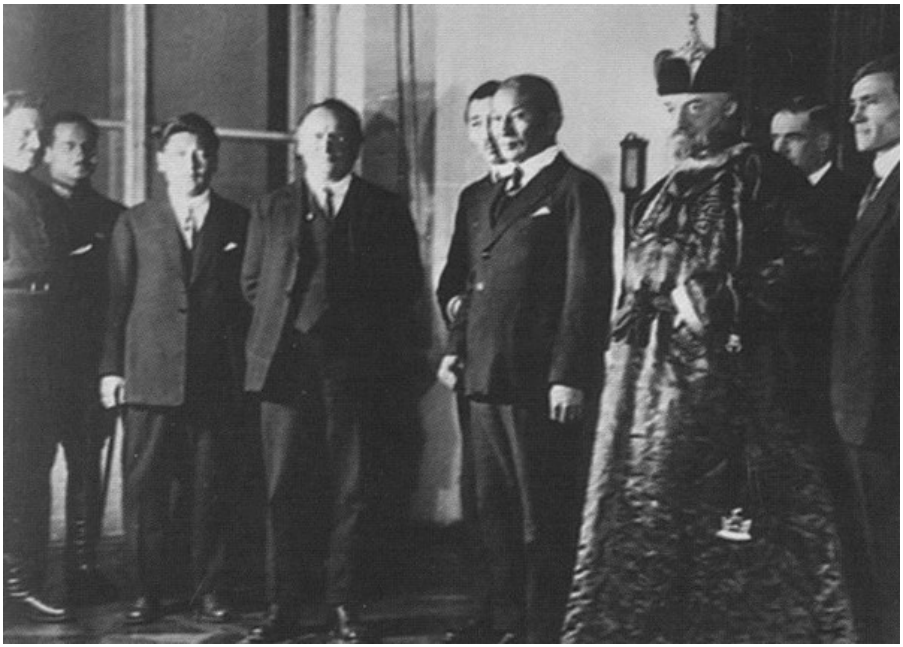


Генрих Ягода, начальник Особого отдела ОГПУ в 1922–1929 годах



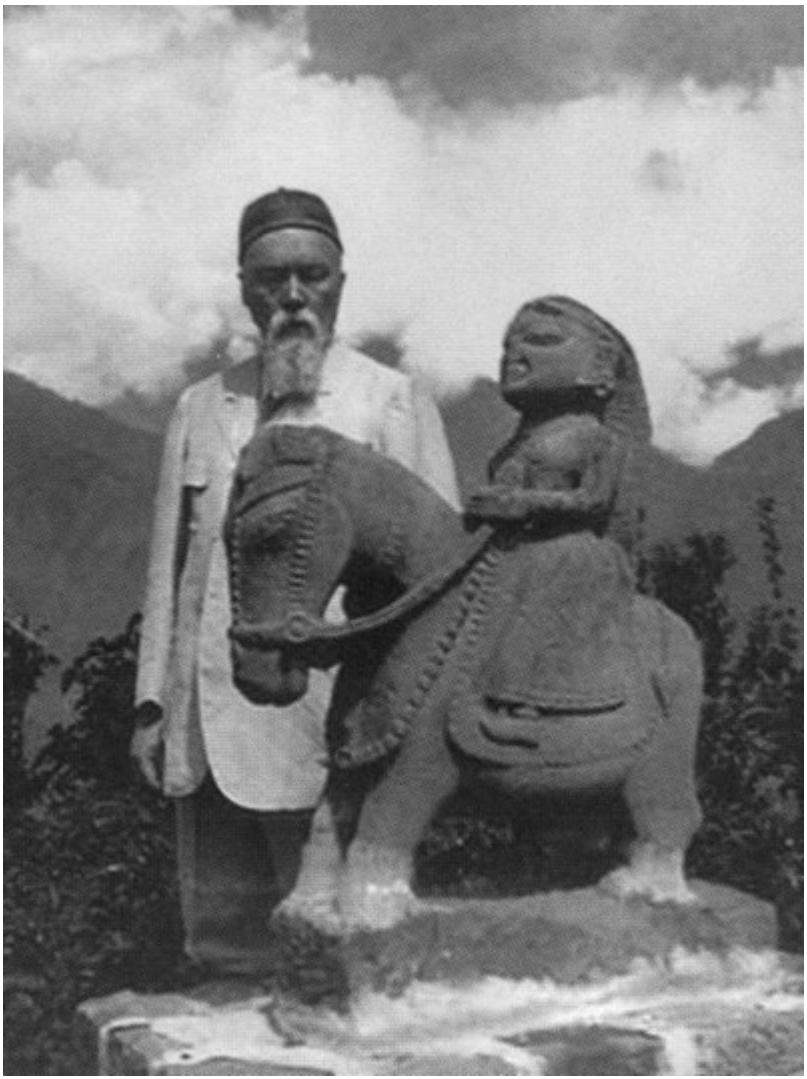
Яков Агранов, начальник Секретного отдела ОГПУ в 1923–1929 годах

Барон Роман Унгерн фон Штернберг, командующий белыми войсками в Забайкалье и Монголии во время Гражданской войны. 1921 г.



Прием монгольской делегации в Москве: в монгольском национальном костюме нарком иностранных дел Георгий Чичерин

Советские инструкторы в Монголии. Начало 1920-х гг.



Художник Николай Рерих, организатор Центрально-Азиатской экспедиции в 1923–1928 годах. Индия

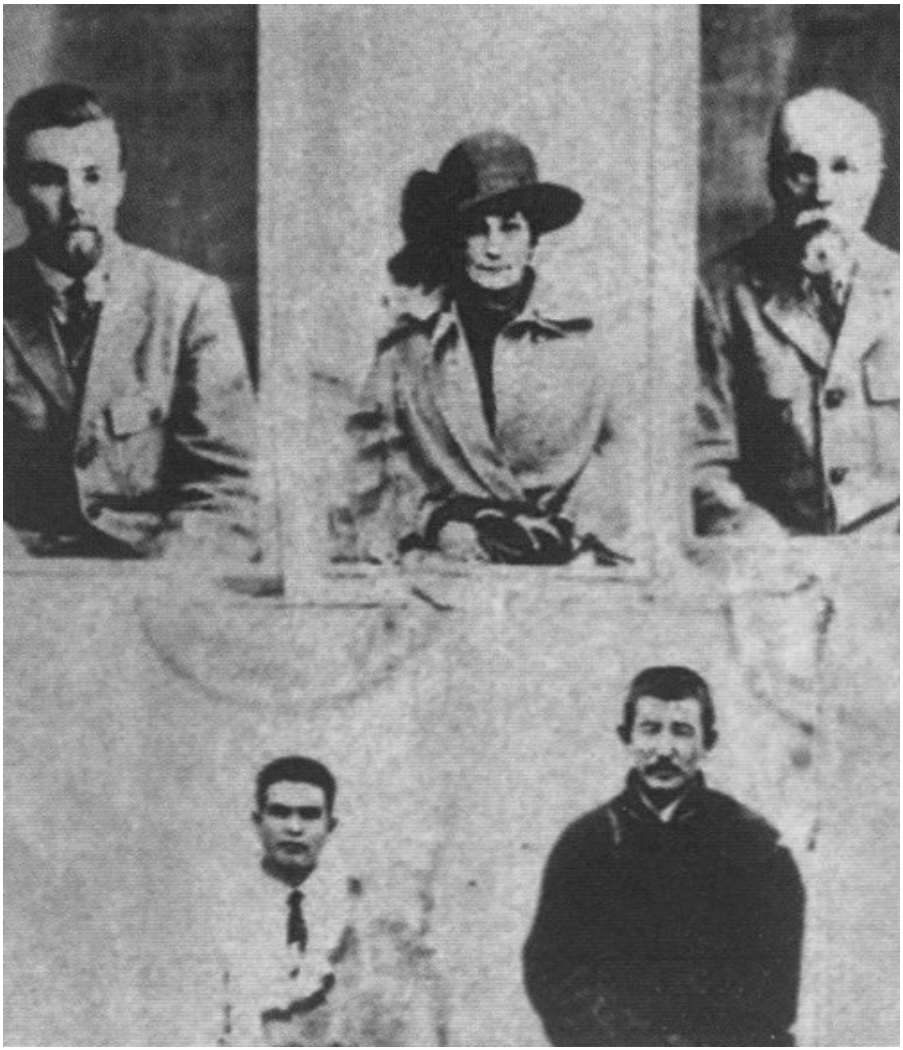
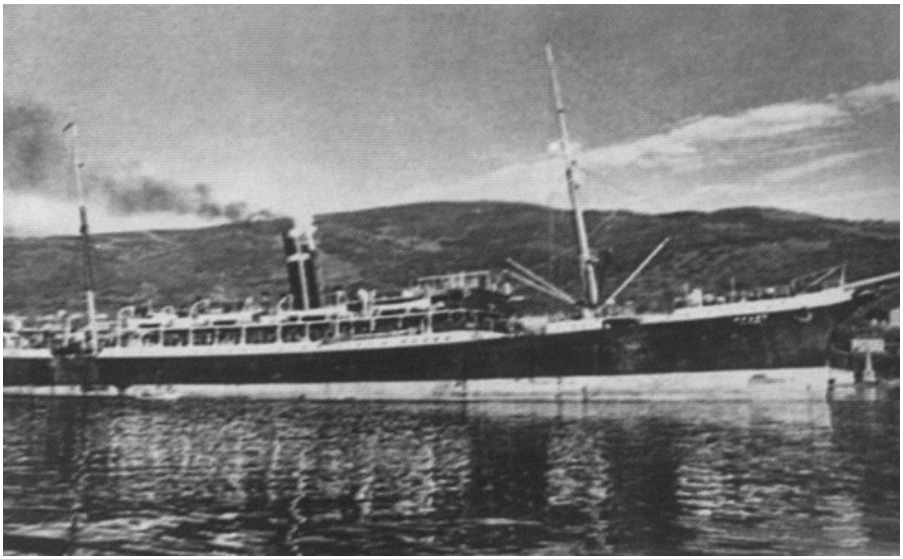


Фото из общего паспорта членов экспедиции Н. Рериха. Верхний ряд: Юрий Рерих, Елена Рерих, Николай Рерих; нижний ряд: лама Рамзана Кошаль и лама Лобзанг (?). По одной из версий, под видом ламы Кошаля в экспедиции участвовал Я. Блюмкин. 1926 г.

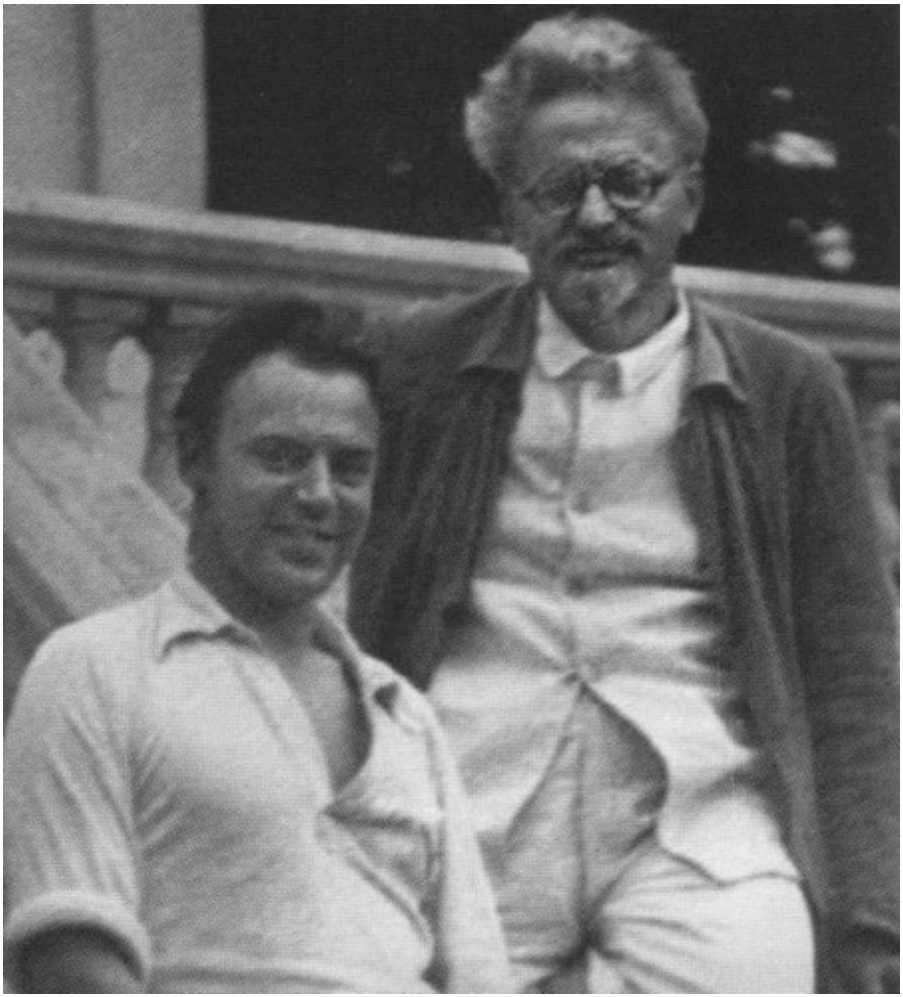
Члены «левой оппозиции» в ВКП(б). В центре сидит Лев Троцкий

«Иудушка Троцкий» Карикатура работы В. Дени. 1926 г.



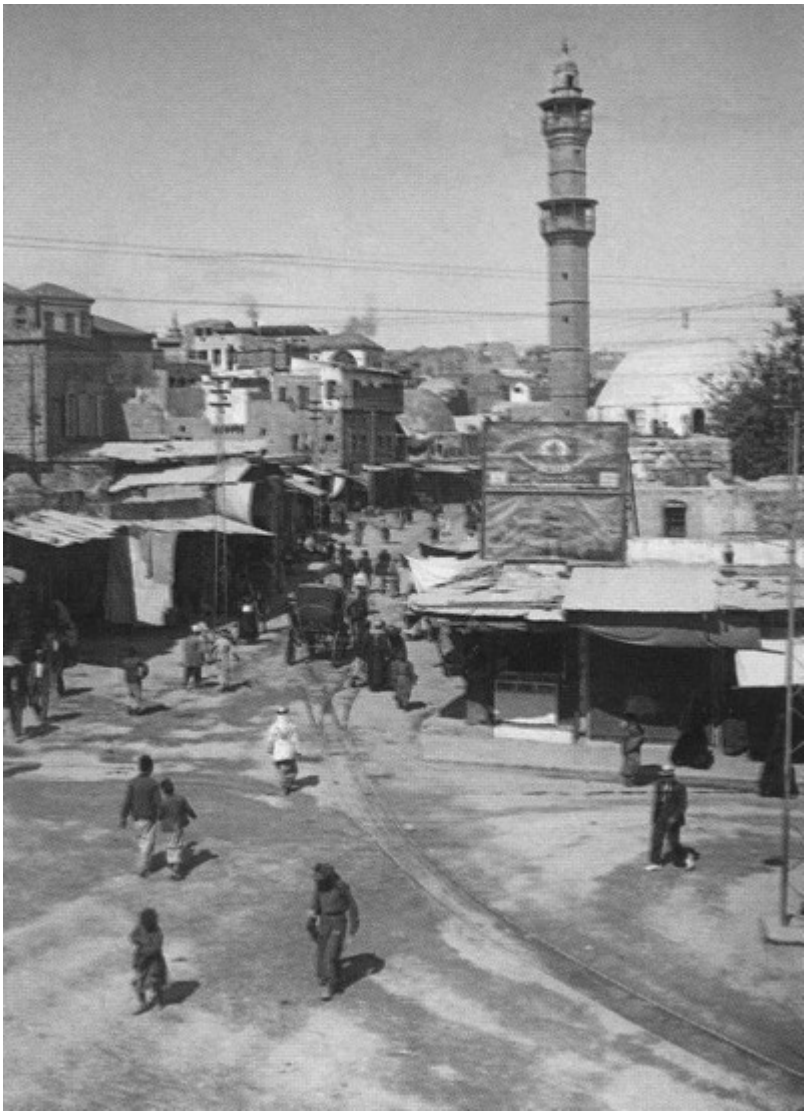
Пароход «Ильич», на котором Льва Троцкого выслали из СССР в Турцию

Улица Гран Пера в Константинополе. 1920-е гг. Открытка



Лев Троцкий с сыном Львом Седовым

Вилла на острове Принкипо (близ Константинополя), где жил высланный Лев Троцкий. Турция



Город Яффа, в котором работал советский разведчик-нелегал Я. Блюмкин. Палестина. 1920-е гг.

Евреи-репатрианты прибывают в Палестину. Начало 1920-х гг.

Чекист Георгий Агабеков, сменивший Я. Блюмкина на посту главы резидентуры ОГПУ в Константинополе в 1929 году

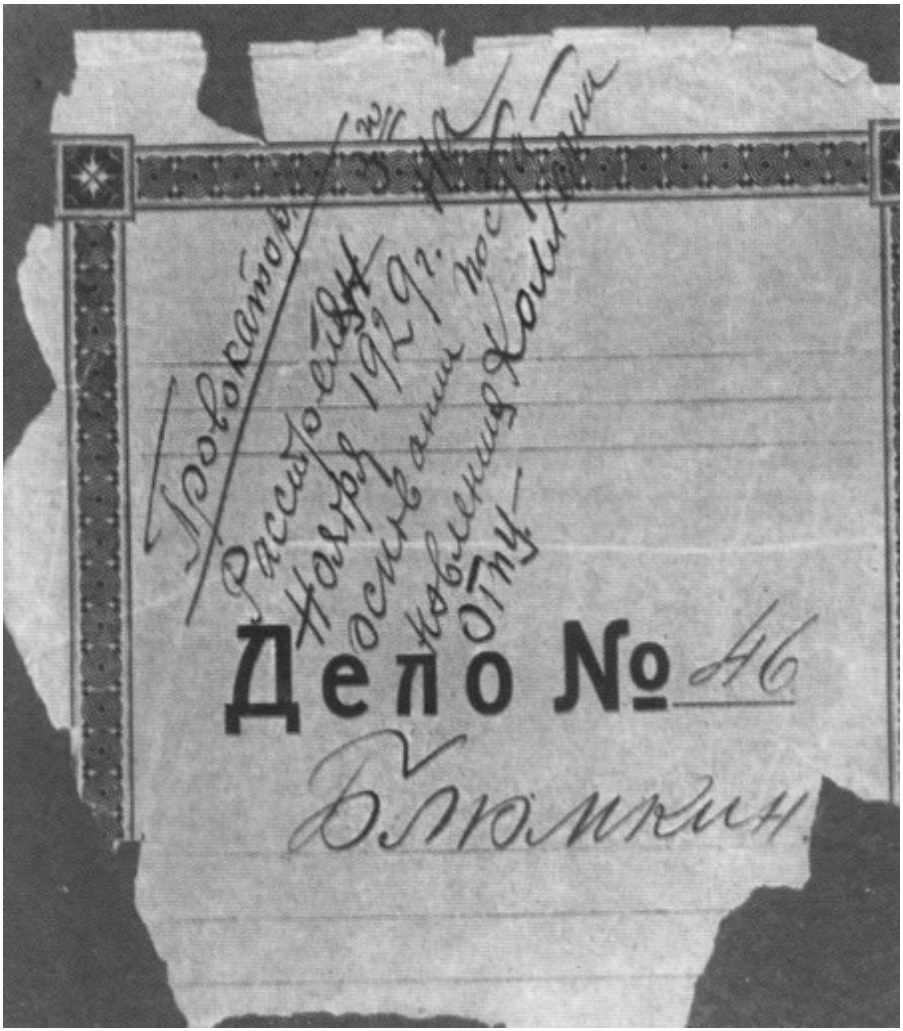
Дом, где жил художник Р. Фальк: в его квартиру накануне ареста явился Блюмкин с чемоданом долларов. Москва, улица Мясницкая, 21

Елизавета Розенцвейг-Горская-Зарубина, сотрудница ОГПУ, последняя любовь Якова Блюмкина

Супруги-разведчики Елизавета и Василий Зарубины. 1939 г.

Кадры из фильма «Шестое июля» (режиссер Ю. Карасик, сценарий М. Шатрова): в роли Я. Блюмкина (вверху крайний слева) — В. Шалевич; в роли германского посла фон Мирбаха (внизу крайний справа) — Н. Волков. 1968 г.

Яков Блюмкин после ареста во внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке. Москва. Октябрь 1929 г.



Дело № 46 Якова Блюмкина с надписью «Провокатор. Расстрелян 3 ноября 1929 г. на основании постановления Коллегии ОГПУ»

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Я. Г. БЛЮМКИНА

1900, 7 февраля (12 марта) — в Одессе в семье мещанина Гирша Самойловым Блюмкина и Хаи Блюмкиной родился сын Яков (Симха-Янкель) Блюмкин.

1906 — умер отец Якова Блюмкина.

1908 — Яков начал учиться в 1-й Одесской Талмуд-торе. Подрабатывал мальчиком на посылках в магазинах и конторах.

1913–1915 — закончил обучение в Талмуд-торе. Работал учеником в электротехнических мастерских Карла Франка и Ингера; подрабатывал монтером в Ришельевском трамвайном парке Бельгийского общества, Одесском русском театре, Доме книжной торговли «Культура». Выдержал экзамен в техническое училище инженера Линденера, но из-за отсутствия средств продолжать учебу не смог.

1914–1915 — примкнул, по его утверждению, к Партии социалистов-революционеров (эсеров).

1915, 17 декабря — будучи учащимся технического училища, попал под наружное наблюдение полиции; подозревался в связях с группой анархо-коммунистов.

1916 — начал работать на консервной фабрике «Братья Авич и Израильсон».

1917, февраль — стал агитатором Одесского Совета рабочих депутатов.

Весна — выехал в Харьков, где начал работать в торговом доме Гольдмана и Чапко. Примкнул к левому крылу партии эсеров.

Август — октябрь — работал агитатором от партии эсеров в Поволжье, входил в Совет крестьянских депутатов городов Алатырь и Симбирск.

Ноябрь — декабрь — вернулся в Одессу.

1918, январь — вступил добровольцем в «Железный отряд», входивший в Особую Революционную одесскую армию; был избран командиром отряда.

12 марта — после падения Одесской Советской Республики вместе с армией эвакуировался в Феодосию.

Март — апрель — в Феодосии назначен комиссаром Военного совета 3-й армии, затем помначштаба и и. о. начштаба 3-й армии. Вместе с армией совершает поход Феодосия — Лозовая — Барвенково — Славянск.

Апрель — участвует в экспроприации денег из отделения

Госбанка в Славянске.

Май — приезжает в Москву; по некоторым данным, пытался устроиться в канцелярию советской делегации, которая отправлялась в Киев для мирных переговоров с Украиной.

Июнь — по решению ЦК партии левых эсеров направлен на работу в ВЧК; занял должность начальника Отделения по борьбе с международным шпионажем Отдела по борьбе с контрреволюцией. Разрабатывал планы внедрения агентуры в посольство Германии в Советской России.

Май — июнь — знакомство с поэтами С. Есениным, А. Мариенгофом, В. Шершеневичем и др. Ссора с О. Мандельштамом.

Июнь — освобожден от должности начальника отделения, а само отделение распущено.

24 июня — ЦК партии левых эсеров решает «в интересах русской и международной революции» положить конец так называемой передышке, создавшейся благодаря ратификации большевистским правительством Брестского мира, и «организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма».

4 июля — Блюмкин получает указание устранить посла Германии в Советской России графа фон Мирбаха.

6 июля — Блюмкин и Николай Андреев убивают германского посла.

6–7 июля — восстание левых эсеров в Москве и его разгром.

Июль — ноябрь — Блюмкин на нелегальном положении; скрывается в Рыбинске, Кимрах, Гатчине, Царском Селе.

Ноябрь — по заданию ЦК партии левых эсеров едет для подпольной работы на Украину.

27 ноября — Революционным трибуналом при ВЦИКе заочно приговорен к трем годам заключения.

1918, ноябрь — 1919, февраль — работа в подполье на Украине; готовит покушение на гетмана Скоропадского.

1919, март — в районе Елисаветграда попадает в плен к петлюровцам.

14 апреля — добровольная явка в Киевскую ГубЧК, признание в подготовке теракта и убийстве фон Мирбаха 6 июля 1918 года.

16 мая — в Москве на основании доклада Особой следственной комиссии при Президиуме ВЦИКа амнистирован «ввиду добровольной явки». Вернулся в Киев — по некоторым данным, для подготовки покушения на адмирала Колчака.

Лето — знакомство с Татьяной Файнерман, будущей женой.

Июнь — три попытки покушения украинских левых эсеров на Блюмкина; ранен в голову.

Июль — после лечения переезжает в Москву. «Межпартийный суд» над Блюмкиным. Направлен на работу в Политуправление РККА. С инспекцией отправляется в поездку по Ярославскому и Поволжскому военным округам.

Сентябрь — направлен на Южный фронт для диверсионной работы в тылу Белой армии.

1920, январь — февраль — отозван в Москву. Начало «кафейного периода» Блюмкина.

17 июня — Наркомат иностранных дел командирует Блюмкина вместе с женой в Персию.

Июль — прибывает в Персию под именем «товарищ Якуб-заде».

8 августа — руководит переворотом в городе Решт.

Август — прибывает в Баку, где готовит Съезд народов Востока.

1–8 сентября — участвует в работе Съезда народов Востока.

Сентябрь — возвращение в Москву; становится слушателем Восточного отделения Военной академии РККА.

1921, 4 марта — подает заявление о вступлении в РКП(б); получает отказ. После повторного заявления в ЦК становится членом РКП(б).

Июнь — командирован на «внутренний фронт» в Поволжье — в 27-ю Омскую дивизию. По некоторым данным, назначен на должность временно исполняющего обязанности начальника штаба 79-й бригады; потом — временно исполняющим обязанности комбрига.

Август — назначен начальником штаба 61-й бригады 21-й Пермской дивизии в Сибири.

Осень — возвращение в Москву.

1921, осень — 1922, осень — учеба на Восточном отделении Военной академии РККА.

1922, осень — отчислен из Военной академии. Откомандирован в секретариат наркома по военным и морским делам Л. Д. Троцкого.

1923, январь — февраль — участвует в подготовке выставки «Пять лет Красной Армии». Готовит к печати один из томов трехтомного собрания сочинений Троцкого.

1 апреля — в журнале «Огонек» напечатан очерк Блюмкина (под псевдонимом Я. Сущевский) «День Троцкого».

Лето — осень — по линии Коминтерна направлен на конспиративную работу в Германию.

Осень — по приглашению Ф. Э. Дзержинского переходит на работу в Иностранный отдел ОГПУ.

Ноябрь — декабрь — по линии ОГПУ командирован в

Палестину.

1924, апрель — май — возвращение из Палестины в Москву.

Август — командирован в Тифлис на должности помощника полпреда ОГПУ в Закавказье по командованию войсками ОГПУ, члена коллегии Закавказского ГПУ, уполномоченного ОГПУ и Наркомвнешторга по борьбе с контрабандой.

Сентябрь — ссора с Есениным в Баку.

1925, лето — возвращается в Москву; поселяется в доме 9/5 в Денежном переулке.

8 августа — направлен в Наркомторг на должность экономиста. Разводится с Татьяной Файнерман.

1926, 23 апреля — родился сын Якова Блюмкина и Татьяны Файнерман Мартин.

2 октября — откомандирован из Наркомторга в распоряжение ЦК ВКП(б). Направлен в Иностранный отдел ОГПУ.

Ноябрь — декабрь — командирован в Монголию на должность главного инструктора монгольской Государственной внутренней охраны (ГВО) и резидента ОГПУ.

1927, январь — секретная командировка в Китай.

Апрель — вызван для отчета в Москву.

Июнь — участвует в поисках «золота барона Унгерна» в Улан-Баторе.

11 августа — подает заявление о выходе из ВКП(б), находясь в Монголии. Через день по требованию Москвы берет заявление обратно.

Октябрь — конфликт Блюмкина и монгольского руководства из-за ареста чекистами инструктора ГВО Нестерова.

Ноябрь — Блюмкин отозван из Монголии в Москву.

1928, январь — февраль — отчитывается перед руководством ОГПУ о работе в Монголии. Вступает в контакт с лидерами «левой оппозиции» в ВКП(б).

Март — апрель — лечение и отдых в санаториях — в Кисловодске и Гаграх.

Весна — разрабатывает план организации резидентуры на Ближнем Востоке под «крышей» конторы по продаже древнееврейских книг. Координирует операцию по изъятию соответствующих книг из библиотек, хранилищ и частных коллекций.

Сентябрь — выезжает в Константинополь под псевдонимом персидского купца Якуба Султанова. Возглавляет резидентуру ОГПУ на Ближнем Востоке.

1928, октябрь — 1929, апрель — совершает поездки по Европе под видом скупщика и продавца древнееврейских книг.

1929, 12 апреля — встречает в Константинополе на улице

Пера Льва Седова, сына высланного из СССР в Турцию Троцкого.

16 апреля — встреча с Троцким. Составляет рекомендации для охраны Троцкого; соглашается переправить в СССР письма Троцкого к его сторонникам и несколько его книг.

30 мая — 5 августа — совершает поездку в Палестину с целью совершенствования работы резидентуры ОГПУ в этом регионе.

10 августа — выезжает в Москву; везет с собой материалы Троцкого для передачи его сторонникам.

Август — октябрь — разрабатывает план совершенствования работы резидентуры ОГПУ на Ближнем Востоке. Роман с Елизаветой Розенцвейг-Горской.

10–11 октября — встречается в Москве с бывшими левыми оппозиционерами Карлом Радеком и Иваром Смилгой, которые советуют ему «во всем признаться», что касается его контактов с Троцким.

13 октября — Елизавета Горская сообщает руководству ОГПУ о планах Блюмкина бежать из СССР.

15 октября — арест Блюмкина.

16 октября — 2 ноября — идет следствие по делу Блюмкина; он дает показания и редактирует стенограмму своих допросов.

21 октября — стенограмма допросов Блюмкина направлена Сталину.

2 ноября — Блюмкин пишет автобиографию.

3 ноября — Коллегия ОГПУ приговаривает Якова Блюмкина к расстрелу.

5 ноября — Политбюро ЦК ВКП(б) утверждает смертный приговор.

3–6 ноября 1929 — в один из этих дней Яков Григорьевич Блюмкин расстрелян в здании внутренней тюрьмы ОГПУ на Лубянке.

БИБЛИОГРАФИЯ

Архивы

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ).

Российский государственный военный архив (РГВА).

Российский государственный архив социально-политической информации (РГАСПИ).

Российский государственный архив экономики (РГАЭ).

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ).

Государственный архив Одесской области (ГАОО).

Литература

Алексеев-Небутев И. Из воспоминаний левого эсера (Подпольная работа на Украине). М., 1922.

Андреев А. Время Шамбалы. Оккультизм, наука и политика в Советской России. СПб., 2004.

Архив ВЧК / Отв. ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. Христофоров. М., 2007.

Бармин А. Соколы Троцкого. М., 1997.

Бонч-Бруевич В. Воспоминания. М., 1968.

Бракман Р. Секретная папка Сталина. Скрытая жизнь. М., 2004.

Брюс Локкарт Р. Г. История изнутри. Мемуары британского агента. М., 1991.

Ватлин А. Коминтерн: Идеи, решения, судьбы. М., 2009.

Велидов А. Похождения террориста. Одиссея Якова Блюмкина. М., 1998.

Велидов А. Коммунистическая партия — организатор и руководитель ВЧК. М., 1967.

Вержбицкий Н. Встречи с Есениным. Тбилиси, 1961.

Воспоминания о Дзержинском: Сборник. М., 1962.

Дойчер И. Троцкий в изгнании. М., 1991.

Евсин И. Преодоление. Сергей Есенин и его путь к Богу. М., 2013.

Ефимов Б. Десять десятилетий. О том, что видел, пережил, запомнил. М., 2000.

Жуков Ю. Сталин: операция «Эрмитаж». М., 2005.

Жуков Ю. Оборотная сторона НЭПа. Экономика и

политическая борьба в СССР в 1923–1925 годы. М., 2014.

Зданович А. Свои и чужие. Интриги разведки. М., 2002.

Иванов Г. Петербургские зимы. М., 2000.

Капчинский О. Гвардейцы Ленина. Центральный аппарат ВЧК. Структура и кадры. М., 2014.

Капчинский О. Мишка Япончик и другие. Криминал и власть в годы Гражданской войны в Одессе. М., 2013.

Катаев В. Белеет парус одинокий. Хуторок в степи. М., 1989.

Катаев В. Святой колодец. Алмазный мой венец. Уже написан Вертер. М., 1992.

Кинг Ч. Одесса. Величие и смерть города грез. М., 2014.

Красная книга ВЧК: В 2 т. / Науч. ред. А. Велидова. М., 1989.

Краснов В., Дайнес В. Неизвестный Троцкий: красный Бонапарт. М., 2000.

Крупская Н. Воспоминания о Ленине. М.;Л., 1931.

Кузнецов В. Тайна гибели Есенина. М., 1998.

Куусинен А. Господь низвергает своих ангелов: Воспоминания. 1919–1965. Петрозаводск, 1991.

Кычанов Е., Мельниченко Б. История Тибета с древнейших времен до наших дней. М., 2005.

Лабас Ю. Когда я был большой. М., 2008.

Левые эсеры и ВЧК: Сборник документов / Сост. В. К. Виноградов и др.; науч. ред. А. Л. Литвин. Казань, 1996.

Леонов Б. Последняя авантюра Якова Блюмкина. М., 1993.

Литвин А. Красный и белый террор в России. 1918–1922. М., 2004.

Мальков П. Записки коменданта Кремля. М., 1987.

Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999.

Мариенгоф А. Бессмертная трилогия. М., 1998.

Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990.

Никитина В. Дом окнами на закат: Воспоминания. М., 1996.

Одоевцева И. На берегах Невы. М., 2009.

Олеша Ю. Избранное. М., 2010.

Очерки истории российской внешней разведки: В 2 т. Т. 2. М., 1997.

Партия левых социалистов-революционеров в 1918 году. Документы и материалы: В 2 т. Т. 2. Ч. 1. Апрель — июль 1918 г. М., 2010.

Первый Съезд народов Востока. Стенографические отчеты. М., 1920.

Персидский фронт мировой революции. Документы о советском вторжении в Гилян (1920–1921) / Сост. М. Персиц; науч. ред. Т. Коняшкина. М., 2009.

Разгон Л. Плен в своем отечестве. М., 1994.

Ройзман М. Все, что помню о Есенине. М., 1973.

Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. Оренбург, 2001.

Спирин Л. Крах одной авантюры (Мятеж левых эсеров в Москве 6–7 июля 1918 г.). М., 1971.

Старкина С. Велимир Хлебников. М., 2007.

Старцев И. Мои встречи с Есениным // Воспоминания о Сергее Есенине: Сборник. М., 1965.

Толстая Е. Деготь или мед: Алексей Н. Толстой как антисоветский писатель. 1917–1923. М., 2006.

Троцкий Л. Как вооружалась революция: на военной работе. М., 1923.

Троцкий Л. Моя жизнь: опыт автобиографии. М., 2001.

Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991.

Утесов Л. Спасибо, сердце! М., 1999.

Фельштинский Ю. Большевики и левые эсеры. Октябрь 1917 — июль 1918. На пути к однопартийной диктатуре. Париж, 1985.

Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. Брестский мир. Октябрь 1917 — ноябрь 1918. М., 2014.

Фон Ботмер К. С графом Мирбахом в Москве. М., 2010.

Черушев Н., Черушев Ю. Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им равные). 1937–1941. Биографический словарь. М., 2012.

Чернявский Г. И. Лев Троцкий. М., 2010.

Хлысталов Э. Тайна гибели Есенина. Записки следователя из «Англетера». М., 2005.

Ходасевич В. Некрополь. М., 2006.

Эврич П. Русские анархисты. М., 2006.

Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М., 2005.

Юзефович Л. Самодержец пустыни. М., 1993.

Юрьев А. Эсеры на историческом переломе (1917–1918). М., 2011.

Янгфельдт Б. «Ставка — Жизнь». Владимир Маяковский и его круг. М., 2009.

Статьи и публикации в СМИ

Антонов В. Тайна гибели Соломона Могилевского // Независимое военное обозрение. 2010. 24 сентября.

Антонов В. Поэт и чекист // Независимая газета. 2011. 26 августа.

Бузина О. Бомба для «лучшего друга» Украины // Сегодня

(Украина]. 2008. 25 июля.

Говорков А. Любимец правительства // Кольцо. 2014. № 76.

Головникова О., Волкодаев И. Поезд Троцкого // Военно-исторический журнал. 1990. № 9.

Дардыкина Н. Мертвые сраму не имут // Московский комсомолец. 1995. 14 января.

Денисов В., Матвеев П. Таинственная Эрна // Независимое военное обозрение. 2001. 19 января.

Максимов Г. Суд над Я. Блюмкиным в 1919 г. //Память. Исторический сборник. Вып. 3. Париж, 1980.

Леонтьев Я. Блюмкин и литературная богема // *Велидов А.* Похождения террориста. Одиссея Якова Блюмкина. Сборник. М.,1998.

Леонтьев Я. Восстание на Ивана Купалу, или Так ли уж загадочен «мятеж» левых эсеров? // Родина. 2008. № 7.

Никольский А. Литерные // Техника — молодежи. 2006. № 4.

Сущевский Я. День Троцкого // Огонек. 1923. 1 апреля.

Тепляков А. «ГВО в Монголии является таким органом, куда почти каждый гражданин обязательно попадает»: Государственная Внутренняя Охрана МНР глазами инструктора ОПТУ 1926 год // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Т. 11. Вып. 8: История. Новосибирск, 2012.

Федосеев С. Иностранные пистолеты в России // Военно-промышленный курьер. (ВПК). 2011. 5 октября.

Гордон Б.-Ш. Судьба советских перебежчиков // Иностранная литература. 1990. № 6.

Черненко Д. Газета поезда Л. Д. Троцкого «В пути» // Военно-исторический журнал. 2012. № 5.

Статьи и публикации в сетевых ресурсах

Ворсобин В. Смерть Есенина: убийство или самоубийство? // http://obozrevatel.com/news/2005/l 1/11/60921.htm

Дубовик А. «Анархисты подполья» и взрыв в Леонтьевском переулке // http://socialist.memo.ru/anniv/y05/leont.htm

Кашин О. Борис Ефимов: «Я не великий! Я опытный!» // http://jestokost.narod.ru/efim2.html

Леонтьев Я. Пуля и обручальное кольцо для террориста, или Страсти Якова Блюмкина по-киевски // http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1308-yaroslav-leontev-pulia-y-obruchalnoe-koltso-dlia-terrorysta-yly-strasty-yakova-bliumkyna-po-kyevsky

Леонтьев Я. Новые источники по истории левоэсеровского террора // http://www.memo.ru/history/terror/leontiew.htm

Леонтьев Я. Жанна Д'Арк из сибирских колодниц // http://www.memorial.krsk.ru/Articles/KP/9/03.htm

Назаров О. XIII съезд РКП(б) — «конституция» «семерки» и «литературная дискуссия» 1924 г. Из истории политической борьбы в СССР 20-х гг. // http://esdek.narod.ru/41/nazarovl.htm

Роговин В. Была ли альтернатива? (Троцкизм: взгляд через годы) // http://trst.narod.ru/rogovin/index.htm

Савченко В. Одесская республика и ее кукловоды // http://favorit.od.ua/2013/4/116

Свеченовская И., Кузнецов В. Имена убийц Сергея Есенина известны — это Яков Блюмкин и Николай Леонтьев // http://www.esenin-sergej.ru/esenin/smert/imena-ubijc.php

Стеценко А. «Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется» //http: //www. icr.su/sbt 1/sbtlgl5_11.htm#sl

Рустамова-Тогиди С. Событие, преданное забвению // http://azcongress.ru/2010/09/26/sobyitie_predannoe_zabveniyu/

Хорошкевич Л. Воспоминания // http://horochkiewich.narod.ru/memory-01.htm

О поезде Троцкого // http://voencomuezd.livejoumal.com/38644.htm

notes

Примечания

1

Лотереи, в которых разыгрывались ценные вещи, предметы и т. д.; выигрыш определялся сразу при покупке лотерейного билета (он был обозначен на билете, запечатанном особым способом); собранные средства обычно направлялись на благотворительные цели, к примеру, помощь населению при неурожае, голоде, раненым фронтовикам во время войны. — *Прим. ред.*

2

После эмиграции Яков Перемен открыл первую в Израиле художественную галерею и библиотеку; преподавал живопись и ваяние, занимался изучением древней семитской литературы. Умер в 1960 году. В 2010-м на торгах аукциона «Сотбис» в Нью-Йорке за 1 миллион 990 тысяч долларов была продана коллекция живописи Я. А. Перемена, в том числе и работы, которые он вывез из Одессы в 1919 году.

3

Во время Великой Отечественной войны Натан Базилевский-Блюмкин воевал в знаменитой «писательской роте» 22-го полка 8-й дивизии народного ополчения. Умер в 1965 году.

4

Нафталий Френкель (1883–1960) был на 17 лет старше Блюмкина. В то время, о котором идет речь, Френкель занимался весьма серьезным делом — заведовал строительством сельскохозяйственных зданий у богатого землевладельца Юрицина, а потом стал приемщиком грузов на пароходах частных владельцев на Черном море. На этой работе можно было делать себе миллионные прибыли, чем, как говорят, будущий генерал-лейтенант тогда и занимался. Думается, вряд ли он стал бы связываться с шестнадцатилетним Блюмкиным ради такого, в общем-то, мелкого дела, как фальшивые свидетельства об отсрочках, если даже тот этим и промышлял.

5

Мишка-Япончик продолжал совершать свои «подвиги» при всех режимах. Когда власть в Одессе находилась в руках белых, он сотрудничал с революционным подпольем, что не мешало ему проводить налеты и ограбления. После того как в апреле 1919 года в Одессу вошли красные, объявил себя «пролетарием» и «борцом с буржуазией». В мае 1919-го получил разрешение сформировать отряд из одесских уголовников, который затем был преобразован в 54-й имени Ленина советский революционный полк. В июле полк отправился на фронт сражаться с отрядами Петлюры, но вскоре попросту разбежался. «Бойцы» Япончика захватили поезд и двинулись обратно в Одессу. Однако поезд перехватили красные, и Япончик был убит. По одной из версий, его застрелили прямо на перроне станции.

6

Брестский мирный договор между Советской Россией и Германией, а также ее союзниками (подписан 3 марта 1918 года в Брест-Литовске) фактически означал поражение и выход Советской России из Первой мировой войны: Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья; кроме того, Россия обязывалась выплатить Германии шесть миллиардов марок репараций (помимо других уплат) и признать независимость Украины в лице Центральной рады. Однако чуть ранее, 27 февраля, представители Рады подписали в Брест-Литовске мирный договор с Германией и ее союзниками, а через несколько дней обратились к Германии с просьбой ввести войска на Украину для помощи «в борьбе с большевизмом», и уже в марте немецкие войска заняли Киев. — *Прим. ред.*

7

ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет — высший законодательный орган Советской России и СССР в 1917–1937 годах; избирался Всероссийским съездом Советов.

8

Во избежание путаницы уточним: Семен Петрович Урицкий (1895–1938) — племянник Моисея Соломоновича Урицкого, председателя Петроградской ЧК (которого в 1918 году застрелил студент Леонид Каннегисер, мстя за расстрелянного друга; эта нашумевшая история описана во многих воспоминаниях — см., к примеру: Марк Адданов «Убийство Урицкого»). — *Прим. ред.*

9

Напомним: Антанта — военно-политический союз Великобритании, Франции и Российской империи (объединивший входе Первой мировой войны свыше двадцати государств, среди них США, Япония, с 1915-го — Италия) — была создана в противовес Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии в 1904–1907 годах, что определило расстановку сил и в Первой мировой войне. Советская Россия после заключения Брестского мира с Германией и ее союзниками (3 марта 1918 года) фактически из Антанты вышла. — *Прим. ред.*

10

К примеру, в Энциклопедическом словаре «История Отечества» (М.: Большая Российская энциклопедия, 1999) персоналия М. А. Муравьева указывает, что состоял, то есть являлся членом Партии левых социалистов-революционеров (ПЛСР). — *Прим. ред.*

11

Курт Рицлер (1882–1955) часто фигурирует в документах как доктор Рицлер, поскольку имел ученую степень доктора философии (к слову, в 1930-м он стал одним из основателей так называемой «Франкфуртской школы», разновидности неомарксизма). — *Прим. ред.*

12

Имеется в виду Парижская коммуна 1871 года (не путать с Парижской коммуной 1789–1794 годов во время Великой Французской революции) — первая в истории пролетарская революция и первое правительство рабочего класса, просуществовавшее в Париже с 18 марта по 28 мая 1871 года. — *Прим. ред.*

13

Сценический псевдоним жены А. Блока — Любови Дмитриевны Менделеевой-Блок; под фамилией Басаргина она играла на драматической сцене — в труппе В. Мейерхольда, в нескольких провинциальных театрах, петроградском Театре народной комедии. — *Прим. ред.*

14

Осип Мандельштам в 1918 году переехал из Петрограда в Москву и короткое время жил в Кремле у Н. П. Горбунова, секретаря Совнаркома. — *Прим. ред.*

15

Ольга Давидовна Каменева — в 1918–1919 годах заведующая театральным отделом Наркомпроса, сестра Л. Д. Троцкого и жена Л. Б. Каменева, в 1918–1926 годах председателя Моссовета.

16

Паритета ради приведем мнение комментаторов «Петербургских зим» — В. П. Крейда и Г. И. Мосешвили (*Иванов Г.* Собрание сочинений: В 3 т. М.: Согласие, 1993): «Рассказ Г. Иванова о столкновении Мандельштама с Блюмкиным в целом соответствует действительности и подтверждается рядом материалов, хотя некоторые детали, естественно, расходятся». — *Прим. ред.*

17

Евно Азеф (1869–1918) — один из руководителей Боевой организации эсеров и одновременно — тайный сотрудник Департамента полиции. Организовал несколько крупных терактов (например, убийство главы Министерства внутренних дел В. К. Плеве в 1904 году и великого князя Сергея Александровича в 1905-м). Вместе с тем регулярно «проваливал» боевые операции эсеров, поставлял полиции ценную информацию о лидерах Боевой организации и партии. Был разоблачен, приговорен эсерами к смертной казни (заочно), скрывался за границей. Жил в Германии, во время Первой мировой войны был арестован как «русский шпион», находился в тюрьме до марта 1918 года. Освобожден после подписания Брестского мира. 24 апреля 1918 года умер от болезни почек.

18

Лев Карахан (1889–1937) — в 1918 году заместитель наркома иностранных дел Советской России.

19

Имеется в виду Комуч (Комитетчленов Всероссийского Учредительного собрания) — антибольшевистский орган власти на территории Среднего Поволжья и Приуралья (8 июня — 23 сентября 1918 года), образованный в Самаре членами Учредительного собрания (не признавшими его разгон 6 января 1918 года декретом ВЦИКа) после захвата города частями Чехословацкого корпуса. — *Прим. ред.*

20

Любопытно, что дед «коренного латыша» Вацетиса, проживавший в Курляндии, много натерпелся от богатого помещика, которого звали… барон Мирбах. Этот самый Мирбах разорил деда, а за строптивость, писал Вацетис, «моему деду дал, в виде издевательства, другую фамилию: ту, которую ныне я ношу (моя фамилия в переводе на русский язык означает „немец“). В этой проделке барона остроумного мало, но все-таки она свидетельствует, до какой брутальности доходила власть феодала».

21

Напомним: за два месяца до 6 июля 1918 года на VII съезде партии РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) была переименована в РКП(б) — Российскую коммунистическую партию (большевиков). — *Прим. ред.*

22

Несмотря на то что Прошьян находился на нелегальном положении и даже умер в больнице под чужой фамилией, Ленин написал некролог «Памяти тов. Прошьяна», который был напечатан в «Правде» 20 декабря 1918 года. В нем Ленин отмечал: «Прошьян выделялся сразу глубокой преданностью революции и социализму. Не про всех левых эсеров можно было сказать, что они социалисты, даже, пожалуй, про большинство из них сказать этого было нельзя. Но про Прошьяна это надо было сказать, ибо, несмотря на верность его идеологии русских народников, идеологии несоциалистической, в Прошьяне виден был глубоко убежденный социалист… Полное расхождение принес Брестский мир… Чтобы дело могло дойти до восстания или до таких фактов, как измена главнокомандующего Муравьева, левого эсера, этого я, должен признаться, никак не ожидал. Но пример Прошьяна показал мне, как глубоко, даже в наиболее искренних и убежденных социалистах из левых эсеров, засел патриотизм, — как разногласия в общих основах миросозерцания с неизбежностью проявили себя при трудном повороте истории… Только в обстановке горячих революционных битв ошибка более жестоко отомстила за себя и толкнула Прошьяна на путь вооруженной борьбы с Советской властью.

А все же таки Прошьяну довелось до июля 1918 года больше сделать для укрепления Советской власти, чем с июля 1918 года для ее подрыва. И в международной обстановке, создавшейся после немецкой революции, новое — более прочное, чем прежде, — сближение Прошьяна с коммунизмом было бы неизбежно, если бы этому сближению не помешала преждевременная смерть».

23

Напомним: пьеса «Дни Турбиных» создана Михаилом Булгаковым на основе его романа «Белая гвардия» (1925) и первоначально называлась так же; премьера «Дней Турбиных» состоялась во МХАТе 5 октября 1926 года. — *Прим. ред.*

24

Воззвание обнаружено в РГАСПИ доктором исторических наук Ярославом Леонтьевым.

25

Иван Каляев — эсер, 4 февраля 1905 года в Москве, на территории Кремля, убил бомбой московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Повешен по приговору суда.

26

Егор Созонов (Сазонов) — эсер, 15 июля 1904 года вместе с товарищами по Боевой организации в Петербурге совершил убийство министра внутренних дел В. К. Плеве. Покончил жизнь самоубийством на каторге.

27

См.: *Лугин Г.* Московские ночи. Этюд / Публ. и прим. Р. Тименчика // Даугава [Рига]. 1988. № 11. *Герасим Лугин* (настоящая фамилия Левин; 1900–1941) — писатель, поэт, организатор литературных вечеров.

28

В манифесте, обнародованном в первом сборнике произведений кубофутуристов «Пощечина общественному вкусу» (декабрь 1912), выдвигались вообще суперреволюционные лозунги, которые стоит напомнить для понимания пафоса той эпохи:

«<…> Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.

Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности.

Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.

Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? <…>

Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? <…>

Вымойте ваши руки… <…>

Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузьминым, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным.

С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!.. <…>». (Революция революцией, но ошибки исправить надо: правильно — Сологуб, Кузмин.)

Авторы манифеста Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Маяковский, В. Хлебников: в 1913-м манифест будет выпушен в виде листовки. — *Прим. ред.*

29

Заметим для уточнения картины: отец поэта Александра (Сандро) Кусикова принадлежал к роду хатукаевских армян Кусикьянц-Кусикян, еще с 1830-х занимавшихся в Армавире крупной торговлей, и, видимо, ему было что скрывать (вместе с тем Александр Кусиков принял советскую власть, в 1919-м участвовал в формировании первого советского конного полка в Петровском парке — по матери-черкешенке Сандро считал себя черкесом — и был назначен командиром отдельного кавалерийского дивизиона). См.: Русская литература XX века. Биобиблиографический словарь: В 2 т. Т. 2. М., 2005. — *Прим. ред.*

30

Яков Блюмкин к этому времени действительно женился. Если Лидия Соркина в самом деле была его женой, а не подругой или невестой, значит, это был его второй брак. О том, кем была его жена-медичка, речь пойдет ниже.

31

Дженгелийцами (от слова «дженгель» — лес) называли персидских партизан.

32

Лично зарубивший его командир Первой Отдельной Туркестанской кавалерийской бригады армянин Яков Мелкумов (Акоп Аршакович Мелкумян) потом вспоминал: «Москва настаивала брать этого ублюдка только живым. Телеграммы шли то за подписью Троцкого, то Ленина. Вмешался в это дело и Дзержинский. У всех просьба-требование — Энвера брать только живым. Дудки! Этому преступнику, этому заклятому врагу моего народа — никакой пощады! Легендарный Гаспар Карапетович Восканов в те дни командовал войсками Туркестанского фронта, заменив на этом посту Семена Буденного. Он тоже прислал телеграмму, которая была лаконична: „Мне нужен мертвый Энвер. Прочти. Думай. Немедленно сожги“. Спасибо тебе, Гаспар Карапетович, этот приказ мне по душе… <…> Не буду рассказывать все подробности разгрома банды Энвера и его самого. Замечу лишь, что на рассвете мои полки внезапным ударом еще до утренней молитвы ворвались в Кофрун. Началась жестокая рубка. Басмачи не выдержали нашего дерзкого, ошеломляющего удара. Энвер без халата и сапог — он еще нежился в постели, когда под его окном засверкали наши клинки, ускакал в горы. Нет, не уйдешь, кровавый шакал, на твоей совести кровь моего народа! Двадцать пять верст гнался за ним. Достиг его в большом кишлаке Чаган. В кровавой рукопашной схватке прикончили всю банду „правоверных“ убийц. Энвера зарубил лично. По праву победителя оставил себе его личную печать: огромную, серебряную, с надписью — „Верховный главнокомандующий всеми войсками ислама, зять халифа и наместник Магомета“. А вот личный Коран и позолоченный халат Энвера отправил в Москву…»

33

«Я вообще не понимаю, почему Персия должна интересовать нас больше, чем какая-нибудь, скажем, Гватемала или какой-нибудь Тимбукту?» — писал Ротштейн в другой раз.

34

Томас Эдвард Лоуренс (1888–1935) — британский офицер, разведчик, путешественник. Стал известен как «Лоуренс Аравийский» после участия в Великом арабском восстании 1916–1918 годов (антитурецкое освободительное движение, которое привело к образованию на Ближнем Востоке независимых арабских государств); Лоуренс считается героем и в Великобритании, и в ряде арабских стран. — *Прим. ред.*

35

Абулькасим Фирдоуси (ок. 940–1020 или 1030) — персидский поэт; *Фердинанд Фош* (1851–1929) — маршал Франции, герой Первой мировой войны (к слову, один из организаторов интервенции в Советскую Россию).

36

Кронштадтским восстанием, мятежом (1–8 марта 1921 года) называют вооруженное выступление гарнизона Кронштадта и ряда кораблей Балтийского флота против политики военного коммунизма, принятой в условиях Гражданской войны (в частности, государственное распределение продуктов по классовому признаку — так называемая карточная система, всеобщая трудовая повинность, уравнительная оплата труда и т. д.). По этой же причине осенью 1918-го началось антибольшевистское восстание крестьян Тамбовской и части Воронежской губерний, возглавленное эсером А. С. Антоновым («антоновщина»), разросшееся к лету 1919-го до полномасштабной крестьянской войны; в 1921-м восстание подавлено красными войсками под руководством М. Н. Тухачевского (участвовал и в подавлении Кронштадтского мятежа). — *Прим. ред.*

37

Известен рассказ о том, как на экзамене Чапаев не смог ответить, где находится Лондон и где протекает река Сена, что, впрочем, не мешало ему спорить с преподавателями о решениях тактических задач. Причем педагоги ценили мнения Чапаева, даже называли их «замечательными и оригинальными», но сетовали, что он не умеет их правильно оформлять. «Вот, погодите, поучусь в академии, тогда буду штабные документы выполнять хорошо», — отвечал им Чапаев.

38

Толстовские общины, по сути земледельческо-ремесленные, возникли в 1880-х годах на основе идей/учения Л. Н. Толстого (если коротко: жизнь собственным трудом, непротивление злу насилием, нравственное самосовершенствование как средство преобразования общества); члены общин отказывались от уплаты податей и несения военной службы (как известно, поздний Толстой культивировал идею, будто народы воюют потому, что имеют армии, а значит, воинскую службу надо саботировать). — *Прим. ред.*

39

Напомним: с 1918 по 1925 год Л. Д. Троцкий являлся наркомом по военным и морским делам (наркомвоенмором), а также занимал пост председателя Реввоенсовета Республики. — *Прим. ред.*

40

Иностранный отдел.

41

Напомним: Коминтерн (Коммунистический интернационал, 3-й Интернационал) — международная организация, объединявшая компартии разных стран, — был учрежден 4 марта 1919 года по инициативе Л. Д. Троцкого, поддержанной В. И. Лениным, как исторический преемник «лучших традиций» 1-го и 2-го Интернационалов. Так, еще 13 декабря 1917 года в «Правде» было опубликовано постановление Совнаркома за подписями Ленина и Троцкого: «Совет Народных Комиссаров постановляет ассигновать на нужды интернационального движения в распоряжение заграничных представителей Комиссариата по иностранным делам 2 миллиона рублей». Оно положило начало расходованию огромных средств на создание зарубежных коммунистических партий (см. А. Блок «Двенадцать»: «Мы на горе всем буржуям / Мировой пожар раздуем…»). Захлебнувшиеся революции в Германии и Австро-Венгрии не заставили Троцкого отказаться от ориентации на мировую революцию (позже корневая причина его оппозиционности в РКП(б)). В начале марта 1919-го в Москве состоялся конгресс пожелавших примкнуть к новому объединению партий, где и провозгласили создание Коминтерна; текст программного документа — «Манифест Коммунистического Интернационала к пролетариям всего мира» — был написан Троцким. — *Прим. ред.*

42

Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года в Версале державами-победительницами Великобританией, Францией, Италией, США, Японией и их союзниками, с одной стороны, и побежденной Германией — с другой, завершил Первую мировую войну. По условиям договора, если говорить кратко, у Германии аннексировалась часть территорий, были отобраны все колонии (и позже поделены между Великобританией, Францией, Италией и Японией), ей запрещалось иметь современные виды вооружения, флот; сухопутная армия ограничивалась до 100 тысяч человек, отменялась обязательная военная служба и т. д.; кроме того, Германия обязывалась выплачивать огромные репарации странам Антанты (по мнению ряда историков, грабительские условия договора и национальное унижение создали в Германии условия для прихода к власти нацистов). — *Прим. ред.*

43

Любопытно, что 9 ноября 1923 года — в день, на который была намечена революция в Германии, — попытка переворота действительно состоялась, но только в Мюнхене, где выступили национал-социалисты во главе с начинающим набирать популярность Адольфом Гитлером. Однако мюнхенский «пивной путч» тоже закончился провалом. Тогда власть в Германии еще могла противостоять как левым, так и правым экстремистам.

В других пунктах ультиматума содержались требования прекращения религиозных преследований в Советском Союзе, освобождения английских рыболовных траулеров (арестованных, по утверждению Москвы, за ловлю рыбы в советских территориальных водах) и выплаты компенсации за арест и расстрел в 1920 году двух английских граждан, обвиненных в шпионаже.

45

После Палестины Яков Серебрянский работал в Бельгии, а вернувшись в Москву, в 1927 году возглавил нелегальную разведку ИНО, известную как «группа Яши». Он организовывал (и участвовал) такие операции, как похищение генерала Белой армии Кутепова из Парижа, похищение архива Троцкого, сбор информации о новейшей военной технике гитлеровской Германии и др. В 1938 году был арестован, обвинен в шпионаже в пользу Англии и приговорен к десяти годам лагерей. Освобожден после начала Великой Отечественной войны по ходатайству «главного советского диверсанта», начальника 4-го Управления НКВД Павла Судоплатова. Еще раз был арестован уже в 1953 году как «участник заговора Берия». 30 марта 1956 года умер на допросе от сердечного приступа. Реабилитирован в 1971 году, а в 1996-м восстановлен в праве на полученные им многочисленные награды.

46

Дмитрий Стонов (Дмитрий Миронович Влодавский; 1898–1962) — писатель, фронтовик, друг Михаила Булгакова. В 1949 году был арестован, пять лет находился в тюрьме и лагерях. Одним из первых в СССР обратился к «лагерной теме» в литературе.

47

Центральный исполнительный комитет СССР — высший орган государственной власти в периоды между Всесоюзными съездами Советов в 1922–1938 годах.

48

Могилевский погиб 22 марта 1925 года во время перелета из Тифлиса в Сухуми. Самолет «Юнкерс-13», на котором летели он сам, а также секретарь Закавказского краевого комитета партии Мясников и заместитель наркома рабоче-крестьянской инспекции Атарбеков, загорелся и упал. Существует версия, что катастрофу устроил Берия — якобы Могилевский узнал что-то о прошлом молодого чекиста. Сам же Берия обвинил в авиакатастрофе грузинских меньшевиков. Эту же версию поддержал и Троцкий, заявивший, что спрашивать о причине гибели троих товарищей надо у грузинских меньшевиков.

49

Тигулёвка (тягулёвка) — так называемая «холодная», помещение для арестантов при полиции/милиции. — *Прим. ред.*

Семен Урицкий, которого Блюмкин знал по Гражданской войне на Украине в 1918 году, станет потом начальником Разведуправления Генштаба РККА.

51

Напомним вкратце ход событий: 2 марта 1917 года император Николай II под давлением Временного комитета Государственной думы и части высшего офицерства отрекся от престола (как его убеждали: чтобы спасти монархию от разгоравшейся смуты) в пользу брата — великого князя Михаила Александровича; 3 марта 1917-го, после встречи с членами Временного комитета Госдумы и Временного правительства, Михаил Александрович также отрекся от престола, передав решение вопроса о будущем государственном устройстве России Учредительному собранию. В дальнейшем жил в Гатчине как частное лицо; 9 марта 1918 года по постановлению Совнаркома был выслан в Пермь, в ночь на 13 июня похищен чекистами, тайно вывезен за город и убит вместе со своим секретарем Н. Н. Джонсоном (в советской печати было опубликовано сообщение о его побеге). — *Прим. ред.*

52

Суть операции «Трест» заключалась в том, что на советской территории сотрудниками ЧК была создана фиктивная подпольная Монархическая организация Центра России (МОЦР) во главе с бывшим действительным статским советником А. А. Якушевым, разочаровавшимся в Белом движении. Многие годы МОЦР вводила в заблуждение белую эмиграцию в Чехии, Германии, Финляндии, Эстонии, Франции, провоцируя работать на советскую разведку и контрразведку деятелей Белого движения (предполагавших, что работают на восстановление монархии в России), внедряла советскую агентуру в белоэмигрантскую среду и т. д. — *Прим. ред.*

53

Махатма (букв. великая душа) — по одной из трактовок «возвышенное существо, достигшее совершенного контроля над своими низшими проявлениями, освободившееся от гнета „плотского человека“».

На это обратил внимание и первый заместитель генерального директора Музея им. Н. К. Рериха Александр Стеценко.

55

Экспедиция Рериха двигалась под флагом США, который был прикреплен к монгольскому копью. Но, как утверждает замгендиректора Музея им. Н. К. Рериха А. Стеценко, называть экспедицию американской неверно. «Американский флаг использовался исключительно в дипломатических целях, — пишет он. — Не надо забывать, что Соединенные Штаты Америки в начале прошлого столетия играли одну из ведущих ролей в мировом устройстве. Авторитет США среди государств Срединной Азии неуклонно повышался. Поэтому американский флаг мог служить своего рода защитой экспедиции. К тому же Америка была страной, в которой Рерихами были учреждены первые культурно-общественные организации. И американский флаг, развевающийся над караваном экспедиции, — это своего рода признательность Америке. Но, несмотря на это, Центрально-Азиатская экспедиция является исключительно экспедицией Николая Константиновича Рериха. Она… снаряжена и финансирована за счет средств, полученных от продажи его картин» (см.: *Стеценко А.* Центрально-Азиатская экспедиция Николая Рериха. Факты и домыслы //www.Lib.isk.su).

Так называлась Республика Бурятия с 1923 по 1958 год; затем — Бурятская АССР; с 1990-го — Республика Бурятия. — *Прим. ред.*

57

После суда в Новониколаевске (Новосибирске) барон Унгерн 15 сентября 1921 года был расстрелян.

58

Н. К. Крупская вышла из оппозиционных рядов в мае 1927-го, когда начался сбор подписей под документом объединенной оппозиции «Заявление 83-х» (выражавшее разногласия с руководством партии и страны). Крупская написала письмо Г. Е. Зиновьеву, в котором сожалела по поводу «бузы», поднятой в партии, и ставила это в вину лидерам оппозиции. В ответ Л. Д. Троцкий писал ей: «Мы будем плыть против течения, даже если Вы вслух повторите… слово „буза“. И никогда мы не чувствовали так глубоко и безошибочно своей связи со всей традицией большевизма, как сейчас… когда мы и только мы подготовляем завтрашний день партии и Коминтерна». Взгляд на завтрашний день будет конкретизирован ими к сентябрю в «Проекте платформы большевиков-ленинцев (оппозиции) к XV съезду ВКП(б)»: вернуть в партию исключенных оппозиционеров, подтвердить курс на международную революцию, прекратить борьбу против левого крыла в Коминтерне и т. д. Так оппозиция дала себе название — «большевики-ленинцы», противопоставив себя «сталинцам», объявившим в качестве генерального курса ВКП(б) теорию построения социализма в одной стране (а «мировую революцию» оставив пока лишь в риторике); эту теорию оппозиция заклеймила как мелкобуржуазную. — *Прим. ред.*

59

Иешибот — высшее учебное заведение, в котором изучались Талмуд, еврейское религиозное право и пр.

60

В октябре 1929 года Г. Беседовский с семьей бежал из советского полпредства во Франции и попросил политического убежища в этой стране.

61

Лев Седов (1906–1938) носил фамилию матери (второй и последней жены Л. Д. Троцкого) Натальи Ивановны Седовой. — *Прим. ред.*

62

Русскоязычный журнал Л. Д. Троцкого «Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев)» начал выходить с июля 1929 года в Париже (с 1931-го издавался в Берлине, куда из Турции приехал учиться его сын Лев Седов, возглавивший журнал; в 1933-м, с приходом к власти нацистов, издание вернулось в Париж; с началом Второй мировой войны редакция журнала переместилась в Нью-Йорк, гае в августе 1941-го вышел последний номер). В «Бюллетене…» публиковались статьи, тезисы, обращения и письма Троцкого, материалы известных оппозиционеров, а также поступавшие разными путями письма и статьи из СССР; журнал распространялся по многим странам, в Советский Союз нелегально ввозился тайными сторонниками Троцкого, возвращавшимися из зарубежных командировок, и иностранцами (для Сталина, по понятным причинам главной персоны и адресата журнала, он приобретался через подставных лиц, как и для библиотеки ЦК). — *Прим. ред.*

63

В этой брошюре, вышедшей в конце февраля 1929 года, были собраны статьи, написанные Троцким специально для «буржуазной печати» — в них шла речь о его высылке из СССР и о «перерождении» советского режима. Эти статьи были опубликованы в журналах и газетах всего мира, то есть растиражированы в миллионах экземпляров.

От первой жены, Александры Львовны Соколовской, у Л. Д. Троцкого были две дочери, Зинаида и Нина. — *Прим. ред.*

65

Вряд ли Блюмкин находился на пароходе в военной форме, так что про свои «три ромба» он тоже разболтал.

66

Елизавета Розенцвейг-Горская-Зарубина погибла 14 мая 1987 года в результате несчастного случая — ее сбил автобус.

Транспортного отдела.

По сведениям сотрудников Российского государственного военного архива, никаких данных о наградах Я. Г. Блюмкина в фондах архива не обнаружено.